

ISSN 0130-7673

НОВАЯ МИРА

|| 8 ||

НОВАЯ МИРА

|| 1985 ||

8



1985



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛИМ КЕШОКОВ — Из новой книги, стихи. Перевел с кабардинского Яков Козловский	3
Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Свой хлеб	6
МИХАИЛ ГАВРЮШИН — Свет, стихи	49
АЛЕКСАНДР БЕЛАЙ — Вот-вот зацветет сирень, рассказ	53
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ — Из новой лирики	66
ВАСИЛИЙ ТРАВКИН — Экскурсия, повесть	69
СЮЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ — Из лирической тетради. Перевел с киргизского Станислав Куняев	96
ЮРИЙ РЫТХЭУ — Магические числа, роман. Окончание	98
ВАДИМ КУЗНЕЦОВ — Два стихотворения	154

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Флорентийские ночи. Публикация и предисловие А. Саакянц. Перевела с французского Р. Родина	155
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Стихи. Публикация и перевод с белорусского Ивана Бурсова	171

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН — Эксперимент	173
-------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОБРАТИТЬ В ПОЛЬЗУ ДЛЯ ПОТОМКОВ... Публикация, предисловие и примечания Михаила Макоеева	195
К. М. АЗАДОВСКИЙ — Достоевский глазами современников. По материалам дневников Ф. Ф. Фидлера	213

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ИГОРЬ ДЕДКОВ — Вертикали Юрия Трифонова	220
Л. АННИНСКИЙ — Прижизненные и посмертные приключения немецкого механика Гуго Пекторальса в России. Из истории лесковских текстов	236
Л. БЕЛОВИНСКИЙ — Культура слова. (Актуальный вопрос)	244
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Татьяна Иванова. Романтика рабочих строек.	
И. Питляр. Достоинство человека.	
Павел Сиркес. Путь и итог.	
А. Николаевская. Цвета, и вкус, и тоны бытия.	
<i>Политика и наука</i>	
Владимир Николаев. С верой в силу разума.	261
С. Яковлев. «Посвяти пламень своей правде».	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Владимир Шлёнский.— Во имя жизни. Зарубежные поэты о мире ♦	
Вс. Сурганов.— Марианна Яблонская. Фокусы. Рассказы. ♦	
Эдуард Пронилов.— Вячеслав Левыкин. Вечерние тени. Стихи. Вячеслав Левыкин Воздушный поток. Стихотворения и поэма. ♦	
Е. Луцкая.— Наталия Сац. Новеллы моей жизни. ♦	
А. Курбатов.— Геннадий Васильев. Америка меняющаяся и неизменная. ♦	
А. Валентинов.— М. Беккерт. Железо. Факты и легенды	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

АЛИМ КЕШОКОВ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

На заре

Уполз туман, хвост белый волоча,
Бледнели звезды на небе высоком,
И каждая росинка, как свеча,
Была уже затеплена Востоком.

Умчался птиц проснувшийся оркестр
Туда, где свод небесный был лиловым.
И тишину, повисшую окрест,
Казалось, грех нарушить даже словом.

Еще дыша прохладой nocturnой,
Алело утро, набирая силы.
И брустверам под стать
 передо мной
Возникли вдруг солдатские могилы.

Почудилось, что с памятных времен,
Смерть предпочтя позорному полону,
Знакомый мне пехотный батальон
Свою посмертно держит оборону.

Какая тишина!
 Гудят шмели,
Пасутся с жеребьями кобылы.
Но бой идет...
 Солдаты залегли,
Как брустверы окопов, их могилы.

Женщине

Ты древо. И мужу не ново
Вновь льнуть к золотому стволу.
Избранника ради
 готова
Не ты ль обратиться в золу?

Твоя ли не в слабости сила?
И, в страсти отвергнув посты,
С землей небеса породнила,
Как белое облако, ты.

Грядущим и нынешним между,
На радость мужчин иль беду,
То звездно им даришь надежду,
То гасишь ее, как звезду.

Любимым желаешь удач ты,
Но трудно взлететь для мужей,
Как буйному валу до мачты,
До таинства сути твоей.

Деревья сошлись гурьбою,
Луна заглянула в окно.
Я знаю, что в мире тобою
Все доброе сотворено.

Не ты ли в честь края родного
Мирила заклятых врагов —
Душа милосердья земного,
Хранительница очагов.

· Я и мой язык

До вас мое имя сквозь годы дойдет,
И там, где пути не положи,
Пускай, как тропа, оно пересечет
Подоблачно ваши дороги.

Давно ли мерцала ночная звезда,
Но вновь свод небесный лазорев.
Куда ты, минутная стрелка, куда
Легишь, часовую пришпорив?

Вы слово, как древа познания плод,
Вкусили средь отчего края,
И знаю, до вас мое имя дойдет,
Достойное ада и рая.

Несу вам,
вознесшийся над суетой,
Лучей, что скосил я в долине,
На левом плече своем сноп золотой
И легок еще на помине.

Я верю, дойдет мое имя до вас
Как отзвук на зов вашей крови,
Дойдет как завидного времени глас,
Как отсвет небесный на слове.

И мыслей исполненную и огня
Хоть речь отличает живучесть,
Но не безразлична ее для меня,
Чреватая грозами, участь.

И если разделит мой древний язык
Судьбу медногорлой латыни,
Величья его я открою тайник
Пред вами на звездной вершине.

В Стратфорде

День рожденья есть, а дня кончины
У великих стихотворцев нет.
Тем они похожи на вершины,
Что приходят избранно на свет.

Это кто там пламень с небосклона
 В колыбель вложил, не разглядишь,
 В Стратфорде,
 на берегу Эйвона,
 Где багряна черепица крыш?

Вот он, этот домик двухэтажный,
 Где Шекспир, казалось, встретил нас.
 На поленьях рдел огонь очажный,
 Что в седых столетьях не угас.

Мы сюда не со всего ли мира
 Собрались по зову англичан,
 Потому что было у Шекспира
 Вековое подданство всех стран.

Даль времен окидывал я взором
 В час, когда
 под колокольный звон
 Шли мы к храму Троицы,
 в котором
 Был лишь прах Шекспира погребен.

И слова звучали в честь поэта,
 И глядел на мир пытливо он.
 Этот мир был молод, как Джульетта,
 И, как Лир, печалью умудрен.

И в веках не правившего труса
 Видел он за морем вдалеке
 Гамлета в подножии Эльбруса
 С боевою шпагою в руке.

И при этом думал:
 «Эко чудо!
 Право, горд! Но в тайну не проник —
 Датский принц, рожденный мной, откуда
 Кабардинский ведает язык?»

И глядел в лицо прекрасной яви
 Не через магический алмаз,
 Потому, наверно, был я вправе
 На Эйвоне представлять Кавказ.

Перевел с кабардинского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

СВОЙ ХЛЕБ

I

В самую голубую из всех синих бухт мира входил гигантский танкер — наш стотысячник «Академик Вернадский».

Исполняя трудную и точную операцию окончания пути, вся команда танкера — от капитана до джинсовой официантки — светила тревогой близкого праздника. Танкер был в рейсе почти два месяца и пришел из Нового Орлеана с зерном кукурузы — негордым, но нужным грузом.

Свой чайки. Свой белый город слева на покато́м берегу. Свой бронзовый Матрос у парапета. Свой Везувий — курящий белым цементный завод. Курортная кутерьма у порта пассажирского — и безлюдное движение в торговом порту, где краны, вагоны, лихтеры словно организовали свой автономный субботник.

И весь этот уголок жизни прикрывала с норда и оста гряда прибрежных гор — натруженная ладонь господа бога.

Собранные вестью о приходе своих, ждали у «Трансфлота» принаряженные мамы и изнывающая от медлительности времени детвора.

Катя — в целом она трудяга, озорная азартная баба, любящая и счастливая жена, а также без пяти минут кандидат наук — опаздывала. Она покрыла своим «Жигулем» полтысячи километров, в дороге устраняла имевшие место неполадки и теперь была, как говорится, страшнее войны.

С трудом приткнув машину у парикмахерской с выразительным южным «Мужской салон молодости — женский салон красоты», Катя вошла... и ахнула: очередица — кошмар. Встречать ей своего благоверного страшилой и пугалом.

Мастерицы, следуя обычаям нашего сервиса, говорили меж собой через головы так, будто их молчаливую клиентуру составляли кони или какие-то другие млекопитающие, явно не способные понимать людскую речь.

— И представляете, девчонки, волосы у меня совсем перестали лезть, вот, пожалуйста, — показывала одна.

— Семь рублей за ведро вишен — да застрелись они, сто лет не надо, — негодовала другая.

— А кто у нас в адвокатуре? — вслух думала третья. — Нет, это надо в мужском зале спросить...

Как в оперном речитативе!

Вдруг освободилось кресло у маникюрши у окна. Катя нашлась: быстренько села и протянула руки Даме.

А Дама была властной, хозяйствующей в жизни особой, несколько похожей на женский вариант Петра Первого: воля во взгляде, те же усики над губой, та же монархичность поведения.

— Говорите, женщина, — приказала Дама. — Какой лак?

- Ой, да все равно, я опаздываю, пароход, знаете..
- Мне выдают только наш. Предупреждаю: держится час.
- Час. А мне, наверно, хватит,— простодушно сказала Катя.
- Мужа встречаем,— по кольцу вычисляла Дама. — «Академик Вернадский», м-м? Тогда расслабьтесь. К ним только катер с властями, еще конь не валялся... Жиклеры продували? — касательно масла под ногтями.
- Нет, порвался ремень вентилятора.
- Дама, покачав головой, достала флакон с французским лаком.

Старший механик стотысячника Валентин Кравчук, хозяин машинного отделения и — по мироощущению — жизни вообще, везучий южанин (тридцать с небольшим, а уже дед на таком пароходе!), совсем было собрался подняться в рубку, как нелегкая принесла кока со здоровенным тазом банок-склянок — житейского мусора.

— Ну дед, зайныка, не серчай — последнее. Сожжем в твоём мартене — и никакого бенца от санврачей.

— Где ты взялся? Всегда в последнюю минуту. — Стармех расстроился, но — делать нечего — повел кока к той всепоглощающей печке, которой тайне гордился.

— И стекло возьмет? — лстя, любопытствовал кок.

— Еще бы! Тысяча четыреста градусов.

Микромартен загудел, пожирая следы их рейса.

— Смотри ты, прямо как ядерная война. — Кок даже оробел.

— Какая война? Болтает тут... Культура быта! Охрана среды! Океан один на всех, оставить его надо чище, чем был до нас.

А все-таки прав был кок: яростная печь отдавала чем-то ядерным, расщепляющим.

— Так как там, бракодел, у тебя назвали? — спросил Валентин.

— Еще никак. Меня ждут,— улыбнулся кок.

— «Ждут»... Ходил я четвертым механиком — «Катя, подожди, вахта». Третьим стал — «Катя, в город сходи сама, стали на ремонт». Вторым — «не могу, Катя, авария». Старшим — «Катя, ремонт, авария, вахта, все вместе — жди!». А ее-то годы не ждут.

— Ну так сейчас же вы в отпуск? — спросил кок. — Куда махнете?

— Вроде Пицунда светит. В теннис с женой постучать.

— Ага, в теннис,— заржал кок.

— Да и то нюансы есть. У тетки, понимаешь, юбилей. Шестидесятилетие. Как не съездить.

— Чья тетка — ее или твоя?

— Да какая разница,— подтолкнул его в лифт стармех.

— Муж кем у нас плавает? — вела анкету маникюрша.

— Старшим механиком.

— Фирочка,— повернулась она к парикмахерше,— «Академик Вернадский» куда у нас ходил?

— В Штаты.

— Фирочка,— приказала Дама,— клиентка пройдет к тебе вне живой очереди.

Взрыв гнева у чающих красоты. Особенно негодовала пожилая полная особа.

— Кончили базарить,— оборвала Дама. — Клиентка внесена в судовую роль. Когда «Трансфлот» внесет в судовую роль вас, дама,— было сказано непосредственно толстухе,— я вам без очереди педикюр сделаю. На ходу!

Судно океана не боится, это ерунда. Боится оно узкостей: каналов, гаваней, причалов — всего того, что именно для кораблей и создано. И при входе даже в родимый порт напряжение в рубке пре-

дельное. Впрочем, опустим производственные детали, чтоб не срамить нашу правдивую повесть ляпсусами от сельского невежества.

Стармех Кравчук делал жене с небоскрежной вышины танкера знаки, свистел, звал, но та из толпы встречающих не могла углядеть мужа.

— Ка-тя! — уже во всю мочь крикнул Кравчук. — Ка-те-ри-на-а!

Катя что? Взлетела на пятнадцатизэтажную высоту? Нет. Поднялась по трапу походкой трудящейся женщины? Тоже нет. Нечто среднее, максимально реальное. Главное, встреча состоялась.

Счастье есть наслаждение без последующего раскаяния. Екатерина Сергеевна Кравчук была временно счастлива.

К той поре танкер был уже захвачен гражданами XXI века. Они носились по коридорам, взбирались куда можно и куда нельзя, вахтенные нестрого сдерживали их абордаж — присутствие членов семей во время стоянки разрешено. В свои каюты папы их не пускали, — и были, наверное, были для этого веские основания. Но пиратам и горя мало. Кто в рубке разглядывает «электронного штурмана», кто в шлюпке, а кто интересуется грузом.

Докеры в касках уже подвели к люкам свои шланги, и чудовищной мощи пылесосы пошли качать кукурузное, непривычно белое зерно вниз, в готовый порожняк на рельсах. Облако мучной пыли, туча портовых сизарей — пошла жатва несеяного!

В каюте старшего механика были: летающая рыба в лаке, омар, морская звезда на стене, Хемингуэй со спиннингом на «Пилар», опрятность, карточка Кати, пакеты с заокеанскими покупками, принесенная Катей роза — все, чему положено быть. Только моряцкой койки мы, скорее всего, не увидим. Потому что незачем. Есть детское правило: «Чур, не подглядывать!» Не пуританство — просто права человека.

А голоса супругов — пожалуйста.

— Валек, значит, у тети Дуси два дня — и в Пицунду опаздываем только на сутки.

— Один день у тетки — и никуда не опаздываем.

— Тогда катись отсюда. Пошел в душ!

— Ты представляешь, что такое день? За один день я мачту в океане завалил.

— Мачту? Как это — завалил? Нарочно?

— А высокая. Под мостами на Миссисипи не пройти. Балласт в танки брать — это потеря хода, да и опять емкости мыть. Мастер приказал — думайте. А чего думать? Срзгать верхушку, на гидравлику ее — как у самосвала, понимаешь? Завалил, прошли мосты — опять поднял. Мастер взял ответственность на себя — лезьте... Мы электро-сварку в зубы и...

— Кто «мы»? Ты? Опять?

Молчание.

— Это было — сейчас скажу — перед самым новолунием. Так?

— Кажется, так. Двадцать третьего. Ну да, серп увидели.

— Я из-за тебя, негодяя, тут чуть не умерла. Буквально околевала. Даже давление ходила мерить.

— Ты кончай эту мистику. Ты ж член профсоюза.

— Сорвался бы и, может, еще и выздоровел, а я бы в ту же секунду умерла. Ты безнадежный подонок. Как говорит тетя Дуся, рак-ло и боржомец.

— А правда, когда о тебе сильно думаешь, машины работают тип-топ.

— Биополе.

— Четверть километра в парохоме — неужели одной ауры хватит?

— Моей? Вполне. Лац, два дня у тетки — и иди сюда.

— Это как — вымогательство или предложение взятки? Ты ж почти кандидат, квалифицируй.

— Почти или не почти, но без тебя предзащиту прошла.

— Это ж надо — и экстрасенс, и ученый, и образцовая племянница. И все мне одному?

— Дурачок, тетка тебя больше любит, чем меня. Кончил бы ты институт, если б не ее сумки.

— Э-э, гори огнем, — сдался он, — бери два дня!

Сделка, сомневаться нельзя, состоялась.

Прощаясь, капитан серьезно спросил Валентина, все ли адреса возможного нахождения тот оставил, оформил ли дело с мачтой как рацпредложение, отдал ли заглавник (запчасти) второму механику. Валентин отвечал:

— Йес, мастер, йес, мастер, йес, мастер.

— Тогда всего — в семейной и личной жизни. Люто вам завидую, — сказал капитан, пожимая Кате и стармеху руки.

Наши счастливицы уже набили «Жигуль» тем, что в обиходе зовут сувенирами из-за рубежа, когда сверху...

— Де-ед, смотри!

Верхушка мачты замедленно валилась, словно кланялась, провожая. Прощальный сюрприз команды и судна...

Боец вневедомственной охраны — бабка при желтых петлицах, в домашних тапочках — поднял портовый шлагбаум. Поехали!

II

Остановятся ли они после серпантина на перевале Семи ветров взглянуть на город, на порт, на свой пароход — вопрос нашего с вами желания. Но две вещи придется учесть непременно.

Первое. Путь у Черного моря — это всегда скорее полет, чем наземное движение. Это взгляд с птичьего парения. Планеризм тридцатых годов преобразился (с потерями) в автотуризм восьмидесятых. Тут и секрет, почему даже зарплатой живущие семьи пятилетками копят на «Жигули», стараются догнать цены и потом обязательно хоть раз в жизни едут на юг.

Второе. Памятники юга — зарубки его истории — в большинстве случаев размещены гениально: или на самом краю простора, или уже в центре бесконечности. Монумент затопленным кораблям над Цемесской бухтой... Тачанка в пойме Дона за Батайском... Бронзовый барочный Петр, глядящий с таганрогского обрыва в Азов, которым так и не смог овладеть... Бронзовый же запорожец Головатый у пролива в Тамани, куда Екатерина сослала остатки казацкого войска рубиться с черкесами...

Образ юга... Какие курорты, господи, при чем тут они?

Два моря смыкаются здесь, два пространства состроены узким швом пляжей: море степной пшеницы и синий Понт вместе с мелким пасынком Азовом. Ни одно из морей земли с черноземной степью не граничит, только Черное. Впрочем, Черное море, чернозем... Чернота только в названиях, в натуре же — синь и охра, малахит, золото.

И кто блажит, будто это наших дней или пускай даже дней наших дедов деяние — занятие степи пшеницей? Да она на роду этой равнине написана, пшеница «гирка», и «арнаутка», и «крымка», и те исчезнувшие в тумане веков сорта и отродия, которыми кормил людей припонтийский чернозем до радио, до колеса, до бронзы. Если по прихоти всемирной истории степь на пяток-другой столетий и уходила под ковыль, так это был временный сбой, аномалия, нонсенс. Приходил час — все исправлялось, и избыток плодородия в черноземах, лихва солнца и пространства выплескивались за грань суши — питать ноосферу, землю людей.

Объяснимся: Катя — историк, ее специальность — «кайма на ткани варварских земель», как называл Цицерон колонии вдоль северных берегов Понта. Диссертация Катина («К вопросу о ...» и т. д.) фактически разбирает причины взлетов и падений античного зернового вывоза веков двадцать пять — двадцать назад, вывоза из припонтийских государств в полисы Элады. Пока она была аспиранткой, они с мужем обныряли все доступные гавани «наших» греков — от Ольвии у Очакова до утонувшей сухумской Диоскурии. Теперь этап амфор и пифосов был позади, Катина эрудиция лилась через край, и «дед» был невольной жертвой ее всеведения.

— Э, да ты ведь ничего не знаешь! Корабль без тебя нашли.

— Опять шприцевать меня начнешь... Ну какой еще корабль?

— Потрясающую триеру на штукатурке. Сто шестьдесят сантиметров! Три палубы, на носу название — «Изида». Она перевернула все привычное! Мне две главы пришлось переделывать. Давай сегодня же и заедем, это возле Керчи.

— Собаке семь верст не крюк, — вздохнул «дед», но противиться не стал.

Преодолев на пароме «Бычий путь» — Босфор Киммерийский, он же Керченский пролив, «дед» и Катя вскоре оказались у холмов, где тысячи две лет назад был городок Нимфей, пригород царствующего Пантикапея. Здесь-то экспедиции археологов и повезло найти триеру.

Это был чертеж корабля и одновременно многоцветный рисунок. Изображено все было в деталях и почтительно: видимо, и прихожане, заказавшие «портрет» триеры, были поражены приходом в их гавань такого чуда, и живописец решил проявить знание морского дела. Рулевые весла, кронштейны для навесов на верхней, капитанской, палубе, малый храм со скульптурой богини Изиды, которой и был посвящен корабль, — все было срисовано, скорее всего, с натуры, пока триера стояла на якоре. Гребцов было не менее четырехсот, корабль был явно державный, посольский, он вез из Египта в Тавриду лиц такого достоинства, каким плыть на обычном каботажном судне с эллинским парусом было бы невместно.

Что могло привлечь египтян в Крым двадцать два века назад? Общим между страной фараонов и Тавридой был только один товар — хлеб. Считалось, что поток дешевого зерна с Нижнего Нила разорил хлеботорговлю греков с севером Понта Эвксинского. Ан походка великого корабля уверяла, что все было не совсем так, может, и совсем не так. Фараоновым послам нужно было о чем-то условиться, что-то поделить в вопросах пшеничной торговли.

Фреска уцелела чудом. Кусок штукатурки обвалился пластом, и чертеж удалось поднять, сложить, закрепив множество кусочков. А раскоп — десять метров от поверхности!

— Нравится?

Землекопы, все больше городской, институтский народ, совмещавший с неденежной, но интересной работой даровой загар и купанье, узнавали Катю и поощряли интерес стармеха.

— Классный пароход, — одобрил он.

Катя, гордая для всех интересным «дедом», радуясь слушателям, села на своего конька.

Разве не стоит памяти, что хлеб нашего Причерноморья ели Афины времен Перикла? Из феодосийского порта шла большая часть ввозимого Атикой зерна. Был год, когда экспорт превысил восемьдесят пять тысяч тонн. Обглоданные эрозией склоны Элады уже не могли прокормить гениальный народ, и между Тавридой и Пиреем пролегал первый в истории импортный хлебный путь. Степи оседлых скифов, сарматов и синдов поражали греков плодородностью. Обитателей Тавриды эллины звали просто георгами, земледельцами, на боспорских монетах был выбит колос, а Феодосию именно за

хлебный потенциал назвали так — Богоданной. Пшеницей для экспорта еще в четвертом веке до новой эры было занято не меньше двухсот тысяч гектаров, торговля приносила громадные прибыли: по новейшим определениям самый большой хлебный транспорт (в нем было восемьдесят семь с половиной тысяч тонн) стоил около двух тысяч талантов. Мерцающее золото Скифии, все эти пекторали, чаши, гориты, изделия звериного стиля, дошедшие до нас хорошо если в одном кургане из ста и все же наполненные подвалы Эрмитажа и музеи Европы,— они не с бою, не грабежом добыты, а куплены умом и потом древнего степняка. И то, что найдено в курганах, и то, что найдем еще, вскрывая Таврию ради руды и строевнй,— это удостоверения о вкладе северных берегов Понта в тот радостный пролог цивилизации, какой называют античностью.

Все это оставалось бы плетением словес. культпросветом, если бы пшеница из таврических раскопок не была так похожа на «крымку», которой — под названием «торки ред», «красная турецкая», — засевали новину прерий фермеры Иллинойса, Канзаса, Айовы, Среднего Запада вообще. Да что! Освоение Великих Равнин в Штатах есть лишь повторение той земледельческой лихорадки, которая за один только век превратила Новороссию из травяной пустыни (ею Тарас Бульба ехал с сынами на Сечь) в мировой регион хлебного экспорта. Только в 1774 году первый южный порт Керчь переходит к России, но уже в 1794 году отпущено пшеницы из Очакова 46 тысяч четвертей, из Херсона — 29 тысяч, из Николаева — 26 тысяч, из Таганрога — 32 328 четвертей. Все помним, а как же! И что в последний год южной ссылки Пушкина мягкая пшеница шла из Одессы по четыре рубля девяносто семь копеек за четверть, а твердая — по пять рублей двадцать восемь копеек, что особенно славилась, почитаем историка, «таганрогская Арнаутка, которая по причине своей тяжеловесности, прочности и других преимуществ продавалась на зарубежных рынках решительно дороже самых высоких сортов пшеницы всевозможных мест», и то, что за Россией к концу века — четверть мировой продажи зерна. Но и то, что отгружают русскую пшеницу и рожь в страны, где на душу населения производится гораздо больше хлеба, чем в Российской империи, то есть это полуголодный экспорт, он антинационален и зачтется в пору, когда будет предъявлен счет.

Как же не помнить? Не Иваны же, забывшие родство. Да и советские экспортные номера держали славу отечественных пшениц даже в послевоенное время. Ради чего забывать? Разве мы не верим, что это временный сбой, аномалия, нонсенс — прекращение отпуска хлеба ожерельем южнорусских городов, на то и заложенных здесь при Румянцеве, Потемкине, Суворове из камней эллинских колоний? Первый современный элеватор поставлен в Новороссийске, он пережил ад последней войны — с таким был старанием сделан. Одесский оперный театр возведен на пшеничные прибыли, а фортам Севастополя надлежало охранять торные дороги русского хлеба — беречь свое море. Что неверного в этой стратегии и от чего отказываться правнукам? Разве, продавая хлеб, ты чего-то лишаешься? Это нефть дается один раз — и баста. Лесу нужен век, чтоб восстановиться. А зерно — вполне и мгновенно возобновляемый ресурс. Ты свез пшеницу, продал, но чернозем целехонек. трактора-комбайны в гаражах, рабочие руки при деле — к следующей жатве нарастет даже больше. Может, только туризм по торговой своей сути эффективней продовольственного экспорта (Мона Лиза ежегодно улыбается миллионам — а шарма не меньше, Болгария купает в море четверть Европы — а берег все нарядней). И недаром супериндустриальные страны к концу XX века принялись наперебой развивать продовольственный экспорт.

Страна из самых обеспеченных пашней, владеющая половиной

черноземов планеты, страна отчич и дедич обречена на отпуск избыточного зерна заморскому белу свету — предназначение это есть национальное везение или, по-старому выразиться, божья благодать. Тут не прибавить, не убавить — и деваться от этой истины некуда.

Но несправедливо, даже жестоко надолго превращать лихую Катю в лектора, отчасти даже проповедника — не позволят ни логика, ни ее здравый муж. Где наши влюбленные странники?

Заправляются у бензоколонки.

Хвост к бензину «А-93», горючему частника, — на полкилометра. Валентина, понятное дело, вперед не пускают. Тогда он свинчивает крышку и демонстративно лезет в темное горло своего топливного бака... с горящей зажигалкой!

— Катя, бери литров тридцать, не ошибешься.

Автолюбительство брызнуло в стороны, будто «Жигуль» сумасшедшего стармеха уже горит или даже взорвался.

В образовавшейся пустоте Кате легко было пробраться к самой заправочной станции. Причалила она, заметим, к тумбе с надписью «Дизтопливо». Валентин с краном-пистолетом заполняет бак, а Катя ведет разговоры.

— Это твой мужик? — некто сочувствующий.

— Этот? Вроде мой.

— Он как, здоровый?

— Я лично не жалуюсь.

— Нет, я насчет этого, — пальцем у виска.

— Понимаешь, он инженер, и у него там дизель.

Как оглоблей по голове! Доброжелатель встал перед капотом, умоляет:

— Рыбонька, открой!

И вместо центробежного — центростремительное движение частника! Толпа охочих ездить на даровой солярке облепила так, что еле удалось выбраться.

III

Место, куда надлежало им прибыть, было небольшой опытной станцией при степной, старинной посадке дубраве. Тетя Дуся — Евдокия Кузьминична Бородай — вела здесь селекцию пшениц, а супруг ее Иван Степанович был директором этого агронаучного учреждения — бессменным едва ли не с хазарских времен.

Шло к закату, золотистому и перламутровому, каким в южных степях итожится всякий полноценный день, когда пропыленный «Жигуль» нырнул с дороги республиканского значения в тени тетиной дубравы.

— Здравствуйте, девочки! — воскликнула Катя. — Ой, как вы не постарели!

Это было правдой — приветствовала Катя каменных баб. Свеженные некогда с половецких курганов, изваяния широким кругом стояли у обелиска лесоводу, основателю дубравы в степи.

— Марьянна, здоровеньки булы, — обходила хоровод Катя, — а это Фроська — уж, оторва!.. А вот Нина Дорда, «ландыши-ландыши...». Ах, Брижит Бардо, ком ан са ва!..

Завелась... Рада, что исправно доехали.

— Что ты несешь, это ж Фанфан-Тюльпан, — возразил Валентин. — вон и шпага сбоку.

Впрямь, пол курганных идиолов мог вызвать кривотолки: у иной «бабы» явные усы, другая — при мече или кинжале.

— Он нас будет учить! Ты только на втором курсе прорезался, а до того мы тебя вообще не знали. Ходил какой-то бройлер.

— Катя, смотри, знак!

Кучевое закатное облако высотой, может, этажей в пятьсот поднялось в поднебесье. Оно было торжественно и величаво. Все, что чедодано южной степи, летом ей восполняют облака. Это хорошо

знали старые южные живописцы — и благополучные, как Айвазовский, и неприкаянные: Богаевский, Волошин...

— Да-а,— вздохнула Катя,— опять твой фрегат «Паллада».

— Значит, нам повезет.

— «Нам»... Гос-поди, так и проживу — не увижу ни Ямайки, ни мыса Горн! От таких фрегатов только сердце щемит и плакать хочется,— Катя.

— Я на Ямайке знаешь чем занят? Расходом мазута. Перегонкой фекальных вод. Фрегаты — для дома, для семьи.

— Надо ж, какой деловой. А на берег небось всегда в первом ряду, все забегаловки наши.

— Катя, если тебе скажут, что советский моряк зашел в иностранном порту в кабак, плюнь клеветнику в лицо. Наш человек умеет ценить валюту!

Вдруг восторженный мальчишеский крик:

— Я ж говорил — они сразу к бабам поедут!..

Семилетний Коля, подброшенный на лето тете-бабушке, летел со всех ног, опередив тетю Дусю едва ль не на стометровку.

— Чего вас так долго не было? Что привезли? — Коля.

— Все глаза проглядел, с утра — «пойдем да пойдем встречать», — тетя.

— Моя ж ты сыночка, уже черный, как головешка,— Катя.

— Голод не тетка, тетка не голод,— раскрывая объятия, Валентин.

И все это одновременно, перебивая, как и водится у добрых людей.

Тетя Дуся — какова она? Легче всего сказать: усредненно-русский женский тип. Но это неправда. Уже потому, что наша тетка — подлинный, пусть и не знаменитый, селекционер, а у тех в основе характера серьезность и строгость. Сам селекционер всю жизнь ведет переучет, бракуя миллионы колосьев ради одного куста, и его самого переоценивают всю жизнь: сорт насильно мил не будет, и колхозы враз перечеркнут любой авторитет, если больше нет прибавки урожая... Тетя Дуся отчасти ворошиловский стрелок (сдала нормы в сороковом роковом), отчасти глава клана (для нее «племянник» — не пустой звук), несколько даже депутат райсовета: за отсутствием великих биологов район ценит и Евдокию Бородай. Но сердцевиной своей она принадлежит цеху, в котором практически нет старости и смерти, это и отличает ее.

В зерновом деле ничто не начинается совсем заново и не забывается без следа. Та пшеница «тургидум», над которой работает тетя, известна как разновидность еще со времен фараонов. Барабан самого современного комбайна есть лишь модернизация извечного молотильного камня. Об этом не говорится, но жизнь, прожитая у докучаевских дубов, у половецких надгробий, отданная несуетному делу, соединяющему поколения, сделала нашу тетку человеком уверенным в себе и абсолютно негибачимым.

Муж ее Иван Степанович — раз уж речь пошла на личности — владелец собственного обо всем на свете мнения и любитель послушать себя. Супруга для него — всегда экспортный материал, и частенько в речах его угадывается обида на род людской, что не разглядели, какое чудо ему досталось и как, следовательно, отличен он перед людьми.

— Вот, не давала косить, вас ждала,— смущаясь, распахнула тетя Дуся клин переспелой остистой пшеницы. — Моя озимая твердая. Районируют.

Надо было восхищаться. Удивляться. Сыпать вопросами, по крайней мере.

— Усатая какая,— нашлась Катя. — Поздравляем. Блеск. Долго выводили?

— А какая урожайность? — как мог реагировал Валентин.

Пауза была не больше, чем дядя мог вытерпеть.

— Валентин, ты ж сельский хлопец, — сказал обиженный Иван Степанович. — Говорят же: твердая и озимая. Это ж горячий снег. Разве твердая пшеница зимует?

— Не-е! — блеснула эрудицией Колька. — Она ярова-а-я!..

— Чудо, — погладил колосья Иван Степанович. — Не очень большое, переворота не жди, но белок выше мыслимого, макароны — золото. Хоть куда вези — узнают: «Да это ж азовская «арнаутка»! Гляди — вспомнили, возродили, еще и на рынки ворвутся...» А что она озимая — мы молчок.

— Ваня, скажи Полуботке, чтоб убирал. Возить на центральный ток, — скрывая расстройство, сказала тетя.

— Тетя Дуся, я подотстал, давно весь в железках, рейс за рейсом, — вроде извинялся Валентин.

— А говорил, ты зерно возишь? — спросила тетя.

— Вожу. Как извозчик. Мне, честно сказать, без разницы, какая она там — твердая, мягкая... Вымыл танки после нефти, сыпанули тебе сто тысяч тонн...

— Сколько-сколько? — иронично спросил Иван Степанович. — Своим-то не загибай.

— За рейс привозим сто тысяч тонн.

— Ну кому городишь? Я целым опытным хозяйством сдаю в год пять тысяч. Ты можешь представить, что такое сто тысяч тонн зерна? Здоровый район столько не заготовит.

— Катя, хоть ты заступись, — досадовал стармех. — Что я, своего парохода не знаю?

— Дядя, а сколько надо ему возить? — повела к разрядке Катя.

— Нисколько! Продавать надо, как всегда продавали! — дядя.

— Тебя ж, Валечка, учили возить туда, а ты возишь от туда, — упрекала тетя.

— Это я придумал! — вскипел стармех. — Себе вожу!

— А зачем дураков искать? «Сто тысяч тонн»! — не мог успокоиться дядя.

Погасил первую вспышку звук печальный, забытый, сладкий — далекий гудок паровоза. Из глубины степи, из-за куц доносилось: угу-у-у... чуф-чуф-чуф-у-у-у...

— Ой, где это, господи? — встрепенулась тетя. — Неужели осталось? Я ж так это любила. Нет, не любила, а когда одна в степи вдруг услышишь, так сдавит тут и к глазам подступит...

— Знаю, тетечка, ой как знаю, родненькая, — припала к ней Катя.

— Угу-у-у, прошла жизнь, — вздохнула тетка. — Когда? Ну когда?..

За «Жигулем» у края пшеницы, на убитом черноземе дороги Колька испытывал подарок — американский паровоз из тех, что снимают в вестернах. Модель с трубой бочонком гоняла коромыслами ведущие колеса: чуф-чуф-чуф...

Если интересно, точно такой паровоз был в Переделкине, у Корнея Ивановича Чуковского. Все он охотно раздаривал, но эту игрушку оставил у себя: один запускал в верхней комнате и слушал. Угу-у-у...

IV

Усадьба тетиного дома. Виноградная беседка-навес, летняя кухня, колодец, плодовый сад. Подготовка к вечернему пиршеству: Иван Степанович с Валентином сколачивают дощатые — на козлах — столы, потом поведут электри- и радиофикацию территории. Катя с теткой чистят прудовую рыбу — карпов и толстолобиков.

Только северные гости — двоюродный племянник Антон и жена его Галя — не прерывают заготовок. Тут целый консервный завод: варенье варят и разом закручивают в банки всякую южную всячину.

— Я еще сотню крышек достала, — воркует Галя, — можно донского салату закрутить, томатного соку, немного вишневого компоту. И знаешь что? Хочу раков попробовать, а? Ведь как замечательно: придут на Новый год, а у нас раки!

— Везти как? — буркнул Антон. — Тебе ж контейнер надо.

— А кой тебя черт в Уренгой занес? Сидел бы — и не возил.

— Кузьминична, брезент привез, сгружайте! — кричат от ворот.

Это Костя, по-уличному Интересный, он на «Беларуси» с прицепом. Брезентом можно укрыть пол-усадыбы, в сущности, это передвижной зал приемов.

— К садочку давай, Костенька, и сразу натягивать, — распоряжается тетя. — Да ты хозяйнуй, а то у нас мужики квелье... Эх, рассказал бы этот брезент, сколько под ним пропито, сколько поголовья конец нашло. Свадьба — считай, триста, да два дня.

— Триста человек?! — ужаснулась Катя.

— Пар, доча, триста пар. Теперь так. А то осудят. У меня вроде какое событие? — а пар сто должно быть. Строители — ведь обещают школу сдать, — оросители, сельэнерго...

— Нўжники? — обобщила Катя.

— А жить-то надо, жить-то хочется? Я уж не считаю оркестр — полтыщи за ночь. Тяни, доча, помогай...

Костя брезгливо взял помидор из корзины, подкинул, бросил назад:

— Вообще-то не продукт это, а так, вода. Все крутят, как с ума посходили. Я его свежим не кушаю. Зачем? Девяносто процентов H₂O. Я его люблю зимой из бочки, чтоб он не красный еще, а розовый был, целенький, тугой, как яблоко, острый, не сок, а мясо, да чтоб укроп и вишневый лист в рассоле, и перчик болгарский, и чесночину-другую положить, сельдерю — то бабы знают. И не клади ты их мне мало, не порть аппетит — положи мисочку с горой, чтоб было из чего выбрать, чтоб я не волновался, тогда — да-а, лучше закуса нету...

Антон проглотил слюну.

— Мне в Тюмени бананов легче достать, чем таких розовых.

— Парадоксы роста, — вздохнул Костя.

— Костя, тебя прям не узнать — поздоровел, налился, — поразилась Катя. — В девятом классе такой шкет был, в волейбол не брали.

— Вас кормить тоже сила нужна, — солидно отвечал Костя.

— Так это ты наш кормилец? — захлебнулась в восторге Катя.

— А тогда кто? Класс разбежался, а тонну зерна на каждого добудь.

— И ты ж вроде уезжал? — вспомнил Валентин.

— Магнит родных полей. Меридианы страды, — ответил Костя. — Должен же кто-то колупаться.

— Кому это ты должен? — спросил Валентин. — Мне — нет.

— У Кости теперь теория, — улыбнулась тетя. — Люди делятся так: одни — моргуны, а другие... как? Все забываю.

— Хватугаи¹, — буркнул Костя, не отрываясь от дел.

— ...хватугаи. Моргуны — те безответные, хоть воду вози. А хватугаи...

— Хапают? — угадал стармех. — Города, заграники, газопроводы — все захапали?

— Не обязательно, — хотел объективности Костя. — Есть и из сельских, которые... знают два запрета: не ходи домой пустым и не поднимай ничего тяжелей стакана.

¹ Слово придумано Н. Н. Вороновым.

— Ой, Кость, так я — хватугайка? — заливалась Катя.

— Жена есть жена, какой с нее спрос, — отвечал теоретик.

— Костя хочет ввести трудовой налог, — сказала тетьа.

— На хватугаев? — догадался Валентин.

— Не налог, а... Ходишь по земле — работай. Просишь лопать — попопей, — объяснил автор теории.

— Поколупайся, — поправила стармех. — Добавь еще: «Хлеб — всему голова».

— Вот над этим я б не смеялся, — вступил Иван Степанович. — Твой корабль вышел в путь, видит айсберг и сворачивает, даже назад может повернуть. А я посеял — и триста дней до уборки ни повернуть, ни затормозить, а столько айсбергов! То засуха, то мороз, то совка, то корневая гниль, то ржавчина, — знали бы вы, мариманы!..

— Я о другом! — вскипел стармех. — Чистый воздух, вода — тоже ведь проблема, экология всех держит за горло. А энергетика?..

— И ты на пути можешь петлять так-сяк. Твое право, лишь бы груз был цел, — не слушая оппонента, гнул свое дядя, — а у нас все расписано. Шаг вправо, шаг влево — и без предупреждения тебя... Вот Рябокопя тамадой посадим — помнишь его?

— Председатель? — неохотно вспомнил Валентин. — Со Звездой, на одной ноге?

— На одной и еще Герой, но уже не председатель, — вздохнула дядя. — Укатали сивку... на пять лет. Но пока Звезда при нем — ездит, кассации пишет.

— За что? — стармех.

— А за крыши. Кровлю колхозникам покупал...

— ...у спекулянтов? — предположила Катя.

— Вся Афанасовка цинком сияет, любо-дорого. А спекулянтов, Катюша, давно нет. Откуда же — ведь прямое фондирование. Выручалы есть, агросервис тоже, а спекулянтам нету почвы. Я вот школу строю, без нового здания петля, а как выпутаюсь?.. Звезды-то нету, и ноги пока две...

Костя стремянкой и башмаками давил спелые абрикосы, устилавшие землю под кроной. Антон терпел-терпел и бросился наконец с ведром:

— Ты по чему ходишь, идол? Я по пятерке кило плачу за такие в сезон, а ты ходулями своими... раздолбай. Обещал я тебя взять в Уренгой, так ты же весь газ в океан выпустишь. Хоз-зьян, рот раззявил...

— Кто восемьсот в месяц огребает, и пятерку может отдать, — крепя киловаттную лампу, вещал Костя. — А мне таких денег нельзя. Социально опасно. Я ж тебя даровым хлебом должен питать.

— Сам пропитаюсь. — Антон собирал остатки.

— Газом? А на двор ходить — дымом?

Смех, довольно дружный, означал победу Кости. И дурацкие хватугаи, и бесконечные моралите, и перспектива похмелья в чужом пиру — все это порядком взвинтило Валентина.

— Человек за бортом? — задал он вопрос Катерине.

— Круг, тревога, поворот! — назубок отвечала подкованная жена. — Потерпи-потерпи-потерпи, через день, через день, — спела на пугачевский мотив.

Она на заднем сиденье «Жигуля» раскладывала гостинцы.

— Дядьке не мал будет? (Речь о штатовской сине-бело-красной кепке с длинным козырьком.) Антону — зверюгу (майку с тигром) и «Жиллетт»... Это Гале. А Косте?.. Что это такое? (На майке — жуткая рожа и надпись: «Dangerous: sexual maniak!»)

— Для розыгрыша. Сексуальный маньяк, осторожней, мол, — объяснил стармех.

— Деньги швыряешь... — упрекнула Катя.

— Ой, что ж я,— спохватилась тетка.— Ваня, а я ж Полуботька не пригласила.

— А этот сам не пойдет,— Иван Степанович. — И его Настю на аркане тащить надо.

— Как нехорошо вышло,— тетка. — Ты, Валя, должен его помнить. В конце Овражной жили. Он на отцовом плане и построился. Все доверить можно, мой помощник...

— Был! — возразил дядя. — Теперь уже мой. Звеньевым сделали, пробуем бригадный подряд. Потеряли чувство хозяина, а где искать — черт знает. И как оно теперь выглядит?

— Я за ним съезжу,— вызвался Валентин.

— Обмолотит твердую, пусть ставит комбайн — и к нам. Хоть в полночь,— тетя.

Полуботько, комбайнер из коренников, косил теткино юбилейное диво. Был он пропылен так, как и представить не может человек, глядящий одни фото газет и теленовости: серый, как домовая, марлей закутан по самые глаза, а в глазах видны одни белки...

— Как сыпет, Андрей Филиппыч? — приветствовал стармех.

— А ничего,— открыл дверь кабины комбайнер. — Под сорок, наверно. Она ж тяжелая, как песок.

— Дай проехать,— вдруг соблазнился моряк.

— Так запыхнешься же,— улыбаясь, уступил тот место.

Это было наслаждением. Хедер брал полной охапкой, промолачивалось чудно, текло в бункер ливнем — одно удовольствие.

— Ап-пар-рат! Здорово тянет! — похвалил стармех.

— Седьмой сезон. Сам ремонтировал. Мне ж все склады открыты! — хвастался комбайнер.

— Как добился?

— Да как? Тридцатка премии — это, считай, сколько бутылок? И зарплату тоже в Сельхозтехнике оставил. Сало, конечно, из дому... Тут на первую пониженную,— скомандовал из-за плеча.

— А на новый комбайн не садят?

— За что?! — возмутился Полуботько. — Прогулов нет, брака не делаю — и новый комбайн? Сам собирай, терпи, пока выломается,— да я лучше тоже уйду в Сельхозтехнику... И ты ж там у себя, наверно, ремонтируешь?

— Другие масштабы,— ответил стармех. — Двадцать три тысячи сил в главной машине.

— Это ж какие премии нужны! — вздохнул комбайнер.

Валентину уборка обернулась такой веселой и сладкой, что следующее должно казаться нам вполне вероятным.

V

Пир был в зените.

Если бы не анархия хуторских посиделок (а она все же чувствовалась), он, пир, был бы гибридом собрания актива и концерта вокально-инструментального ансамбля, ВИА.

Нужные гости говорили вроде бы разное...

(— Я говорю сейчас не как строитель, а искренне, что думаю,— начальник СМУ.

— Начальники районных отделений по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства приходят и уходят, а народ остается,— шеф Сельхозтехники.

— И коллектив заготовителей заверяет дорогую юбиляршу: будет у вас — будет и у нас!..)

...а дарили одинаковое — закарпатских резных орлов. Видно, забросили партию в раймаг. Колька раскрывал коробки и выстраивал кустарных хищников в тесный летучий круг. Мальчик имел право

шерстить подарки — первым в ряду даров уже стоял заветный паровоз.

Тамада Рябокоть, загорелый и подчеркнуто веселый, сиятельный, при Звездочке, дирижировал пиршеством с микрофоном в руке.

— Слово нашему Константину Петровичу, он же Костя Интересный. А разве не интересный? Рядовой механизатор, а кто крабов в океане ловил? Кто местами БАМ строил? Еще об одном таланте Кости вы сейчас узнаете.

Костя без слов вручил юбилярше картину. Было озеро в зеленых камышах, была алая заря, в ней — лодка, в лодке с удочками — Евдокия Кузьминична в парадном жакете, с орденом и медалями ВДНХ по лацкану.

— Как в зеркале, — растрогалась тетя. — С карточки, а как похоже.

— Любит рыбалку юбилярша! — Рябокоть.

— Жить-то надо, жить-то хочется! — тетя.

— Почему не со снопом?

— Да интереснее ж, когда человек за своим хобби!

— Костенька, а зачем с орденами? — выяснила Катя.

— Некого ж было спросить, — сыронизировал Интересный.

Только Полуботышко сидел молча. Присутствовал.

— Внимание, впервые на нашем экране! — объявил новый сюрприз тамада. — Внести чашу скифских царей! Эрмитаж нам, правда, только копию вернул, зато подтвердил: греческая работа, сплав золота с серебром.

И впрямь — подали светлого металла чашу с золотым барельефом в центре. Какую — в Новочеркасске можно взглянуть, в казачьем домике при Институте виноградарства.

— Древние греки от нас везли хлеб, а это — плата. Золото мерили талантами. Хлеба того давно нету, а талант — вот, пожалуйста, ничего ему не делается. Так и ты, дорогая Кузьминична, талант наш золотой. Пройдут сорта, все переменится, а талант твой ясный всегда будет у людей в руках. Домашнего сюда — и по кругу, по кругу...

— Теперь я знаю, как должен держаться настоящий мужчина, — шепнула мужу Катя. — На волоске от тюрьмы, опозоренный, искромсанный — а ты смотри! Как же я хочу избавить его от решетки...

— Избавь, — разрешил стармех. — Ты ж экстрасенс.

— Боюсь, сейчас меня не хватит...

— Не выйдет — молчок. Ты ж хотела как лучше.

Катя собрала свое желание в некоторый, скажем так, луч и включила запредельное напряжение. Что-то пахло, пролетело — и, если б сохранились в нашем быту свечи, можно было б отметить, что пламя свечей колебнулось.

И произошло.

— Иван Степаныч, Рябокотья! — вдруг позвал к телефону посланец.

Рябокоть на протезе проковылял к окну. И говорил с кем-то. И сообщил Ивану Степановичу — без ликования или восторга:

— Дело пересмотрено, хищение отпало, только нарушение финансовой дисциплины. Три года условно.

Облегчающее это слово — «условно» — полетело по застолью, рождая обмен мнениями, и только у одной Кати возник вопрос:

— А тем? Кто тройную цену взял, тем что?

— О-о, — махнул Рябокоть, — то ж нужно следствие, чуть не новое дело. Стрелочник сидит, а кто за ним... Тут, дочка, Чека нужна.

Стармех встретил жену со смехом и почтением:

— А ты правда маг. Расскажи — не поверят.

— Удалось-то процентов на тридцать.

— Продублируй.

— Что ты, я вся пустая. Надо бы посадить тех мафиози, да ведь уезжаем.

— Поедем. Честно сказать, я сыт гостеваньем,— признался Валентин.

Подоспел дядя с полной скифской чашей.

— Видишь, Валя, что значит хлебное золото! Две тыщи лет отаежало в кургане, а все равно своим служит. — Он резко понизил голос. — А ты... почему платишь?

— Как считать. Дубленка годится?

Дядя тут же обратился к народу:

— Эй, бабы, дубленка нужна? («Кто продает?») Только платить хлебом. («Новая или ношенная?») Три тонны просят, ну? («Примерить бы... А деньгами — нет?») Валя, дадут три, не уступай!.. А за машины? За стройматериалы? Деньги — дым, разве в них счастье? Материальный интерес — это ж интерес к матерьялам, голова! А ты куда-то отвозишь, отвозишь... Пей, — совал чашу дядя.

— Сыт. По горло. Из ушей льется, — отбойрился стармех.

Чашу терпения переполнил шеф Сельхозтехники.

— Друзья, кто накрыл этот стол? В широком смысле, а?.. Все мы нахлебники у пахаря. Давайте объективно, даже мы, Сельхозтехника. Не будет у него ломаться — что нам чинить? Не будет он машины списывать — кому продавать новые? Если все здоровые, зачем врач? Тогда его долой! Шутка, конечно. Для оживления. Но хлебороб еще не поднят на нужную высоту. Робко еще говорим: «Хвала рукам, что пахнут хлебом!..» За тех, кто в поле. Нахлебники пьют стоя!

Лихо подхватились дарители орлов. Костя сел, а Полуботько почему-то встал. И Валентин, подавляя бешенство, уселся как можно картинней.

— Видите, Евдокия Кузьминична, даже в семейном кругу не все понимают, — отметил шеф-нахлебник. — Что ж от молодежи требовать, если у зрелых вон какое почтение к хлебу!

Тогда-то «дед» танкера «Академик Вернадский» сказал. Сидя сказал, тихо, но все вдруг стали слушать.

— Я судовой механик. Когда все в порядке, меня вроде и нет. Я виден, когда барахлит машина. А барахлит, если я плохо работаю. Я хорош незаметный. Когда глаза не мозолю, а пароход идет. Меня держат за незаметность! Каждый должен знать одно дело, но настолько, чтоб быть незаметным! Не так? Ладно. Но вот мне говорят — нахлебник. Это, мягко говоря, наглая ложь. Себя и свою семью я всегда прокормлю сам. Сколько на год надо — тонну на человека? На меня, жену, сына двести тонн хватит? Под завязку, как говорится, а? Так вот, я сейчас, в эту уборку, могу намолотить двести тонн хлеба. И чтоб потом ни одна цаца мне никаких претензий!.. А не сделаю — я последний трепач и позор семейства.

— Валентин, руку! — в декабристском порыве бросился к нему Антон. — Я тебя уважаю! Это ж подумать: зелень, силос этот, возвели в первый дефицит. Здесь гниет, а стройка века Уренгой — Ужгород мается без овощей!!

— Так шо, пари нада бить, так я понимаю? — спросил Павел Корнеевич из заготзерна, такой давний заготовитель, что его так и звали: Пал Корнейч Заготзерно. — Кто будет? Усе воздержавшиеся? Ну тогда я буду.

Он поднялся и с неожиданным для «деда» добродушием произнес:

— Это оттого у тебя, сынок, что рано с колхоза утек. Нету опыта низовки. Я, правду сказать, тоже не задержался, с сорокового года уже взяла в район. У районщика судьба скачкообразная, кем только не бывал... Так ты говоришь — двести тонн? А чего?

— Пшеницы, — сказал стармех.

— И чтоб самому ее есть?

— Я ж сказал — с семьею.

— Хрен тебе, ни за что не сделаешь. Объективные условия не позволят,— улыбнулся Заготзерно и протянул широкую, как деревянная лопата, ладонь. — Кто разобьет — ты, кум?

— Проиграю — что с меня? — протянул руку и «дед».

— Отпуск потеряешь — то тебе и штраф.

— А если выйдет по-моему... Ты пойдешь вместо меня в рейс! Старшим механиком! И сам будешь на борту, а я тебе спасательный круг приготовлю.

Засмеялись, но всем понятно было, что произошел скандал. А ничто так не оживляет гаснущий пир, как добротный скандал, о котором можно потом подробно рассказывать.

Тетка и Катерина сгорали со стыда. Допились, будьте вы не-ладны!

VI

«Утро туманное, утро седое...»

Стояли они — Иван Степанович, Валентин и Константин с Полуботьком — перед остовом «Нивы», заросшим лебедой и полынью. Машина, ясное дело, была жертвой каннибализма: ее съели. Полуботько аттестовал мертвую «Ниву» так:

— Вот совсем новенький комбайн, и сезона не отработал.

— Ты ж говорил — на ходу? — смутился даже Иван Степанович.

— Я говорил — на балансе! Хаопцы покулачили немного, а так машина — зверь.

— Кто ж это снимал? — спросил «дед».

— Кто — люди! У меня самого подшипник полетел — что, стоять в уборку? Снял и поехал,— сказал Костя. — Видишь, как хлеб достается? Ты все по капиталистам ездешь...

— Если б ты у капиталиста так же вот снял, он дал бы тебе только один пинок,— сказал «дед».

— Почему один?

— А для второго тебя было б уже не догнать.

— Вот мы его и пнули в семнадцатом году, чтоб уже никогда не пинался! — засмеялся Костя.

— Успеет он подчинить и поработать? Хоть недельку, а?.. — Ивана Степановича явно мучила совесть.

— Все ж от человека! — отвечал Полуботько. — Генератор достать да топливный насос, ну форсунки, конечно... Водяную помпу...

— Трубки топливные... свечи... А ремни клиновидные? Фары? — открывал и открывал для себя Валентин. — Стоп, аккумулятор где?

— Аккумуляторы — дефицит,— покачал головой Иван Степанович. — В районе поштучно делают.

— А остальное?

— И остальное,— согласился Полуботько. — Но не бросим же. Будем помогать.

— Да, одни — коники выкидывают, другие — спасай их,— укол Иван Степанович. — Костя! Иди ближе,— позвал он Интересно. — Слушай, считай моей просьбой. Пойдешь к мариману штурвальным.

— Не-а. Не сработаемся,— отказал Костя.

— Ты ж не чужой. Да тут и политический момент есть,— жал дядя.

— А чего он выступает, как тот?..

Валентин уже не слышал — на «Жигулях» примчалась Катя.

— Ну? Сбежал... Делать-то теперь что?.. Приходило тебе в этот волосатый набалдашник, что мне сюда приезжать, что тут вся родня! Гордый какой, скажите... Думаешь, на пьянку спишут! А тете Дусе как? Выкормила зятка, осрамил на весь район...

— Катюша, реализуй путевки.

— «Реализуй!» То было — «Катя, подожди, Катя, сходи сама», теперь — «реализуй»? Хватит! Я еду в Пицунду, а ты можешь тут выдрючиваться...

— Катя, — сказал стармех, — реализуй путевки. Не торопись раздавать подарки. Сюда завезла меня ты, увезу тебя я.

Это была речь не мальчика, но мужа. Того самого, что проходит на «Вернадском» из Нового Орлеана в Новороссийск ровно за двадцать суток, ни часом больше. Бирюльки закончились, и Катя, минуту назад кипевшая, поняла это. Она сказала «йес, мастер», чмокнула своего мастера в щеку и натянула на него сине-красный знакомый кепарь.

И стал стармех Валентин Кравчук похож на рекламного фермера из журнала «Ю. С. фермер», что в реалиях польного машинного двора было несколько комично.

— Ты думаешь, я запомнил, как ты себя безобразно вел? Выкинь из головы. Галиматня, — уверял шеф Сельхозтехники в своем очень модерновом, к стати сказать, кабинете. — Мне твой характер даже нравится. Семенюта, зайди, — сказал он в селектор и бегло просмотрел заявку Валентина. — Аккумулятора, прямо говорю, не будет. Ремни клиновидные сам ищи. Фары посмотрим.

Вошел Семенюта, и шеф взглянул на него, зачем-то надев очки.

— Вызывали, Михаил Васильевич?

— Генератор на «Ниву» найдем? Вот человека выручить. (Семенюта: «Откуда?») А из моего фонда? («В субботу последний отдали...») Топливный насос, м-м? («Только после уборки...») Да нам не после, а сейчас нужно! Хорошо — один комплект ремней?.. Черт, как ты живешь без запаса? — Шеф снял очки, поиграл ими. — А фары? Свечи? Трубки топливные?

— Это пожалуйста, пусть оформляют, — закивал Семенюта.

— Ладно, иди, — отпустил кладовщика шеф. — Да, так я говорю — в чем диалектика? Надо, чтоб все крутилось, лупят же в хвост и в гриву. И надо, чтоб оно же ломалось, а то откуда план по ремонту? Сейчас эвээм устанавливаем, пускай она думает. Кстати, земляк, не достанешь через свои каналы перфоленту?

— Попробуем, — ответил Валентин. — Запишите какую.

Шеф черкнул на листе и на секунду задумался.

— Чтоб уж сразу... Фотобумагу на «Полярюид», а? Моментом карточка, ну да ты знаешь. Сделай, а? Я пишу. И сеточку на бритву «Браун синхрон», ладно? Она там ерунду стоит...

— Пишите, — обреченно сказал стармех.

— Значит, договорились! — Шеф проводил его до двери. — Крупное ищи — за мелочовкой приедешь. Я тебе там баллончики для «паркера» записал, но это не к спеху...

— Пошел по шерсть — вернулся стриженным, — сказал Валентин терпеливо ожидавшему на крыльце Полуботьке. — Вот поручений надавал.

— В очках был? — спросил комбайнер.

— А черт его... Стой, в очках!

— Тогда на складах есть. Пошли искать кума.

Кум Полуботька был кладовщиком, а кладовщик есть человек тайны. Он не сказал ни единого слова, провел их какими-то стеллажами, потом прихватил Семенюту и повез неизвестно куда. Только приказывал стармеху пальцем — вправо, влево, а различные эмтээм, гарантийки и станционные склады райцентра появлялись вроде сами собой.

...Большой магарыч пили на заречной лужайке, которая звалась почему-то восьмеркой. Кепарь был так же ал и лазурен, пасть тигра

так же горяча, но первый покрывал голову Семенюты, вторая уже охраняла чрево кума.

— Один с женьшенем привозил, корень в бутылке,— говорил, огрузнев, Семенюта. — Омоложивает. А это?

— «Белая лошадь»,— наливал Валентин под салями. — Лорды пьют.

— Ну вот, до белых лошадей,— глубоко вздохнул кум. — А где же все-таки Полуботько?

— Он убирает,— сказал Семенюта. — Это святое.

— Мы с ним кореша с эмтэса. Он трудяга, Андрей. Безотказный. А я вот допускаю. Допускаю ведь? — горестно, но с надеждой спросил кум. Он вертел в руках дареный кубик Рубика и рефлексировал. — Нет, када это кончится? («Что?») Эти блаты, магарычи, подмазки? Ведь ты чего хочешь — хлеб убирать? Кому? Народу. Так за что ж с тебя дерут? Нет, ты не уклоняйся, не финти — почему?

— Вы меня выручили — и я от души... — выпутывался из странной ситуации стармех. — Вот аккумулятор бы, мужики!

— Нельзя. На особом учете! Так ты скажешь — почему с тракториста берут, с бригадира дерут, с колхоза-совхоза?

Валентин никак не мог подобрать утешения и молчал.

— Он в душе тебя не уважает,— предположил Семенюта.

— Тада забери назад ремни! Нехай катится отседа, раз не хочет по-человечески,— пригрозил капризный кум.

— Слушай,— доверительно спросил моряка Семенюта,— у тебя паспорт дипломатический? Нет — ладно. Хочу спросить. Не можешь — не отвечай, пойму. Правда, что тот перелетел через Ла-Манш... на велосипеде?

— На дельтаплане,— догадался стармех.

— На воздушном велосипеде? Ты мне доверяешь? Ну?

— К сожалению, да. — Стармех взглянул в глаза обоим. — Перелетел. И приз получил. И мы говорим об этом прямо!

— Ну вот. А ты еще не верил,— сказал куму довольный Семенюта. — Перелетел, зараза, без мотора. И приз в стерлингах...

Было не больше пяти утра, когда Полуботько, наскоро дожевывая, вышел из дому. Торопился он к автобусу, им от конторы везут комбайнеров.

Носом в калитку уткнулся «Жигуль», в нем спал Валентин.

— Ты чего, сосед?

— Упустить боялся,— пришел в себя стармех. — Все собрал — аккумулятора нет! Андрей Филиппыч, будь отцом родным, дай на неделю. У тебя есть.

— У меня? Та ты что? Та откуда он возьмется? Та кто тебе сказал такое? От же люди...

Отругавшись, комбайнер, глядя в сторону, спросил:

— Интересный натравил? То у них в роду. Еще дед ходил раскулачивал. — И тоскливо вздохнул: — Пошли посмотрим.

Прошли они мимо стада гусей, мимо утят-цыплят в пристройку. То есть в мастерскую. Лучше сказать, на склад. Точней всего — в микромузей, где скоплено было практически все, чем двигалась механизация социалистического сельского хозяйства последние десять пятилеток.

— Вот это загашник! — ахнул стармех. — Да у тебя на три «Нивы» хватит.

— А-а-а там, «хватит», один металлолом,— не принял похвал хозяин. — Уже и машин тех нет, а запчасти бережешь... Вот старенький восстановил, только зарядить — бери, покрутит.

Черный пластмассовый сундучок был самым ценным в этой пещере Аладина. Трехпудовую тяжесть стармех поднял как пушинку.

— Хороший ты мужик, Филиппыч.

- Та ладно, пошли...
- Нет, серьезно, отработаю!
- Не-е, милоч, моей работы ты делать не станешь...

Реанимация «Нивы» протекала на привычном для нее месте. Только бурьян Костя выкосил, Валентин натянул от солнца тент, а Катя — русские женщины! — последовала за мужем и стала мыть-стирать. В корыте. Разве что не в воде — в солярке, и не белье, а звездочки, подшипники, валы.

— Костя, ты свет тащи, свет, — снизу, из-под коробки, командовал стармех. — Будет свет — часов до трех займемся.

— А там уже светает, ага? — ответил небритый, похудевший Костя. — Гонишь как скаженный, а куда? Тут на декаду работы — это не разгибаясь. В опхозе уже обмолят...

— Ты жарь — рыба будет... Если послезавтра не заведем комбайн — мы банкроты, — сказал Валентин.

— Сразу видно, на хлеб ты не зарабатываешь. Настоящий мужик так рваться не будет. То такое, — махнул Костя. — Кино.

— Дай на девятнадцать. — Стармех протянул руку. — Повкальвали бы так, не разгибаясь, не воруя, не халтуря, одну пятилетку все — и никакой тебе проблемы...

— А что? — спросил Костя.

— ВДНХ, ага? — догадалась Катя.

— Обыкновенная жизнь, — ответил «дед».

— Если засуха и мороз, как позапрошлую зиму, так ты хоть вытянись тут — все пойдет псу под хвост, — сказал Костя. — Кто это понимает, тот крестьянин, кто нет — шеф.

— Костя, почему сюда еще птицы прилетают? — спросила Катя. («Какие?») Перелетные. Скворцы, ласточки... Только и слышишь: то мороз, то сушь, то бури, то еще какая холера — не земля, а гибрид пустыни и тундры! А они, глупые, все летят из других стран и летят. Не знают или не верят?

— Зерна много оставляем, вот и летят, — парировал Костя. — Это вы в городе можете про птиц думать, нам на ум не придет. Вот ты, — обратился он к Валентину, — плаваешь, видишь — где-нибудь так вкальвают, как нам достается?

— Сколько я там видел! — пожал плечом Валентин. — Знаю одно. Фермер работает восемь часов...

— Во! — обрадовался Костя.

— ...до обеда. И столько же после. В трубу вылетают, это точно. Но не жалуются. Некому!

— А у нас кому жаловаться? — Костя.

— Мне! — воскликнула Катя. — Ты исполняешь очередной плач Ярославны — и я, городской служащий, все бросаю и... шефствую.

— Раз можешь бросить — бросай. И подальше, — сказал Костя. — Крестьянина работа мучила. А шеф работу мучает.

— Хорошо врезал, один — ноль, — одобрил стармех. — Только ты свет тяни, свет!

...И ночью, когда на огонь их киловаттной лампы явилась тетя с ужином, споры-разговоры, несмотря на усталость, продолжались.

— Ну, полуночники, вареников с вишнями! Совсем замучил моряк нашего Костю, давайте-ка, — растелила чистый рушник тетя.

— Да-а, — кряхтел Костя, умываясь, — хорошее дело уборка, да черт ей рад. Скорей бы кончалась.

— Я, Костенька, малая была до колхозов, — отвечала, хлопоча, тетя, — но хорошо помню... Уже на табор брали. Братья наломаются за день, лежат пластом и то же: хотя б, мол, скорее кончить. А отец: «Не мужики вы, нет! Мужик да чтоб устаа молотить свое? Зер-

но в руки плавает, а вы — хватит, кончить. Нет, не мужики — боржомцы». Это тогда так алкашей называли — боржомцы.

— Так отец же свое молотил, — заметил Костя. — Он же раб был. Мелкий собственник.

— «Мелкий!» Ты бы с ним не выдержал. Сейчас жадность до работы — большо-ой дефицит!..

Мотнувшись за мелочовкой к знакомому теперь куму, Валентин решил навестить и Полуботька. В самом деле, надо же как-то расчитываться, а человек не такой, чтобы всучить тигра на майке.

Прифермское поле, где надо было искать Полуботька, носило странное имя — конвейер. То, что стармех на этом конвейере увидел и, главное, учуял носом, враз охладило его пыл.

Андрей Филиппович поливал рядки кукурузы жидким коровяком. Тучи желтых мух покрывали тут все: и ассенизационную машину, которой брали зловонную благодать из отстойника, и цистерну, и трактор, и кирзачи самого Полуботька. От Андрея Филипповича — а он обрадовался, но смутился — тоже несло так, что Валентин удержался, не протянул ему руки. Стыдново, да что делать.

— Что это вы, ребята, вроде золотарей?.. — спросил Валентин.

— Да все ж Иван Степаныч! — Полуботько достал сигарету из пачки губами, без рук. — «Бери да бери подряд». А взялись, так надо ж хоть самим поглядеть, что может выйти.

— Так подождали бы, когда навоз перепреет.

— Ва-аля-аа! Да у них этот ставók год за годом прорывает, все ценное в балки идет, дивимся потом, чего это рыба дохнет! Сразу бы вносить — мараться неохота. Ну кого заставишь так вот, как мы, дерьмом дышать? Он тебе и в профком подаст, и в газету напишет: унижение! Я вот ребят в звене насилу уговорил. Хотим успеть со второй подкормкой. А растет так, что тянуть нельзя, скоро «стоп!» нам скажет.

Участок этот всегда занимался зеленым кормом, оттого, рассказывал Полуботько, и название ему — конвейер, зеленый то есть конвейер. А этот год с Иваном Степановичем подписали договор: гнать кукурузу на зерно, венгерские гибриды дали, гербициды от сорняка, все пока путем.

Кукуруза была необычайно, до черноты зелена, листья посверкивали на солнце, в растениях чувствовалось что-то акселератское.

— А... зачем это тебе, Андрей Филиппыч? — неожиданно для себя спросил стармех. — Целое лето такая вонь — ты ж классный машинист, человек железки!

— Зачем?.. Сложилось бы так, как весной обещали, я б дочке на кооператив внес. Мучаются с мужем. А от железки той что толку? Ну крутится у меня все, ну вертится, а ведь тоже утекает куда-то. Хоть самому проверить... Иван Степаныч это поле в зерновые так и не переводит, все конвейер да конвейер, а мы вот влупим центнеров по сто — не хренашеньки, а? Та по восемьдесят — и то навар!

Стармех кивнул, вздохнул, простился.

— Что, сюда проситься не станешь? — засмеялся Полуботько, прощая неловкость.

Возвращался Валентин с досадной мыслью, что его затея — явное баловство, что есть в сельском занятии пределы, какие он уже перейти не захочет.

...Внешне это напоминало вступление в страду, на деле же было выявлением дыр в решетке.

Двигатель запущен. Молотилка включена. Валентин в кабине — «давай, не жале-ей!». И колосья летят на хедер, барабан бьет сухую

массу в пыль и солому, полная патетика, марш из «Кубанских казаков», и вдруг — стоп. «Нива»-то стоит на месте! Более того — на брезенте стоит. Хлебную массу бросал вилами Костя. А теперь втроем, с Иваном Степановичем, они исследуют каналы потерь.

— Вон курганчик...

— И тут сыплет, смотри...

— Валентин, вот сильная течь. Заделывай.

— Понимать надо так. Спустили на воду корабль, команда ликует, а ей по радио: «У вас там-то течь, там-то шов разойдется, дело ваше, конечно, но кто хочет к женам вернуться, пускай сам заделывает», — догадался стармех.

— Да вроде того, — согласился Иван Степанович. — Ты помножь на все гектары и на все комбайны. Всем Морфлотом привезешь ли ты столько, сколько уходит в эти курганчики?..

— Я загадал: если ты вытянешь, значит, выгорит и мое дело, — признался Костя. — Ты ж понял, чего я к тебе штурвальным пошел?

— Предполагаю, — сознался Валентин. — Но не уверен.

— В чем?

— Что Морфлоту позарез нужен именно Костя Интересный.

— Да это он мне нужен! И не так он, как «двадцатьчетверка» с кузовом. Мечтаю. Лелею! Люблю!! Устрой походить, земля!

— А как же газопровод? Вроде ж с Антоном...

— Перетопчутся. Мне б на годок-другой.

— Я не управление кадров. Но...

— Понял. Пока — долгоиграющая.

— Ой, молодец, прямо в десятку, — принял взятку стармех и позвал жену: — Катя, давай скорей, спускаем на воду! Ты крестная мать...

Был некий оргмомент (надо было шнуром привязать бутылку к «судну», чтобы потом, отпущенная, она могла расколоться о выгрузной шнек). Команда замерла на мостике, и Катя произнесла в должных тонах:

— Нарекаю тебя, судно, отныне и до твоего конца честным именем «Надежность». Послужи ты твоим хозяевам верой и правдой, и да сопутствует тебе удача на всех морях.

Осколки от борта, рев ста лошадиных сил — и вот тут уже правду: мотвила, как жадные руки, стромкий поток хлебной массы, ручей зерна в бункер и пыль, пыль. Такая пыль, какой солдаты Кинглинга сном-духом не ведали.

Убирать — это чтоб не ломалось, раз. Чтоб не стоять с полным бункером, когда нет грузовика, — два. Первое зависит, скажем так, от тебя, второе — от обстоятельств.

У наших шло на лад. Валентин освоил защитные приемы Полуботька — замотался марлей по самые глаза. Костя героически преодолевал трудности безо всего — как и подавляющее число из миллиона четырехсот тысяч стоящих на комбайнах нашего государства.

Полный бункер. Валентин включил мигалку, вышел, не глуша мотора, на мостик.

— Да где же этот чертов Лешка! — ярился стармех. — Загораем, загораем, на час работы — час простоя.

— При чем Лешка? — отвечал Костя. — Элеватор! Очередь, наверно, от забора до обеда. Они сейчас короли...

— А как зерно, считаешь? — Валентин взял пшеницу на зуб.

— Ха, чудак, — мотнул головой Интересный — Тебе-то какое дело? Считать тебе надо тонны! Пускай хоть песок морской сюда сыплется — нам даже лучше, тяжелее.

— Та-а-ак. — Валентин злился на простой, а срывал зло на Косте. — Ты в самом деле интересный. Засуха, говоришь, тебя не касается...

— Я говорил, что получу свою гарантию. А ты б хотел, чтоб я сразу несся в Ташкент, город хлебный?

— ...какое зерно, не касается. Откуда ж ты такой... неприкасаемый?

— Оттуда. От верблюда! Жизнь надо знать!

— Тогда на море ты опасный человек. С тобой акул покормишь. («Это почему?») Там на течь в трюме любой реагирует одинаково — что капитан, что кок, что боцман. Иначе давно бы весь флот перетоп.

Наконец-то примчался шофер Леша. Костя включил выгрузной шнек, стармех напустился на водителя:

— Тебя где носит? Полдня прошло — пять бункеров, ты нас резать хочешь?

— Та вы б посмотрели, что там, в заготзерне! — орал шофер. — «Кировцы» понаперли, затор, я и то пролез без очереди...

— Так мы прогорим, надо принимать меры, — сказал стармех.

— Та шо там от нас зависит, — махнул Костя.

— Дома? И чтоб не зависело от нас? Ты часок продержись, я на одной ноге.

Влетев в теткин двор, Валентин, еще пыльный-грязный, крикнул:

— Катя, английский костюм далеко? Давай. И папку, найди у Ивана Степаныча потолще папку...

Через малое время на приемке у элеватора появился новый уполномоченный со своей секретаршей. Он поднялся на мостик лаборанток, окинул ситуацию строгим и взыскательным взором, сказал секретарше:

— Запишите номера. Проведите хронометраж.

— Хорошо, Валентин Петрович, — отозвалась та.

...И прошел к шоферской толпе.

— Давно стоим, товарищи?

— Я уже три часа!.. Я с ночи!.. Безобразия, мурыжат тут... — Шоферов заводить не надо, накалены.

— А в поле комбайны стоят? — предположил уполномоченный.

— Конечно! А как же! Уже хлеб сыплется, а мы на привязи! Нервов не хватает.

(Разом шло и выяснение, кто есть кто. «Журналист», — уверял один. «Ты што, он из народного контроля!» — твердил другой. «Из ОБХСС», — сказал, мигнув, третий.)

— А почему вы так торопитесь? — вдруг спросил ревизор. — Главное ведь — уборка? Хлеб же на полосе теряется, а?

— Так первая заповедь... Сдавать надо...

— Не сдавать — продавать, — отчеканил прекрасно одетый. — А кто продает, тому ерепениться нечего, успеет. Хлеб всегда купят. Если у заготовителя сейчас нет сил принять с ходу — не надо. Мы ж в поле должны успеть, так?

— А как же! Вот-вот дожди лупанут!

— Так за работу, товарищи. Зерно — на тока, сами — к комбайнам! — приказал ревизор.

Очередь — налево кругом! — развернулась и пошла расползаться, потому что уполномоченный сказал именно то, что было на уме у любого шофера.

...Павел Корнеевич Заготзерно заполошенно кричал в телефон:

— Самозванцы, провокаторы какие-то! Развел агитацию, сорвал ударную декаду. Я сперва подумал, из народного контроля. Позволил — нет, у них все люди на месте. Приметы?.. «Жигуль» синий, не наши номера... Нет, сейчас очереди нет, но и график к чертям собачьим...

Иван Степанович звонил домой, тетке:

— Дуся, Катерина куда-нибудь на своем «Жигуле» ездила?.. За сахаром... А на элеваторе не была?.. Точно нет?.. Да ищут тут одних злодеев... Нет, не авария... Элеватор проучили, дай им бог спокойно удрать!

А утром Валентину был преподан странный урок человековедения. Они с Костей наводили обычный марафет (продували фильтры, чистили кабину, доливали масло), когда на полевой стан прикатила желтая милицейская машина. лейтенант стал показывать комбайнерам составленный по описаниям портрет вчерашнего смутьяна. Взглянув, стармех едва удержался от протеста. С рисунка глядел низколобый, с челюстью Муссолини, закоренелый мерзавец!

— Не попадался? — спросил и «деда» спутник лейтенанта.

«Дед» обомлел: это был сам Павел Корнеевич Заготзерно!

— Так что, моряк, пока держимся? Давай-давай, нам всем интересно, чем оно кончится. — И, понизив голос, добавил в сторону: — У которых нервы слабые, те фулюганят, хоть с поля их удаляй. Даже дисквалифицируй. Да жалко, не хочется. Мы ж в своей победе уверены, можем и простить.

Валентин молчал. И что, в самом деле, было отвечать?

— Конечно, кто спорит, возить зерно в склады должен был бы сам закупщик, — вовсе уж глядя в небо, сказал Заготзерно. — Но тогда я оставляю район без хлеба. У меня ж какой транспорт? Самого вон милиция возит... И очередь вещь нехорошая. Но начини я принимать без ограничений — сушилка захлебнется, зерно станет гореть. На государственном элеваторе и горит зерно — красиво? То-то. Думаешь, сам я не переживаю? Ты тетку спроси, сколько раз выступал в районе... Ну да ладно, время дорогое, топай... землепроходимец!

Если бы не ломалось и все шло тип-топ, работы было бы на четыре дня. От силы на пять! Если бы!..

Валентин сосчитал талоны (так учитывают отгруженные бужкера) и весело подытожил:

— Исключить твою долю, так за мной сто двадцать тонн.

— Считай и мое, мне эти игры до феньки, — отозвался Костя, пивший у бочки.

— Чужого не надо... Ты до заката гуляй, а потом меня подменишь. Я сойду на берег.

— В самоволку? — не поверил Костя.

— Свиданка.

— Кто? Я знаю? Мне доверяй — могила.

— И не проси, тут честь дамы.

В первых сумерках, до луны, Костя с мостика видел, как Валентин выехал за круг скифских баб, ожидая кого-то. Как к нему пришла, почти прилетела особа, узнать которую издали было никак нельзя. Кого ж это подцепил мариман и когда успел?

Валентин и Катя купались в лесном пруду. Лет сто назад перегородила глубокую балку, со временем берега заросли, ветви склонились к воде, угол оказался свежий, полный жизни. В этом старинном пруду — вот чудо! — вода не цвела.

— Как ты похудел чудесно, Валек, — у берега разглядывала мужа счастливая Катя. — Ни жиринки — и ракетки целы. Давай оботру... Боже, какой организм любимый...

— Сознайся, это ты наколдовала, а? Чтоб остаться, повкалывать, ну, честно? — целовал ее Валентин.

— Честно? Нет. Мне так хотелось к морю. Милый, я могу наколдовать, чтоб ты меня любил. Но не хочу. Синтетика, терпеть ее ненавижу.

— Еще колдовство тратить, — удивился стармех. — Иди сюда.

...Костя не вытерпел. Бросил к шутам «Ниву» и по-пластунски пробрался к нашей паре на десятка два шагов. Луна помогла ему узнать в зазнобе стармеха его жену.

Остервенело плюнув, Костя поплелся в поле.

Когда стармех вернулся, комбайн стоял. В кабине печальной вороной сидел Костя.

— Обломался?

— Хуже. Аккумулятор сперли! — И тотчас начал нести: — Я куда не отходил, вот только в посадку...

— Эх, моргун,— только и сказал моряк.

VII

Шумел-горел базар в Ахтырске! Что ваша Сорочинская ярмарка в сравнении с негласным торжищем у перекрестка двух трасс! На багажниках и капотах, превращенных в прилавки, на прицепчиках и прямо в полыни лежало все, что видится автолюбителю и профессионалу водителю в цветном радостном сне. Запчасти новенькие, в солидоле и пленке, только-только со складов и баз, и детали поработавшие, каким больше верит изнуренный искатель. «Скаты-скаты-скаты»,— журчало вдали. «А крестовину?» — слышалось справа. «Фары-фары-фары»,— доходил соблазн слева. Экзотика, Сухаревка! «Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух...»

Валентин и Катя кое-как пристроили машину и отправились на поиски.

— Аккумулятор, нужен аккумулятор,— бормотала Катя, и ей другой даже указали, но — крохотные, с малолитражек.

— Спрашивай большой, на комбайн,— наказал стармех.

Его в толпе стали хватать за рукава:

— Фирма? Что дать?

Кате поступали предложения иного рода:

— Подходи, мадам, даром отдам!

— Дзушка, универсал груш, эли?

Она отыскала мужа.

— Меня тут, кажется, купят. Лучше обменяй!

— А ты не отрывайся. Ну нет, хоть убейся. Закон подлости...

— Нет, закон дефицита. Чего ты хватился, того именно и нет. Но нет не настолько, чтоб не было смысла искать.

Усталые то ли от неудачи, то ли от чего-то оскорбляющего, чем тут был насыщен сам воздух, они вернулись к машине. Катя развернула завтрак.

— Тут ты был самым заметным, верь опытной женщине,— сказала она для поднятия тонуса.— Между прочим, за меня предлагали машину груш.

— Сорт какой? — нехотя уточнил Валентин. Он усилил «Маяк» — шла сводка погоды: «Антициклон из Причерноморья перемещается на запад. В степной части в ближайшие сутки ожидается понижение температуры, возможны дожди...» — Ч-черт, сейчас только бы молотить,— ругнулся стармех.— Мне бы двое суток погоды — и я бы выплыл...

— Тебя обокрали, все поймут...

— Кому это «поймут» нужно! И так все всё понимают, а зерно я откуда вожу?.. Ладно, едем до дому.

Катя поняла: время. Если выручать, то только сейчас. И, прикрыв глаза, включила телекинез. Индекс желания круто шел вверх, напряжение приблизилось к пределу, возникли радужные круги, вспыхнуло — и получилось!

Перед ними остановился «Москвич». Двое торопливых достали тяжелый, будто свинцовый, черный сундук с клеммами... Так могло выглядеть само счастье!

— Ой, не может быть! — Валентина словно выбросило из «Жигуля». — Мужики, продаете? Заряжен? Сколько?..

Катя потухла и почти не видела, как произошел сам акт купли-продажи, как один из продавцов напялил на себя майку с оскалом «Dangerous: sexual maniak!», как счастливого стармеха стали теревить

уже другие — что, дескать, просишь и за сколько отдашь... Валентин стоял над черным ящиком благодарный судьбе и не торопился унести драгоценность в «Жигуль». А когда решился, чьи-то сильные руки услужливо пришли на помощь. Вологодский говорок незнакомца выяснял все то же:

— За сколько отдашь, шеф?

Тем часом с базаром что-то сделалось — словно незримый дух досмотра пролетел над толпой.

— Отвали, я сам насилу купил,— отрезал Валентин.

— Все только покупают, продающих нет,— вздохнул второй, чем-то похожий на вологодца.

«Сексуальный маньяк» заполошно подскочил к ним и затараторил вологодцу:

— Я отстал от экскурсии. Краеведческий музей, так? По местам боевой и трудовой славы, так? Герои живут среди нас, точно? Не подкажете, товарищ лейтенант?

Вологоддец протянул стармеху удостоверение: ОБХСС!

— Пройдемте.

Валентина ввели в камеру, щелкнул замок.

М-да, это уж никак не входило в его планы: отпуск проводить в кутузке! Такая телега в Морфлот придет, что гудбай загранка. Надо исчезнуть до всяких протоколов. Катя ведь толком и не знает, где он теперь.

И в неостывшем возбуждении стармех принялся шатать решетку окна, гнуть железные прутья. Увы, законная препона не уступила.

А за окном ребятя, мураши младших классов, тащили металлом.

— Эй, пацаны, вы тимуровцы? («А шо?») Надо помочь человеку в беде. Моряк потерпел крушение. («Дядь, а шо нада?») Надо позвонить по телефону два — двенадцать — сорок два. Передать Ивану Степановичу — запомните? — что моряк в капзэ. Две копейки есть?..

Лицо начальника райотдела милиции можно было б запомнить с юбилейного пира, но тогда майор был в штатском.

— И после дела Рябоконя мы у себя в районе станем отпускать на поруки бузотеров и спекулянтов? Ты меня поражаешь, Иван Степанович,— говорил майор.

— Он не спекулянт,— возражал Иван Степанович.— Он... добровольный шеф.

— Калымит? Кандидат наук, что ли?

— Даже не это. Вроде исследует. Эксперимент на себе.

— А что ему, собственно, не ясно?

— Это мне, Лукич, не ясно! Фактически это я настропалил — мне б и следовало пятнадцать суток...

— А тебе что разъяснить? — майор.

— Скажу. Я давно ведь живу, Лукич. При мне слова «учитель» и «врач» были мужского рода. Люди стеснялись лежать нагишом у воды, а хлеб был дорог. Настолько дорог, что на него покупали мартены. Сами затягивали пояс, а хлеб за море шел. А тот «спекулянт», что у тебя под замком, уже привык зерно привозить. Самое страшное — это его больше не удивляет!

— А почему? — продолжал допрос майор.

— Вот и дай ему самому выяснить, почему он привозит! А мне объясни: само ли сельское хозяйство отстает или мы его отстаем? Я тридцать пять урожаев вырастил и спрашиваю: земля не так относится к нам или мы к ней не так относимся? Не те у нас с нею производ-ствен-ные от-но-ше-ния?

— Давно диамат сдавал и не силен в теории,— поморщился майор и черкнул что-то.— Но на практике будет так. Утром мы его отпус-

тим. Если твой орелик до отъезда будет замечен еще хоть в чем-то, в капзэ первым сядешь ты. Еще до бюро райкома! Тут тебе и производственные отношения, и производительные силы!

— Соломон! Корифей! Хозяин! — поднялся ошарашенный Иван Степанович. — Три просьбы напоследок. В Морфлот никаких бумаг — раз! Аккумулятор вернуть, племяшу без него каюк — два! Коллективом райотдела милиции помочь нам в уборке баштанов. Канталупы перезревают, а у вас же не все на посту?..

— Привет Кузьминичне, — сказал майор.

VIII

Освобожден стармех был не утром, как обещал Ивану Степановичу майор, а еще поздним вечером: камера понадобилась для чего-то серьезного. Погрузив аккумулятор в мешок, Валентин отправился на развилку, где предстояло голосовать.

С сидором не брали. А если брали, то было не по пути. А если даже и по пути, требовали сразу червонец, а у стармеха не было ни копыя.

Воз Большой Медведицы стал уже тянуть дышло к утру, моряк продрог и посерел, когда неожиданно остановился новенький «уазик».

— Куда надо, друг? — спросил седок в ватнике и трикотажной шапочке, явный рыбак.

— Шеф, подкинь до опхоза. На месте рассчитаемся, не обижу.

— Что с тобой делать... А в сундуке что, золото?

— Еще дороже. Аккумулятор.

— Купил за два взгляда?

— Кажется, свой выручил. Ты б открыл багажник...

Мужик в ватнике оказался компанейским. В машине было тепло, и наш донкихот с тем доверием, какое вселяет в людей ночная удобная дорога, выложил ему собственную историю — начистоту и без прикрас. И про пари с Павлом Корнеевичем, и про отпуск, и про тетю. Седок слушал хорошо, охотно, смеялся азартно — живой оказался слушатель. И Валентин сам даже удивился: вон сколько удалось вывернуть и разузнать за потные отпускные дни!

У поворота к опытной станции седок велел шоферу притормозить, но стармеха не отпустил.

— Слушай, служба за службу... И тебя и груз потом доведем. А эту свою историю ты повтори, а? Другой расскажет — не тот будет нарзан.

Стармех не понял: перед кем, собственно, повторять?

— Да собрался тут небольшой контингент... Так, отметить конец хлебосдачи, уха и все такое. Народ уставший, а ты им поднимешь тонус, идет?

— Если недолго, — нерешительно ответил Валентин. — Я ж свою уборку не кончил.

— Да тут рядом, живо вернешься.

Миновав знак «Движение запрещено» и добротный шлагбаум, «уазик» сквозь ивовые заросли доставил их на место, которое оказалось дачей не дачей, базой не базой... Но и не домом лесника, и не рыбацким хутором, а чем-то неясным. В таких учреждениях стармех прежде не бывал. Пахло близкой водой. На берегу теплился костер. Его свет отражался в дверцах двух черных «Волг».

Седока в ватнике встретили почтительно, с приятельской укоризной:

— Опоздали, Сергей Никитич!

— Первая уха уже была, Сергей Никитич!

— Начальство не опаздывает, пора запомнить, — отвечал седок. — Главное — зорьку поймать. Мои удочки целы?

Валентин чувствовал себя не в своей тарелке. Сергей Никитич представил его двум солидным рыбакам — нешуточным, судя по внешности, руководителям.

— Этот хлопец — прямо к вчерашнему нашему спору, — сказал Сергей Никитич. — Совершил рейд по вашим тылам...

Ужин не ужин, завтрак не завтрак. Да и какой аппетит в ситуации, когда ты не то докладчик, не то следователь, не то сам подсудимый.

Повесть стармеха и смех Сергея Никитича удовольствия новым знакомцам не доставили, ничего особо нового моряк им не открыл.

— Хорошо, а что вы предлагаете? — спросил первый руковод.

— Это, допустим, анализ, а где синтез? — поддержал его второй.

— Мне ясно одно, — сказал «дед». — На пароходе может быть только один капитан. Если капитанов семь, штурман гнет свое, трюмный мастер — свое, а механик преследует свой интерес, то с судна сразу сбегут крысы — каюк, отплавали! У вас пока семь капитанов, и надо удивляться, что корабль плывет.

Ответом было:

— Ерунду порет... Слышал звон — не знает, где он... Галиматья... И этот туда же!..

— Специализация законна? — строго спросил первый руковод. — Сапоги должен шить сапожник или безразлично кто?

— Сапожник, но такие и по той цене, как ему закажут, — отвечал стармех. — А не командовать: «Бери, какие дам!..»

— Кто закажет? — спросил руковод.

— Хозяин, — ответил стармех. — Раз есть сельское хозяйство, должен быть и сельский хозяин.

— Слышали? И крыть нечем. Солидный аргумент человека со стороны, — сказал Сергей Никитич. — Так что думайте, и давайте пробовать. Район крепкий, вам и затевать эксперимент. Один бюджет, один распорядитель, один зачет — урожай!..

— Да как же внизу будет хозяин один, если наверху их много? — вновь вспыхнул спор.

— Ты метлу как ни стягивай, все равно будут отдельные пруты!..

— Разные счета в банке — разный и интерес!..

— Говорите — урожаем отчитываться, а тому нужны тонно-километры, другому — план по ремонту, третьему!..

Тихонько, не прощаясь, стармех прошел к «уазу» и попросил шофера:

— Докинь, друг. Это надолго.

Поехали.

— Я не понял, — осмелел в полях Валентин, — кем он у вас тут работает? Шеф-то твой!..

— Он у вас тут и не работает, — холодно ответил шофер. — Мы из обкома партии. Сергей Никитич — член бюро. Мы здесь завершали уборку.

IX

Рябокони и Катя стояли на скате холма и видели все вишнево-сливовое, буднично опрятное, с щегольскими колодцами и мальвами в палисадниках село. Сверху видели, почти с вертолетного уровня. Оно текло плотными улицами по балкам, не занимая дорогого чернозема, и новые цинковые крыши были как льдины в ледоход.

— Принял камыш и солому, поднялся до шифера, судим за белую жуть, — спокойно говорил Рябокони.

— Красиво, — сказала Катя. — Но скупка краденого разлагает! Вы ведь знали, что кровля стоит вчетверо дешевле, чем требуют с вас. Вы знали, что она уплыла с какой-то большой стройки. Вот был бы перед вами самый праведный суд!..

— Так есть же! — улыбнулся Рябокоть.— Куда ж я от него денусь, от праведного?

— Я?..— поразилась Катя.

— Та не, вон вниз, — показал он вниз на село.— Только меня сняли, дочки приехали из города: «До суда к нам переезжайте. Вам же стыдно». Не-е-ет, голуби, ни до суда, ни после... Пред колхоза, он чем от всех руководителей отличается? Не гадай, не скажешь...

Достав из кармана круглый блестящий рубль, он правой рукой за чем-то протянул его Кате.

— На! — И левой рукою тут же потребовал: — Дай! — И снова: — Держи! Давай назад... Получай! Плати... Уплатил за труды миллион — отоварь, возьми назад. Дай то, что человеку надо. Это тебе не город, где получил ты свое у кассы — и я тебя больше не знаю. Сберкнижки колхозу — нож острый. Тысячи в сберкассе мешают работать — их надо превратить в то, что можно пощупать! Это банкиру нужны деньги ради денег, а колхозник, мужик... что у него на книжке — то мой ему долг! Насчет строек, Катерина, я всегда считал, что самая великая стройка в державе есть крестьянская хата. Пошли...

Приволакивая скрипящий протез, Рябокоть вел Катерину от двора к двору, от колодца к колодцу, от лавки у ворот к другой лавке у других ворот, они здоровались с людьми — и люди вставали. Шли Рябокоть с Катей будто по делу, потому что без дела в селе никто никогда не ходит, но мужики, сидевшие за куревом, женщины с детьми на коленях, ожидавшие вечерней череды девчонки вставали, когда подходил бывший пред.

Говорил Рябокоть понятные и простые вещи: «Когда твой из армии?.. Здоровье — слава богу, только давление шалит... Так куда поедет после школы?..» И с ним толковали без просьб и наружной жалости (при нем была посторонняя!), но — вставали. Суд неподкупный и праведный встал перед старым хозяином. Из этой сельской вежливости, из многолетней привычки уважать жесткого и всеведущего хозяина и только отчасти из сочувствия ему в беде Катя способна была вынести только один приговор: безусловное оправдание.

— Как решил с семнадцатой пусковой?

— Мне перебросить туда абсолютно некого.

— А участок Кривошеева? Тридцать отделочниц...

— Ты о школе на опытной станции?.. Я ж землю ел, что сдам ее к началу учебного года!

Спрашивал главный инженер стройтреста, отвечал ему управляющий таковым. Управляющего тоже следует помнить с юбилея по сцене дарения орлов — это он произнес фразу: «Говорю не как строитель, а искренне, что думаю».

— Гляди, десятого числа исполком, — напомнил главный инженер.— Твой отчет. Народный контроль неделю сидел на семнадцатой, а заказчик и без того на стенку лезет. Я б на твоём месте подумал.

Управляющий вздохнул так глубоко, что ясно стало: тяжела, очень тяжела шапка Мономаха.

— Ты Ивана Степановича по-человечески ценишь? — спросил он инженера.— Картошку весной сажал? А кто нам землю дал? То-то же... Нет, Кривошеева оставим на школе. А о пусковом объекте и ты думай, вон у тебя какая голова.

Отпустив таким образом главного инженера, хозяин повернулся к Кате, ожидавшей в кресле.

— Извините. Слушаю вас внимательно.

— Откуда взялись двести тонн оцинкованного стального листа? — вернулась к острому разговору Катя.— Как строго фондируемый материал попал маклеру?

— Почему вы спрашиваете меня и почему спрашиваете меня вы? — усмехнулся управляющий трестом.

— Я новый адвокат Рябоконя. По госцене колхоз расплатился с вашим стройтрестом. Деньги перечислены на ваш расчетный счет. Номинальный продавец — трест. Но шестьдесят четыре тысячи наvara — кому они пошла?

— Следователю настоящему, не самозваному, мы уже объяснили. Были обменные операции: кровлю на трубы, трубы на асфальт, асфальт на цемент. Обычная практика, криминала тут нет. Рябоконь же связался с маклером, организовал черную кассу — тут уж совсем другой коленкор.

— А маклеру белую сталь отдали за красивые глаза?

— Именно, — улыбнулся шеф. — Совсем как у вас. Только маклер, скорей всего, не отвлекал людей от их дел и не выдавал себя за юриста.

— Я тоже не выдаю, — ответила Катя. — Я верю, что добыю протеста Прокуратуры Союза и пересмотра дела Рябоконя в Верховном Суде. У палки не может быть одного конца. Если колхозники добровольно дали те шестьдесят четыре тысячи и Рябоконь за дачу взятки осужден, то кто-то же эти деньги взял? Почему не судили того?

— Маклер сел! — хлопнул, вспыхив, строитель, но тут же овладел собой. — Черт знает что, я уже оправдываюсь, надо же... Обнагтели... Любая... с улицы... будет тебя шантажировать... Вы приехали к тете? Отдыхайте. Не хотите — уезжайте! И чем скорее, тем лучше. Своих кляузников хватает. Вы такая еще молодая, столько перспектив... Я вас пугать не намерен, но уезжайте — это совет от души.

У дверей Катя улыбнулась ему: теперь в ней созрело убеждение.

Шеф-строитель нажал клавиш селектора.

— Я прикинул, пожалуй, ты прав. Надо укрепить пусковой объект. Жалко Ивана Степановича, а что делать, что делать? Снимай людей, вези на семнадцатую...

Управляющий поступал в строгом соответствии с логикой. Пусковые объекты на то и выделяются в особую строку, чтобы их пускать. Так что и в этом случае никакого отклонения от правил.

Да решение управляющего нисколько и не выглядело мстью. Просто подошел грузовик с фанерным кузовом, главный инженер пробежал по захламленным лестничным маршам, отделочницы в штанах, до глаз закутанные в крахмальные косынки, быстренько, как при пожаре, похватали мастерки-валики и привычно с инструментом, сумками, обеденным кефиром полезли в кузов с крупным словом «люди».

— Стойте! Куда? Почему? Кто разрешил? — метался, стараясь отворотить катастрофу, опоздавший Иван Степанович.

— А вам разве не звонили? Временно — на пусковой объект, — ответил инженер.

— Что ж вы со мной делаете? За что?! — заголосил вдовицей бедный директор.

У калитки тетиного дома Катя увидела «рафик» с красным крестом. Несчастье? С кем? Она остановила выходящую докторшу.

— Ничего особенного. Гипертонический криз. Но полежать надо, в старости этим не шутят, — сказала врачаха.

Катя вбежала в дом. Тетя, прижав палец к губам, остановила ее на веранде:

— Еле приехал. Нижняя граница — сто пятьдесят.

— Но что случилось, отчего?

— Ты мне скажи, Катя: куда ты ездила? Была в стройтресте? Была или не была?

— Была. Даже два раза. Там что, кафешантан, что ли?

Тетка вдруг — очень по-хуторски — залилась слезами:

— Что ж вы, ироды, из моего праздника сделали?.. Чем я вам не угодила?.. Иван Степанович из милиции не вылезает... Школу строить бросили, опять детям в развалюхе... Унес бы вас бог поскорее, откуда такая лихая година...

— Дуся, опомнись, послушай себя! — оборвал теткин плач суровый голос. — Люди поступают как нормальные люди. Радовалась бы, что это твои, почти плоть и кровь, а ты — выгонять! — Иван Степанович с компрессом на лбу, в белых тапочках обличал плакавшую юбиляршу. А потом они вместе с Катей положили тетку на тахту и, пережав ей руку черной плоской резиной, принялись измерять давление.

x

Увы, это был последний день уборки. По сводке площади зерновых колосовых еще вчера были убраны до сотки, но и фактически островки нескошенного таяли быстрей апрельского снега.

— Сколько там нам не хватает? — спросил стармех.

— Черт... Бункеров пятнадцать, — отвечал Костя. — А на корню — кот заплакал. Еще Загоруйко сюда переедет, и Карачунов, и Михайлик — в седьмом докосили. Обидно, когда на финише навернешься.

— Да, это будет кино, — согласился стармех.

Двигатель и молотилка работали исправно, но из-за лесополос подходили все новые части, и поле стало постепенно походить на тот парад техники, который постоянно существует только в фотохронике ТАСС да в телепрограмме «Время», а в жизни если и случается, то к досаде комбайнеров и неудовольствию организаторов страды. Если машины идут в одной загонке, то не отличишь традьюгу от бракодела, «гуртовэ — чертовэ», про тесноту и сложности в маневрах нечего говорить. Но в финале работы, когда совсем близко «мыгье рук», нагромождение техники бывает и в жизни. Случилось оно и в тот день.

— А пока в другой совхоз доедешь?.. — прикинул вариант Валентин.

— Выхватят и там, — безжалостно ответил Костя.

Стармех отказался обедать. Мужики торопливо, студя миски с борщом в других мисках, с холодной водой, ели в тени лесополосы.

Тогда-то и подъехала тетя. Стармеху видно было: она о чем-то расспрашивала Костю, потом говорила с Полуботьком, с другими...

Стармех разгружался теперь на ходу. На краях поля разворачивался вприпрыжку. Гнал, словом, изо всех оставшихся сил.

— Понимаешь, у них одна тонна сейчас может решить, кто победитель в уборке, — объяснил Костя. — Полтыщи премии — не баран начихал. Нам-то один черт, мы все равно первые сзади...

Затем началось что-то странное: слишком душещипательное, чтобы происходить часто, и все же изредка возможное в реальной жизни. Первым от когорты отпал агрегат Полуботька.

— Что случилось, Андрей Филиппыч? — приостановил стармех.

— Коробка. Поезжай!

Второй комбайн встал в загонке.

— Что у тебя, Михаил? — крикнул Валентин.

— Вариатор. Ты топи, ничего.

Третий агрегат спустил паруса.

— Иван, чем помочь?

— Та мост. Давай двигай.

С последней загонкой Валентину позволили разделаться одному! Грузовики стояли к нему в очередь, везло сказочно, и вскоре Костя, приняв от шофера очередной талон, крикнул:

— Слышь? Вроде двести! Поздравлять, что ли?

Но окрыленный радостью моряк жал и жал, пока от целого поля в зеленой раме лесополосы не осталась только косенькая грива взлохмаченной, частью полегшей пшеницы. И была она, эта гривка-остаточек, сладка и приятна потному и пыльному (одни белки да зубы!) мариману так, как все его отпуска вместе. Возвращение из любого плавания — триумф, а этот хлебный рейс был для стармеха **тяжелым на диво.**

Дело было на току, среди ворохов зерна и отходов.

— Андрей Филиппыч, принимай в целости!

Валентин шатался под тяжестью свинцового ящика, но донес-таки до люльки мотоцикла.

— Спасибо, век не забуду.

— Ну шо, есть двести? — улыбнулся Полуботько. — Выходит, победил?

— Вроде того. — Стармеху стало вдруг грустно. Вот это и есть миг победы? И он стоял столько передраг? Ради чего ж был весь сыр-бор?

...— Скоренько... полотенце дайте... клади все, некогда, — суети-лась тетя. Они с Катей и лаборанткой доставали из термического шкафа — автоматической духовки — опытные стограммовые хлебцы: такими стандартными хлебцами селекционеры испытывают качество новых сортов.

И стармех не успел оглянуться, как оказался в центре ме-ро-при-ятия, устроенного тетей и Катей! Это ему на подносе вручали хлеб-соль (румяные и пышные технологические пробы), ему лаборантки протягивали букеты из мальв и ноготков, росших на грядке у весо-вой, ему говорили, пожимая руку: «Поздравляем с победой!», «Так держать!» и прочее подходящее к случаю. Катерина сияла.

— Говори речь, — теребила она мужа. — Говори, что своим успе-хом ты обязан родному коллективу, ну!

Но стармеху говорить не пришлось — явился Павел Корнеевич. Ток загудел:

— Во кстати!.. Проиграл — гони!.. Пойдешь в океан, а, Кор-неевич? «Приятели, смелей разворачивай парус!..» Давай на Валь-кино место!..

Шумной и веселой была реакция на появление Заготзерна.

— Так что, герой, пора квитаться? — не придавая значения ерун-де, спросил Заготзерно.

— Да вроде, — ответил стармех, разламывая горячий ароматный хлебец.

— Выходит, я разбит, как швед? Тогда скажи мне, что ты сделал.

— Сделал? Больше никто никогда не сможет попрекнуть меня, что ем чужой хлеб. Все!

— Сможет, браток, — покачал головой Павел Корнеевич. — И прав будет.. Сколько ты, говоришь, намолотил?

— Двести три тонны, — ответил за «деда» учетчик.

— Чего?

— Пшеницы, — удивился «дед». — Чего ж еще?

— «Пшеницы»... Это ты мне бункерный вес называешь. С мусо-ром, сорняками, влагой. Только так от тебя и принимают: с сорняка-ми и водой. И в отчет оно же идет. А чистой пшеницы сколько там, ты не спрашивал?

Стармех опешил. Эти каверзы были для него полным сюрпризом.

— У вас отходит на току процентов двадцать? — небрежно спро-сил учетчика Павел Корнеевич. — Да элеватор еще на влажность ски-нет... Ладно, отбрось только двадцать процентов. Значит, зерна у тебя останется только сто шестьдесят тонн? Уже продул пари. Но это еще бирюльки... А ты, кажется, хлеб из нее собираешься есть?

— Теоретически — да, — кивнул Валентин, жуя белейший мякиш.

— Пацаны, — мотнул головой Павел Корнеевич. — Коровам пой-дет твоя пшеница! На комбикорм. Туда ей и дорога. Слабая, клейко-вина ни к черту. Сорняки, да туго с азотом, да клоп-черепашка — из такой муки первойшей пекарь ничего не испечет... А ты ж во-он какой хлебец любишь... Коровам — куда ни шло, а тебя есть не за-ставишь. Так-то, милоч. А еще поучал...

— Тетя, он сильно врет? — побледнел от бешенства «дед».

— Нет, Валечка. Все так и есть, все правда,— грустно ответила тетка.

— А этот хлеб?

— Так он же из моей новой!..

— И ты все знал?! — взял Валентин за грудки оппонента.— Знал и молчал? Ну, я научу тебя, гад, правилам пари!..

— Валя! — кинулась Катерина.

И тетка тоже оттащила взбешенного моряка.

— Щенки,— брезгливо сказал Павел Корнеевич.— Сопляки,— добавил он, словно вовсе не ему грозил нокаут.— Я двадцать лет говорю о бардаке в учете урожая. И о качестве пшениц двадцать лет! И всюду! А пишу — целый том докладных!

— А знают — почему не поломали?

— Чего ломать-то? Смотри, разошелся,— вступил в спор Костя.— Комбайнеру выгодно, если с примесью считать. Он что, виноват, что хлеба сорные? Сыпется в бункер — плати.

— И за мусор? — скрипнул зубами «дед».

— А как же!.. И председателю колхоза нет смысла чистое считать — ему премия идет за центнер с гектара. А району важно место в сводке... Не-ет, вы тут нам ума не вставляйте, своим обойдемся!..

— Так что не пойду я вместо тебя в море, герой ты наш, победитель,— подбил итог Заготзерно.— На суше дай бог справиться!..

— Тетя, тетя, что ж мы за хозяева такие? — горько сказал Валентин, устало опускаясь на сорный ворох!..

А равнодушная природа знала одно: сиять красою. Вечною. Предзакатное солнце зашло не за цельное облако, а за стаю издали стройно идущих пепельных и перламутровых пятен. Их края горели, снопы лучей легко пробивали этот летучий поток, празднуя чье-то высокое торжество. В перистых строях не было того величия, что в янтарном поднебесном фрегате, каким степное небо отметило их с Катей приход. Но радости, мира, гармонии было столько, что хотелось плакать и очень хотелось куда-то домой.

XI

После жарких баталий воцарилось затишье. Который день Валентин и Катя не выходили за тетину калитку.

Лушили фасоль, мраморную и белую, заплетали в низки головки лука, используя засохшее перо, чинили с Колькой петли, щеколды, задвижки всех дверей, ворот и ставен, чистили бассейн для дождевой воды, точили лопаты и тяпки, собирали со стремянки почерневшие, на сухих ножках ягоды вишни. В общем, работали на тетю. Тетя умела быть благодарной.

Что несли на стол под грецким орехом, тем самым, что был посажен в год рождения Кати и потому точный возраст потерял?

Помидорный салат, где главным, конечно же, были не помидоры. И не хрустящие срезы свежих огурцов, не кольца болгарского перца, не дольки лука или белые кубики чеснока, не петрушка-укроп, не кружжкй вчерашней холодной картошки и уж никак не подсолнечное масло местной маслобойни — главным был сок на дне блюда! И брался он только хлебом, исключительно кусочками свежего хлеба. Лучше — с корочкой.

Картошку в мундире, час как из земли, лопавшуюся в чугушке вместе с тонким мундиром и сверкавшую на отворотах так, будто ее уже посыпали солью. А ее еще надо было солить!

Холодную ряженку, которую никто не мог вытрясти из полулитровых банок, запечатанных по правилу тети золотистым, а иногда и чуть подгоревшим в духовке верхком. Если подгорело, значит, цыган глянул.

Малосольные, едва потерявшие зелень огурцы в укропе и — ради крепости — в листьях хрена. Оранжевую тыквенную кашу (из пшена, а не кубанского риса) и, естественно, вареники. Вишни для вареников шли когда с косточками, когда без таковых, но макать — тут тетя не уступала — следовало не в сметану, не в пенки от варенья, а строго и исключительно в вишневый же, но приправленный майским медом сок.

Початки первой кукурузы с мягкими белесыми волосками на беззерных макушках, причем из обглоданного кочана было положено (да и приятно) потянуть в себя сквозь зубы: из недр початка шел сладковатый и еще горячий сок.

Некрупные, но пузатые, черные, маслянистые, в самую меру прокаленные подсолнухи, имевшие то коварное свойство, что начать щелканье было легко, а прервать его по собственной воле — почти невозможно.

Заурядная гастрономия обыкновенного южного детства, которая, будем объективны, в век общепита и агрохимии становится отчего-то изысканной, а местами даже дорожает.

В конце огорода, где не пахалось, дядя держал свою коллекцию молотильных камней. Свез он их за многие годы из оград и фундаментов закурганной округи, подверг классификации. Были у него и новенькие, хоть обарок цепляй и гоняй коней по укатанному току, были и изработанные, сточившие свои рубцы на доброй полусотне урожаяев. А иные старички, как считал дядя, стучали тут крутыми ребрами еще в те поры, когда до реки Миус доходили простиравшиеся на десять миллионов десятин «вольности запорожских казаков» и отслужившие саблей и пикой Тарасы Бульбы, осев на хуторах «гнездюками», дослуживали Сечи уже натуральным житом, гречей и перенятой у турок и греков яровой пшеницей, зовомой по старым хозяевам «белотуркой» и «арнауткой».

Дядя любил удивлять. Поскольку он состоял больным, причем по вине драгоценных своих гостей, Катя и стармех не скупилась на выражения крайней заинтересованности. Но дядя, кроме всего прочего, был и умен, он не мог долго верить в искренность их внимания к производственным преданьям старины: молодежь чаще всего интересуется она сама.

— Вы и мою коллекцию посмотрите, — тащила всех в холодок Катя. Она положила Ивану Степановичу на ладонь две монеты, серебряную и бронзовую. — Вот, в Пантикапее чеканили. Видите: осетр, а тут пшеничный колос. Теперь там город Керчь.

— Только в Керчи чеканили? — почему-то справился дядя.

— Нет, что вы. В Херсонесе был свой монетный двор, в Ольвии — свой... Каждый серьезный город чеканил. Четыре грамма серебра с четвертью — вот вам и драхма.

— Тоже каждый свою валюту делал, — заключил дядя. — Как и наш брат.

— Не понял: вы что же, валюту чеканите? — улыбнулся стармех.

— Я не говорю — чеканю, я говорю — делаю. Как любойпутный хозяйственник. Надо иметь то, что для других дефицит.

— «Тургидум»? — вспомнил Валентин. — Ваша валюта — пшеница, сорта?..

— Если придет время, когда моей валютой станет пшеница, я назову себя счастливым человеком, — покачал головой Иван Степанович. — Пока же для меня, хозяйственника, урожай ничего не решает. Много будет — возьмут, мало — дадут. Намолот — то не мое. Мое — это фуражное зерно.

— Ничего не понимаю, — затрясла головой Катя. — Почему это урожай не решает?

— Я не людей кормить назначен — там и без меня вода отсытится, — а скотину. Мое дело — пропитать животноводство. какое мне

предписано иметь на первое января каждого года. Урожай мне не важен,— упрямо повторил Иван Степанович.

— Дядька Ванька, что вы несете! — всплеснула руками Катя.— Я же знаю, как вы бьетесь за каждый колосок, о пшенице только и говорите!..

— Говорю, не молчу — кто возражает.. И место в сводке, и промфинплан, и премии — все это известную роль играет. Но я о сути! За двадцать лет урожайность зерновых мы у себя утроили, а стало нам легче? Нет, трудней. Скота добавили, а фураж зыбкий, никакой прочности. Конечно, «тургидум» мог бы заинтересовать многих. Но то, что у тебя легко могут забрать, то, дорогие мои, неважная валюта. Щербатая.

— Так покажите ж, что вы там чеканите! — требовала Катя.

— Поди, доча, принеси дыню, пить хочется,— послал Иван Степанович.

Принесенную Катей дыню «колхозницу» дядя неспешно разрезал, собрал семена, оделил молодых и, дождавшись, пока попробуют, сказал:

— Моя валюта.

— Ну-у вы даете! — прыснула Катя.— Я-то все верю, верю..

— Серьезно? Бахчу — на концентраты? — спросил стармех.

— Вопрос как возникает? — пропустил дядя мимо ушей.— Где-то, близко или далеко, допустим в Северном Казахстане, засушило, бедород. Государственная справедливость что говорит? Надо уравнивать: у меня взять, им дать. В натуре это значит с них план хлебосдачи снять, а мне припать дополнительно. Засуху мы ему, далекому, компенсируем — то есть простим, спишем. И вот у меня было сорок центнеров с гектара, у него — шесть, а осталось у меня на условную голову не больше фуража, чем у потерпевшего засуху, а меньше. Теперь для того, чтоб и меня та засуха, подлинная или выдуманная, не разорила, я должен принимать меры. Свои, глубинные.

— Вы им на целину шлете дыни? — поразилась Катя.

— Стоп, откуда вы знаете, сколько у того погорельца осталось зерна? — перебил Валентин.— Он же будет держать это в секрете.

— И в строгом. Но мы с ним, с конкретным моим знакомцем, давние контрагенты.

— Кто-нибудь скажет, при чем тут дыни? — не выдержала Катя.— Разве их можно довести до целины?

— Тому директору нужен уголь,— объяснил дядя.— Каждый год нужен, позарез. Потому что он перевел весь поселок на центральное отопление, одна труба на триста домов. Дай партнеру уголь — он душа винтом, а найдет концкорма! А уголь есть у нас под боком. За Донецк мои дыни легко заедут, а орсы шахтарей помогают мне получить кое-какие фонды. Остается проблема вагонов — и мы нарезаем огороды кадрам из отделения дороги. Стрелочник всегда при земле, а служивый люд идет к нам — мы им в лесопосадках гектаров пятнадцать выделяем.

— А как фураж казахстанский сюда доставить? — стармех.

— Обязательно казахстанский? Да мы от них наряды получим, вроде как карточки на отоваривание, а выбрать концентраты можем и на своем элеваторе. Очень повезет, так свое же зерно и привезем.

— Значит, если бы вы за пшеницей ухаживали, как за дынями, хлеба и сейчас было б завались? — требовала ясности Катя.

— Было б только то, что я считал бы себя счастливым,— ответил дядя.— И никогда не забывал бы того, что надо помнить. Делал бы то, чему научился за всю жизнь.

— Но вы же все-таки утроили урожайность? — спросил погрустневший от таких откровений стармех.

— Во-первых, большое подозрение, что утроить можно было еще в шестидесятых годах, не растягивая удовольствие до восьмидесятых.

Во-вторых, я о валовке говорю, не о качестве, а качество, клейковина эта самая, не растет, падает. В-третьих, перерасходы... Жутко агрономоемкое производство! Сто специалистов в совхозе! А в чем он дока, наш специалист? Что он, вместилище культуры, новизны, прогресса? Оставьте, он просто страхователь при рабочем классе.

— Полуботьке агроном нужен? — перебил Валентин.

— Полуботьке? Хорошо, что ты спросил. На нем на уровне звена пока мы и стараемся перейти, так сказать, от подразверстки к продналогу.

— Катя, слушала? Подключайся, — азартно потер руки стармех. — Она у нас, дядя Ваня, если чего захочет — сделает. Можете верить, не верить — я уже убеждался.

— А они все такие, что молодые, что старые. Раз уж западет что... — Дядя явно не понял, о чем толк.

— Нет. Она экстрасенс, — наклонившись, почти шепнул Валентин.

— Будет тебе, морочишь людям голову. — Катя смутилась и покраснела. — Я, дядечка, могу сильно желать только то, что могу увидеть. И что понимаю!

— А ты чего-то не усекала? Ежу понятно, — сказал стармех.

— Сиди ты. Где Казахстан, где уголь, где Полуботько — как тут связывать? И что видеть? Я пока еще нормальная.

— Ладно, ты, мариман, нашу дочу не мучь, — защитил дядя, — ты ей то покажи, что она понимает. В порядке эксперимента.

— Видела, куда шмотки ушли? — стармех. — Это ты поняла или объяснить?

— Представь, отлично поняла! Весь рейс раздал ханыгам, а в итоге и спор продул, пижон, — отрезала Катя.

— Вот и действуй, умница ты наша!

Вышло что-то вроде ссоры, но Катю оставили в покое, и она, забравшись в гамак и прикрыв глаза, велела себе вызвать уже привычное напряжение воли. Досадно, чертовски было досадно, что столько вещей и вещей, уже мысленно ею раздаренных и обещавших столько радости, попали в чужие и жадные руки! Она перебирала в памяти все, что везли сюда, слала мысленно кому-то проклятья, энергия росла, росла... Но помешали.

Лязгнула калитка. Во дворик шумно, хозяйским шагом входил блистательный

начальник районного отделения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника) собственной персоной.

— Где тут хворые, убогие, кого на ноги ставить? — шумно приветствовал он. — Неужто Иван Степаныч собрался в капремонт? Давай к нам, живо кольца поменяем, ха-ха-ха...

— После вашего ремонта и ног не потянешь, у ворот рассыплешься, — парировал дядя, усаживая гостя.

— Я ведь по делу, — торопился Сельхозтехника. — Опять эксперимент. Видать, нам с тобой на роду написано. Велено снять нашу якорь монополию на запчасти, вообще расчлнить торговлю и ремонт. В вашем хозяйстве открываем магазин сельхозснаба — за наличный расчет и по перечислению. Поручено к концу месяца открыть, иначе — секир башка. Под контролем члена бюро обкома... ну знаешь, о ком говорю. Давай показывай, какое помещение отдашь, арендовать будем.

— Ради такого дела свой дом отдам, — сказал пораженный дядя. — Это что же — покупай себе подшипник, сам меняй и вам не кла-няйся?

— Жалеть еще будете, плакать горючими... — Сельхозтехника увел Ивана Степановича переодеться и ехать.

— Катька, ты чудо! В десятку! — подскочил к Кате «дед» и, подняв вместе с гамаком, принялся целовать. — Лиха беда начало, жми дальше!..

— Я не понимаю, как это вышло. Я про красивый кепарь думала, — призналась колдунья.

ХИ

Так бы мирно и кончилась за истечением отведенного времени эта история, если бы не привходящие обстоятельства и не вызванный ими новый взрыв страстей.

Дядю ждал областной ковер за молоко. Надои в опытном хозяйстве против уровня прошлого года упали на сорок литров, и хотя коров на ферме стояло против того же прошлого года больше и, значит, молока в цистернах отвозили тоже чуточку больше, сам факт падения продуктивности фуражной коровы требовал вмешательства и энергичных мер. Телефонный напор сменился непосредственным: из облАПО приехала комиссия готовить вопрос.

Валентин и Катя, считавшие себя теперь экспертами по зерну, многого в этой дразге не понимали, но дядя перестал удивлять, нервничал, брюзжал, от этого во дворике под Катиным орехом стало пасмурней и вареники с вишнями сами собой прекратились.

Отчего упал надои? Тете, бывшей накоротке с доярками, вопрос был совершенно ясен. Прежде каждое лето уже в июле косили на конвейере кукурузную зелень и от пуза кормили до сентября, а теперь подрядчик Полуботько тряса над каждым стеблем и установил из своих охрану, чтоб не давали дояркам рубить и носить в кормушки.

Дядя же твердил: один черт, надои что прошлогодний, что теперешний — от лукавого, потому что три тысячи литров в год цивилизованная корова давать в конце XX века не может, это ей зазорно, из пяти тысяч литров путное стадо выходить не должно, надо привести в соответствие кормовые возможности и численность скота, а то паровозов много-много, а угля мало-мало... Если сейчас сравнить зеленью кукурузу Полуботька, считал дядя, то полетит не плановый надои, а что-то гораздо более важное.

Руководитель бригады облАПО Шуляк (по должности заместитель начальника ветеринарного управления) был ровесником Валентину и некогда проходил практику у Ивана Степановича. Вел он себя корректно, скромно, обедать в особой закухонной комнатке орсовской столовой отказался, даже намекнул, что вызвался поехать в опхоз, «чтобы не допустить эксцессов». Однако материал собирал, был наблюдателен и вездесущ.

Взорвалось ранним утром. На конвейере произошел тот самый эксцесс, какого мог бояться давнишний практикант. На заре, до начала дойки, доярки нарубили бричку кукурузной зелени и прикатали на ферму. Дежуривший механизатор, надо думать, проспал, а когда прибежал, начал у кормушек грозить кулаком и материться. Ему отвечали такими словами и жестами, что никакой комиссии, а уж тем более из облАПО, передавать было нельзя.

Полуботька не было: его на рассвете забрала по какому-то делу тетя.

Разбор по-сельски вырос в судебный процесс, где собрались одни обвинители, а ни обвиняемых, ни адвокатов, ни судей не оказалось. Перед Валентином (он второпях привез сюда Ивана Степановича) предстало минимум пять разных правд.

— Девчата, а если бы Полуботько пришел к вам молоко воровать? — миролюбиво начал было Иван Степанович.

— А кой его черт принес сюда с тем подрядом?

— Сам все лето в кизяке ходил и нашу ферму в дерьмо окунает? Мы первенство потеряли!

— Ему премия нада? Ему квартира в городе нада? Ему все в первую очередь, да? А у меня из-за него получка — стыдно расписываться. Не паразит он после этого?

Такова была правда доярок.

— Девчата, подождите два месяца, отсюда ж зерно пойдет золотое!.. Девчата, меры мы примем, кабачки сюда пойдут, все равно на консервный завод не сдашь, там ботву свекольную повезем, отаву с суданки — неужели не вывернемся?.. Девчата, тут можно чистого зерна получить тонн семьсот!.. Вот Валентин такую же кукурузу через океан возит, он вместо фуража вам какого-нибудь дефицита завезет!..

Так, прорываясь сквозь бабий ор, взывал к разуму сорока- и пятидесятилетних «девчат» Иван Степанович, а разве он не представлял собою народ?

Отводя директора к машине, чтоб можно было быть откровенным, Шуляк выложил и свой взгляд — правду номер три:

— Вы нас когда-то учили себе не врать. Так вот без вранья — из-за чего сыр-бор? Надо вырастить передовика, своего подрядчика, — и на областную Доску почета. «Новое»? Что ж тут нового? Был когда-то Чиж, была Перешивко, Первицкий тоже был, все маяки.. Создать себе щит, пусть сзади все разваливается? «Чувство хозяина»? А разве у доярок не чувство, да без рвачества, они ведь честности требуют, у вас эта клетка и назначена на зеленый корм. Нет, Иван Степанович, справка справкой, я ее вам с закрытыми глазами теперь накаваю. Но я обязан оперативно вмешаться и делом помочь! Иначе я не ученый-зоотехник, а звонарь, ботало. Вы ж меня делу учили, а не чистописанию! Восстановим надой, попрет молоко — тогда я позволю себе и объективную справку. А вас прошу понять: сейчас многое можно подвести под укрепление дисциплины и совершенствование механизма — и кранты, никто потом вас не спасет..

Иван Степанович послал Валентина хоть из-под земли добыть Полуботька и скорей привезти сюда. К нему в «Жигуль» вскочил Костя Интересный.

— Понял теперь, как народ смотрит на хватугаев? — солидно спросил Интересный.

— Не понял. Разжуй.

— Шабашку из обыкновенной работы хочет, гад, сделать. Чтоб дома сидеть, а получать, как армян с топором. Да больше, что я! Он же и наши с тобой комбайнерские огребет, и от этой кукурузы, если выйдет все, как сплановал, тысячи две с половиной получит целенькой кучкой! Понял, чем дед бабу донял? У него на летний месяц рупчиков восемьсот выйдет. На хрена ж ему шабашку где-то искать! Или... во! Ты океан бороздишь, тебя одного из сотни механиков отобрали, в Америке страну представляешь, а навару? Ну получится у тебя вкруговую восемьсот?

— Полуботько по шестнадцать часов вкалывал. Он в один день два твоих дня вмещал! — парировал стармех.

— А зачем и кому эти шестнадцать часов, разрешите узнать? — язвительно вопрошал Костя. — Мы, например, подтягиваем труд и быт до уровня промышленности, ориентир на пролетариат: восемь часов двенадцать минут отдал — и не ходи собака в двор. Или неправильный ориентир, а? Или вам нужна потогонная система? Так рисовать молодежи сельское производство, что все с зари до зари в поту и до глаз в кизяке? И на этих примерах звать из школы в поле? Не-ет, мы-то чуем, откуда у твоего Полуботька тянет. Не от Форда, до Форда он не дорос, а вот дядька его родной, верно, еще тот был загонщик. На самом штаны не держались — это чтоб и батрака работой доконать. Пока в Нарьм его, такого горячего, не про-

водили... Вот тот дядя точно так бы себя сейчас вел, как и ваш хватугай.

— Костя, а знаешь, что я думаю? Завидуешь ты Андрею Филипповичу. Чтоб я так жил!

— Угадал. Меня аж трясет, такие завидки! Сплю я спокойно, никакая зараза кукурузу мою не потравит, град не побьет, десятка мне в день положена — я ее получу, а две мне и не нада... Мне их девать некуда будет, две десятки, товару на вторую не напечатано! А твой Полуботик за тремя десятками гонится, и я ему буду завидовать?!

— Ты брось, Филиппович — мужик идейный.

— Сказанул! Так какого ж он, идейный, тогда даром не вкалывал? Чего ж засуетился только теперь, как калымом поманили? — торжествующе заерзал Костя.

— Я говорю идейный, а не чокнутый. У него дети, запросы, он не железный, чтоб так тратиться — и даром.

— Прря-авильна, гражданин начальник, хар-ряшо мозги пудрим! — Костя аж в восторг пришел. — Тут все дурачки, в экономике вообще хрен петрять, лепи им горбатого!.. Кардинально вопрос ставлю: у нас общество плановое? Жизнь, я спрашиваю, плановая или уже нет? Фонд есть заработной платы или как таковой отменен?

— Ну есть, есть, чего ты... это самое... задираешься?

— А есть — значит, храним социальное равенство. Как зеницу! Сколько тебе на год отмерено, столько и отрежут. Ну передовик ты, ну рацуху подал — премия набежит, тринадцатая зарплата, но в пропорции. Не так, чтоб расслоиться! Фонд заработной платы есть что? Ну? Орган материального и морального единства. Кто за? Единогласно... А он, гад, что тут протаскивает? Какие три источника, три составные части? А такие. Сколько желаю, столько и вкалываю. Сколько сумею, столько и откушу. А сколько я себе откушу, столько вы мне отоварите. Сегодня я «Жигуль» захочу, завтра — кооператив, улучшенная планировка, послезавтра — черную «Волгу», упора мне нет. Потому что сегодня у меня семьдесят центнеров, а на тот год я вам сто желаю накрахтеть. И это не социальное расслоение? Ну?

— Да он же зерно дает за эти деньги! За пятерых таких, как ты. А я это зерно вон откуда вожу!.. — забылся и тоже стал кричать стармех.

Но Костя Интересный был уже в полном заводе, его несло, и никакие доводы затормозить не могли.

— Армян поминали? Так это пацаны, какая от них опасность! Ну построят какой-то коровник, урвут, так это ж единичный факт! И то борьбу с ними ведем, они все на виду — вон Ашот, а это Хачик... Не-ет, тут опаснее!.. Массовость. Бесконтрольность. Удобрения рвут друг у друга еще на станции, ибо как? Человек человеку волк. Все полеводство захватят, а дальше? Ну шевели диалектически!.. Да фермы заберут, фермы! Дай этим ореликам волю, они такое тебе проведут сокращение штатов... Половина совхоза окажется без дела!

— Она и сейчас без дела, — пробовал прервать стармех.

— Они администрацию будут посылать на нецензурное слово — им же и так все ясно, им восемьсот рупчиков нада. Им нада сделать здесь Марокко — город контрастов, чтоб один жил как хотел, а другой — в бидонвилле...

— Костя, Костя, стой, — взбесился наконец и стармех. — Я тебя понял. Теперь и ты... Был разговор насчет Морфлота. Так вот, я обдумал.

Интересный замолк и насторожился. В этой ситуации можно было ожидать любой ловушки, и все же...

— Взять тебя надо, но не на танкер. Его ты давно перерос. Да и какие там, правду сказать, калымы? В море я тебя возьму, но потом... Не потом, а сразу попробуем забросить тебя в Хьюстон Или

в Аппалачи. В общем, где они заняты милитаризацией космоса. Есть же такой центр...

— Это за что? — бледнея, спросил Интересный.

— Ради мирного неба, Костя. У них же сразу начнется бардак. Крепеж поползет, детали не состыкуешь — приборы пойдут барахлить, замаются, а концов не найдут — и живенько вся программа накроется. Это ж какая экономия человечеству!

— Так за мою выручку? — еще не верил Костя. — Что я тебя за уши из дерьма вытащил?

— Ты ж, Костя, безработный, — мирно внушал стармех, — по крови, по духу. Ты ж работу ненавидишь, как классового врага. И тебя не выгонишь, раз уж ты накопился, как не выгонишь дуст из печени. Ты не сегодняшний и не вчерашний, ты всегда был. И когда здесь скифских баб тесали, ты, я думаю, рядом стоял и груши окочивал. Только диалектики еще не знал... Ну а насчет Хьюстона как, договоримся?

— За мое добро, падла такая? — прорвало наконец Костю. — За мой пот, мариманный долба? Ах ты ж с-сука, ну погоди...

Костя рванул ручник, «Жигуль» пошел юзом — и не осела еще пыль, как он выскочил и, матерясь, побежал пустым проселком. Назад.

Когда Валентин привез Полуботька и тетю к краю злополучного конвейера, здесь странным образом изменился пейзаж. Куда-то отошла зеленая стена. Стало просторно, из земли что-то торчало... Ба, да кукурузу косили! Вовсю! Ровно гудела прекрасная немецкая косилка «Е-280», и в наклонной высокой ее кабине, точно инспектор ГАИ над трассой, сидел Костя Интересный и умело использовал технику.

Доярки в возбуждении с неуверенной радостью раскладывали зелень по яслям денника. Корм был таким сочным, что текло и с тележек и с ножей косилки, сок был как зеленая кровь.

— Костя, стой! — махнул рукою Полуботько.

— Это мое указание, — быстро подошел к ним Шуляк, — со мной выясняйте. Какие вопросы?

— Где Иван Степанович? — спросил стармех.

— Уехал в райком.

— Та стой ты, стрекочешь! — Полуботько никого не видел, не слышал.

— Чего надо? — открыл дверцу Интересный. — Вон начальство, с ним и гавкайтесь.

— Та постой лучше, дай я сам, — попросил Полуботько. — Моя ж еще техника.

— Мне сказали, я и сел. — Костя, не глуша двигатель, вылез. — И тебе б приказали, и ты бы...

Ударил его Полуботько плохо, неуверенно — в ухо. Очень похуторски, кустарно, и Интересный устоял, только слетела кепка.

Валентин давным-давно никого не бил, от студенческой секции помнилось немного, но он выполнил снизу, резко апперкот. Вроде удачно. Боль в фалангах правой говорила: достал.

Через малое время Костя уже поднялся на ноги и с землею в сжатых руках завыл:

— А-а-а, с-суки, групповая? Групповая, кулачье недорезанное? Н-ну, теперь вы мне попались, утоплю подлюк!..

Спотыкаясь, выкрикивая с какой-то радостью «групповая», побежал к ферме.

— Вы что... вы что себе позволяете? — обрел дар речи Шуляк. — Коллективно? При исполнении служебных обязанностей? Я свидетель, учтите, свидетель...

— Слушай, друг, иди,— сказал стармех.— Ноги есть — иди, а то и тебе навтыкают... коллективно и персонально... Тут меж собой разберутся.

Полуботько сел в синюю косилку, минуту прилаживался к рычагам и вдруг пошел крошить свои дорогие рядочки прямо на почву, рассыпая по ветру зеленую сечку. А потом еще и повернул в глубь поля и начал выписывать смертные вензеля в самой зеленой пучине.

ХШ

В сущности, рассказывал Иван Степанович секретарю райкома то, что тот и без него знал. Минус в надоях, отчет на облАПО — все так, но платить за это подрядом Полуботька и экономически вредно, и по-человечески непорядочно.

— Непорядочно,— повторил секретарь.

А гость из обкома, Валентинов ночной знакомец, взял лист хорошей бумаги и стал что-то писать.

— Райком поддерживал идею звеньев и утверждал состав подряда,— напомнил Иван Степанович.

— Поддерживал. Утверждал,— кивал секретарь.

— Очень полезно сейчас найти форму защиты. Заслушать отчет или послать народный контроль.— От писания обкомовца было Ивану Степановичу почему-то досадно и неловко.

— Защита от кого? — спросил секретарь.

— Боюсь, не удержим,— вздохнул Иван Степанович.— А момент принципиальный. Прямо поворотный момент... Долго будет аукаться.

Секретарь налег грудью на стол, заглянул в глаза Ивану Степановичу и с теплотой спросил:

— Ты мне приехал наряды давать? Или спросить, директор ли ты в хозяйстве? Или узнать, отвечу ли я за все, что у вас ни произойдет? Директор. Как тебе быть, не знаю. Отвечать, конечно, будем оба, но сначала — ты..

— Нет-нет, минуточку,— перебил тот, из обкома, закончив свой лист.— Дело, я думаю, глубже. Иван Степанович, видимо, не по частному случаю тебя беспокоит, а в силу типовой ситуации. Поэтому и речь надо вести на перспективу, так?.. Я тут набросал, давай утрясем, а ты подпишешь. Значит, так. «Гарантийное письмо. Настоящим гарантируется, что совершенствование производственных отношений произойдет без какого-либо ущерба для директора опхоза тов. Борода И. С. Отладка хозяйственного механизма персонально его не заденет. Лимиты на смелость будут поступать своевременно на расчетный счет. Первый секретарь райкома». Подпись. Печать. В целом подходит?..

Давно уже Ивана Степановича так не... что? унижали? обижали? оскорбляли? Да нет, кому уж тут врать... Просто давно никто не смеялся над ним.

Смеха боится и тот, кто уже ничего не боится.

— Сколько же зверства в людях,— качал головой Шуляк, разглядывая Костину челюсть.— Не треснула? Зубы все?.. Сейчас же в больницу, чтоб экспертиза по форме. Я звоню в милицию. Этих двоих немедленно изолировать. Евдокия Кузьминична,— повернулся он к тете,— я вас прошу проследить, чтоб эти хулиганы не скрылись. Будем оформлять дело.

— Ой, девки, что-то мы не то натворили,— качала головой растерянная тетя, не слушая его.— Андрей же совсем с ума сходит..

— Раз не мне, так чтоб никому,— одна доярка.

— Это у него стресс. Такое называется стресс,— уже жалея, сказала вторая.

— Его сейчас и не остановишь, он машиной давить будет,— охнула третья.

— Валечка, не стой, скоренько,— тронула тетя стармеха,— беги сзади, отними у него чертову косилку!.. Он же и себя надорвет, и поле погубит. Господи, откуда лиха година! Подучили ж этого дурака Костю... добрые люди.

— Я еще раз прошу: проследите за нарушителями,— холодно сказал, удаляясь, командированный.

— Провалитесь вы пропадом с вашей помощью,— пожелала вслед ему тетя.

— Только б людей стравливать! — крикнула одна доярка с той же самой страстью, с какой совсем недавно обличала Полуботька.

— Заварят кашу, а другие расхлебывай,— вторая.

— Ему ж тут не жить, напакостил — и ходу! — третья.

Валентину предстояла почти каскадерская акция: догнать и заглушить синюю косилку. Подумать только, Андрей Филиппович, сама рассудительность, кротость, добродушие,— и эта мстительная резня! Стармех побежал — по крошеву, по пенькам, по зеленым стеблям. Спасать идею подрыда!

А с проселка донеслось залихватское тьюи-тьюи-тьюи, и тетины колени стали ватными, она чуть не грохнулась.

— Катя, уже! Милиция! Валю возьмут... Ой, лышенько, да где ж дядя Ваня?.. Ой, пропали мы!

За желто-синим «Москвичом» с мигалкой и посвистом следовал темно-серый с зарешеченным окном фургон, приседавший и грузно качавшийся в неровностях местной дорожной сети.

— Катя, доча, беги к нему... пусть уходит... Андрею ничего... Андрей свой... — бормотала тетя.

Косилка заглохла. Тишина. Двое шли сюда, к милиции.

На диво многочисленный наряд возник из фургона. Все здоровые, разминались, перешучивались.

Хотя бы минута, хотя бы полминуточки, успеть, пока не взяли! Катя отвернулась. Пусть в последний раз. Пусть у нее все перегорит, взорвется, лишь бы успеть! Только б создать биополе! Она сжала кулаки: раз, два, три...

— Здравия желаю, Евдокия Кузьминична. Капитан Кондратенко.— Старший в наряде козырнул тете.— Прибыли по вашему вызову...

— А вон и зверь на ловца,— сказал Шуляк, показывая на идущих.— Я, кстати, все видел.

— ...Приказано ликвидировать прорыв в уборке бахчевых культур,— кончил рапорт капитан и улыбнулся своей шутке.

Катя всхлипнула. Капитан удивленно взглянул на нее, но тетя быстрее пришла в себя и замахала руками.

— Надо, надо, ребятки! Совсем Иван Степанович запурхался... Такие «дубовки», «канталупы»... А ножки взяли, а? На бахчу ехали, ножки взяли?

— Частично взяли, конечно,— успокоил капитан.

Подошли наши двое. Добровольная явка, но с решимостью постоять за себя.

— Вот, пожалуйста, оба красавца,— тянул капитан за рукав Шуляк.— На рабочем месте... избивание... я дам показания...

И предъявил свое удостоверение

— Поймите, мне не приказано,— пожал плечами капитан.— Тут же есть участковый, найдите его.

— Точно,— отозвался загорелый милиционер, видно инспектор ГАИ.— Овчарова ищите. здепного участкового.

— Тот всех знает,— добавил шофер фургона.— И что кому положено, скажет наперед.

— Так исчезнут следы побоев! — возмутился Шуляк.

— А мы восстановим,— пообещал стармех.

— Ну вот видите,— улыбнулся капитан и сел в «Москвич».

Включился удалой ведьмин посвист тьюи-тьюи-тьюи, и Катя, плача и смеясь, уткнулась мужу в плечо.

Распахнув дверь собственного кабинета, Иван Степанович застал в своем кресле Шуляка. Тот говорил с районом по селектору и рукой делал знаки, что сейчас кончит.

— Да, товарищ майор... Кравчук Валентин, отчества не знаю, и местный механизатор Полуботько... Да у меня протокол практически готов... Будет, будет заявление!.. Мне в райком докладывать или?.. Понял... Нет надо, надо, а то совсем же обнаглели, середь бела дня, куда ж мы так докатимся... Да, всего доброго.— И, положив трубку, Шуляк торопливо начал Ивану Степановичу: — Тут без вас такие эксцессы..

— Не надо. Знаю,— оборвал его директор.— Ты вот что.. господин ветеринар... ты ведь ветеринар?.. Командировки твоей я так и не видел. Разрешика.

Шуляк достал белый листок и с усмешкой разгладил его перед директором.

— Поставлю-ка я тебе, господин ветеринар, «убыл». А «прибыл» — не буду. Вроде ты и не прибывал.

— Что-то вы чудите, не пойму.

— Сложно, конечно. Незачем тебе, господин студент! Мне самому двойку с минусом. А тебе «убыл», и поскорее. Позовут отвечать — сам отвечу. И не надо! Ни лучезарных пришельцев, ни летающих тарелок, все сами. Пока я здесь, опхоз будешь объезжать стороной, ладно? А теперь валяй, пока я тебе что-нибудь плохого не наговорил...

Дождавшись, когда, грохнув, утихла входная дверь, Иван Степанович нажал клавиш селектора.

— Лукич? Я... Здравствуй... Да это мне, мне в челюсть! И за дело. Причем думаю, что еще будут давать... А сколько потребуются!.. Никакого заявления не будет... А я говорю — не будет!.. Да какая там, господи, экспертиза... Не-ет, опоздали — уехал! Телеграмма с танкера пришла, он и уехал. Да так, дорогой, получилось... Конечно, какой там розыск! Чего искать? Нам другое надо искать, другое, а то все не то и не там ищем... Нет, твои работают, собирают... прекрасный, скажу я тебе, народ, душа радуется!

XIV

И всходило солнце — день последний. И стоял на тетиной усадьбе тракторный прицеп с железнодорожным контейнером: Антон с женою грузили свое стекло, итог плодоносного лета. Катерина размещала дареное и нажитое в багажнике, а Валентин заправлял «Жигули» соляркой из тракторного бака.

— Вот и кончилось,— вздохнула тетя горько-горько.

— Ты что, мать? — пресек Иван Степанович. Он после трудной провожальной ночи был несколько утомлен, но патетики только прибавилось.— Что тут можно кончить? Хлеб убирать? С роднею видаться? Извини, это уж непрерывка на веки веков.

— Ладно тебе, проповедник... Ты варенье ему не забудешь, Катя? — напомнила тетя.

— Вы мне лучше пшеницы дайте! — решил попросить Валентин.— Той из которой хлебцы... В знак мира и дружбы.

— Это еще кому?

— Тетя, даю слово, продам! Найду способ, душа мехом, а продам по самой дорогой цене. Пускай вспоминают русский хлеб и готовятся. Ну ей-богу, дайте для почина.

— А что, Дуся, отправим оклуночек элиты! — вдохновился дядя. Ах, эта широта после прощального стола! — Все равно ведь неотвратимо! Раньше ли, позже, а вернутся ветры на круги своя. Придут пароходы за русской пшеницей, сюда придут, в очередь встанут, от флагов пестро, а мы: стойте, сначала свои повезут, у нас племяш мариман...

— Прямо сюда придут? — уточнила Катя.

— Не язви, доча, хочется ж дожить, — сказала тетя.

— Кому-то начинать надо! Давай, Валентин, в порядке эксперимента... Полпуда для пробы хватит? — не стал жадничать Иван Степанович.

— Для пробы лучше, конечно, хотя бы сто тысяч тонн, — вздохнул Валентин. — Ну раз нету, ладно.

— Самочувствие, оно тоже чего-то стоит! — шумел дядя. — Три недели будешь сознавать, что везешь хлеб. Назад можно и с фуражом, не стыдно, если туда отвез такой хлебушек!

— Ты старайся в лабораторию заслать — Кент-Джонсу, Лэдингхэму или куда-то еще, — сказала тетя, святая простота в каких-то вопросах. — Они сделают анализ и сразу поймут. Только обязательно дай знать, что зерно из тех самых мест, откуда «арнаутка», «гирка», «крымка»!

— Будет сделано. Если б только тот Лэдингхэм знал, как свою пшеницу продать, — усмехнулся Валентин.

Присесть перед дорогой решено было в беседке у переезда под плакучей ивой. Переезд тот был не через железную дорогу, а через магистральный канал, широкий и облицованный, вроде Большого Каховского, здесь было зелено, прохладно и пахло рекой.

Мальчишек отпустили порыбачить. «На коня», «стременная» и «закурганная» следовали с дядиных подач своею чередой. Кате как водителю была дана увольнительная, и она решила напоследок...

Напоследок она решила испытать свой странный дар на чем-то очевидном и несомненном! Аккумулятор мог возникнуть в силу ее телекинеза, мог, признаемся, и случайно. То же в других-прочих примерах, потому и трунил Валентин. А вот сейчас взять необъяснимой трансцендентной способностью и пригнать сюда по каналу танкер Валентина, прямо под погрузку!

Водная лента была пустынна. Только малолетки рыбачки, Колька и его сверстники, пытали счастья поодаль.

Катя понимала: надо быть основательной. Она помнила, что прошлый раз, на кукурузе, готова была подорваться, перегореть, а спасти Валентина, и робела: как там она, ее способность, цела ли?

Прежде всего подумала, что надо убрать канаты, крепления, шланги — все, что связывает корабль с пирсом: месяц у тетки подучил хозяйственности. И с командой надо осторожнее — ведь люди... Потом напряглась и минуту пребывала сосредоточенной на одном.

Родня была занята «закурганными» и канала не видела.

Еще доза энергии — и что-то замаячило в дымке. Она обрадованно прибавила желанья — стал узнаваем корабль. Отдавая всю себя целиком, усилив доминанту до «самый полный», Катя увидела и боялась поверить: над степью вырос нос океанского судна с медью длинной надписи в страшной высоте. Как шел «Академик Вернадский», впоследствии объяснит, надо думать, наука, но глубины ему хватало: он выжимал воду, тину, зелень водорослей на бетонные панели облицовки.

Кроме Кати, только три лица на свете видели волшебство своими глазами: сын Колька и его дружки. Спасаясь от волны, они побросали удочки и со всех ног пустились к переезду.

Танкеру оставалось всего метров триста, как вдруг Катя почувствовала, что энергетическая цепь в ней прервалась, напряжение

быстро село, азарт иссяк. Неужели подорвалась вчера от перегрузки? Неужели навсегда? Катя держала корабль из последней мочи, ее прямо трясло, но лопнул незримый канат, удержать страшную тяжесть ей было нечем. И покатилося назад, уменьшаясь, и исчезло в мареве быстро-быстро, как и не бывало вовсе, белое чудо с блистающей надписью на высоком борту!

Потеряно, поломано, пропало... Катерина в отчаянье опустилась на траву. Какое горе, если конец! Или, бог даст, еще поправится? Может, это просто не по силам? Может, и тут физическая соразмерность: что доступно тысяче или миллиону, никак не поднять одному?

Только тут заметили ее разгоряченные участники проводов.

— Ты чего, лап? — удивился стармех. — Ты ж послезавтра вернешься.

— Верно, Катюша, пореви, так и надо на проводах, — обнял ее дядя. — А то народ пошел — дети не плачут, на расстанях ни слезы...

Мальчишки запыхались, и у обалдевшего Кольки почти не понять было слов:

— Пап, пап, твой «Вернадский» шел! Только назад скатился.

— Давай, сынок, еще раз обнимемся! — подкинул Кольку Валентин.

Взлетая на отцовских руках, пацан мучительно старался выложить свою новость:

— Мамочка, пароход... сюда шел... ты видела?

— Тсс, — прижала палец к губам Катерина. — Тсс...

И укатил знакомый «Жигуль» в сторону Черного моря, и прервать бы на этом вполне достоверную историю с юбилеем, азартным пари и пропавшим отпуском старшего механика... да еще одна, последняя странность вынуждает о себе сказать.

Бетонные откосы канала метрах в трехстах от переезда почему-то оказались мокрыми. В иле, водорослях и в тине запуталось полно рыбьей мелочи — чебачков, красноперок ершей.

Счастливец Колька собирал рыбу и больше никому не говорил, откуда она.

Август 1983.



МИХАИЛ ГАВРЮШИН



СВЕТ

Полигон

Обуглилось небо,
 сгорая с востока на запад.
Корявые тени,
 в песок просочившись, померкли.
И гюрзы вдыхали
 кирзовый натруженный запах,
Качаясь под музыку
 ротной вечерней поверки.

Отвара верблюжьей колючки —
 на доньшке фляги.
А ночь напоила нас
 звездным горячим отваром...
Здесь столько малиновой краски
 извел Верещагин
На русскую кровь
 и на форменные шаровары.

А там, где барханы
 всосали звезду Чингисидов
И рухнули стены
 последней хивинской заставы,
Как старый Тимур,
 чертыхался ефрейтор Саидов,
Долбя глинобитную
 твердь строевого устава.

Рушник 45-го

Там в ноги дубам падал рекрутский ранец,
Углы простирая на стороны света.
Июльского неба фруктовый румянец...
Любимая, где я оставил все это?
В твоей глубине наливался младенец,
Но осень слезилась во взгляде счастливом

И грусть запорожских неласканных пленниц,
 Мерцали в листвяной чадре черносливы.
 Едва обкромсал полковой парикмахер
 Мои допризывные буйные грезы,
 Ты ухом прильнула к остывшей рубаше —
 И стихли на время осенние грозы.
 Кому ты молилась, глядясь в отраженье
 Слепого оконного иконостаса,
 Когда мне мечталось от изнеможенья
 В бездонном окопе навеки остаться?
 Колосья пехоты взошли в рукопашной,
 Сцепив обожженные криками губы.
 И падали комья контуженной пашни.
 И падали скошенные однолюбы.
 Седыми дождями коса расплеталась,
 Снегами просторное ложе остыло.
 Родная, зачем ты меня отпустила?!
 Родная, зачем ты меня дожидалась?!
 Пришел я с гранитными орденами,
 Меня ты омыла колодезным взором
 И вышила поле полтавским узором,
 Вишневую кровь добавляя в орнамент.

Вечер на Лене

Шелестела сеть рыбачья,
 ветер поплавки качал.
 Как щенки в соски собачьи,
 лодки тыкались в причал.
 Ворох звезд на голенище,
 в небе рыба чешуя,
 будто лодка кверху днищем,
 а под этой лодкой — я.
 Чаек жалобные всхлипы,
 учащенный пульс реки.
 Умер день, варилась рыба,
 не смолкали языки...

Мутной рябью память взбило,
 то ли ветер, то ли храп.
 Да со мной ли это было?
 Может, я рассудком слаб?
 Снежной судорогой бьется
 в стекла мартовская ночь.
 Ей не спится, мне нейметя,
 нам друг другу не помочь.
 Эх, беседу завести бы
 о делах минувших дней...
 ... И плывет большая рыба
 в сети памяти моей.

Афродита

Вонзались в мокрые бока мне
 лоснящиеся гольши.
 Ты — на краеугольном камне
 моей просоленной души
 и пирса, плачущего горько
 слезами, **взятыми займы**

у волн. И ты идешь, легонько
 касаясь пенистой каймы.
 Здесь дни прибоями стирались,
 наполнив фотообъектив.
 А мы к объятьям примерялись,
 полморя брассом охватив.
 Оно дрожало от объятий,
 сжимало судоргами их.
 Я был пловец и был спасатель,
 тонуло тело рук моих...
 А ты из пены Ланжерона
 шла по лоснящимся камням,
 как шла бы по полю, перрону,
 по тротуару и волнам.
 Бросался за тобой по следу
 уж обессиленный прибой.
 А теплоход, снимаясь с рейда,
 воспел прощание с тобой.

.

Пусть будет свет, пусть тени второпях
 раздвинутся и раздвоятся,
 пусть отраженья в окнах сотворятся,
 дрожащие на рельсовых путях.
 Весь долгий путь трястись нам до нутра
 в одном плацкартном и единой дрожью
 в разодранном до крови бездорожье
 от станции полночной до утра.
 Дай руку мне, отныне заодно мы
 в движениях и запахе волос.
 И пепел сбей, как шапку злого гнома,
 что нам постели рваные принес.

Теперь уже недолго до рассвета,
 до гибельной вокзальной суеты.
 Как сотни наших очень нервных клеток,
 исчезнем безвозвратно я и ты.

.

Чужое имя — как выстрел в спину,
 как остановленный рассвет.
 Чужое имя! И губы стынют,
 оскоминой сцепив ответ.

Так в Колизее, в кровавом Риме
 персты вонзали в жизнь раба...
 Во мне зияет чужое имя,
 чужая совесть и судьба.

Теченье жизни в груди затихло,
 и речка высохла в степях...
 Оно на вздохе меня настигло,
 а выдох умер на губах.

Что это было? Лишь ветер стонет,
 и хмурит день седую бровь.
 Закрыли солнце твои ладони —
 сквозь пальцы просочилась кровь...

Подкова

Нашел подкову на дороге пыльной
у жаркого степного полустанка.
Швырнул ее в набег волны ковыльной
и вывернул рубаху наизнанку.
На кой мне это счастье поневоле?!
Вдруг под дождем трава затанцевала,
а на краю некошеного поля
моей подковой радуга вставала.

С плеча снимая легкую котомку,
я вслушивался в птичью перебранку
и не заметил, как под елью тонкой
котомка обратилась в самобранку.
Ушел я в степь, дорог не разбирая.
Звенели мне березовые гусли.
А с той котомки, силу набирая,
ручей молочный тек в кисельном русле...



АЛЕКСАНДР БЕЛАЙ



ВОТ-ВОТ ЗАЦВЕТЕТ СИРЕНЬ

Рассказ

1

Этот новехонький, с иголки чистюля город на десять тысяч жителей вдруг поднялся среди лесов, подмяв под себя деревню Бутово, расположенную, как оказалось, в бесперспективной для сельского хозяйства местности. От деревни осталось лишь название да несколько яблонь, которые, сделавшись украшением газонов, будто по команде перестали давать плоды, хотя и цвели исправно каждую весну.

Бутовский комбинат, ради которого и построен город среди лесов, дымит трубами километрах в трех отсюда. К проходной ведет гладкая дорога, обсаженная тополями; по обе стороны бутовцы выращивают картофель, с удовольствием натружая спины вечерами и в выходные, когда ведут прополку или собирают в баночки с керосином колорадских жуков, единодушно ненавидя этих крошечных полосатых посланцев мира капитала.

Город Бутово построен заботливо; он полон достоинства и сознания своей красоты. Его люди все как один патриоты — даже успешные прожить здесь всего год-два; о тех же, кто помнит первые фундаменты, и говорить не приходится. Бутовский комбинат имеет филиалы по всей стране, так что для бутовцев центр — это Бутово, а все остальное — периферия.

Уход за городом столь тщателен, будто на него со дня на день ждут покупателя.

Приезжие справедливо восхищаются, гуляя по улицам в ровной кайме газонов и подстриженных лип или тенистыми асфальтовыми дорожками, созерцая свежие, чистые фасады, щурясь от блеска витринных стекол, удивляясь обилию легковых машин на площадках перед подъездами и находя в магазинах все то же, что и в столице, и даже такое, чего и в столице не купишь.

Утром в будние дни с половины седьмого до половины восьмого, сразу после того как с аллеи исчезают любители медленного бега и дамы с собаками, чуть раньше, чем по улицам начинают ездить поливомоечные машины, бутовцы, таща за руки и везя в колясках детей, чтобы по дороге сдать их в детские сады, непрерывно раскланиваясь друг с другом: «Привет, как жизнь?» — бутовцы идут отовсюду и во всех направлениях к центральной улице, продолжающейся за городом дорогой к комбинату. Толпа растягивается по всей дороге; пешеходы обгоняют заспанные велосипедисты; к восьми часам все исчезают за воротами, и тогда опоздавших отлично видно.

Город Бутово — полная противоположность деревне Бутово во всем, кроме одного: как и в деревне, насчитывавшей в лучшие свои годы **триста душ**, так и в городе с **десятью тысячами** жителей все до

единого делают одно общее дело и, живя этим делом и благодаря участию в нем, всё о всех знают. Интерес людей друг к другу здесь прямо деревенский. Чисто по-деревенски множатся родственные связи; и если считать разведенных супругов бывшими, но все же родственниками, то недалек день, когда бутовцы все поголовно окажутся друг с другом в более или менее отдаленном родстве.

Здесь каждому известно о каждом все: места привычного обитания, наиболее вероятного нахождения в любое время суток; излюбленный уголок окрестного леса для пикников; цвет и номер машины, номер гаража в гаражном кооперативе, дачного участка; положение и перспективы по службе. Бутовцы живут в постоянном ожидании новостей друг о друге и стремлении ими делиться. Кроме служебных, новости вот какие: тот продал машину и взял новую; тот купил мебель — видели, как он грузил ее во дворе универсама, обливаясь потом; тот набрал вчера центнер грибов где-то неподалеку, но не говорит где; и т. п.

В Бутове все если пока не родственники, то уж соседи непременно — либо по площадке, либо по гаражам, где все одинаково обезображены надетым на себя промасленным старьем, либо по дачам, либо по картофельным участкам, наконец — по рабочим местам на комбинате. Продавец за прилавком — твой свояк. В поликлинике тебе всаживает укол или принимает анализы лучшая подруга жены — поневоле и твоя. Приказ о твоём наказании по службе готовит и исполняет начальник отдела кадров, с которым ты вчера только сидел в ресторане в компании общих друзей (что, конечно, в данном случае ни к чему его не обязывает). Участковый — твой земляк (что тоже ни к чему не будет его обязывать, если дело дойдет до защиты общественного порядка), и его дочь встречается с твоим сыном — ты уже почесываешь затылок, ожидая свадьбы, — а младшие дети учатся в одной школе, в одном классе.

Итак, очевидно: люди здесь просто не могут быть равнодушными друг к другу. Это находят неудобным, если хотя бы что-либо скрыть от глаз людских. Ну, во-первых, в Бутове это безнадежно. А во-вторых, такой род воровства (когда покушаются на общее достояние бутовцев — на осведомленность всех обо всех) в Бутове не прощают и строго следят за тем, чтобы у людей от общности было как можно меньше тайн.

Если по дорожке от какого-нибудь подъезда до центральной улицы разбросаны еловые ветки — ясно, кого-то хоронили.

Вносят днем, когда бутовцы, не участвующие в церемонии, обедают. Заслышав траурный марш, они подбегают к окнам посмотреть на процессию; проводив ее глазами, возвращаются за столы и весь обед вспоминают о покойном такое, чего он и сам, бедолага, о себе, наверное, не знал. Бутовцы, застигнутые процессией на улице, останавливаются, не обнажая голов, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть в гроб, плывущий над толпой. Десяток вечных алкашей у винного магазина — им-то, к зависти и возмущению бутовцев, никогда ничего не делается — отрываются от горлышек пивных бутылок, отирают рты и застывают, счастливые зрелищем, веселясь от музыки. Оркестр фальшивит. По нашему мнению, похоронный марш и не сыграть без фальши — режущей ухо у самодеятельных и чуть уловимой у больших образцово-показательных оркестров.

Наняв все тот же оркестр, наломав в лесу еловых веток и заказав все тот же единственный на весь город специально оборудованный автобус с черными полосами по бортам, в мае, в воскресенье готовили очередные похороны.

Гроб, обитый черным с красным, стоял в полутемной душной квартире; черную с красным крышку на лестнице под звонком боязливо обходили дети.

Комната была полна первых цветов мая. Венки от родственников и друзей, а также от администрации и профсоюза, прислоненные к стенам, окружали гроб полуколосьем, сами же родственники, друзья и представители администрации и профсоюза выстроились по обе стороны.

А умерла Тамара Бушуева, дочь престарелых родителей, сидевших сейчас возле гроба и плакавших над ее лицом.

Поскольку в Бутове разговор о человеке, как правило, начинается с уточнения, где и кем он работает на комбинате, скажем, что Тамара Бушуева, тридцати пяти лет, работала инженером в отделе комплектации.

Ее муж, угрюмый черноволосый крепыш с густыми бакенбардами, бывший второй год в командировке и приехавший вчера по телеграмме, встречал и провожал соболезующих. Руки он держал в карманах мятого пиджака.

Выходя то и дело в кухню, он курил, болезненно и с отвращением щурясь от дыма. В кухне заплаканная родственница в черном всем желающим наливала по рюмке и давала закусить; муж всякий раз принимал от нее рюмку, выпивал и задумывался, потирая небритый подбородок. Все произошло неожиданно, и он не знал, что об этом думать. Сердце у нее, правда, давно было большое, но ведь не настолько же, чтобы умереть! И что теперь делать с ребенком? Как за ним ухаживать?

Он ходил по квартире, разглядывая ее исподлобья точно впервые. Он с натугой выслушивал и отвечал сочувствующим, с натугой утешал тещу и тестя, когда они начинали слишком уж сильно, по его мнению, плакать, с натугой посматривал на покойную, и нельзя было понять, очоленел он то ли от горя, то ли от нетерпения, чтобы все это поскорее кончилось.

Тамара Бушуева, вспоминают (а о ней вспоминали после смерти много), была высока, худоцева, с длинным некрасивым, но правильной формы лицом, стройная, как свечка, узка в талии и бедрах, длиннорукая и длинноногая. Она носила короткую прическу, бывшую в моде лет семь назад, но шедшую ей.

Даже близко знавшие ее не сомневались, что редко кто ложился спать и просыпался с такой легкой душой, как Тамара Бушуева. Глупости, конечно. И ей выпадали черные дни, но она имела дар не показывать этого никому, вот и считали, что живет она без забот, и подозревали в легкомыслии — главным образом те, кто не способен, даже на людях, владеть своим настроением.

Начальство считало ее не особенно усидчивым работником, и это была правда, потому что инженером она стала случайно, как и многие, не узнав никогда своего настоящего призвания.

Тамара лежала в длинном белом платье, которое было выходным и так шло ей при жизни, а теперь, облегая живот и проступившие колени, походило на саван и уродовало ее.

Старики плакали в изголовье гроба; плакали по углам несколько дальних родственников, не вызывавших к себе внимания. Муж понуро стоял, заложив руки за спину и вертя на пальце обручальное кольцо.

Часов в двенадцать, перед самым выносом, в комнату вошел и пристроился к шеренге глядевших молодой человек лет тридцати, белокурый, кудрявый, с вьющимися жидкими усами, синеглазый, с **миловидным девичьим лицом и пухлыми розовыми губами. Он сто-**

ял, растерянно мигая и взмахивая при этом длинными ресницами, явно не зная, куда девать руки, и поминутно подавляя стремление сунуть их в карманы. Глаза его бегали.

Об их отношениях с Тамарой Бушуевой бутовцы начинали уже догадываться, и сейчас все, кто был в комнате, искоса чутко следили за ним. Только муж, до которого пока не доползли слухи, остался равнодушным к пришельцу, он его совсем не знал, смутно помнил только в лицо: вероятно, какой-нибудь сослуживец жены.

Молодого человека звали Андрей Зеленов. Где и кем он работает? Да как же! Начальником цеха штамповки! Его жена — врач на «скорой помощи». У них дочка, ходит в детский сад в одну группу с внучкой директора овощного магазина.

Тамара Бушуева умерла чуть раньше, чем догадки бутовцев на ее счет, уже граничившие с уверенностью, стали окончательной уверенностью. Жестоко, что и говорить. И бутовцы теперь следили за Андреем Зеленовым, надеясь, что он даст им какой-нибудь невольный знак, окончательно насытивший бы их любопытство, которое они считали безусловно законным.

3

Того, что Тамара Бушуева и Андрей Зеленов были созданы друг для друга, нельзя было и помыслить. Никогда они не производили один на другого никакого впечатления. Здороваясь, едва кивали; и если им приходилось встречаться глазами, делали это с полным безразличием.

Была зима, Новый год.

Бтовцы в распахнутых шубах и дубленках и сбитых на затылки шапках, хмельные, ослепленные весельем, пахнущие духами и апельсинами, толпами гуляли в свете фонарей. Дурачились, визжали и хохотали, валяясь в снегу, набирая снегу в ботинки и за воротники. Новый год... Мужчины были галантны и полны страсти — безотчетной и беспредметной; они целовали встречаемых женщин, и ни один поцелуй сегодня не был вполне невинным.

Жена Андрея Зеленова дежурила в эту ночь, дочка сидела дома с тещей. Он шел, обсыпанный снегом, держа шапку в руках, в обнимку с двумя знакомыми женщинами и перешучивался с их мужьями, которые обнимали рядом кого-то еще.

Потом Андрея зацепила другая компания, под елкой на площади он пил с ними шампанское из горлышка, потом с третьей катался с ледяной горки; и уже не помнил, как оказался в чьей-то квартире, среди едва знакомых людей, где пил с мужчинами на брудершафт, а с женщинами танцевал и целовался.

Хозяйкой квартиры была Тамара Бушуева. Столкнувшись наконец лицом к лицу, они посмотрели друг на друга с внезапной радостью и, присев на диван, тут же обнялись, откровенно любясь друг другом. С первой же секунды они ни в чем не сомневались, будто давно договорились именно сегодня, в этот час встретиться здесь.

Андрей шепнул Тамаре, чтобы она выпроводила гостей, и она с готовностью бросилась это исполнять, выталкивая их почти насильно, а он ждал на диване в блаженной уверенности; и в такой же блаженной уверенности Тамара вернулась к нему.

Когда Андрей шел домой, улицы были уже пусты. Фонари тихо гудели, освещая исковерканный снег на газонах. Андрей, вдыхая с ладоней запаха Тамары, думал, что сказать жене и теще. Глаза его спалились; мучила зевота.

Утром надо было уже на работу.

Вчерашнее не оставило следа в душе **Андрея Зеленова**. О продолжении он не думал, верный отличавшей каждого бутовца осторожности.

Но он забыл у Тамары часы. Теперь надо было как-то увидеться, чтобы забрать их. Андрей надеялся, что она принесет часы на работу. Дождавшись передышки после утренней суеты в цехе, Андрей, вздохнув, отправился в заводоуправление.

Он шел по коридору с кислой миной, думая, как начать разговор в отделе, на глазах у сослуживцев Тамары Бушуевой, из которых ни один наверняка не жалуется на слух. Не отзывать же Тамару в коридор — ведь каждый знает, что у них нет и не может быть никаких дел, требующих разговора наедине. От удивления до подозрений полшага; тем более — черт их знает — вдруг кто-нибудь был вчера с ним в квартире у Тамары и видел, что они остались вдвоем.

Тут дверь отдела комплектации отворилась и Тамара Бушуева вышла, широко шагнув, прямо ему навстречу, держа в руках скоросшиватель и перелистывая на ходу в нем бумаги.

Андрей, оглянувшись на пустой коридор, изобразил улыбку, ожидая в ответ такую же, из тех, что так облегчают в подобных случаях встречу наутро. Но Тамара Бушуева, взрослая женщина, лишенная предрассудков и отнюдь не монашеской скромности, как было о ней известно, увидев его, так явно растерялась и забегала глазами, что Андрею самому стало неловко.

— Привет, как жизнь?

— Плохо...

— Гм... что ж вдруг так? — спросил Андрей, озираясь, чтобы не смотреть на нее. — Кстати... э-э-э... — Он повертел пустым запястьем.

Она ответила шепотом:

— Они у меня. Я могу принести... или ты зайдешь?

Андрею польстило, что его так явно, не скрывая просьбы, привлекают. Да и сказать после ее слов, чтобы несла часы, было бы просто жлобством, если не трусостью.

— Зайду, если ты не против.

— Когда?

— Когда?.. Да сегодня же. Можно?

— Да! Да! Конечно!

Хлопнула дверь; кто-то шел по коридору, кашляя.

Тамара, кивнув, резко отвернулась и пошла своей дорогой, снова спокойная, высоко держа голову; каблуки мерно стучали по паркету, и поступь была легка. Андрей поглядел ей вслед. «Черт с ним, схожу еще разок. А то вчера действительно было наспех, нечего вспомнить».

Вечером, дождавшись сумерек, Андрей окольными путями, чтобы не попасться друзьям, крадся к дому Тамары Бушуевой.

Войдя в подъезд, он перевел дыхание, но тут же снова съежился от страха, что его увидят здесь, где он раньше никогда не появлялся и где, все знают, у него не может быть никаких дел. Достаточно, чтобы кто-нибудь застал его звонящим в дверь Тамары Бушуевой, живущей второй год без мужа, как сразу пойдут слухи и припадки любопытства у соседей.

Пока дверь открывали, Андрей озирался и считал секунды, кляня себя за глупость.

Тамара была в длинном белом платье, слишком нарядном для такого случая, тщательно завитая, со свежим маникюром; она глядела выжидающе, безвольно свесив вдоль тела длинные руки.

В комнате засыпал ее ребенок. Приложив палец к губам, она повела Андрея в кухню. Там уже готов был кофе — ах, кофе! По

фильмам и книгам у нас такое впечатление, что всякая любовь начинается с кофе, который пьют в кухне.

Андрей присел; увидев на столике свои часы, тут же нацепил их на руку.

Тамара встревожилась:

— Посидишь еще?

Андрей, умиленный, наклонился и поцеловал ее в губы. Она обняла его и не отпускала долго, пока не перехватило дыхание.

— Думай обо мне что хочешь... только побудь, ладно?

Глядя и перебирая ее волосы, Андрей поверх ее головы усмехнулся. «Думай обо мне что хочешь...» А на какое мнение о себе она, интересно, претендует?

Увидев, что ему наскучило сидеть, Тамара, заглянув в комнату и прислушавшись шепнула:

— Спит.

4

Приподнявшись на локте, она смотрела на него, отдыхающего, сверху вниз.

— Я очень ждала тебя. Вчера проводила и всю ночь не спала. Лежала на твоей подушке и вспоминала, вспоминала... просто удивительно, никогда со мной такого не было. Как подумаю, что завтра ты все забудешь, что все для тебя пройдет,— плачу, не останавлиюсь... А утром вижу — твои часы. Я так обрадовалась! Можно подойти к тебе... Уже придумала какую-то глупость, чтобы бежать к тебе в цех... и вдруг ты! Чуть не рухнула в обморок, представляешь?

Андрей слушал ее с удивлением. Он чуял искренность, пусть даже минутную, какая в конечном счете тоже есть ложь, но в момент произнесения — все же правда. Может, Тамаре, хотя по ней этого не скажешь, не везло в любви?

Андрей все больше подозревал в ней самопритворство ущербной и от этого сентиментальной души. Но он уже не улыбался и жалел, что все это хоть и искренняя, но ложь, к которой нельзя отнестись серьезно. Он жалел, потому что, как всякий не особенно сильный волей и характером человек, увлекся силой и минутной красотой чужого порыва; сознавая, что смешон в своем легковерии, он все же был растроган, благодарен и горд.

Его вдруг взволновала мысль: как может женщина изменять мужу с таким пылом? В нем поднялась ревность за все племя мужей; он не удержался и спросил ее об этом, заранее с тоской предвидя какую-нибудь банальность, каких немало уже наслушался, какую-нибудь плаксивую злую историю, в которой муж предстает извергом или кретином; и обрадовался, когда Тамара сказала без всякой позы:

— Просто я его не люблю. И никогда не любила. Так, было что-то вначале. Нет, мы живем нормально, у нас ребенок... Живем и будем жить. Но тебе это неинтересно, незачем слушать. Да и при чем тут все это? Мне сейчас так хорошо, что я больше ничего не хочу думать.

Она любовалась его лицом и ахнула от испуга, когда он, повернув к себе будильник, посмотрел время.

— Уже? Остался б еще. Придумай что-нибудь... неужели нельзя ничего придумать?

— Нет, Тамара. Как я могу?

— Да-да, конечно.

Она сидела на краю дивана, подобрав под себя длинные ноги, и осиротело смотрела, как он одевается.

- Ты не бросишь меня сразу?
Андрей, растроганный, обнял ее.
— Не говори глупостей. Как я могу тебя бросить?

Проснулся Андрей Зеленов с ощущением, что сваял дурака, когда на минуту принял излияния Тамары за чистую монету, увлекся ими, дал ей это понять и в глупом воодушевлении чуть сам не объяснился в любви, хотя считал, что для них слово «любовь» годится лишь в смысле заниматься любовью. Он представлял, как Тамара говорила — наверняка пыталась говорить, только не с таким успехом — другим те же слова, что и ему, и ревновал, и обижался, удивляясь себе; он чувствовал, что не может остаться без всего этого, уступить это другому. Он привык думать, что презирает связи, обремененные «отношениями», неспособность прекращать их с легким сердцем вовремя, без шума, он считал это слабостью; и не мог успокоиться, обнаружив себя теперь слабым. Очевидно, эта слабость и есть в глазах Тамары его преимущество перед другими — преимущество не из почетных, черт побери!

Решив, что Тамара так и думает о нем, Андрей простонал: «О господи!» — вскочил с кровати, не дожидаясь будильника, и в темноте начал одеваться.

Как ни старался Андрей и в цехе отвязаться от беспокойных, бессвязных, томительных размышлений о Тамаре Бушуевой, он и там не находил себе места и то и дело поглядывал в окно, прикиная к стеклу всякий раз, когда в дверях заводууправления появлялась женская фигура.

— Черт бы ее побрал, шлюху!

Андрей зашел в конторку, выгнал табельщицу и, не присаживаясь, набрал номер отдела комплектации. Услышав голос Тамары, он моментально покрылся испариной.

— Привет, как жизнь?

— Плохо... без тебя.

Андрей с облегчением выпрямился, вздохнул, вытер лоб; он все забыл, о чем думал с утра, он снова хотел верить ей и снова верил.

— Повторим вчерашнее?

— Да! Да! Конечно!

5

Еще встреча — и, ей-богу, оказалось, что они не могут жить друг без друга.

Уже с утра оба начинали томиться, тосковать, придумывать повод для встречи или звонка, когда можно будет шепнуть: «Завтра, как обычно». Они болезненно не доверяли каждый себе и, судя по себе, еще больше — друг другу. Все испытанное накануне, после чего так умиротворенно засыпалось, утром начинало представляться лишенным всякой прочности; и они торопили встречу, чтобы разувериться в этом и разубедить один другого.

Они перестали различать людей. Идя по улице, каждый искал в толпе безликих единственное лицо; без надежды увидеть его хоть на секунду не обходился у них даже случайный взгляд в окно.

И это серьезные, взрослые люди! Люди, имеющие семьи! Так сказали бы бутовцы.

Кстати, о семьях. Такое, как сейчас, Андрей и Тамара испытывали впервые. Но мало ли чего не испытываешь и не получаешь в семьях! Не возненавидеть же их из-за этого. Андрей и Тамара даже не считали свою страсть изменой. Она выросла как нечто совершенно новое там, где раньше в душах была пустота, ничего там не потеснив. Андрею и Тамаре не пришлось ничего отнимать у своих се-

мей, они пользовались новым, только им принадлежащим. Они несли семейные будни и собирались и дальше нести их как прежде, продолжая именно в них видеть главную опору своего существования.

В общем, в отличие от того, как на это принято смотреть, семьи были здесь абсолютно ни при чем.

Им выпал даже медовый месяц.

Андрею дали командировку в областной центр, куда от Бутова ехать было три часа автобусом, так что, закончив день, он мог вернуться к ночи, когда бутовцы, кроме подгулявших, уже спали.

Андрей приезжал через сутки. В четыре часа утра он уходил. Он почернел от недосыпания и в обеденные перерывы не ел, а шел в гостиницу и спал, после чего долго не мог унять в голове тошнотворного звона.

Но ночами возле Тамары Бушуевой — ни сна, ни сонливости. Отдыхая, они без конца говорили; как и положено влюбленным, они рассказали друг другу свои жизни и при этом безудержно, вдохновенно, страстно врали, приукрашивая их изо всех сил, — милая, беззлобная ложь во спасение своей любви, в поддержание ее. Они наперебой мечтали о днях и ночах вдвоем, далеко отсюда и, пока были рядом, не сомневались, что когда-нибудь и как-нибудь им это удастся осуществить.

6

Однако гораздо больше времени проводили они в разлуке, а тут уж не отвертеться от того, чтобы начать серьезно вопрошать будущее.

Тогда с паническим недоумением они обнаруживали, что происходящее между ними, то, чем жили они так полно, с безусловной необходимостью существует исключительно для них двоих, а не для мира, в котором не имеет никакой опоры, лишено всякого объективного существования.

Они интуитивно, но безоговорочно были уверены, что, начни они жить вместе, все прекратилось бы мгновенно, безобразно, с мучительным разочарованием друг в друге. Страх, что, любя, они все же безнадежно свободны один от другого и каждый в любой момент может оказаться брошенным внезапно, первым, изводил их неотступно; и таким же неотступным было покорное, скорбное, выматывающее душу ожидание конца. С признанием этого они тянули изо всех сил, боясь согласиться, что их любовь, существующая не для мира, не более чем плод изголодавшегося воображения: то был непереносимый стыд разума, увидевшего себя слабее воображения, обманутым им.

И они жили от встречи до встречи в ожидании хотя бы минутного успокоения, не желая соглашаться с очевидностью, как это делают дети, если очевидность им неуютна или страшна; и никак не могли надоесть друг другу, чтобы расстаться.

А между тем тянуть с расставанием становилось все опаснее.

Родители Тамары Бушуевой, наслушавшись от внука про дядю Андрея — тот играл с ним до сна, когда Тамаре не удавалось ответить его на вечер к старикам, — с подозрением встретили появление на горизонте незнакомого дяди, столь внимательного к внуку, и окончательно встревожились, видя, что на вопросы, что это там еще за дядя Андрей, как его фамилия и кем он работает, Тамара истерически и явно лжет. Мать угрожающе подступалась: «Смотри, Тамарка, ох смотри!..» Она начала писать зятю длинные письма с призывами кончать такую жизнь: жена скучает, ребенок без отца, а ему скоро в школу — куда это годится! Денег уж, поди, назаработал, все их все равно не заработаешь.

Зять отвечал, что и вправду, пожалуй, хватит, он и сам об этом подумывает.

Тамара только тут вспомнила, что командировка у мужа не вечная, что скоро он придет навсегда. Это ее поразило. Не потому, что она чувствовала угрызения совести или невозможность после Андрея жить с мужем. Вопрос стоял чисто практически: как тогда видеться с Андреем, где? Не строить же шалаш в лесу. На три часа езды по всей округе нет даже хижины. И, если даже найти место, разве возможно будет ей пропадать вечерами!

И снова, как ребенок, не желающий видеть, что у него перед глазами, если это ему неудобно, Тамара стала верить, что все как-нибудь образуется, продолжая знать разумом взрослого человека, что ничего не образуется.

Бутовцы уже были готовы начать делать выводы из своих наблюдений. Андрей, подходя к дому Тамары, каждый раз ужасался, видя, как сумерки все дальше отодвигаются к ночи. Уже посиживали на скамейке прямо у подъезда нежащиеся в весеннем ветерке старухи, любопытные, наблюдательные и сообразительные. Андрей здоровался с замиранием сердца и проскальзывал в подъезд, чувствуя, что ему смотрят в спину внимательнее, чем в глаза. Раз или два он заставал у Тамары подруг. Войдя, он начинал бормотать о каком-то деле, называя любовницу по имени-отчеству; но подруги так поспешно хватали в прихожей свои туфли, что было ясно, что Андрей зря старается.

Близился неизбежный в Бутове при любой осторожности обвал общественного мнения из тех, после которых от позора не поднять глаз, а родня становится хуже врагов.

Наконец, и комбинат, кормивший их и их детей; комбинат, с отеческим рвением заботившийся и о них в числе прочих бутовцев, которым предоставил очень высокий уровень жизни; комбинат, который мог давать это только при условии, что и ему все кормящиеся от него будут давать то, что самому ему необходимо для его жизни,— комбинат тоже не мог одобрить происходящего между Тамарой Бушуевой и Андреем Зеленовым. Ибо и тот и другой стали плохими работниками. Их страсть была из тех, что не дает, а отнимает силы, принуждая людей нарушать основной принцип в отношениях между работником и производством. И комбинат был прав, мстя им тем, что сделал их жизнь невыносимой: уйдя в существующее не для мира, а только для двоих, оба теперь ощущали свою жизнь тусклой, подневольной; все вокруг стало сплошной помехой; мир сузился до размеров их ворованного любовного ложа, и души вмещали в себя лишь то, что одна говорила другой.

В общем, куда ни кинь, эти двое со своей любовью всем и каждому явно и неявно стояли поперек горла, да и сами себе тоже; отовсюду и из самих себя видели они угрозу ей и метались, как волки, окруженные флажками, а круг все сужался. Хвала большим городам, где не знаешь даже соседей по площадке! Большинства проблем Андрея Зеленова и Тамары Бушуевой там просто не существовало бы. Впрочем, это только предположение, а там — кто его знает, может, в больших городах проблемы еще похуже.

Андрей часами насиловал воображение в поисках выхода и снова и снова приходил в отчаяние оттого, что выход мыслился — да и мог мыслиться — лишь один: расстаться. Он рад был бы и расстаться, но не представлял, как это сделать. Его ненависть к ситуации, в которой он очутился, не переходила в ненависть к Тамаре, он по-прежнему не хотел ее терять; нет, сам, своей волей он не способен был освободиться. Стремление как-нибудь выпутаться и начать жить спокойно, как и прежде, превратилось у него в навязчивую идею со всеми муками навязчивой идеи. Ему оставалось — и он с

бессильным стыдом за себя видел это — только молить обстоятельства сложиться как-нибудь так, чтобы они все сделали за него; как угодно, лишь бы это кончилось.

7

Это был припадок благоразумия из тех, какие последнее время мучили ее все чаще и сильнее. Сказать она не могла, а бессонной ночью наконец написала Андрею, что все кончено. Крохотную записку она вложила в папку с надписью «Дело №» и утром, передергиваясь от волнения, чувствуя расслабляющую дурноту, побрела по улице, где ходил на работу Андрей Зеленов, ожидая, когда он нагонит ее.

Тамара узнала его шаги. Они пошли рядом; на глазах у бутовцев они имели право лишь на два-три ничего не значащих слова, произнесенных к тому же полным голосом.

— Привет, как жизнь?

— Андрей Егорович, ваши бумаги.— Тамара протянула ему папку; улыбаясь встречным, шепнула: — Прочти где-нибудь один.— Громко: — Спасибо, Андрей Егорович.

И прибавила шагу.

— Пожалуйста, пожалуйста...

В полутемной конторке, оглядев пустой еще цех, Андрей открыл папку.

— Так... — Перечитал еще дважды, шевеля губами, как полуграмотный.— Так... все ясно... Все ясно...

Вошла табельщица; остановившись на пороге, щелкнула выключателем. С треском вспыхнули и загудели лампы. Андрей сощурился, сунул записку в карман и бросился в цех, не поздоровавшись и сильно задев удивленную табельщицу в дверях плечом.

— Ох ты ж и падаль!..

Андрей быстро шел по цеху, пугаясь, что не может никак поглубже вдохнуть и пошире оглядеться. Все было тускло перед глазами. Он не замечал людей, становившихся к станкам и здоровавшихся с ним, и быстро и бессмысленно шагал мимо них.

Стрелка настенных часов подходила к восьми. Он остановился, достал и еще раз перечитал записку.

— Ну и черт с тобой! Все правильно, все верно, давно пора... Ох и стерва!.. Ладно, после... после...

Табельщица, запыхавшись, догоняла его:

— Андрей Егорович, телефон!

— Иду... Ну чего смотришь? Сказал же — иду!

Он сидел в конторке за столом, вяло отвечая на телефонные звонки. Он пытался и не мог придумать себе утешение. Он забыл о своей мольбе к обстоятельствам, он думал теперь только: за что? чем он оттолкнул ее?

— Сволочь, сволочь,— стонал Андрей, ворочаясь в кресле.

Но зла не было. Напрасно он старался заразиться им, почувствовать себя оскорбленным, обрадоваться долгожданной развязке — он знал, что это только слова, и неизвестно, что останется от них через час.

— Хоть бы ты мне надоела! Ведь дрянь... старуха... ни черта хорошего... Все! Все! Теперь-то все... слава богу!

И тут вошла Тамара Бушуева.

Она и так-то была некрасива, а сейчас — после бессонной ночи и слез, с внезапно проступившими морщинами на окаменевшем испуганном лице — была просто страшна.

Андрей быстро глянул в цех, прислушался. Кто-то поднимался к нему по стальной лестнице.

— Прости меня.

— За что? Помилуй! Ты совершенно права. Не понимаю, почему я сам...

— Нет, совершенно не права. Слушай, сюда идут... Мне надо с тобой поговорить, просто поговорить, не бойся. Приди сегодня хоть на десять минут. Не отказывайся. Мне это необходимо.

— Случилось что-нибудь? — спросил Андрей, выдерживая роль.

— Да... Случилось.

— Хорошо. Но ты с ума сошла — появляться здесь. И так уже шепчутся.

— А иначе... ты ведь больше не захотел бы меня видеть?

— Да уж, радости мало.

— Вот я и... Идут! В общем, я тебя жду, слышишь?

Андрей стоял у порога, держась за косяк, всем своим видом давая понять, что зашел на минуту. Тамара тронула его за рукав:

— Ну пройди, что ж на пороге стоять?

Андрей прошел в кухню и остановился там в той же позе.

— Да ты сядь...

Он сел на краешек стула.

— Так что случилось? У тебя неприятности? Я могу чем-нибудь помочь?

— Да... Нет, не то... дай собраться с мыслями... Что ты сделал с запиской?

— Порвал и выбросил, что же еще! Ну кто так поступает, Тамара? Могла бы сказать мне прямо...— Андрей вспомнил, что сам на это не был способен, и заторопился, чтобы забыть, не думать о себе.— Могла бы прямо сказать. Неужели ты боялась, что я держал бы тебя? За кого ты меня считаешь? Мы прекрасно решили бы все вместе и потом очень приятно раскланивались при встрече...

Тамара в отчаянии замотала головой.

— Перестань! Ты поверил! Поверил! Что я наделала! Как вот теперь заставить тебя забыть эту проклятую записку? Идиотка... Можешь простить меня? Можешь?

Андрей только пожал беспомощно плечами, поняв, что с самого начала надеялся услышать то, что слышал, и уже больше ни о чем не думал.

— Андрей, не будем больше вспоминать об этом, ладно? Я просто не знала, что делаю.

Он потянулся к ней. Тамара, вдруг нахмурившись, удержала его руки.

— Подожди... Извини, побудь здесь... я лягу на минутку. Что-то у меня... Я сейчас.

Андрей подождал, потом пошел в комнату, присел рядом с ней на диван, осторожно глядя пальцами ее лицо. Пронзительно пахло лекарством.

Андрей после облегчения приходил в себя.

— Что с тобой?

— Ерунда, сейчас...

Она прижимала к губам его ладони.

— Я без тебя не могу, знай это всегда. Не бросай меня, что бы ни случилось. Мы придумаем что-нибудь... Неужели нельзя ничего придумать? Все образуется...

— Да, конечно... все образуется,— кивал Андрей, но имел в виду совсем другое — себя, свою мольбу к обстоятельствам, чтобы ему как-нибудь выпутаться.

Он уже не понимал, отчего так сильно страдал сегодня. Все настойчивее думалось: он упустил случай. «Не надо было соглашаться

приходить. Или решительно объясниться и тут же уйти. Дурак!.. Что же теперь делать?»

Он увидел, что ему оставалось только вымалывать у судьбы какой-нибудь подобный случай; он способен был только плыть по течению в муке от бессилия прекратить все своей волей. Андрей поразился этому, но ему сразу стало все равно: все его силы были уже отданы другому страданию.

И, как все плывущие по течению и уповающие не на себя, а на случай, он хотел забыться, раз пока все равно нельзя себе помочь. Он сходил в кухню, выпил там водки и вернулся к Тамаре.

8

Мать Тамары Бушуевой, после того как Тамара вечером привела к ней ребенка, выждав, велела деду следить за внуком, накинула платок и пошла к дочери.

Она позвонила несколько раз и застыла, сложив руки на животе. Идя сюда, она видела свет в окне; молчание за дверью не могло ее обмануть; она позвонила еще и еще. Наконец Тамара испуганно спросила из-за двери:

— Кто?

— Открой, Тамара. Это я, твоя мать.

Снова молчание. Старуха усмехнулась задрожавшими губами, услышав:

— Ко мне сейчас нельзя, мама.

— Можно, можно. Если не откроешь, я подниму весь подъезд, хуже будет.

Она стояла как истукан.

Клацнул замок. Старуха вошла, не сводя глаз с двери в комнату, которую Тамара заслоняла от нее, глядя загнанно и непреклонно.

— Ну, как жизнь? — Мать потянула носом. — Пила. Так... Что ж ты мать на пороге-то держишь?

Сделала шаг. Тамара оперлась рукой о стену, преграждая ей дорогу, и старуха со скорбным изумлением уставилась на эту руку.

— Туда нельзя, мама.

— Это еще почему? — усмехнулась мать, пытаясь слабыми своими руками сбить руку дочери. — Это мы еще поглядим...

— Ни за что! Говорю же тебе!

— Что ты меня толкаешь?

— Ты туда не войдешь!

— Ты на мать...

— Не смей, говорят тебе!.. Ну пожалуйста: у меня там любовник. Что еще?

Мать продолжала смотреть на руку дочери, больно державшую ее; отступила и со всего размаха ударила Тамару по лицу — у той дернулась голова и волосы захлестнули лицо.

— Сука. Ох и сука... будь ты проклята. Пошла по рукам... поздравляю. Хорошо же, дочь. Ты еще пожалеешь. Ну шлюха!..

— Не смей так говорить!

— Нет, шлюха, шлюха... Вам обоим не поздоровится — тебе и этому твоему... — Она возвысила голос, глядя на дверь. — Я все равно узнаю, кто он такой.

— Уходи, уходи! Немедленно, слышишь?

— Теперь уйду.

Андрей вышел уже одетый. Тамара стояла, прислонившись лбом к двери и безжизненно свесив длинные руки.

— Она придет снова?

— Не знаю.

— Она и вправду может поднять скандал?

- Не знаю.
- Что она теперь сделает?
- Не знаю... Не знаю...
- Слушай... Может, мне сейчас лучше уйти? Мало ли...

Тамара повернулась к нему. Она видела, что он трусит и ничто не удержит его от бегства, что, будь у него побольше мужества, он давно бы уже развязался с ней, что он устал и для него существует сейчас только эта усталость и стремление избавиться от усталости. Она видела, что ему с ней возможно теперь только трусливо лгать и выжидать случая предать. Она видела его насквозь и обреченно улыбалась своей продолжающейся любви к нему.

— Иди, иди, конечно, иди. Не бойся, никто никогда о тебе не узнает, ни одна душа. Все образуется.

— Да нет, ты не думай...

— Ничего, ничего, иди. Ты прав. Поцелуй меня...

Тамара Бушуева, присев на подоконник, смотрела в окно, как он заворачивает за угол.

В полумраке добрела до постели, держась за грудь; повалилась ничком. Отчаяние и дурнота росли, подхлестывали друг друга, вскопичить не стало сил. Тамара в ужасе крикнула и перевернулась на спину.

9

Чистюля город Бутово утопает в юной майской зелени. Пышные облака высоко стоят над ним, отражаясь в большой блестящей луже, которую бутовцы называют прудом, тщательно чистят каждую весну и в которой не прекращают попыток развести карпа, чтобы потом его ловить, но, кроме лягушек, ничто не приживается. Стоит над городом воскресный благовест: щелчки дверей магазинов, голоса машин, стук каблучков и шарканье подошв по асфальту; и приветствия, приветствия: «Как жизнь?»

Вот-вот зацветет сирень; цветут яблони, плодов от которых никогда не вкушать бутовцам, не испытывающим, впрочем, недостатка в яблоках: зря, что ли, строили магазины? С окрестных опушек несут охапки цветов, свесивших болтающиеся головки.

От подъезда Тамары Бушуевой до центральной улицы по дорожке разбросаны еловые ветки.

Андрей Зеленев стоит минут пять, больше нельзя: официально он здесь никто и вовсе незачем давать бутовцам лишнее подтверждение тому, о чем они и так думают, искоса следя за ним. Ему нехорошо от противной, смертельно утомительной мысли, что его мольба к обстоятельствам услышана и исполнена именно так, и он теперь не может со спокойной совестью принять долгожданное облегчение — возможность стать прежним в глазах бутовцев, снова составить с ними одно. Как он ни старается внушить себе скорбь о Тамаре, он скорбит только о том, что ему по-прежнему нехорошо; это ему огорчительнее всего. Он поворачивается, выходит, отведя поднесенную ему рюмку водки, и на улице начинает задыхаться от солнечного света, который сейчас слишком ярк ему. Солнце режет глаза; он промокает их ладонью, отворачиваясь от людей. «Как я устал! Боже, до чего же я устал!.. Ну ладно, хватит. Все, все, хватит...»

Встречные тянут руки:

— Как жизнь?.. Как жизнь?

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ



ИЗ НОВОЙ ЛИРИКИ

У мемориала

У Вечного огня,
Зажженного в честь павших
Не на войне минувшей —
Павших в наши дни,
Грущу, что никогда
Они не станут старше,
Хозяева ракет — как молоды они.

Им жизнь не написала
Длинных биографий.
Была лишь только юность,
Служба и друзья...
И смотрят на меня
С печальных фотографий
Безоблачные лица,
Весенние глаза.

И возле их имен —
Живых, а не убитых —
Мы все в минуты эти
Чище и добрей...
И падает снежок
На мраморные плиты —
Замерзшие в полете
Слезы матерей.

Овалы фотографий —
вечные медали
Не на седом граните —
На груди страны...
На прошлую войну
отцы их опоздали.
И гибнут сыновья,
Чтоб не было войны...

Их мужество и жизнь навеки святы.
Ракета смотрит в небо словно обелиск.
Легли в родную землю славные ребята
И подвигом своим над нею поднялись.

Разговор с сыном

Я помню, как мне в детстве
Хотелось быть взрослей...
Сейчас — куда бы деться
От взрослости своей.

Не стоит торопиться
Да забегать вперед.
И что должно случиться,
Тому придет черед.

Придет пора влюбиться,
Пора — сойти с ума.
Вернулись с юга птицы,
А здесь еще зима.

Вернулись с юга птицы,
Да не спешит весна.
Не стоит торопиться,
Хоть жизнь у всех одна.

Иронические стихи

«Добро должно быть с кулаками», —
Из древних кто-то утверждал.
А в кулаке зажатый камень
Меж тем своей минуты ждал.

И как мы только не старались
Поверить в эту благодать!
Да, кулаки — они остались.
Добра вот только не видеть.

* * *

Я вычислил на много лет вперед
Тебя...
И знаю, как ты где поступишь.
Все очень просто — ты себя так любишь,
Что жизнь чужая для тебя не в счет.
Ты друга не спасешь от клеветы,
Боясь испортить с кем-то отношения,
Боясь, что завтра можешь стать и ты
Для клеветы безжалостной мишенью.
Свои дела ты держишь под замком.
На всякий случай...
Лучше пусть не знают,
Что ты замыслил, с кем теперь знаком,
Какие игры ум твой занимают.
Твой эгоизм мою смиряет прыть.
И понял я — ни в чем нельзя быть слишком...
Молчи, когда опасно говорить.
А говоришь — так уж без третьих лишних.
Но хитрость ходит рядом с воровством.
Схитрил — украл доверие у друга.
Как нет конца у замкнутого круга,
Так нет опоры и в плече твоём.

«Тинтява»¹

Хотя на пляже многолюдно,
Уже кончается сезон.
Своей игрой на старой лютне
Нам море навевает сон.
Мы вновь на Золотых Песках.
И годы, что прошли над нами,
В нас отмечают на память
То сединою на висках,
А то печальными стихами.

Мы отыскали наш отель,
Где восемнадцать лет назад
Мы провели медовый месяц.
Меня пьянит тот давний хмель
И твой помолодевший взгляд,
Как будто по одной из лестниц
Мы поднялись к своей судьбе,
Как в том далеком сентябре.

Отель окрашен в желтый цвет,
А был тогда он синим-синим.
И тех людей здесь больше нет,
И здесь мы комнату не снимем.

Она другими занята.
Дай бог им счастья в этом доме.
Над нами прошлые ветра...
Ты снова им подставь ладони.

Ты плачешь возле нашей ивы...
Пожалуй, как твоя рука,
Она еще была тонка,
Когда росла здесь сиротливо.
А ныне тут могучий сад
Иль роща — нам уж незнакома.
Ты помнишь, с этого балкона
Мы любовались на закат,
Когда он краски растворял
Лучом, как кисточкою, в море,
Печалил нас и покорял
Или с волною темной спорил.

Прощай, «Тинтява»! Мир тебе!
Спасибо за медовый месяц
В неповторимом сентябре...
А мы одной из этих лестниц
Неспешно спустимся к себе.

* * *

Я караю сон твой по ночам.
Боюсь, чтобы моя бессонница
Не подступила и к твоим очам,
Когда душа и тело тихо спорятся.

¹ «Тинтява» — гостиница на Золотых Песках в Болгарии.

Неотправленное письмо

Твоим слезам доверья нет во мне.
 Твои слова в воспоминания уходят.
 И только там они сейчас в цене,
 Поскольку в сердце места не находят.
 Твоим глазам во мне доверья нет.
 Как дальше быть двум разобщенным душам?
 И сколько б нас ни ожидало лет —
 Я остаюсь наедине с минувшим.

.

Я тебя теряю —
 Как лес теряет музыку,
 Когда в него приходят холода.
 Моей душе —
 Пожизненному узнику —
 Из памяти не выйти никуда.
 Я тебя теряю —
 Как дом теряет небо,
 Когда окно зашторивает дождь.
 И будущее наше — словно ребус:
 Я не прочту.
 И вряд ли ты прочтешь.

.

Когда любовь сопряжена с обманом
 И опекает ложь ее в пути,
 То лучше уж довольствоваться малым.
 И не любить... Иль, полюбив, уйти.
 Честней тогда терзать себя страданьем,
 Чем убивать кого-то без вины.
 А мы другим свои печали дарим,
 Хотя дарить бы радости должны.
 Наверное, характер все решает.
 И лучше быть печальней, да честней.
 Какая ни была б любовь большая —
 Она не больше совести твоей.

.

В тот год сентябрь был так красив!
 И ты в него легко вписалась.
 Твоя печаль листвы касалась,
 Как птиц касались облака...

.

Потеряны от прошлого ключи.
 И наша жизнь, увы, лишилась таинств.
 Прислушиваясь к памяти в ночи,
 Восстановить минувшее пытаюсь.
 Наверно, стала в чем-то ты другой.
 Давным-давно, но стала ты иною...
 И над твоей забытою строкой
 Я чувствую тебя своей виною.



ВАСИЛИЙ ТРАВКИН

★

ЭКСКУРСИЯ

Повесть

Вборщица тетка Вера приходила убирать рановато. Сотрудники еще были все на местах. Большинство бездельничали, болтали о погоде, о телепостановке, бумаги лежали, как понимала тетка Вера, так, для виду, для блезиру. Она сочувствовала управленцам: устали, притомились, спинушку ломит, а уйти пораньше трусят. И вот досиживают.

Тетка Вера носила к печкам в кабинеты вязанки дров, хлопала дверями, грохала поленьями — не смущалась. Она видела — кабинетный народ рад ее появлению, здороваются приветливо, советуются насчет погоды.

Дрова были — сырая, трухлявая осина. Тетка Вера вслух ругала коменданта Семейкину:

— Саму бы заставить топить этой мозглятиной.

Сотрудники поддакивали: нету заботы о людях, нету.

Тетка Вера долго пытала у каждой печки, разжигала старательно уложенные поленья, благо бумаг ей наваливали к топкам каждый день с избытком.

Через час по кабинетам раздавалось шипение занявшейся осины, потрескивание и гудение. Становилось веселей, по-домашнему уютно. Сотрудники охотно подкочегаривали, садились на корточки к топкам, курили. Женщины собирались в агрономический отдел пить последний свой чай с конфетами, что еще купили к полднику, скинувшись по двугривенному.

А тетка Вера, свернув веревку и бросив ее в ящик списанного стола, шла в приемную начальника на беседки к машинистке Ангелине Михайловне, Гине.

Гине что-то около пятидесяти, от многолетней сидки над машинкой сутуловата, грузна, но ходит расторопно, покачиваясь и размахивая длинными руками. Она чудаковата, любит подурачиться и подурачить. Ну вот взять хотя бы: летом сдавала в детсад две корзины огурцов, на огурцы Гина мастер, в поселке самый ранний сбор — у нее. Завхоз взвесила, выписала квитанцию, пошли вместе в бухгалтерию.

Гина, как вошла, сразу представилась:

— Здравствуйте, я ревизор из министерства, приготовьте документацию, спокойно сидите на местах, без волнений. — Сказала строго, четко и повела по столам прищуренным всевидящим взглядом.

Ошарашенная бухгалтерия сидела разинув рот, никто не шевельлся к сейфу, забрякала ключами.

— Сейф не запирайте, сейчас буду снимать остаток, — повелительно остановила кассиршу Гина.

Не выдержала завхоз, как фыркнет за спиной:

— Ой, Гинка, кончай чудить-то, переполошила всех!

А вообще Гина любит правду, не стесняется, прямо в глаза лепит. Кривить душой не в ее характере. Гину в управлении уважают, прислушиваются к ее слову, хотя она всего только секретарь-машинистка. Может быть, потому прислушиваются — самый старый в управлении работник, шестнадцать лет в этих стенах.

Каждого новенького Гина успокаивает:

— Не ты первый, не ты последний, так что не тушуйся. Знаешь, сколько здесь всяких-яких перебивало? О-о!..— И махала безнадежно рукой.

К этой вот Гине и ходила на беседки тетка Вера. В приемной напротив дверей в кабинет начальника стоял у стены продавленный, с потрескавшейся кожей диван. Тетка Вера устало, со вздохом плюхалась в залощенную посетителями седловину, наваливалась на подлокотник.

— Куда заступила, черт те дери! Бежать надо! Ну-ко шесть печек, а дрова — как из воды! Потаскай-ко! Да на второй-то этаж! Да грязи сколько выворотишь! Восемь кабинетов, два коридора — куда с дури взялась!..

Гина, переложив листки копировкой и заправив в машинку новую закладку, поворачивалась, внимательно смотрела на тетку Веру. Та продолжала жаловаться:

— Вон в профсоюзе одна печка да кабинетик пять шагов, лафа Марье, не выгонишь. А тут — прорва. А зарплата одинаковая. Это разве порядок? Ну ладно, прибавки не прошу, тогда бы вторую уборщицу брали...

Гина досадливо перебила:

— Сколько тебе раз говорить — не положено, пытались в план заложить, а область вычеркивает. И так штат раздут. Я как первый год оформилась сюда — все управление в двух комнатках, а теперь, видишь, пол-этажа уже занимаем — и опять тесно, столы-то подвешивать надо, второй ярус делать.

— Хы, не положено, — упрямо твердила свое тетка Вера. — Раз не положено — убирались бы сами.

— А и убирались, почесть, целый год. Желающих не было. Объявление прочитают, придут, посмотрят — не-ет, говорят, что вы, шесть печек...

— Нашлась одна дура, — вздыхала тетка Вера.

Тетка Вера в Судеа второй год, заколотила в Пиногорове свою пятистенку, торговала здесь комнатку четыре на четыре — им с Иваном за глаза хватит. Как-то быстро у них с переездом решилось. Чего, мол, терять-то? Девки выданы, пристроены. Пиногорово совсем обезлюдело, до бетонки восемь километров, добираться как хошь. Девки — гости редкие, а причина у них: «Мама, с детками добираться до тебя — одна маета». И тоже смущали-советовали: «Переедешь в Судай — будем часто видеться».

Иван перечить не стал: куда иголка, туда и нитка, а иголка в доме всегда с первых дней супружества — Вера.

Сдали в заготскот корову, порезали овец, порешили кур. Мясо — что девкам переслали, что засолили. Иван передал дробилку, через которую много лет пропускал зерносмесь для телят, своему помощнику. Тетка Вера оставила сторожбу на телятнике.

И переехали. Иван устроился плотником при поселковом Совете, ходит по улицам — где мостки подремонтирует, где перильце, где подгнивший забор залатает.

А тетка Вера обогревает сельхозуправление. Поначалу-то радовалась: дескать, повезло, такую должность сейчас отхватить непросто, много охотников из пенсионеров. А как узнала: в других кон-

торах печь, ну две, от силы три,— так и сникла, ходила на работу без интереса. И не потому, что тяжело, уставала, нет, просто обидно было.

Но Гина не больно сочувствовала тетке Вере. Наоборот, охи да вздохи беседницы сердили ее.

— Да ты обожди вздыхать-то. Уж больно нежны стали. Теперь все себе на уме: работать бы поменьше, получать бы побольше, распустились! Это я так, к слову, не подумай чего.

Тетка Вера, глубокомысленно нахмурившись, молчала. Голос Гины охлаждал, сразу ставил все на место. «И вправду,— думала тетка Вера,— что верно, то верно».

— Ты вот за три часа управляешься, а я с девяти до шести тут горбачусь и получаю-то всего на пятерку больше. Думаешь, легко тыкать-то? Вон смотри.— Гина показывала припухшие и острые, как шилья, пальцы.— Отчего они такие-то?

Так вот они и сидели, перекорялись, горячились. Но это забывалось тут же. И на другой вечер тетка Вера под трескоток разгорающихся дров опять шла на беседки.

Быстро угас, растворился в темени сырого, ветреного вечера и этот день ноября. Как и всегда, растопив печки, тетка Вера прошла в приемную, села, по-барски откинувшись на спинку дивана.

Гина печатала, торопилась. Поздоровалась не отрываясь. На углу стола лежала на очереди стопка бумаг. Красиво печатала Гина — легко, быстро, не глядя на кнопки. Пальцы мельтешили, но стукоток получался четкий, ровный, приятный слуху.

Расторопно вошел Гаврилов, агроном-мелиоратор, маленький, но плотный, краснолицый. Эту должность при управлении утвердили на последнем совете колхозов, специалист отыскался быстро. И вот уже готово дело — плодит бумаги, да еще как ловко плодит, прямо завалил разными решениями, постановлениями. Гина как-то на днях не стерпела, высказала: «Чего уж вы такую-то ерунду посылать будете, чай в колхозах-то не дураки, знают». На что Гаврилов, ничуть не смутившись, отчеканил: «Это не ерунда, Ангелина Михайловна. Это распоряжение идет на основе директивы облуправления...» И даже назвал номер и число той бумаги. «Ну давайте, давайте»,— буркнула под нос Гина...

Гаврилов придавил к столу маленькой пухлой ладонью свой листок, негромко, но уверенно сказал:

— В срочном порядке четырнадцать экземпляров.

— Тут все в срочном,— хлопнула Гина по стопке бумаг и не глядя, ничуть не церемонясь перед этой персоной, сунула листок под них.— Вас много, а я одна.

— Но вы же видите резолюцию Виктора Матвеевича: «Срочно!» — повысил голос Гаврилов.— Как хотите, но он велел разослать незамедлительно!

— Ладно, успокойтесь, ради бога, сделаю,— раздраженно заерзала на стуле Гина.

Гаврилов вышел, а Гина, взяв этот «срочный», исписанный мелким почерком листок, прочитала с многозначительными ударениями на каждом слове:

— «Приказ. В силу ряда обстоятельств в районе сложилась чрезвычайная обстановка с уборкой и заготовкой льна, что требует принятия самых неотложных мер по спасению выращенного урожая. Учитывая это, приказываю с 15 ноября провести ударную неделю по уборке льна с полей. Под Вашу личную ответственность требую в течение ударной недели обеспечить подъем тресты со стлещ...» Хватились, милые, как белые мухи-то запорхали,— со вздохом, прервав чтение, сказала Гина.

— Все зря,— безнадежно махнула рукой и тетка Вера.— Уж лен-то сопрел. Пошумят, конечно, посуетятся, потреплют кой-кому нервы.

— А ведь, помнишь, перепадали дни-то сухие, теплые. Надо было гнать всех, так нет, сидели, бумаги строчили, — перекладывая копиркой листы, продолжала с возмущением Гина.

— Скажешь тоже. Где они перепадали-то, много ли? Ну выпала неделька на владимирскую, потом еще, как-то дня четыре провернулось. А то все льет и льет. «Перепадали»!

— Да я и не говорю — осень красная. Но и при такой погоде можно бы больше сделать.

— Считай, бабьею лета совсем не было, холодъ, дождь. В октябре тоже хлестал напропалую.

— Что и сделалось. В прошлом году такая же была картина, а в позапрошлом, помнишь, и лето-то — одно название, из фуфаек не вылезали,— неожиданно покладисто сказала Гина, раздумчиво глядя в мокрое окно. Но вдруг она оживленно повернулась, спросила: — А ты в Москву-то записалась?

— В какую Москву еще? — Тетка Вера ошарашенно заморгала.

— Ну вот, так и есть, забыли сказать! А надо, надо, нельзя обходить, а то обидишься — ноль внимания, мол, да еще шесть печек — и сбежишь, снова топи сами по очереди.

— О чем толкуешь-то?

— На выставку собрались по профсоюзным путевкам. Я прошлый год ездила, интересно. По всей стране главная выставка, ты что!.. Так поедешь ли?

— Такую-то даль?

— Далеко, конечно. И езда тяжелая, ой тяжелая. Две ночи, считай, не спамши. Ну так что? Думай.

— Когда хоть?

— Ехать-то? Завтра. Завтра в десять вечера будет автобус стоять у раймага.

— Не знаю что и делать. Не бывала я — отстану, заблужусь.

— Не оставим, об этом что думать.

— А на лен-то разве начальник не посылает? — вдруг вспомнила тетка Вера.

— Да уж договорились, как ты думаешь. Если бы не отпустил — и разговору не было бы. Упросили — середина недели, а в субботу, в воскресенье отработаем. Согласился. Да ведь он и сам понимает — какой уж теперь лен, так, больше для отчета.

Тетка Вера заволновалась, запереживала — соблазнительно, — но побаивалась: столько километров, господи, ночью, а потом эта толчея в магазинах, да она в Судае-то путается. Ну а по правде говоря, шевельнулось в ней любопытство, интерес: изведать это неизведанное, поглазеть на город, из которого и радио, и телевизор, и все главные новости приходят. И тут к месту еще про одно дело вспомнила, хорошо бы проверить в Москве-то. А дело это было связано с судьбой покинутого в Пиногорове дома.

...Как только перебрались в Судай, объявился и покупатель. Зашел в комнатку полуднем, тетка Вера с Иваном оклеивали потолок. Такой дородный, с отвисшим морщинистым подбородком старичок, в одрябшей, чуть вздрагивающей руке тросточка.

Поздоровавшись, с ходу спросил:

— Дом продаете?

Тетка Вера бухнула кисть в ведро с клейстером, переглянувшись с Иваном, немо качнула головой.

— Сколько?

— Да мы и не думали. Сколько, сколько... Конечно, здесь, в Судае, много бы потянул — домина, живи не переживешь, а там, знамо, цена совсем другая. Что, Иван?

— Да я что.... Ну чего я.... Давай уж, чего там, ну.. — опустив измазанные лопастые руки, заикался под потолком Иван.

Тетка Вера сердито зыркнула на него:

— Не запряг, а занукал. Экой! — Но тут же, повернувшись к покупателю, помягчала.— Дом-то видели? Пятьсот рублей, как?..

Старичок даже разговаривать не стал. Многозначительно улыбнулся, пожал плечами и посоветовал на прощанье:

— Одумайтесь.

Через месяц пришло от него письмо. Тетка Вера перечитала много раз. Видать, грамотный старичок, заковыристое письмо накатал. «Привет из Москвы! Уважаемая Вера Тимофеевна, здравствуйте! С приветом к вам Адамов Алексей Яковлевич из Брюхачева. Ввиду родственных связей с Пиногоровом у меня есть желание перебраться из Брюхачева в Пиногорово, конечно на летние месяцы только.

Я знаю ваш дом хорошо. Вы спросили за него 500 рублей. Но судя по состоянию жизни в деревне, такая цена нереальна, нереальна не потому, что тот или иной дом в деревне не стоит таких денег, а потому, что в таких нерентабельных деревнях, каковой является Пиногорово, их вообще оставляют на произвол судьбы. Они даже на дрова никому не нужны, а за дрова, сколько бы их много ни было, вряд ли кто решится уплатить 500 рублей, ведь колхоз и совхоз предоставляют рабочим жилью бесплатно, поэтому рушатся мелкие деревни.

Я купил прируб в Брюхачеве в 1971 году за 50 рублей, там ремонта никакого не было, и летовали мы там восемь лет. Теперь деревня распалась, приходится бросать и начинать все в другом месте. В деревне осталось 8 домов, причем очень хорошие, заходи и живи безо всякой оплаты. Но жить-то не у чего, никого нет. Такая участь ждет и Пиногорово в недалеком будущем.

Так что вот вам моя цена — поделить 500 рублей на три части. И это еще будет хорошо. Хотелось бы, чтобы вы мне ответили и сказали свое последнее слово.

С уважением Адамов.

Мой адрес: г. Москва, улица Затонная, дом 13, кв. 9».

Тетка Вера не ответила. При встрече с однодеревенцами горячо твердила:

— Ловкач какой-то, оплет, грамотей-пройдоха. Хотел объегорить, не-ет, не на ту наехал!

Но за целый год никто ее больше не потревожил, не приценился. Дом как стоял, так и стоит. Побывала она в нем один раз. Диковато проскрипели половицы, опажнуло из всех углов затхлостью, творожная плесень окинула отсыревшие венцы. И как-то сникла тетка Вера, призадумалась — стариковские-то слова оказались вещими...

Нет, надо ехать, благо такой случай подвернулся. Только согласится ли Гина-то? Поди-ко не до того, в беготне будет. Но спросила:

— А не поедешь ты со мной тама по адресу, насчет продажи дома-то?

Гина сразу повеселела даже, словно с теткой Верой легче ей будет дорогу перенести. Спросила:

— Значит, надумала? Правильно. А по адресу съездим. Там кругом метро, долго ли, люблю в метро ездить!

И тут же побежала в строительный отдел к Макарычевой — местному. Вернулась довольная, руками размахивает, раскраснелась.

— Все было забито, но отвоевала. Как сказала: будете через две недели сами кочегарить — сразу место нашлось.

На другой вечер, проводив Ивана в управление, предварительно разъяснив ему свой заведенный порядок: с какой печки начинать, сколько спалить охапок, как и куда мести,— тетка Вера собралась и сама. Впервой предстояла столь дальняя дорога. Примерещивалась разная чертовщина: сломается автобус — будут куковать на дороге,

заснет за рулем шофер, задавят в Москве — адское, говорят, движение!

Уложив в объемистую сумку подорожники — пару яиц да бутылку с чаем — и зашпилив булавкой кошелек в потайном кармане, подошла к божнице, неумело, нескладно перекрестилась — для порядка.

На улице было ветрено, сыро. Тетка Вера стянула потуже ворот плюшевой пальтушки, приподняла плечи и, глядя под ноги, засемила по выбитой кромке асфальта.

Автобус уже стоял у раймага, дверка была раскрыта, тетка Вера поднялась на площадку, присмотрелась. Кто-то тяжело позевывал, охал, кто-то уже похрапывал. Впереди все было занято, но заднее сиденье пустовало, и тетка Вера, кособочась, пошла туда.

Где-то на середине прохода ее дернули за полу. Тетка Вера пригнулась, разглядела запрокинувшуюся Гину.

— Чего долго-то, — шепнула Гина. — Теперь вот трясись сзади.

Сзади тетка Вера придвинулась к стенке, положила под бок сумку, показалось хорошо, уютно. Справа уголок чистого окна, наклонись чуть — гляди, обозревай; и тетка Вера быстро успокоилась, затихла, желая скорее тронуться, притряхнуться на еще не обмятом сиденье, ощутить разгон колес по этой неизвестной дальней дороге.

Макарычева проверила список — не хватало еще двоих: бухгалтера-ревизора Куропаткина и инженера по госсельтехнадзору Рогульского. Но время еще не вышло, надо было ждать.

У дверки толпились провожатые — мужья. Иные поднимались на ступеньку и, держась за поручень, еще раз напутствовали своих благоверных.

— Эт там не больно у меня суетись, держись табуна-то, — говорил, вглядываясь в сумрак автобуса, какой-то сутуловатый, в глубоко нахлобученной шапке мужичок, язык у него заплетался.

— Сам-то тут смотри за собой... Уже хватил! — недовольно отвечали из сумрака.

Ровно в девять явились Куропаткин с Рогульским.

Куропаткин — худенький, белобрысый, бояливый. Смотрит всегда как-то стеснительно и осторожно, словно боится, что его распознают и уличат в чем-то нехорошем. В управлении он, по мнению тетки Веры, самый старательный, до самой последней минуты сидит, уткнувшись в бумаги. Придавит левой усохшей рукой листок, как гирькой, и все пишет, пишет или проворно покидывает туда-сюда косячками на счетах.

«Да, оно так, жизнь-то заставит, шелковым будешь», — понимающе думала тетка Вера. Куропаткин перед пенсией, а образования никакого, всю жизнь протолкался в сторожах, только вот последние пять лет каким-то чудом-счастьем выперло его в бухгалтеры. А вдруг подвернется молодой-молодая с дипломом на место теплое? Позвольте, скажут, а вы, Михаил Иванович, по какому тут праву, а?! Вот и переживает Куропаткин, старается, строчит свои акты ревизии. Гина его несколько раз крепко подкальвала: «Что уж так мелко-то, Михаил Иванович? «Подотчетные лица имеют большую задолженность. Так, председатель колхоза Кораблев В. А. — 83 рубля, механик Попов К. Л. — 62 рубля, а у Нечушкиной в кассе обнаружена недостача 22 рубля 50 копеек, документы по кассовому обороту ведутся плохо, некоторые накладные не подписаны председателем...», — выхватывала из акта Гина. — Вы сделайте один акт, настоящий, все-все в нем распишите да пошлите куда следует. Сделайте милость напоследок-то, а?»

Тот аж побелеет, испарина выступит, зазаикается отупело. «Вы о чем?.. О каком акте?.. Я тут проводил ревизию детальную в «Заре»... Выяснились неприглядные факты...» «Вы напишите акт в масштабе всего колхоза, правду напишите. Так, мол, и так: в колхозе «Заря»

построили новый склад, а он провалился, удобрения завалило снегом, они раскисли, уплыли в реку, восемь коров отравилось. Так, мол, и так: рожь сегодня сеяли, а на завтра мороз грянул, потом весной спишут на выпревание. Так, мол, и так: кормить зимой скотину будет нечем, сена по килограмму, только силос, солому не заскирдовали, прееет, поехали за ней в Ростов-на-Дону, а там, вчера Рыжов звонил, солома-то хуже нашей, озимая, но зато начальству спокойно: принимаются, дескать, меры... Вы бы расписали все про падеж, про яловость. А со льном что делается?..»

Тетке Вере становилось жалко Куропаткина: стоит, потеет, то улыбнется напуганно, то болезненно сморщится. И что привязалась к мужику? Пиши ей, размазывай! Ровно изменится что от этой писанины. Писали, поди, не раз...

Куропаткин осторожно сел рядом с теткой Верой, здоровой рукой подтянул усохшую на колени, нащупал удобное ей место, снял замызганную шапчонку и по-петушиному, с прищуром нацелился в окно.

— А я тоже впервой,— оговорился он минуту спустя.— Бабушка не может — голова, тошнит, а я вот решился. А еще больше из-за Сашки, внучонка, спичечные наклейки собирает, изнылся: дедуля, съезди, поспрашивай там.

Тетка Вера с теплотой, уважительно посмотрела на ужавшегося ревизора: ишь ты, ради внучонка едет.

— Да вы съядте свободнее, не сторонитесь, в тесноте — не в обиде,— сказала она Куропаткину.

Автобус тронулся. И сразу лампочка загорелась ярче, обозначились ожившие, тянущиеся к окошкам взглянуть на родной поселок лица. Сделалось веселее, заговорили, слышался смех.

Набрав скорость, автобус легко влетел в затяжной заречный подъём. Выхали в поля, на простор. Дорога плавно виляла, огибая вечеряющие, с редкими огоньками деревни, ныряла в холодные низины, рассекала молодые березовые перелески. И опять все поля и поля, неширокие, плоские, с чернеющими строчками пожухлой стерни, с разметанными ветром копнами преющей соломы. Иногда пересекали картофельники — размытые дождями рядки, осклизлые плети ботвы, крохотные ямки, заполненные водой: с копкой нынче тоже запозднились, дожди и дожди, техника не шла, ковыряли лопатой. Дохнуло кислинкой мокнувшего крахмала.

За какой-то маленькой деревенькой, в три окна уставившейся на мокрое, тяжело распластавшееся шоссе, свет автобуса окатил на повороте плавно поднимающееся к лесу льняное поле. Тяжело осевшие, напитавшиеся водой шалашики бабок ровными рядами стояли вдоль шоссе. Выше лен не был связан, улесканные, плотно прибитые дождями дорожки траурно чернели вдали.

Куропаткин заерзал, заперекладывал усохшую кисть на коленях, с досадой сказал:

— У самой дороги, на виду... Не мог убрать. Сколько раз говорил: «Андрей Семеныч, хоть волокушей стащи, хоть запаша, как угодно, только убери с глаз долой, не подставляй себя». Не прислушался... Молодой еще, догадки нет, вот дадут разок-другой по шапке-то — узнает.

Неубранный лен — в бабках, в конусах, в ленте — встречался и дальше, но это были земли соседние, Костромского района, и Куропаткин глядел в окно спокойно, замечая:

— И здесь тоже, под городом, народу силища, а толку? Против погоды не поперешь.

Кострома встретила разлитым морем огней, помигала строгими глазами светофоров, подергала залетевший, нарушающий полнотную тишину города автобус, покомандовала указателями: марш туда, марш сюда,— и вытолкнула к Волге.

Бетонная лента моста не вздрогнула, могучие пролеты ничуть не ощутили игрушечно притряхивающийся на стыках автобус. Гирлянды лампочек высвечивали по сторонам пешеходные дорожки, низенькие перильца, дальше темнела холодная, жуткая пропасть, на дне которой взблескивала тяжелая маслянистая вода.

В заволжье дорога пошла шире, прямее, да и поля не сравнить, просторные, на сколько пробивался луч — все стерня и стерня, лесочки попадались изредка, но какие-то покореженные, мелкие, пробитые крест-накрест глубокими колеями.

В одном таком продуваемом, тоскливо подвывающем леске остановились. Все повалили на выход, поджимаясь и зябко ойкая, поспешили к кустам. Вышла и тетка Вера. Ветер вздул платок, с тепла сразу передернуло, зазбило.

Кусты были мокрые, скользкие, со всех сторон сквозило, и тетку Веру тотчас охватил страх: сейчас поедут, останется тут, все, погибеть! И она, хватаясь за ветки, рванулась к автобусу, сердце суматошно колотилось, хотела закричать, но голос перехватило, какое-то сипенье вышло, однако ноги не отказали, вынесли ее из кювета, вот и дверка, успела, слава богу.

Распахнула, но еще много мест свободных, значит, не подошли, прохлаждаются, шофер, уронив голову на баранку, подремывал, слышен приглушенный говорок, шуршанье газет — самое время подкрепиться. А Гина в проходе, в руке бутылка зеленеет, маленькой мензуркой постукивает по горлышку: «Кому? Кому?»

Охотники нашлись тут же, первой потянулась незнакомая, сильно задрогшая баба — кто-нибудь из управленцев вместо себя снарядил, — опрокинула мензурку, да, видно, маловато, повертела в руке: мол, это разве посудина? А Гина уже дальше по проходу: «Кому? Кому?»

Досталось и тетке Vere, она и не хотела, отмахивалась, но Гина пристала: выпей да выпей: выпила, съела яйцо, поглотила остывшего чаю. Как-то нехорошо стало, жжет, крутит. Неужели от этой мензурки? Сунула руку под полу, потерла, помяла огрубевший живот. Минут через пять поотпустило, виски окатились испариной облегчения, вздохнула глубоко и отрадно.

Автобус уже снова катился промеж полей, и два снопа света плавно покачивались над влажно поблескивающим асфальтом.

— Всем внимание, начинается представление, — объявила на полном серьезе местком Макарычева.

Гина, ссутулившись и подрагивая сжатыми губами, таранилась по проходу. Степенно развернув свое грудастое высокое тело у шоферской стенки, села на привинченный алюминиевый столик. Посидела, закатив придурковато глаза, поозиралась, позевала — на лице сладострастье, довольство: не жизнь — малина!

Все смотрели на Гину выжидательно, с улыбкой, предвкушая развлечение.

— Что же это я? Ведь пора, девоньки, — вдруг спохватилась Гина, сразу посерьезнела, глубокомысленно нахмурилась. Надвинув на глаза платок, съюзила со столика, накинула повыше плащико, пригорбатилась и зашагала, размахивая руками и раскачиваясь. Зашагала на месте, тяжело бухала растоптанными сапогами, слегка разворачивая широкий корпус то в одну, то в другую сторону.

Тетка Вера смотрела разинув рот: здорово получилось, не ошибешься, не спутаешь. Это она непутевую колхозницу представляет. А лицо-то, лицо-то, господи, умора! Смотрит исподлобья, с прищуром, шевелит губами — вывески на магазинах читает. Остановится, подумает, махнет рукой — все не то! — и, подкинув на горбу воображаемый мешок, дальше чешет.

Снова приостановилась, прижала ладошку-kozyрек ко лбу, замигала подслеповато, прочитала по слогам: «Гас-тро-ном» — и, при-

сочив от радости, туда. Затаив дыхание смотрела на прилавок, на витрину — глаза разбегались. Полезла за кошельком и вдруг замерла, рот перекосясь, задергалось веко — кошелька-то нет. Заошупывалась по бокам, по животу, по бедрам — нету! Расстегнув пуговицу, сунула руку под рубашку, прошарила лифчик. Нету! Совсем растерялась, замерла, только глаза, как шарики, покатывались туда-сюда. И опять на лице догадка, надежда — наклонилась, приподняла подол, пошарила ладонью и, щелкнув резинкой, резко выпрямилась — в руке объемистый кошелек. Стучала им себя по пустой башке, шморгала мокрым носом, сушила концом платка глаза.

Автобус дребезжал от смеха. Тетка Вера поразились: вот изображает, прямо артистка! И вдруг ощутила: глаза-то мокрые — завлеклась, расчувствовала, саму слеза прошибла. Неужели кошелек-то и в самделе в рейтузы прячет? Не должно, наверно, для потехи нарочно подсунула, почудить. Не смеялся один Куропаткин, смотрел серьезно, недовольно — не нравилось Гинино дурачество.

Пока, поджав животы, гнулись от смеха, Гина преобразилась — словно в парикмахерскую сходила. Стоит форсисто, рука в бок, нога вперед, самодовольно притоптывает носком сапога. В глазах усмешка, всезнайство. Это она уже в роли бывалой туристки, тертой-пертертой в магазинных очередях, отчаянной и бесцеремонной.

Что-то заинтересовало Гину, перестала пристукивать, чуть вытянула шею, вгляделась с прищуром.

— Михаил Ва-аныч! — протянула с изумлением. — Вы тоже туда-а! Bravo! С нами ревизор!

Куропаткин дернулся в сторону, спрятался за спину месткома Макарычевой, втянул голову, чего-то пробурчал. Но Гина уже вцепилась в него, вцепилась накрепко.

— Вы там слышите меня, Михаил Ваныч? Я к вам обращаюсь!

— Черт! И что за баба! — пыхтел Куропаткин.

— Михаил Ваныч, вы за меня держитесь, не пропадете — поняли? — кричала через весь автобус разошедшаяся Гина. — А мы за вас держаться будем. Как за ревизора! Вы удостоверение-то прихватили? Если что — можно будет ревизию сделать... Вызовите-ка заведующую! Ага, идет. Ну-ко позвольте разобраться, как вы тут торгуете! Как это не будете отчитываться перед всяким! Михаил Ваныч, ну-ко покажите удостоверение. Ага, сразу уразумела. Продащице мигает. Михаил Ваныч, чего она шепнула-то? А-а, есть кое-что в за-начке? Через заднюю дверь? Тогда шуруйте, не зевайте!..

Опять хохот, ойканье, стенанье. Все поворачиваются взглянуть на Куропаткина. Он, бедный, не знает, куда деваться. Вспотел, трет пятерней лысину, смотрит под ноги, не рад ничему.

Попритихли. Гина вдруг посерьезнела, окинув ищущим взглядом «туристов», сказала с обнадеживающей хитрецей:

— Ничего, что-нибудь отыщем, отоваримся. Я сама-то, если по правде, из-за мяса еду. Хорошо бы оптом, ляжку килограмм на пятнадцать. В прошлый раз выждала момент, говорю продавцу: «Мне бы побольше». Он сразу уразумел. «А пройдите,— говорит,— вон в ту дверь». Отрубил мне кусок мясистый. Конечно, не без выгоды. А в разновес-то еще больше прогадаешь. Да к тому же костей тебе навалят. Но всего, девки, поразительней, как вешает!.. Моментально цену выкрикнет! Я так думаю: он за день-то в свой карман целого быка выторгует.

— Не только в свой,— вступилась местком Макарычева.— Всем надо — коллектив. А ревизор заявится? Он ведь тоже в глаза смотрит...

Куропаткин сразу замер, насторожился: не с подвохом ли? Кажется, нет, он тут ни при чем. Гина продолжала:

— Только из-за мяса и еду. Колбаса что-то не манит. Какая-то не манкая колбаса теперь, безвкусица, ширпотреб. Хорошо бы коп-

ченькой, да разве достанешь. Помню, девчонкой была, поехали в Кострому, этой колбасы было!.. И какая-то сочная, запашистая, чесноком так и несет. А теперь я и не пойму — делать, что ли, разучились, мастеров нет? У меня зять на той неделе привез из Костромы свой паек. На вид колбаса как колбаса, красная, плотная, а откусишь — ни запаха, ни вкуса. Брюхо тяжелеет, а сытности нет.

— Хотя бы такая-то не переводилась, — заметила Макарычева.

— И то верно, — согласилась Гина. — Возмущаемся: кто-то виноват. А кто? Кто? Посчитай-ка, сколько тут нас, и все бывшие деревенские, в деревнях жили своим хозяйством, скот у всех имелся. А теперь где? Поразбежались кто куда, на легкую жизнь позарились. За столы сели, бумаги размножаем!.. Откуда же все возьмется?.. Я, бывало, каждый год двухцентнерного тельника на скотопункт приводила, а потом еще и на рынок с ягнятами, стоишь-стоишь, не берут — мяса завал. А теперь в кого превратилась? В попрошайку. Высматриваю, не отколется ли где. Придет председатель какой к начальнику со свертком: «Передай, Гина». А мне-то бы, намекаю... Ой, девки, околотилась, а все равно стыдно.

— Народ все течет и течет. И все хороший народ, молодой, коренного местного роду. За прошлый год только по нашему сельсовету семнадцать человек минус. Куда бегут, чего ищут? — озабоченно развел руки Куропаткин.

— Вот спрашивает, — усмехнулась Гина. — Вы как бухгалтер-ревизор проревизируйте и доложите нам.

Куропаткин недовольно поморщился, пробурчал:

— До чего ж вредная, нельзя слова сказать.

— Разложите по полочкам, — наседала Гина. — Вы счетный работник, просчитайте что к чему. «Чего ищут»... Вон Вера, уборщица-то наша, свежий пример. Вы спросите ее, чего не жилось, учините ей ревизию!..

Тетка Вера склонила голову. Как будто и не было за ней никакой вины, но вину она почувствовала, совестно сделалось — уличили ее, схватили за руку. Что будет, что будет!..

Впереди размыто брезжил огнями Ярославль. Скоро стали различимы и высокие дома с редкими, папиросно помаргивающими красноватыми точками. «Что там не спят? — думалось. — Может, что случилось? Заболел кто? Плачет ребенок?» Какое-то беспокойство брало при виде этих затерянных в огромных домах-клетках полуночных огней.

Возле будки ГАИ, высокой и слегка нависшей над дорогой, выехали на широкое и прямое Московское шоссе, повернули налево, огни Ярославля за спиной постепенно тушевывались, меркли.

Многие уже дремали, уткнувшись кто в стенку, кто в бок соседа.

Начала клевать и тетка Вера. Сначала все силилась, пялила глаза через поникшие головы на дорогу, на поля и рощи, высвечиваемые на поворотах, на дорожные знаки, загорающиеся издали золотистым жаром, на придавленные тьмою деревни.

Прибодрится, оттолкнет наплывающий сон, взглянет по сторонам и тут же задремлет — клонится на грудь голова, слипаются веки. И опять вдруг вздрогнет, словно иголкой кто кольнул, заерзает, зазирается: что там новенького на дороге? А что увидишь в ночи новенького, приметного? Дорога виляет среди всхолмков, прорезает поля с неряшливо уложенными приземистыми скирдами соломы — поди-ко, пролили дожди насквозь, сопреет добро, — а то и вовсе солома не прибрана и там и сям — копешки, копешки. Что еще? Промелькнет сутуло шагающий полуночник — куда-то носила нелегкая, — сиротливо вспыхнет какой-то огонек издали. может, хутор, может, станция, изредка западморгивает приветно встречная машина — и опять все поля да поля.

Мучительна тревожная дремота. И никак не утомнишься, никак не пристроишься — и так спинушку колет, и этак неудобно. В который уж раз, пересиливая сонливость, протерла глаза, задвигалась, прокашлялась в кулак, взглянула на забирающую влево дорогу и растерялась, ничего не поняла спросонья — словно только что от Судая отъехали: плавко поднимающееся к лесу поле уставлено освещенными льняными бабками. А выше тянутся, ступевываясь в темноте, давно раскатанные теребилками дорожки — чернеют ровными полосами, сквозь них угадывается прозелень проросшей поздней травы.

Тетка Вера с какой-то опаской, настороженностью скосила глаза в сторону Куропаткина, но ревизор, как-то жалко посапывая и дергаясь маленькой петушиной головкой, спал, привалившись к Рогульскому.

Тетка Вера окончательно пришла в себя и с облегчением вздохнула: слава богу, уже далеко, по времени — за полдороги. Она достала бутылку с остатками чая, приложила, вяжущая его терпкость освежила рот, остудила осипшее горло, в голове чуть прояснело.

Почему-то вспомнилось Пиногурово, пиногуровская жизнь — жизнь будто, как казалось тогда, тихая, неприметная, скучная. Но сейчас, в этой неведомой дали, куда в первый раз занесло тетку Веру, в чахлой, просачивающейся сквозь оконную щель ночи, среди этих тяжело постанывающих и ойкающих во сне людей, ей вспомнилась пиногуровская жизнь совсем-совсем по-другому. Она снова увидела эту жизнь и увидела, какая отрадная эта жизнь была, какая милая, какая своя. Да и работа на телятнике предстала перед нею своей нарядной, хотя и хлопотной, стороной. Даже в скудные дни половодья, когда телятам приходилось, как говаривала старшая телятница Гочева, «читать газеты», потому что были в это время перебои с посыпкой, а сено отрезано разлившимися оврагами — не подвезли вовремя, — тетка Вера ощущала, как казалось теперь, свою незаменимость на телятнике. Она всего лишь ночной сторож, но от нее зависело многое, и она многое могла и умела — опыт-то немалый, считай, с войны в животноводстве.

...Под телятник в Пиногурове приспособлена длинная, с высокими узенькими оконцами конюшня. Лет двенадцать назад прислали бригаду плотников, и они за две недели выломали перегородки, перестлали пол, сколотили два ряда кормушек. А к осени уже готово дело, навязали на цепи пригнанных из соседнего Сабурова телят-откормочников.

Тетка Вера ходила в то время в Сабурово на ферму доить коров. Но уже через год как пустили телятник перешла в ночные сторожа — начали сильно болеть руки, пальцы отказывались слушаться, в суставах поднималось колотье, и тетка Вера иной раз, тягая соски, пускала прямо в подойник скупую горькую слезу. Сказывалась двадцатилетняя, изо дня в день, надсадившая кости работа.

И не было б счастья, да несчастье подвезло, сторож Подкопытин нализался какой-то дряни, а вернее, черемицы, и чуть не отдал концы, насилу откачали. А вот пять широколобых бычков, отобранных накануне зоотехником для сдачи, откачать не удалось. Подкопытин беспмятно валялся в углу на соломе, поджав к животу острые колени, когда один из бычков высвободился — порвал поржавевшую цепь — и начал поддавать тупым, но резким и упрямым рогом под бок своему соседу. Тот завертелся, загремел цепью и, скоро вырвав пробой, тоже обрел волю. Дальше — больше. Шумливей, буянней становилось в телятнике. В одном его торце была сделана перегородка, хранили там соль-лизунец, намолотую посыпку. И вот туда, выдавив фанерную дверку, вломались высвободившиеся бычки — знали, ненасытные, откуда им лакомство носят. Наконец-то насытились. До отвала. Пришедшие утром телятницы увидели в проходе пять вздувшихся трупов. Когда ветеринар распластал брюшину одного из

бычков и туго набитую «книжку», то из нее посыпалась сухая, даже слегка пылящая крупка.

Легко еще отделался Подкопытин, каким-то начетом, а то ведь могли бы и срок дать.

Новая служба пришла к тетке Вере по душе. Приходила она пораньше, чтобы застать телятниц — может, накажут что, может, какой бычок приболел, надо присмотреть, а и не накажут, так все равно спокойнее и дельнее — телята как бы переходили из рук в руки.

В морозные ночи тетка Вера особенно бдительно несла свою службу, все ходила, ходила по проходу между бычками, словно бы поддерживая и ободряя их своим присутствием. По мостовиннику стелется изморозь, от ворот тянет холодом. Тетка Вера подходит к их широкому проему: так и есть, плохо притворены, щель — кулак пролезет. И опять ругает Маруську — она, вертихвостка, закрывала последней, любит делать все на скорую руку. Тетка Вера с трудом приподнимает воротницу, подтягивает, но воротница не входит, косяки покрыты наледью, захламлены. Мастера, эх! Приходится брать топор-тупицу, скальвать наледь, зачищать. Воротница теперь входит в косяки плотно, впрытик. Но тетка Вера не успокаивается, просматривает створ и повыше ручки замечает щель, берет пучок соломы и законопачивает ее носком топора.

— Теперь другой коленкор, ишь, и не тянет. Все смотри да смотри, — ворчит она.

И опять потихоньку, останавливаясь у мерно жующих в полудреме жвачку бычков и ласково тыча их варежкой за широкими, словно листья репья, ушами, шла по проходу. В кормушках остатки овсяной соломы, сдобренной распаренной в кипятке кашицей из зерновой дробленки. Знать, щедро раздали — не одолели. Ну ночь-то длинная, к утру все доски вычистят. В углах кормушек тускло, как хрусталь, светятся глубокие блюда — вылизанные шершавыми языками камни соли-лизунца. Но в одной из кормушек лизунца нет. Тетка Вера идет в отгородку, выбирает камешек побольше, подсовывает под рыло жадно сунувшемуся и тут же запричмокивавшему бычку.

У стены широкий, с гладким черенком скребок. Пора брать в руки, чистить. Рогатые — скотинка неряшливая. Не проследи — зарастут нечистью, как панцирем.

Ближе к отгородке заскрежетала вдруг цепь, заскользили по влажному настилу копыта, придушенно взмыкнул теленок. Тетка Вера, отбросив скребок, скорее туда — что-то там неладно. И точно, не обманулась: беломордый бычок, прозванный Обжоркой — уж очень солощий, прожорливый. — стоит на коленях, задние ноги разъехались, натянутая цепь между ногами, язык высунул, в сдавленном горле бушуют хрипы. Вот и понадейся, отлучись куда — несчастье-то стережет да подстерегает. Сколько бы еще продержался, простоял вот так Обжорка? Минуту? Пять? А потом бы хлобыстнулся на бок — и каюк.

И как так угораздило-то? Наверняка потянулся, ненасытный, к соседу — у того еще полкормушки овсяного добра, — заступил цепь, начал вертеться... Ах ты господи! Насилу удалось ослабить кольцо, перевернутая собачка дернулась, цепь обрушилась к ногам. Бычок, очумело вертя налившимися краснотой глазами, все еще стоял на коленях. Тетка Вера, сняв варежку, раза три ребром ладони крепко рубанула по ушам — привела в чувство.

Редко, но отваживалась иногда зайти в пристройку, где кипятили телятницы воду запаривали посыпку, отдыхали. У печки стояла широкая, застланная дырявой дерюжкой лавка. Тетка Вера ложилась, сунув под голову охапку соломы, и прижималась к еще теплым кирпичам спиной. Назябшееся тело поначалу схватывала крупная дрожь, но постепенно печное тепло согревало кровь, успокаивало. И тетка Вера забывалась, уходила в сон. Но спала недолго. Забота,

предчувствия подкарауливающей беды не давали ей глубокого длинного покоя. Внутренний толчок будил ее, она пугалась, вздрагивала и просьшалась — в голове ясно, тело легко, никакой дремоты, лени. Но на сердце тревожно: не случилось ли что? Скорее, скорее в телятник. Слава богу, ничего лишнего, все тот же привычный шумок: сытое сопение, похрустывание, постукивание копыт, шлепки падающих лепех. Тетка Вера обходит двор, приглядывается, осматривает. Потом берется за скребок.

Так проходили ночи. На утре, уже по приходу телятниц, она выталкивала по подвесной дорожке наполненное за ночь навозом корыто за ворота.

Домой шла торопко. Одно дело свалено с плеч, но дом встречал не теплой кроватью — ждала печь, ухваты, ждала скотина. Утро — самое хлопотливое время хозяйки. Правда, грех обидеться на Ивана, помогает. К ее приходу уже затоплена печь, греется в ведерных чугунах пойло, начищена картошка.

Прежде всего обрядить скотину. Разогревшееся пойло разбавляла холодной водой и носила двумя оцинкованными ведрами. Сначала шла к овечкам в подклеть, выливала в длинное тяжелое корыто. Затем несла ведро телушке-полуторке. Последней поила Буренку. Корова знала свою норму, два ведра подсоленного пойла с размятой картофельной мелочью, очистками и кусочками хлеба выдувала без передыху. Тут же отходила и опускала мокрую, со стекающими капельками морду в наполненные зеленым сеном ясли.

Но иногда она лишь обмакивала губы, брезгливо фыркала и отворачивалась. Не иначе что-нибудь натворил, попакостил Иван. А корова деликатная, привередливая, не переносит мясного запаха.

Тетка Вера быстро в избу, брякала крышками кастрюль. Где вчерашний остаток скисшего супа? Где? Кастрюля пустая. Куда девал его Иван, дундук этот? Не выхлебал же! Ясно куда, вылил в чугун с пойлом. Сам-то любит свеженькое, чуть что — рыло воротит: «Вроде киснуть начал».

— Ты куда суп-то подевал? — начинала грызть мужа тетка Вера. — В пойло, да? Ты что проказишь-то, дундук окаянный? Корова-то осталась непоеной, голова твоя пустая! Ты что проказишь-то, а?

Иван, соображая, хмурился, хлопал глазами.

— Да ну... Не пьет, что ли? Ну вот...

— Занукал! Чем корову-то поить? Самого бы в это пойло носом-то натывать! Чтобы помнил!..

Напоив скотину, тетка Вера брала подойник, подставляла к Буренке маленькую скамейку, садилась поудобней, смазывала соски вазелином и доила. Доить она любила. Если б не болели руки — не ушла бы из доярок.

Первые струйки молока счиркивала на пол. Раньше, помнится, никогда не счиркивала. Теперь научилась, наслушалась — кругом зоотехники, ветеринары, — говорят, в первых струйках микробы.

Никелированный, зеркально промытый и прокаленный на печи подойник, зажатый коленками, отзывался певуче. Но постепенно звучание таяло, поднимающаяся пена глушила игру быстрых струй, слышно только шарканье, одно только шарканье — словно пилой по трухлявому дереву. Молочное тепло подойника горячило, лицо розовело и покрывалось испариной.

Потом она поила молоком недавно народившегося теленка, наливала черепеньку Мурке — та еще на дворе ждала, смотрела с преклада, облизывалась. Последними успокаивались наскучавшиеся по маткам ягнята. Они отсаживались в клетушку сразу после рождения, как только матка оближет и высушит их своими ловкими быстрыми губами. Так-то надежнее, вернее — всем достанется вымени

поровну. А не отсади — который покрепче, верх берет, властвует, отбивает слабых.

Ягнята уже орала на все лады, словно за язык повешенные, слушать их — как по сердцу ножом.

Иван выпускал из клетушки ягнят парами. Они сломя голову бросались из воротец, с разгона падали на колени под матку, которую держала за шею тетка Вера, и так поддавали запрокинутыми головками, что зад матки подскакивал и она норовила вывернуться.

Канитель с ягнятами немалая. Три старые овцы плодили ежегодно тройников, четвериков, а один раз рогатая Пучеглазка принесла шестерых, ровненьких, как один, ягнетишек. И всегда всех выхаживали, приучали к «часикам» в клетушке, к соску, уже для недельных подвешивали березовые веники, и несмышлениши быстро крепили, бодро мекая, прискакивали или табунились у веника, выискивая листушник.

Еще оставались куры, но заботы о них тетка Вера не знала — кур кормил Иван. Да и велика ли забота-то бросить зерна — только и всего. На кур она была всегда в обиде и грозилась пустить в расход, перевести. Все утро гомонят, квохчут, а заглянешь к вечеру в гнезда — что снесли-то? — семь, восемь яиц, от силы десятков. И это от такой-то оравы! Зажирели, закармлил их Иван!

Управившись, тетка Вера устало входила в избу, умывалась и садилась за стол, на котором уже стоял вскипевший самовар и рыльце поставленного на трубу чайника парило ароматом разопревшего чая — успел-таки Иван угодить, постарался.

Она с жадностью и много пила чаю, ела свежий наваристый суп с богато положенной бараниной, а затем, довольная и спокойная — все сделано как надо, подобру, — ложилась на кровать...

Воспоминания о Пиногоrove, об оставленном доме подействовали, сделалось легче, спокойней. Но все равно надо как-то изловчиться, вздремнуть, иначе закричишь скоро криком. Тетка Вера чуть сдвинулась с сиденья, вытянула ноги, переложила сумку под спину, привалилась плечом в уголок, закрыла глаза и, к счастью, быстро погрузилась в глухую обморочность.

Она очнулась от какого-то пряного, слегка кружащего голову и щекочущего в груди запаха. Принюхалась, огляделась — втихаря под сопение сморенных, потерявших бдительность бабенок курил Рогульский. Застя сигарету ладонью, затягивался, дым пускал под ноги и еще махал вслед рукой, разгоняя.

Куропаткин бодренько — видать, хорошо соснул — дергал петушиной головкой, потирал лысину, чему-то улыбался.

Умаявшаяся Гина нашла себе лежбище: согнувшись в три погребели и подложив под голову мешок, спит на столике. А чтобы ноги-то при встряске не съезжали, привязала их поясом к стойке.

— Так вот, — проводив под ноги очередную затяжку, продолжал рассказывать Рогульский. — Назначили меня старшим, командировку в зубы — и давай сопровождай свою рать. Ох и народ подобрался! Лентяй на лентяе, только бы лопаты! Да и понятно: кто порядочный поохотится ехать за две тысячи верст? Вот и подобрались один к одному. Что им заработок — об этом не думают, а накормить накормят, старшой за это отвечает. И, главное, командировочные денежки наперед выдают. Как увидел, так, знаешь, прямо-таки холодный пот выступил: братья Глотовы из «Андреевского», Ваня-нос из «Рассвета», Мишка Пальчиков, Володя-клюй из «Зари», другие незнакомые, но в основном, гляжу, судя по опухшим физиономиям, того же порядка. Ну, думаю, заготовим соломки!

— А председатели-то что думали, когда посылали? — возмущался Куропаткин.

— Что председатели! Их тоже понять надо. Обязали — и все, давай посылай. Что заготовят — это еще неизвестно. А своих-то дел полно. На хороших работников больно и не нажимают, их уважать надо, причем они упираются вовсю. А разгильдяи — это тоже народ, по морде-то обожди оценивать. Выделили? Выделили. Ну и все, командуй тама, организуй.

Это они, догадалась тетка Вера, про то, как ездила районная бригада заготавливать солому на юг. В управлении целый месяц только и разговоров про ту поездку.

— Два «Беларуса» с прессами погрузили на «Колхиды», отправили. Трактористы, смотрю, известные, парни надежные. Ну хоть это слава богу. Погрузились и мы на другой день, автохозяйство дало автобус до Костромы, двадцать рыл, многие уже под газом. А как тронулись-то, смотрю, кто из-за пазухи, кто из сумки вытаскивает — и пошли прямо из горлышка булькать. Что тут делать? Начал я ругаться, грозить, даже отобрать пытался — где там, и ухом не ведут... Ну ладно, приехали в Кострому на вокзал, билеты взяты были, поезд уже стоит, сели, поехали. В Москву приехали утром. Насилу вытолкали — ночь-то пили, гоношились, морды у всех опухшие, глаза красные, перегаром прет. Дождались метро, приехали на Курский вокзал, взял я билеты, раздал. Поезд идет вечером, объясняю, чтобы к семи как штык быть вот у этой стенки. Только смотрю — до некоторых мой наказ не доходит, какое там, у них одно на уме: скорее бы похмелиться. Протолкался я по столице день, а на душе кошки скребут, какое-то гадкое чувство, словно напроказил что. Прихожу к полшестому на вокзал, встаю у стенки. Пока никого. К шести часам являются четверо, кажется все из «Победы». Обрадовался я — выпивши, но в меру, смотрят на меня виновато. Потом, смотрю, еще один плетется, Володя-клюй, глаза оловянные, без кепки, взъерошенный и в кармане бутылка початая.

— Зря командировочные выдали, потом бы надо, — вставил Куропаткин.

— Легко сказать — зря. Поговори с ними. Давай наличные — и все тут. Потому и поехали, что в кармане зашуршало. Значит, ладно. Семь часов подошло, время отправляться, а больше никого, хоть оглобли заворачивай. Все-таки решил садиться. Приехали на место. «Колхиды» уже там, трактористы ждут прессовщиков — ребята трезвые, поехали подзаработать. Опять у меня сердце заняло: чего шестером-то наделаем? Однако, к счастью или несчастью, уж и сам не знаю, запутался, приехали мои работнички, три дня тянулись по одному, по два. Правда, трое так и не появились.

— Вот и говорю: не надо бы командировочные выдавать. Нажать, никуда бы не делись, что, управы на них нет, что ли? — стоял на своем Куропаткин.

— «Нажать», — хмыкнул Рогульский. — Нажмешь, как же! Ну, сходил я в поле, проверил солому. Осимая пшеница, жесткая, как проволока, в кучках, разроешь — в лицо плесень горячая, дождики и там перепадали. По правде говоря, у нас яровая под носом прет, но под носом-то не видим, а где далеко — это виднее. Ну что ж, надо прессовать, иначе нельзя — высекут, это у нас умеют. Количество нужно. А вот количества, смотрю, и не получается. Дни идут, подсчитал кипы — по две тонны на день не выходит. И это на два прессы, солома-то золотая выдет. Какие работнички! Горе! Одно вино на уме, как бы урвать да напиться. Утром будишь-будишь: «Коля, вставай». А этот Коля: «Да пошел ты!..» Или что придумали: прессуем, все нормально, а им надоело, рр-раз вилы туда, в камеру, черенок — хрясь, зубья по железу — вж-жик, шпонку сразу рвет, около часу стоим. Кто сделал — не разберешься. А и разберешься — не нарочно, говорит, вырвались!

Через неделю приезжает сам начальник, первак послал выяснить, как дела, помочь. Помог... Отматерил, как собаку, нагрузил машину яблок и укатил. Расстраиваюсь, забота-то на мне, а дело не идет. Хоть бы заболеть, думаю. И вот мне вручают телеграмму, вручают спасительницу, не поверишь, как прочитал, поцеловал даже листок этот. В телеграмме, значит, жена пишет: положили меня с Надюшкой в больницу, нашли у нее палочки. Через день прибыл мой сменщик, зампредрика Рыжов. Поезжай, говорит, твоя жена всем надоела, без конца звонит: караул, первоклассница одна дома осталась. С таким это гонором сказал, как же, не хотелось ехать-то. Правильно и звонит, думаю, ты бы не звонил, давай-ко протряхнись, организуй тут, хватит бумагами-то укреплять кормовую базу...

Проскочили каким-то маленьким городком с высокой колокольней, свернули вправо и остановились под освещенным козырьком бетонного навеса — заправка. Дежурная оказалась строгой, потребовала освободить автобус. Выходили неохотно, громко зевая и охая. Гина насилу развязала затянувшийся под коленками пояс, ругала заправщицу:

— Черт, издевательница!

На улице дул все тот же промозглый, порывистый ветер. Кустов красноты не оказалось, и народ молча табунился в отдалении от красных, светящихся экранами колонок. Было что-то удручающее и тоскливое в их одинаково сторбленных ужавшихся фигурах.

До самой Москвы больше не останавливались. Стало попадаться больше машин — и встречных и обгоняющих. Выплывали вдруг огромные дома-коробки, стоящие вроде бы прямо в поле. Горели огни подстанций, подсвечивая гроздь свисающих изоляторов. Тянулись подвешенные к опорам какие-то трубы, отсвечивающие, словно обмозганные фольгой. Издалека подмигивали красные фонари переездов. И вся земля вокруг, насколько пробивали мрак автобусные фары, была уставлена столбами — деревянными, бетонными, стальными, — во все стороны от них паутинно тянулись провода. По всему чувствовалось приближение столицы. Дома пошли все чаще, все плотнее, и тетка Вера не заметила, где граница, начало, — уже, глядит, тянется освещенная широкая улица, по обе стороны вплотную стоят высоченные дома, и все витрины, витрины, в огромных окнах то тощенькая дамочка в шляпке, слегка поднявшая тоненькую ножку, то огромные рулоны материи, то пирамиды банок, то цветные фотографии мужчин.

Уже никто не спал, не мотался в дремоте, все сосредоточенно смотрели в окно. Эту дорогу на ВДНХ шофер знал хорошо. Он уверенно пересекал улицы, останавливался у светофоров, поворачивал то вправо, то влево, выруливал на стремнину проспекта или прижимался к обочине.

Скоро в рассветном подсвеченном небе вырисовался силуэт знаменитой скульптуры «Рабочий и колхозница».

Еще пересекли две улицы, постояли у светофора, повернули три раза и почти под ногами порывисто шагнувших в будущее рабочего и колхозницы съехали на широкую, уже наполовину заставленную автобусами площадку.

Было еще рано, около семи. Все сидели на своих местах, переговаривались.

Гина опять вышла вперед, щурилась всезнающе, шевелила своим прокурорским носом, просила внимания. Выглядела она бодро, видать, хорошо высалась на столике. Как ни ужимался за спинами Куропаткин, Гина первым высмотрела его:

— Михаил Ваныч, как отдохнули на своем плацкарте? Косточки не болят, нет? Уговор не забыли? Держись за меня, а мы за вас как за ревизора. — И, обращаясь уже ко всем, подсказала: — Сбор в

шесть вечера, а если кто заблудится, вот этих ищите, их далеко видно.— И кивнула на скульптуру.

Автобусы все подходили, выстраивались на площадке. Рогульский по старой инспекторской привычке прежде всего обращал внимание на номерные знаки.

— Смотри-ка, все соседи наши: «ЯРЕ» — это ярославские, «ИВЕ» — ивановские,— пояснял он приналегшему на поручень сиденья Куропаткину.— А вот и родные: «КОА», «КОЕ».

Потянулись на выход поразмяться. Трудно переставляя занемевшие ноги, поковыляла и тетка Вера. Сойдя с подножки, огляделась.

Справа возвышался недостроенный дом, похожий на непомерно огромную рамку с пчелиными сотами. На нем в туманной серости вспыхивали голубоватые языки работающей сварки. Левее светилось стеклянными проемами замысловатой формы здание, тоже высокое, с выгнутой, устремленной вверх крышей. И было непонятно, как это держится массивная бетонная нахлобучка на хрупких, просвечивающих насквозь стеклянных стенках. Но больше всего тетку Веру поражала скульптура: своей величиной, размахом, красотой тел и лиц.

Еще левее — направленная в небо, так и рвущаяся к звездам ракета. Поднята высокомерно и красиво. Еще дальше — игольчато вонзившаяся в небо башня, но эту тетка Вера каждый день по телевизору видела.

Тут ее подхватила под локоть Гина:

— Хватит рот-то разевать, пойдем сбегает куда-нибудь.

Подошли к невысокому белокаменному домику.

— Очередь-то! — поразила Гина.— Полчаса стоять, не меньше. Пойдем в мужскую. Видишь, пропускают.

Теребит Гина, подбивает: пойдем да пойдем. А тетка Вера уперлась, как бык: не пойду, и все!

Потопталась Гина, потопталась и вдруг этакой мелконькой рысью в мужское отделение. Перед ней расступились, дали пройти, наградив вслед дружным хохотом.

Выскочила Гина быстро, румянец смущения во все щеки, но бодрится:

— Зря не пошла, там ведь отдельные кабины.

Тетка Вера отмахнулась:

— Мне не торопко, постою.

Стоять еще долго. Но Гина не ушла, встала рядом за компанию, понимала: нелегко деревенской, нигде не побывавшей бабе, все впервые, к тому же сама сманила на поездку.

В десять часов собрались у входа на выставку. Местком Макарычева напутствовала:

— Гуртом можно не ходить. Кто в какой павильон хочет — пожалуйста. Только не теряться. Сбор у автобуса, как уже сказано, к шести. Ждать не будем.

И двинулись под высоченные арки. Тетка Вера замешкалась, глаза на установленную над входом скульптуру — кажись, свой брат, колхозники, легко и согласно держат над головой сноп. Экскурсия уже вытягивалась на гранитную площадку выставки. Тетка Вера заторопилась, сунулась в узкий проходик между тумбами с красновато мерцающими экранчиками и чуть не полетела, запнувшись за какие-то высочившиеся решетки. Отступила, глядя зашибленное колено, недоуменно смотрела на перегородку.

— Ты что напролом? Разве прорвешься? Тут все с умом устроено! — смеясь, кричала, шагая на выручку, Гина.— Припасай двугривенный! Видишь, щелка? В нее и пихай!

Тетка Вера нашла в кошельке двадцать копеек, протолкнула в гнездо и, опасно косясь, проскочила.

Пошли по ровной асфальтовой дороге, задирая головы, изумленно озираясь и предупреждающе толкая друг друга локтями: беломраморные здания с величественными колоннами, золоченые, застывшие в радостном порыве статуи, матовые ожерелья фонарей, гранитные фонтаны и, куда ни глянь, горящие звезды на игольчатых шпильях... Гремит бодрая музыка. Забилося у тетки Веры сердце, поднялась гордость: вот как вознеслись, и это все мы, мы!..

Первой протрезвела Гина, с хитроватым прищуром оглядела разветвляющиеся, заполненные народом дорожки.

— Ишь, вышагивают, прохлаждаются... Куда пойдём-то?

Тетка Вера, ошеломленно мигая, глядела на нее молча, непонимающе.

— Чего смотреть будем? — приклонясь к уху, прокричала Гина.

— Чего, чего, — опомнившись, зачастила тетка Вера. — Пойдем где телята, знаешь, хочу взглянуть, соскучилась словно...

Спросили мужика в жестяно хрустящей робе, катящего тачку с синим баллоном.

— Там дальше, в углу, — махнул мужик.

Долго шли среди низких суковатых яблонь, свернули раз, свернули другой.

— Смотри-ко, лошади. Кожа-то аж блестит, — приостановившись, с восхищением заметила тетка Вера.

— Лошади!.. Разуй глаза-то, — забрюзжала Гина, — памятники это, видишь?..

— Ай и верно, — сконфузилась тетка Вера, подойдя ближе. — «Квад-рат»... Квадрат. «Сим-вол»... Символ. Мудрено. Видать, не колхозные.

— А ты думала. Не простые они, чистых кровей, заслуженные...

Наконец сквозь ветки показался щит с рогатой коровьей мордой.

— Здесь, вот, — показала Гина на длинное приземистое здание, похожее на ферму.

В просторной прихожей с развешанными по стенам яркими фотографиями многорядных ферм, смеющихся доярок в белых халатах, упитанных, дородных коров, со стендами подсвеченных таблиц, с угловатыми, скачущими все вверх и вверх графиками и столбцами процентов дремала на стуле дежурная. Слева узкая дверь с надписью: «Осмотр животных».

Вошли. Опакнуло душноватым коровьим теплом, жвачкой, смолой свежих опилок. В широком проходе посетителей негусто, раздва — и обчелся.

Тетка Вера расплылась в улыбке, глаза увлажнились умильной слезой. С прихода стояли бычки светлой масти, налитые, спины широченные, с ложбинкой — спатать ложись, загривки — бугры каменные, подбородки холеные гармошкой. Где там Обжорке! Схватись он с любым из этих — в порошок бы стерли.

— Какая красота! — пролепетала тетка Вера, подойдя к барьеру. — А по масти-то, кажись, наши, костромские.

Вдоль кормушек шел сухощавый мужичок, чистенький, в атласном синем халате, отглаженных брюках, в ботинках. Наклонялся, подбирал вытолкнутые клочки сена. Потом взял метлу, принялся выкатывать, спроваживать в желоб обметанные опилками белые ежики.

— Вот работенка, — плутовато повела зенками Гина. — Скотник, а в щелетах. И, поди, на окладе...

— Товарищ! Товарищ! — заторопилась тетка Вера, перегнувшись через барьер. — Бычки-то эфти не костромские?

Скотник выпрямился, посмотрел оценивающе, сказал внушительно и важно:

— Вы грамотны? Так читайте, тут написано: принадлежат племзаводу «Караваево».

— Так это же наши! Караваевские — это наши! — с умилением тянулась тетка Вера к телячьим мордам.

— Поцелуйтесь. Только этого не хватает... Да, публика...— Скотник тряхнул головой, опять посмотрел, прищурился насмешливо и зашуровал метлой по опилкам.

— Смотри-ко,— многозначительно кивнула Гина,— из себя гнет. Надо с ним побеседовать.

Она чуть отошла от барьера, расстегнула плащ, обнажив полу толстой вязки оранжевой кофты, сняла платок, словно бы ей жарко стало, потрогала горящие сосульки сережек, ощупала тяжелый жгут на затылке и, приподняв заносчиво подбородок, с достоинством, помосковски выговаривая каждое слово, выдерживая для солидности паузы, заметила:

— Товарищ, я вижу, у вас не все ладно.

Скотник снова остановился, снова посмотрел внимательно, но в лице его скользнуло смятение.

— Что неладно, вы о чем? — забеспокоился он.

— Скот. Бычки. Они должны быть чище.

— Они чистые. Чего еще,— расфуфырился скотник.— Все по нормам. А вы кто такие мне указывать?

Гина надменно вздернула подбородок, повела самодовольным взглядом и, шагнув к барьеру, представилась:

— Главный зоотехник племзавода «Караваево» Хованцева Ираида Пантелеймоновна. Не ожидала. Не думала. Мы у себя в племзаводе содержим чище.

Скотник сразу изменился в лице, построжел, подтянулся.

— Не понимаю, к чему претензия? Что вы заметили? Не знаю...— сказал он, несколько растерянно оглядывая площадку.

— «К чему претензия»... Вы посмотрите, скот же не чищен, на холке слой пыли, межкопытья забиты грязью, а на коленях даже короста. Как же так, товарищ, это же всесоюзная выставка!..— Гина пристально смотрела на оторопело застывшего с метлой скотника.— Халтурим, товарищ, нехорошо. Я жаловаться не буду, но вы учтите. Наведите сегодня же порядок. Почаще, почаще надо брать в руки щетку.— И медленно и важно пошла по проходу, оценивающе приглядываясь к жующим жвачку бычкам.

Дальше стояли коровы крутобокие, широкие, как баржи, вымя — в обхват. И опять тетка Вера умильно вздохнула и всплескивала ладонями:

— Красота-то господня!..

Хорошо тут, светло, уютно, устроено. Так бы и скинула жакетку и пошла, пошла бы по рядам, убажывая и теща эти сытые дремотные морды, успокоила бы сердце...

Гина все так же начальственно и форсисто держала раздутый нос, степенно останавливалась, присматривалась, осуждающе качала головой.

Пошли на выход. Затворяя дверь, тетка Вера оглянулась: скотник, опершись на метлу, недоуменно смотрел им вслед.

— Ну зачем ты уж так-то с ним, больно строго? — упрекнула тетка Вера, выйдя на улицу.

— Ничего! Ему полезно, пусть поразмыслит, а то гнет из себя,— сказала Гина с уверенностью заядлой драчуньи.

Потом смотрели овец, потом свиней. Поразили тетку Веру свиньи с черной щетиной, лежат что опаленные кряжи, а поросятки, сбившиеся в кучу, наводили оторопь — шевелятся живыми головешками.

— Куда подем? — спросила Гина, легонько задев плечом и ласково заглядывая в глаза. — Ракеты подем смотреть?

— Да я как ты... Если хочешь... — замялась тетка Вера.

— Ладно, пока отставим. Сначала дела сделать. По магазинам — раз. По адресу насчет дома — два. А там видно будет.

Тетка Вера согласно кивнула. И они пошагали под бодрую музыку.

На гастроном наткнулись сразу за привывставочной площадью. Зал предлинный, высокий, светлый. Голоса покупателей сливались, и по всему проему слышался приглушенный ворчливый гул.

Посреди зала пирамида картонных коробок. Покупатели толпились вокруг них, суетились, тянули руки, вылавливая какие-то банки, створки коробок дергались, мельтешили.

— Что-то там ходовое, редкое. Видишь, рвут, — подтолкнула Гина тетку Веру.

Втиснулись. Гина напряглась, даванула грудью. Маленькая дамочка под ее рукой споткнулась, зашлась сорочьим щебетом:

— Женщина!.. Да женщина же!..

Гина выбросила через чье-то дрыгающееся плечо руку, выловила прохладную жестяную банку. На обертке сочно зеленели жирные растреснутые стручки. Обыкновенный зеленый горошек.

— Тебе нужно? — спросила Гина.

— И не знаю, — засомневалась тетка Вера. — Возьми если парочку. Иван стручки любит, если что, погодится и в суп.

— Да вы что?! «Парочку»? Это такой дефицит, из Болгарии, редко бывает, — подзадорил, благодушно улыбаясь, толстогубый мужик в белом плаще, нахапавший целую корзину.

Рядом стояли коробки с майонезом. И тоже расторопно разбирались. Про майонез слышаны, знали — вместо сметаны и в суп, и в салат, и в соленье. Майонез почитают теперь и в самой глухой деревне, но особый почет ему, конечно, от жителя бескровного.

Понахватили. Взбодренные первой удачей, отошли к стенке. Сделалось хорошо, привольно. Гина вытащила банку, попестовала — увесистая, — разглядела красивую крышку, прочитала с удовольствием:

— «Май-о-нез. Хель-син-ки». Хельсинки! Смотри-ко, заграничный. — И самодовольно завертела пронирливыми глазами.

Добрались до колбасного отдела. Очередь порядочная, но встали. Прошло минут десять, а все как будто ни с места. В соседнем отделе торговали мясом. И тоже много народу.

— Возле выставки всегда людно, приезжие одолевают, — сказала Гина. — Пошлепали-ко отсюда куда-нибудь подальше.

Улице, казалось, нет конца-краю. По сторонам домищи, народу снует — видимо-невидимо. Магазинов прошли много, заходили, смотрели, везде очереди, но что делать, надо же приткнуться, а Гине все не нравится, прет все дальше, дальше. Из тетки Веры уж дух вон, стала отставать. Гина посочувствовала, притормозила. За углом дома в теснине глухих стен маленький, усыпанный опавшей листвой скверик. Несколько деревянных лавок пестрело желтыми и красными мазками прилипших листьев.

— Подем тогда, передохнем, — предложила Гина.

Выбрали лавку с подветренной стороны. Мимо дорожка прямехонькая в какой-то узенький проход между домами. И туда и оттуда

нет-нет да и пройдут, видимо, местные, где-то рядом живут — простоволосые, одеты легко, здороваются, что-то спрашивают на ходу друг у друга, и кто оттуда, каждый с сумочкой, с целлофановым мешочком ли, наполненным продуктами.

Гина вдруг построжела, выпрямилась.

— А ведь там магазин где-то, вишь, тянутся, надо проверить.

Затененный коридорчик вывел их в какую-то непроезжую улочку-тупик, засаженную сучковатыми деревцами. И по первому этажу старенького, с облупившейся штукатуркой ближнего дома вывеска: «Продовольственный магазин».

Вывеска не внушала доверия, повыгорела, перекосилась. Тихое местечко, поди-ко догадайся, приезжий, узнай. Только есть ли что стоящее, нужно ли узнавать-то? Двери тоже не по столице — узенькие, дребезжащие. А как вошли, так и утихомирились: все есть — колбаса, мясо, птица мороженая. Народу не ахти сколько, торговля идет тихо, без суеты.

За мясным прилавком здоровенный дядя в белом, подзапачканном на груди халате с закатанными рукавами. Лицо красное, ядреное, загривок что у того быка Обжорки — широкий, в седоватом взъерошенном волосе. Но работает дядя расторопно, да и в мясе позволяет порыться.

Кусочки порублено много, лежат на противнях рядами на любой вкус и глаз, но все мелкие — видать, в расчете на местного покупателя. И тетка Вера постеснялась заказать сразу побольше, показала на два крайних кусочка с белыми прожилками жира. Дядя, посмотрев на ее поставленную у ног сумку, развел свои ладони-лопаты:

— Так скромно? Берите больше. Что вы, такое мясо!

— Тогда пожалуйста,— приободрилась тетка Вера.

Дядя взял страшный топор-тесак и, хакая в такт, резкими махами раскрыл лежащий на широченном кряже остаток туши. Выбрал кусок повнушительней — мягкий, с мозговой раздробленной косточкой,— бросил на весы. Еще стрелка не успела найти свое место, металась по шкале, сдернул вес и, громко рыкнув: «Десять пятьдесят!» — завернул в бумагу.

И еще попросила тетка Вера такой вес. И опять все повторил дядя с бесцеремонной ловкостью. «Вот это да! Вот это работает!» — подумала тетка Вера, отходя и поглядывая на разворотливого, на ходу что-то пережевывающего продавца.

Отошла, кособочась, от прилавка и Гина, но в сумки еще клади да клади, места много. Заглянули в открытые, парящие холодом коробки витрин. Навал всякой птицы. Каждая тушка аккуратно обернута целлофаном, синеют, желтеют, краснеют приклеенные этикетки.

Пожилая работница в желтоватом халате заметила нерешительность тетки Веры, подсказала:

— Чего сомневаешься! Бери, все импортное! Эти вон,— она кивнула на диковинно белых и мясистых индеек,— югославские, а вон куры из Венгрии, утки тоже венгерские, только привезли.

Тетка Вера выбрала две утки, а Гина облюбовала индейку. Ну и ладно, и хватит, надо тащить. Тетка Вера позвала подругу, но раззадорившаяся Гина не удержалась, подошла к колбасному прилавку. Глядя на нее, добавила грузу и тетка Вера.

Рядом торговали маслом, сыром. Ну, на сыр они не больно соложные. А вот масла надо. Сумки уже распирало, и масла взяли всего по килограмму, возьмут побольше во второй заход. Пошли было, да Гину заинтересовал раскрытый диск сыра — уж очень соблазнительно бел и ноздрист. Она приткнулась к витрине, прочитала вслух:

— «Брынза болгарская». Видишь, брынза. Это что-то восточное. Ни разу не пробовала. Давай возьмем *чуть-чуть* на дорогу.

Тетка Вера даже отвернулась — как детка, эта Гина, разве можно все перепробовать!

А Гина взяла и брынзы. Отщипнула, аккуратно положила на язык, навостряя ухо, пожевала.

— А что? Ничего. Солоновата, правда. Но вкус есть. С чаем бы, да и так, всухомятку. А не больно берут. Видно, залеживается. И чего так делают, везли бы тогда к нам в Судай, тут же бы расхватали. Нако откуси.

Но тетка Вера только махнула:

— Да отстань же. Вот неугомонная-то.

Выходя, благодарно взглянули на орудующего тесаком дядю, на прилавки, на народ, умильно обмерла душа: никто не оговорил, не упрекнул, наоборот, подбодрили. Спасибо, спасибо!

Проходя сквериком, снова присели на ту же лавку, отломали по куску колбасы — захотелось и пожевать.

— Ну вот, а ты упрячилась. Неплохо, неплохо поднабрали, — говорила Гина, смачно впиваясь в крахмально-клейкую розоватую мякоть куска.

— Да уж чего, — смущалась тетка Вера. — Тебя, ясно, не проведешь, продумчивая.

— А каков товар, скажи, а! — Гина плутовато рассмеялась. — С тобой как скупщики какие! Утки да куры венгерские, брынза, горошек из Болгарии. А главное, индейка-то, — Гина пощупала слегка отпотевшую тушу, — ах прелесть, до чего же мясиста, бела — из Югославии. И мазево есть. Как его, город-то?.. Хель... Хель... Да, Хельсинки!

— Зато мясо свое.

— Ага, свое. Правда, на нем не написано. Но, наверно, свое. Может, судайское.

— Ну ты скажешь.

— А чего. Так оно и есть... Который раз закаиваюсь ездить, — бойко говорила Гина. — Ведь какая мука! Возвернешься — спинушку ломит, бока болят, ноги что крапивой нашпарены, ходишь враскоряку. К черту, больше не поеду, как-нибудь проживем! А пройдет два-три дня — и все забывается, хоть бы что, снова готова ринуться сломя голову!..

А тетка Вера сникла, уличенно ужалась, колбаса застревала в горле. «Да что же это такое-то? — думала она всполошенно. — Разве у нас земля мало? Разве земля эта плохая, бросовая? Нет, нет. Земля та хорошая, родливая. Траву родит высокую, густую. Взять хотя бы пиногоровские луга. Никто их теперь не косит. Трава вызревает и гибнет. Сколько бы можно накосить сена, поставить скирд, прокормить коров! А стада? Разве это стада! На таком-то приволье. От Пиногорова до Брюхачева тринадцать верст, а пройдишь — и ни одного стада. Тишина, безлюдье. Уж и пашню-то полонит репей. Да стада бы должны и там и там, чтобы с холма на холм быки друг друга чуяли, рывкали, копытили землю... Деревень не стало, поразбежался народ — вот в чем дело. Нет, права Гина: поразбежались, за столы сели. А прежде ни на что не надеялись, каждый знал: если хочешь жить справно, надо работать, а если уж деревенский, то и хозяйственный. А теперь стараются прожить на дурачка, где-нибудь урвать, кого-нибудь облапошить — приспособляются, надеются на случай... Вот и сама... Эх, как тяжело, тяжело все это думать!..»

Насилу дотацились до своего автобуса — далеко показалось. В автобусе никого. Но уже приходили разгружаться — мешки топырятся втиснутыми свертками.

Посидели чуточку, отдышались. И снова туда, шли-торопились, как бы народу не набежало. Тетка Вера вспотела — язык на сторону вешай.

В магазине все то же приволье — просторно, несколько женщин не торопясь разглядывают витрины. Загрузились. Теперь, кажется, можно и успокоиться.

Шли обратно молча, тихо, часто отдыхали. Куда спешить? Еще только половина второго, а они уже отоварились.

У автобуса творится что-то неладное. Какая-то машина-фургон чуть ли не вплотную уткнулась кормой в дверь. Два мужика в сумраке фургона ворочают картонные ящики.

— Чего это? — спросила Гина у стоящей на ступеньке месткома Макарычевой.

— Тушенка. Надо? Два рубля банка.

Гина сразу оживилась, обрадовалась:

— Еще бы! Только как это, откуда? Не вяпаемся?

— Не должны. Чего там? Были — и нет, ищи-свищи. Через магазин оформят — продано, а навар — каждому свое, по должности, чину. Поняла? — прошептала Макарычева.

— Да как не понять. Надо брать. Ты будешь? — обратилась Гина к тетке Вере. — Бери, эта вещь не испортится, простоит в подвале года.

Макарычева брала целый ящик. Взяла ящик и Гина. Тетка Вера попросила:

— А мне баночек десять.

— Пожалуйста, десяток, — сказал узкоглазый мужик в помятой шляпе. Разорвал клеенную крышку, стал подавать высокие, покрытые густой мазью банки.

Подходили другие с покупками — разгрузиться. И каждый был рад — вот удача так удача: тушенка с доставкой, во сне и то не приносится. Брала ящиками и в розницу, кому сколько надо.

Потом кто-то принес весть: продают апельсины. Тетка Вера не хотела идти, да и ноги уже отказывались, разламывалась голова, в спине колотье, намятые подошвы жжет как ошпаренные. Но Гина-то, Гина! От черта хоть богом можно загородиться, а от нее ничем.

Апельсиновый магазин — в другую сторону, вниз, за привыставочную площадь. И дом этот, где магазин, Гина показала, вроде близко. А на деле оказалось — шли-шли, шли-шли!.. Городское-то неприлично, обманчиво, глазомер другой нужен.

Вернулась тетка Вера с апельсинами совсем разбитая. И ничему не рада, безразличие какое-то взяло. Хотелось одного — домой бы, на теплую лежанку, вытянуть ноги и лежать, лежать. Гина больше не тревожила — видит же, попутчица совсем скисла, — смылась куда-то одна. А тетка Вера села на свое место, привалилась в уголок.

— О господи! Какая неволя заставила мучиться?

Она закрыла глаза — может, вздремнется, хорошо бы, — но сон не шел, голова кружилась, ломило виски, и отдавало в затылке.

И опять ей вдруг представилось Пиногорово. Она тут же уцепилась за эту спасительную ниточку воспоминаний, они больше всего были сейчас отрадны, облегчали физический и душевный гнет.

Вспомнилось теперь желанное пиногоровское лето. В летнюю пору она освобождалась от сторожки — телят перегоняли в лагерь за три километра от Пиногорова, в урочище Бородатово. Бородатово, когда-то большое село с бондарной мастерской и церковью, окружали привольные луга, кустарники, внизу за церковью текла извилистая речка Петляйка, подпитываемая на всем своем пути родниками. Пасты телят, ухаживать и следить за ними в лагере — широкой жердевой загородке вокруг церкви — отряжали Ивана.

Дробилка его, считай, все лето простаивала, не было зерна. Зато было много кругом густой и сочной травы, и каждую неделю скот

перегоняли на еще не обмятые, тронутые разве только лосями да зайцами пастбища.

Тетка Вера в свободное от сенокоса время — бригадир иногда отпуская и с работы — ездил на дрогах в Бородатово к Ивану, надо было отвезти ему и хлеба свежего, и пирогов, и прочих продуктов, проверить, как он там, поговорить, рассказать новости, а то одичает. Скучилась, конечно, и сама. Да тянуло ее еще и к телятам — как-никак свои, все зимние ночи топала, сторожила их покой и здоровье, привыкла, сроднилась.

Она с волнением — сейчас встретит ее ее говорун и вовсе онемеет от радости — подъезжала к зелененькому вагончику, привезенному сюда еще по снегу. Черным клубком бросался с лаем навстречу Шарик, но узнав, взвизгивал, облизывался и прыгал прямо в дроги.

Она приезжала обычно к полудню, на жару, когда телята, набив утробу утренней росяной травой, отдыхали в загоне. Спасаясь от знойного солнца и слепней, они заходили через широкий осыпающийся дверной проем паперти в просторное нутро церкви, где уже давно вместо пола чернела распаханная копытами, сдобренная навозом земля. За толстой кирпичной кладкой, под высокими сводами было полутемно, прохладно, и телята, мирно пережевывая жвачку и шевеля в полудреме ушами, пережидали жару. Она распрягала мерина, привязывала его за вожжи к черемуховому кусту в тенистой низине, а Иван уже стоял на ступеньке вагончика, одергивая рубашку, улыбаясь, кивал и молчал. Иногда она подъезжала тихо — Шарик гонял где-то по лесу, — заставляла его врасплох лежащим в вагончике на сколоченных нарах. Он страшно терялся, виновато моргал — провинился, не встретил. Но это бывало редко.

В этой его полевой комнатке всегда был уютный домашний порядок. Дощатый столик у стенки, застланный газетой, скамейка, нары, на полочке табакерка, спички, керосиновая лампа, фонарик, порожняя посуда, самовар — все было вычищено и прибрано, аккуратно расставлено, на гвоздиках висели ружье-одностволка, брезентовый дождевик с капюшоном, телогрейка.

Она входила в его комнатку, пахнувшую сухими травами — Иван по ходу пастушьего дела собирал еще и лекарственные растения, сушил их, связывал в пучки и складывал под нары, — оглядывалась, вздыхала. А он степенно стоял у стола, как будто и не хозяин тут, готовый слушать ее и служить ей.

— Ну так... Живем вот... Ну располагайся, — говорил он наконец и брался за самовар.

Фляга с водой стояла у него под вагончиком, там же была и корзина с раскрывшимися еловыми шишками, которыми он топил самовар.

Чай пили прямо на луговине в тени вагончика. Тетка Вера сидела на низком кряжике, поставив босые ноги на обмякшую теплую траву, а Иван на корточках, подшуровывал в трубе, чтобы пел, клочкотал кипяток под крышкой, наливал чаю, нарезал пироги — прислуживал. Шарик лежал под вагончиком, высунув красный мокрый язык, и слышно было его чистое, ровное дыхание.

— На той неделе, зоотехник говорила, с весами приедут. Будет ли привес-то? Ишь солнышко-то шпарит, на жару да на слепне не больно растут, — сказывала тетка Вера как бы про себя, не обязывая отвечать объяснять, щадила мужнюю тугодумную молчаливость.

Но он собирался, желая высказаться, морщил лоб, повертывал туда сюда голову, щурил глаза, весь напрягался.

— Ну вот... Что ты. Нагуливаются хорошо, привес должен добрый, ну...

Насчет самой пастушни — это тетка Вера, конечно, лучше всех знала — Ивану нет ровни, душой болеет за дело, не будет скотину держать зря в загоне. Выгоняет телят рано, и до жары они не раз

наедятся и вылежатся. А луга, полянки, опушки здесь не запущены, не заглохли, каждый год хорошо родится трава с подседом сладкого белого клевера.

— Ну, еще вот им передай. Ну, надо лизунца-камня в загон набросать, а то фундамент... ну, лжут. Видно, соленый, что ли,— продолжал неожиданно разговорившийся Иван.

«А как же, заботится»,— думала тетка Вера, с ласковой смешинкой поглядывала на Ивана.

Иной раз, если тетка Вера не торопилась, они после чая отдыхали в вагончике, лежали на жестких, застланных старой овчинной шубой нарах. Споднизу тянул дурманящий пряный ток иссохшей травы. Тетка Вера спрашивала:

— Чистотелу-то нашел?

— Ну, там, за порушенной оградой, средь кирпичей высмотрел. Насушил пучок...

Старшая их дочь Лена страдает экземой, и каждую весну тетка Вера давала задание Ивану раздобыть чистотелу: «Хоть в доску разбейся, а отыщи, Лена сказывала: примочки его хорошо утоляют зуд».

Иван лежал на боку, положив на нее тяжелую, жесткую руку, касаясь лицом волос. От его прожженной солнцем головы так и сквозило медвяным запахом клевера, хвои, ольховником. Он приподнимал выгоревшую голову, смотрел на нее долгим и зазывным взглядом, осторожно, но настойчиво поджимал бок. Она понимала: эта вольная воля на чистом луговом просторе, эти дни, проведенные втихомолку под щebetание птиц и сытое пофыркивание телят, эти сны в одиночестве на жестких нарах, под скрип коростелей, наконец, ожидание — все это, конечно, томило, волновало и накапливало мужицкую силу. Да и вообще в свои пятьдесят пять лет Иван был полон еще молодой нетерпеливости.

Жара спадала. Телята, взмыкивая, по одному лениво тянулись из церкви, подходили к изгороди и терлись лоснящимися шеями о прясла. Находились и драчуны, чуя скорую свободу, схватывались, начинали тягаться — глаза наливались кровью, бугрились шеи, они рывкали, как заправские соперники, упирались, падали на колени.

Иван открывал ворота. Но телята не торопились на выход, знать, не промялись еще, не подошло время. Иван заходил в церковь. И там еще подремывали увальни. «Плохо ли,— думала тетка Вера.— Холодок, мухи не кусают. А кто за вас мясо будет наращивать, привесы давать?»

Она вставала у ворот: интересно, признают или уже забыли? Волновалась даже — ну все пройдут мимо, как же так, всю зиму топала по телятнику, сторожила покой, наводила порядок и ласково трепала уши, за шею каждого — любимчиков не имела, все равны, за всех в ответе. Да и они словно в благодарность всегда успевали цапнуть ее за полу шершавыми и ловкими языками, оставляя густые и клейкие пятна. К весне фуфайка замусоливалась до невозможности, становилась жесткой и скользкой.

Телята, подгоняемые Иваном, выходили, однако, неторопливо, с форсом, сохраняя дородную важность, вразвалочку шли, выставляя ноги чуть в стороны, степенно и основательно.

— Да что же вы, окаянные, а? — возмущалась, чувствуя, как навертываются слезы обиды, тетка Вера.— Мимоходом, зазнались!

Какой-нибудь ближний бычок притормаживал, поворачивал к ней тупорылую белесую голову, напряжинив уши, смотрел упрямо и сердито.

— Экой ты забывчивый. Не вспомнить, да? Вспоминай — было ведь что-то, было! — говорила ему тетка Вера.

И бычок вдруг словно оттаивал, морда становилась длиннее, мягче, добрей. Он облизывал подсохшее рыло, хлопал длинными ресни-

цами и подходил. Тетка Вера радостно обхватывала его горячую упругую шею, чесала за ушами, прихлопывала, ласково бранила.

Находились и еще памятливые, подходили, тыкались рылами в грудь, в бока, мусолили платье.

— Ну и ладно. Теперь идите, идите,— отбивалась, шлепала по вытнутым мордам тетка Вера...

Уезжала она неохотно, жаль оставлять Ивана. А он тоже пригорюнивался, сопел, провожал молчаливым насупленным взглядом. Она обернется, а он все стоит на пригорке с перекинутой через плечо плеткой, все смотрит и смотрит вслед.

Припомнилось, как перепугал Ивана хозяин — наведавшийся раз ночью в загон медведь. Она приехала, а он и объяснить-то толком не может, только твердит:

— Хозяин, хозяин тут был...

Показывал Иван то место, сломал медведь пряслину, убегая,— Шарик да бабахнувший дробовик поддали ему ходу, окатил свой след зеленоватой вонючей кашницей из непереваренного, разбухшего овса. Иван был так разволнован, так тревожился за телят, что пришлось тогда тетке Вере остаться с Иваном в вагончике до утра.

...Гина вернулась опять с полной сумкой, уставшая, но довольная.

— Все, хватит, сыта по горло.— Махнула рукой, бухнулась на сиденье.— Сейчас давай поедем по адресу-то.

— Никуда я не поеду,— равнодушно сказала тетка Вера.— Не могу, силы нету.

Гина живо повернулась, хотела подзадорить, убедить, но тут же осеклась — тетка Вера, откинувшись в уголок, смотрела отчужденно, забывчиво, нечего и говорить впустую.

Женская рать уже к пяти часам была в сборе. Хотя Макарычева и местком, а смотрели на Гину — она хозяйка, что еще скажет. А Гина рассказывает, как успела уже и в Москве отчудить.

— Поставила я на стол первое, второе, пошла за чаем (это она зашла в кафе — по-людски поест на дорогу), иду с чаем и смотрю: мое-то первое негр доедает, черный, аж иссиня, а зубы — что белый березняк свегятся. Я подскочила, второе выхватила — он глаза выпучил, встал и пошел на выход. И все чего-то лопочет, лопочет, пожимает плечами. Ушел, а я это повернулась — куда сесть? — глянь, а мой-то обед на соседнем столе, целехонек. Так в жар-то и бросило сразу, понимаешь...

Верить, нет ли Гине, еще никто не подумал, но смеялись все — вот это отличилась, вот это номер! Тетка Вера тоже повеселела в своем уголке; неужели правда так могла опростоволоситься Гина?

Куропаткин с Рогульским явились навеселе. У Куропаткина за пазухой две плоские коробки со спичками.

— Отыскал-таки. Все ларь... ларьки выставки обежал. Обрадуется Сашка, ой, ой... обрадуется! — сказал он с ликованием, слегка заикаясь.

Сел опять по соседству. Тетка Вера охотливо подвинулась — этот сосед ее устраивал, с разговорами не пристаёт, сидит себе заклеваным, выдохшимся петухом.

Но в дороге Куропаткина развезло — много ли надо уставшему хиленькому мужичонке? — и тетке Вере досталось: он брыкал ногами, тыкал в бок локтями, то и дело запрокидывал ей на плечо свою лысую, пахнущую потом голову, несколько раз вскакивал, чуть не плача, искал провалившиеся за сиденье коробки, скулил:

— Ы-ы, Сашку жалко, спросит: дедуля, привез?..

Обратный путь показался длинным. Но, слава богу, все обошлось благополучно — чего уж жалиться на дорожную муку, впереди ждал отдых.

В Судай въехали еще в потемках. Шофер сделал услугу — каждого подвез к дому, а то как бы стали тащиться. Заботливые мужья

ждали кто с тачкой, кто с детской коляской. Радостно подхватывали узлы, укладывали. Встречали, конечно, не всех. На чем свет стоит проклинала муженька и Гина. К дому не подъедешь, проулок разворочен водопроводчиками, топтать с полкилометра. Сгрузилась на обочину, стояла, не зная, что делать, озиралась, размахивала руками, кричала:

— Черт долговязый, говорила же, говорила: встретить! Ему что! Дрыхнет без заботушки, проснется — жрать давай!..

Иван тетку Веру встретил, да она и не сомневалась, наверно, еще с полночи вышел на дорогу, все глаза проглядел. А как вошла в дом да взглянула на него при свете, то и поняла: точно с полночи высматривал — посиневший, нос заострился, в глазах мутная слеза озноби и руками не владеет. И какая неволя была торчать на ветру, дом-то от дороги рядом.

Иван сразу за самовар, он у него уже залит, заправлен углем. Через три минуты запела чуткая медь, зачиркали по перегоревшей, в мелких дырках трубе сыпучие искры.

Тетка Вера выпила чашку, задумалась. Задумалась крепко — чего ей надо, о чем еще дума? Другая на ее месте метнулась бы скорее на кровать, ведь две ночи не спавши! А она медлила, хмурилась, смотрела в пол.

Иван, разбалтывая сахар, забывчиво бренчал ложкой, растерянно и тугодумно хлопал глазами: жена не в спокойе, что-то гнетет ее, мучит, и это он, он во всем виноват.



СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ,
народный поэт Киргизии



ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Утром ранила пуля меня,
до вечера я лежал,
то возвращался из забвения,
то в забвение впадал.
К вечеру вижу лицо медсестры —
склоняется надо мной:
— Милый, надо терпеть, терпи,
Радуйся, что живой!
Я говорю:
— Берегись сама,
пули вокруг свистят!
...Помню словно в напльвах сна
ее милосердный взгляд.
Пуля разбила два ребра,
боль — аж слезы из глаз...
— Миленький! — говорит медсестра,
и боль затихает враз.
Она наложила на рану жгут.
— Руку держи, солдат,
в медсанбате тебя спасут,
надо ползти, солдат! —
Поволокла меня под огнем —
вижу, как тяжело ей.
— Оставь, — говорю, — мы не доползем,
я подожду друзей... —
Пули посвистывают вокруг...
— Сестричка, оставь меня!.. —
Молчит и не разжимает рук,
тащит из-под огня.

* * *

Не всякий хлеб жующий знает цену
кормилице, рождающей зерно.
Зерно растет и зреет постепенно,
и понимать его не всем дано.
Земля для тех, кто слышит шелест нивы,
оплот и память кровного родства,
расстаться с ней, решиться на разрывы
равно измене зову естества...
Кто связан с ней, тот без нее зачахнет,
тот защитит ее в любой беде.

Земля влажна,
она бессмертьем пахнет,
ей нет цены —
забудем о цене...

Вечер в Алайской долине

В огне заката кубики домов
друг к другу жмутся в шахматном порядке,
и сизые дымки от очагов
уходят в синь и тают без оглядки.
На улице безлюдно. Кончен день.
Из-под хребта почти от небосвода
ползет отара в обжитую сень,
и всюду солнечная позолота —
куда ни глянь!
Как будто извлекли
какие-то неведомые силы
на белый свет все золото земли,
покрывшее долины и айлы.

Один стою...

Шумит арык в предутренней тиши.
Над горным склоном
полоса рассвета,
и ветер, шевелящий камыши,
в аил приносит дух
цветов и снега.
Корова просыпается в хлеву,
ее душа еще объята снами...
Две лошади, хрустя, жуют траву,
сплетая шеи, трутся головами.
А я стою, как будто верный страж
безлюдной и светящейся дороги,
и думаю: а что ты передашь
дню, чьи шаги
ты слышишь на пороге?

Перевел СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ.

ЮРИЙ РЫТХЭУ

★

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА*

Роман

21

Кагот спустился на лед и медленно зашагал к ярангам, стоящим на высоком берегу. Тишина прошедшей ночи как бы простерлась и на наступивший день, на разгоревшуюся зарю. Сегодня солнце уже заметно поднимется над горизонтом и будет часа полтора ослепительного снежного света. На этот случай Кагот захватил очки-консервы с зелеными стеклами. У него имелось и чукотское приспособление, представляющее собой кожаную полоску с узкой прорезью для глаз, оно отлично предохраняло от снежной слепоты.

Кагот знал, что сегодня все мужчины дома: вчера у них был тяжелый, но добычливый день. Першин протащил мимо «Мод» трех привязанных друг за другом нерп. Хорошая добыча и сравнительно спокойная зима радовали сердца людей, и все было бы, наверное, прекрасно, если б не тревожные мысли о том, что и погода, и охотничья удача, и вообще жизнь — вещи непрочные, непостоянные и всегда надо ожидать какой-то перемены.

Кагот сначала зашел в ярангу Каляны.

Возле мехового занавеса большого полога на бревне-изголовье сидел Першин и чистил винчестер. Рядом с ним Айнана играла остроконечными патронами. Каляна снимала жир с нерпичьих шкур и была вся перемазана кровью. Першин внешне сильно изменился по сравнению с тем каким приехал в становище. Он отрастил густую мягкую бороду, начинающуюся у самых скул.

— Атэкай! Атэкай! — обрадовалась Айнана и бросилась навстречу отцу.

Каждый раз, когда Кагот смотрел на дочку, он видел в ней черты ушедшей навсегда Вааль. И тогда на его глаза навертывались слезы, щипало в носу и в груди возникала боль.

— Я всю печень оставила тебе, Кагот, — сказала Каляна. — Пусть тангитаны едят.

— Я возьму здесь две, — сказал Кагот, — а еще две у Амоса. Чтобы все было поровну.

— Хорошо, пусть будет так, — согласилась Каляна.

— Как в море? — обратился Кагот к Першину.

— Дрейфующий лед нынче отделился, — начал Першин. Он говорил со знанием дела, словно всю жизнь только тем и занимался что бил нерпу на льду. — Припай naros, и к открытой воде далеко идти. Только откроется вода — тут же замерзает. Опасно ходить по льду. Зато нерпы много. Хорошо охотиться!

Кагот пожалел, что не может ходить на охоту. Надо как-нибудь отпроситься у начальника на день и выйти на лед. Так ведь можно и

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6, 7 с. г.

позабить, как добывается нерпа; не всю же жизнь быть ему поваром у Амундсена!

Казавшаяся издали непонятной и даже привлекательной жизнь на тангитанском корабле оказалась, в общем-то, однообразной, очень размеренной. Это впечатление усиливалось еще и тем, что начальник экспедиции требовал выполнения всех работ точно по часам. Особенно это касалось времени приема пищи. Задержка хотя бы на несколько минут вызывала его недовольство, и он делал строгий выговор. Но Кагот приноровился подавать и завтрак, и обед, и ужин в точно назначенный час или даже чуть-чуть раньше, чтобы избежать упреков.

— Следов белых медведей немного,— продолжал Першин,— но они есть, особенно возле прибрежных скал.

— Будьте осторожны,— предупредил Кагот,— это скорее всего медведица с детенышем. Может подкрасться сзади и напасть.

— Амос мне тоже говорил,— сказал Першин.— Когда я того медведя убил, мне показалось, что теперь мне ничего не стоит добыть и следующего. А вот не попадаются.

— Белый медведь — редкая добыча,— заметил Кагот.— Когда какой год выпадает. Но к весне звери могут появиться.

Каляна подала чай, и мужчины приступили к основательному чаепитию с сахаром. Налили и Айнане в плоское блюдечко, чтобы не обожглась, и дали большой кусок сахара. Девочка пила как большая, засунув сахар за щеку. Втянув в себя весь чай, она вынимала сахар и клала его на столик, ожидая, пока ей нальют еще.

— Как дела с обучением грамоте? — поинтересовался Кагот.

— Туговато идет,— ответил Першин.— Ведь, по сути, мне приходится обучать не чукотской, а русской грамоте.

— Однако вижу, что у вас-то чукотский язык хорошо пошел,— заметил Кагот.

— У меня хорошие учителя,— улыбнулся Першин.— Учат все время. По-русски ведь не с кем говорить.

— Меня тоже учат грамоте,— признался Кагот.

Першин заметно удивился этому.

— А какой грамоте? Норвежской?

— Пока непонятно какой,— ответил Кагот.— Но мне больше нравится счет и числа... Вот я все хотел спросить у вас: у корабельных тангитанов тоже есть поэты или они только у русских?

— Поэты есть у всех народов,— ответил Першин.— И у норвежцев и у англичан. Я даже уверен, что они есть и у вас. Ведь тот, кто сочиняет песни, тоже поэт. А песни у вас есть, не правда ли?

— Песни-то есть, но в них мало слов,— вздохнул Кагот.

— А разве в вашем языке нет похожего на то, что я читал вам из Пушкина, Блока? — спросил Першин.

— Может быть, и есть,— неуверенно ответил Кагот,— но это шаманские заклинания, и они исходят не от человека, а от Внешних сил.

— Как это? — не понял Першин.

— Внешние силы как бы тоже говорят человеческими словами, но через избранного, через шамана,— объяснил Кагот.

— Значит, шаман и есть поэт! — весело заключил Першин.

Кагот покачал головой. По учителю выходит, что и он, Кагот, тоже является поэтом, как те тангитаны, которые сложили слова про зимнюю дорогу или про звезды, но Кагот сомневался в этом.

Внешне в яранге ничего не изменилось. На прежнем месте висел гостевой полог, свидетельствуя о том, что мечты хозяйки заполучить мужчину в большой полог пока остались неосуществленными. Это несколько озадачило Кагота, который до встречи с членами экспедиции Амундсена и до приезда Першина видел в мужчинах-тангитанах людей, весьма жадных до женщин, не брезгующих часто и старухами. Может быть, эти мужчины как-то иначе устроены? Но телесное уст-

ройство членов экспедиции Амундсена ничем существенным не отличалось от его, Кагота, точно так же как и Першина, которого он видел голым в корабельной бане. Странные люди... И не похоже, чтобы брезговали. Наоборот, в кают-компании часто слышались слова похвал и Каляне, и жене Амоса Чейвынэ, и особенно юной Умкэнеу. Должно быть, эти тангитаны принадлежали к роду особо стеснительных или очень преданных своим женам.

— Жена у вас есть? — спросил Кагот.

— Не успел я жениться, — почему-то с виноватой улыбкой ответил Першин.

— А собираетесь?

— Когда-нибудь придется...

— Здесь будете жениться или у себя в Петрограде?

— Это уж как судьба решит...

— Это верно, — вздохнул Кагот и засобирался. — Ну, я пойду: мне еще надо соседей навестить.

Возле яранги Амоса катались на санках Эрмэн и Илкэй. Детишки кинулись на гостя с криком:

— Дядя Кагот! Дядя Кагот! Ты принес нам тангитанские сладости?

— Принес, принес! — весело ответил Кагот, чувствуя себя благодетелем, человеком, приносящим радость не только взрослым, но и детям. Он уже привык к своему новому положению. В становище каждый приход Кагота означал пополнение оскудевших запасов муки, чая и сахара, которые хотя и считались лакомством и не определяли главного содержания питания, но, однако, без этих продуктов жизнь уже казалась пресной.

Амос чинил нарту, пристроившись у ярко горящего костра. Чейвынэ занималась исконно женским делом — с помощью каменного скребка, насаженного на деревянную ручку, очищала нерпичью шкуру.

— Амын етти! — приветствовал гостя Амос. — Какие новости?

— Новостей особых нет, — степенно ответил Кагот, присаживаясь на китовый позвонк и развязывая мешок с подарками. — Вот кое-что принес вам и ребятишкам. Он подал мальчику и девочке по конфете, а остальное Чейвынэ. — Счету меня начали обучать.

— Счету? — переспросил Амос. — Для чего это?

— Ну, для того, чтобы знать число вещей.

— Много вещей у тебя завелось?

— Не так чтобы много, но кое-что есть, — ответил Кагот. — Но счет не для этого.

— Ты говорил, что тангитаны все меряют, — сказал Амос. — Им это для чего-то надо. А тебе зачем? Тоже мерить будешь?

— Может, и придется, — туманно ответил Кагот. — А разве русский учитель не учит счету?

— Вроде бы учит, — вспомнил Амос. — Но это так, баловство и развлечение для детей.

— У меня это серьезно, — сказал Кагот. — И чувствую, что за этим большое дело...

— Может быть, и так, — кивнул Амос, отодвигая в сторону нарту. — Чейвынэ, уж коли свежий чай появился, давай-ка попьем.

За чаем разговор продолжался. Амос рассказал о подвижках льда на границе припая и дрейфующих ледовых полей и снова вернулся к делам в становище.

— Все хорошо было бы с этим учителем, но странный он человек, — заметил Амос.

— Да, — кивнул Кагот, — я это тоже почувал: он так и спит в гостевом пологе, не переселился в большой.

— Но главное в другом: он все время маниг.

— Куда маниг? — заинтересовался Кагот.

— В будущее, — многозначительно ответил Амос. — О чем бы ни зашел разговор, он все переводит на будущее. Будто только-только

началась жизнь и все самое главное, самое интересное, самое красивое — впереди!

— Это интересно...

— И будто это новое начало жизни совсем рядом. Как только уйдут льды, сюда приплывет большой пароход...

— Я слышал от проезжающих, возле мыса Сердце-Камень во льдах зимует какой-то пароход...

— Не тот.— махнул рукой Амос.— Придет большой пароход, на котором привезут деревянные яранги для школы, больницы, для ловли слов...

— Для ловли слов?— переспросил Кагот и догадался:— А, это радио! Амундсен послал своих в Ново-Мариинск, что в устье реки Анадырь, чтобы через тамошнюю станцию отправить новости на родину. Вот только нам-то зачем такая станция? Кому мы будем так далеко отправлять новости?

— Першин говорит, что таким путем сюда скорее дойдет ленинское слово.

— Ленинское слово?— с удивлением спросил Кагот.— Неужто у него и для нашей дали есть слова?

— Першин говорит,— продолжил Амос,— что Ленин совсем простой человек, вроде нас с тобой.

— С виду-то он, может быть, и вправду похож на простого человека, но главное — какая сила у него внутри,— со значением проговорил Кагот.— Уговорить бедных людей — это непросто,— задумчиво продолжал он, мысленно представив толпу оборванных, невеселых людей, а на некотором возвышении Ленина, который обращается к ним со своим словом.

— Но уговорил же! Солнечного владыку скинул! — сказал Амос.

— И в наши края своих людей послал,— добавил Кагот.

— Интересно, конечно, каково-то все будет на самом деле,— задумчиво проговорил Амос.— Скажу тебе, Кагот, по мне, чем чуднее и неожиданнее, тем лучше!

— Это почему?

— Потому что злые духи — кэльэт — совсем запутаются и не найдут меня. Нынче я чувствую в себе большую силу, много больше, чем до той поры, когда тонул. Признаюсь тебе, Кагот, зачал я дитя... Вот как!— Он скосил глаза на усердно работающую Чейвынэ.— Чейвынэ!— окликнул он жену.— Отдай-ка Каготу пару свежих нерпичьих печенок! Пусть угостит тангитанов на корабле! Першину тоже нравятся печенка. Но больше мороженая, сырая. Умкэнеу повадилась ходить к нему и толочь для него печенку. Совсем сдурила девка, прямо льнет к нему, проходу не дает.

— Созрела, наверное,— высказал догадку Кагот.

— Так ведь тангитан не берет ее,— заметил Амос.— Непонятно: и Калянэ не взял и от Умкэнеу отворачивается...

В яранге у Гаймисина у костра сидела Умкэнеу и толкла в каменной ступе.

— Кыкэ вай, Кагот! — обрадованно воскликнула она и крикнула в полог: — Кагот пришел!

— Тангитану толчешь? — Кагот кивнул на ступу.

— Ему,— вызывающе ответила Умкэнеу. Ей было жарко, и она сняла один рукав мехового кэркэра, обнажив вполне сформировавшуюся смуглую грудь с темным, почти черным сосочком.

Из полога высунулся сначала Гаймисин, за ним показалась и его жена Тутына.

— Какие новости на корабле? — спросил слепой.

Он внимательно выслушал то, что Кагот уже рассказывал сначала в яранге у Калянэ, затем у Амоса. На сообщение об обучении счету Гаймисин заметил:

— Любят они считать... Это у них, видно, в крови.

— Мы тоже счету учимся! — встряла в разговор Умкэнеу.

Видать, в этой яранге строгий обычай, предписывающий женщине не вмешиваться в разговор мужчин, не соблюдаясь. Умкэнеу держала себя так, будто она взрослый человек, хозяйка.

— Одно дело, когда этому детей учат, совсем другое — взрослого мужчину, — заметил с оттенком недовольства Гаймисин и проворчал: — Совсем распустилась девка. Учение не идет ей впрок, только портит.

— А учитель говорит, что я способная, — возразила Умкэнеу, лукаво улыбаясь Каготу. — Когда приедут настоящие учителя, они быстро меня всему научат и пошлют в большое селение.

— В Уэлен? — спросил Кагот.

— Дальше!

— В Ново-Мариинск?

— В Петроград!

— Слыхал? — кивнул в сторону дочери Гаймисин. — В Петроград собралась. А вести себя в мужском обществе не научилась. Все огрызается, как собачонка.

— Так у нас же равноправие! — напомнила Умкэнеу.

— Даже если оно, это самое равноправие, и есть, — строго заметил Гаймисин, — то это не для детей.

— Ну сколько можно твердить: не дитя я уже, — устало проговорила Умкэнеу. — Вот скоро замуж выйду!

— За кого же ты собралась замуж? — спросил Гаймисин.

— Это мое дело — за кого, — загадочно ответила Умкэнеу.

— Ты это брось! — крикнул Гаймисин. На его слепом лице отразился настоящий гнев. — На учителя поглядываешь, смущаешь его. Разве такое может быть, чтобы чукотская девка за тангитана замуж выходила?

— У нас теперь равноправие не только между мужчинами и женщинами, но и между тангитанами и чукчами! Так сказал учитель Алексей. И это он не сам выдумал, а услышал от Ленина, вождя большевиков и бедных людей.

Умкэнеу это сказала громко, на весь чоттагин.

— Какие слова научилась выговаривать, язык можно сломать, — простонал Гаймисин. — Человек послан на важное дело, а ты его сбиваешь с толку.

Весело посмеиваясь и нисколько не боясь своего слепого отца, Умкэнеу заварила свежий чай и разлила по чашкам.

Тутына откусила крохотный кусочек сахара и языком затолкала его подальше в рот.

— Благодаря тебе эту зиму только и делаем что пьем сладкий да крепкий чай. — В голосе женщины слышалась искренняя признательность. — Бывало, поьем с месяц, пока лето, а потом всю зиму только воспоминанием и живем, пока кто-нибудь не проедет в сторону Колымы. К весне начисто забывали и вкус сахара, и запах настоящего табака...

— С печалью иногда думаю, что скоро хорошие времена кончатся и тангитаны вместе с кораблем уплывут в другие края, — вздохнул Гаймисин.

— На вершину Земли, — напомнил Кагот.

— Было бы в моих силах, задержал бы их у нас, вморозил бы навечно их корабль у нашего берега, — мечтательно проговорил Гаймисин. — Чем им у нас плохо? Тут хоть люди есть да охота хорошая. А что там будет, на вершине Земли? Может, ничего там такого интересного нет. А мы останемся опять без тангитанов, без чая, без сахара да без хорошего табака...

— Першин тут останется, — напомнила Умкэнеу.

— А что толку от твоего Першина, кроме разговоров да мечтаний о будущем? — махнул рукой Гаймисин. — Похоже, у твоих большевиков у самих ничего нет.

— Учение о справедливости у них,— возразила Умкэнеу.— Что-бы всего было поровну у людей.

— Знаешь, дочка, все эти разговоры о равенстве — ерунда! Никогда не будет, чтобы люди жили одинаково. Такая уж природа людская. Один довольствуется двумя ребрышками от нерпы, а другому подавай всю грудинку — и то сыт не будет, иной с одной женой живет, а скажем, оленному человеку можно и двух и трех жен иметь, смотря какое у него стадо...

--- При новой власти таких богатых оленных людей не будет! — твердо заявила Умкэнеу.

Снаружи яранги послышался собачий лай. В чоттагин вбежал запыхавшийся Амосов сынишка Эрмэн и объявил:

— С восточной стороны идут собачьи упряжки! Гости едут!

— Вот тебе и новости без всякой мачты и сети для ловли детских слов,— весело сказал Гаймисин и принялся одеваться.

22

Встречающие гадали вслух, кто бы это мог быть. Скорее всего кто-то из людей Кибизова, объезжающего побережье по поручению торгового дома братьев Караевых, которые представляли русскую фирму и пытались противопоставить русские товары американским. Обычно Кибизов ездил на нескольких упряжках, и сейчас еще издали было заметно, что идут по меньшей мере две нарты. Однако по мере приближения упряжек предположение о Кибизове отпадало: на нартах были свои, чукчи. Солнце, стоявшее низко над горизонтом, освещало приближающихся путников сбоку, длинные тени мешали как следует рассмотреть и узнать людей.

Глубоко спрятанные за меховой росомашьей оторочкой лица, заиндевелые усы, брови сразу же насторожили Кагота.

Собаки медленно подошли к яранге и, услышав протяжное, успокаивающее, сулящее долгий отдых и обильную кормежку «гэ-э-э-э», остановились и тут же легли на снег.

— Амын еттык! — первым подал голос Амос.

— Ии,— ответил первый каюр, легко спрыгнувший с нарты, и Кагот по голосу узнал шамана Таапа, друга ушедшего из жизни великого шамана Амоса.

Таап медленно подошел к застывшему от неожиданности Каготу и тихо сказал:

— Ну вот мы и встретились... Долго мы тебя искали, уже не думали найти.

Второй человек тоже был знаком Каготу. Это был Нутэн, племянник Таапа, дальний родич Амоса. Если проследить все родовые связи и покойного Амоса и Таапа, то Кагот тоже через свою умершую жену приходился родичем молодому Нутэну.

Гаймисин, прислушивавшийся к разговору, спросил:

— Откуда держите путь? И далеко ли?

— Инакульские мы,— ответил Таап.— Похоже, мы достигли цели, нашли заблудшего брата.

— Кого же вы искали? — продолжал слепой.

— Кагота искали,— ответил Таап.

— Ну вот вы и нашли его,— широко улыбнулся Гаймисин.— Ничего с ним худого не произошло. И мы его полюбили.

— Что же это мы на морозе разговариваем! — захопотал Амос.— Входите в ярангу, обогревайтесь. Разговоры потом.

Гости вошли в чоттагин, к живому огню костра, а Амос и Кагот согласно обычаю занялись собаками. Они выпрягли усталых псов из нарт, отвели на место стоянки, привязав их на длинную цепь. Нарты, освободив от груза, закатали на крышу яранги.

Таап и Нутэн, сняв задубевшие от мороза камлейки, наслаждались горячим чаем в ожидании свежего мяса. Тутына и Чейвынэ выворачивали наизнанку обувь путников, чтобы хорошенько ее просушить.

Из яранги Каляны пришел Першин. Поздоровавшись с гостями, он поинтересовался, нет ли ему почты.

— В Уэлене новые власти хотели нам дать бумажный сверток, но мы не взяли,— сказал Таап.— Непривычны мы возить такое.

— Очень жаль,— с огорчением произнес Першин.— А как там мои товарищи? Как ревком работает?

— Мы с тангитанами не общаемся,— сухо ответил Таап.

Закончив дела с устройством собак и накормив их копальхеном, Амос и Кагот вошли в чоттагин.

Першин все же не терял надежды узнать что-нибудь о деятельности своих товарищей и попытывался:

— Но вы хоть слышали о советской власти?

— Может быть, она и есть, эта власть,— медленно ответил Таап,— но нам она ни к чему.

— Как так? Это почему же? — возмутился Першин.

— Откуда он у вас взялся? — показывая всем видом пренебрежение к вопросам учителя, спросил Таап.

— Посланец новой власти,— неуверенно ответил Амос.— В начале зимы прибыл из Ново-Мариинска с товарищем. Тот дальше уехал, а этот остался...

— А что он тут делает?

— Учит грамоте, счету...

— А еще?

— Еще толкует о будущем. Сулит другую жизнь.

— И вы верите?

— Слушаем,— беспомощно улыбнулся Амос.

— Очень интересные вещи рассказывает! — включился в разговор Гаймисин.— Не всему, конечно, можно верить, но интересно!

Першин был в некоторой растерянности, не зная, как ему поступить. Эти приезжие явно невзлюбили его с первого взгляда. Кто же они такие? Он посмотрел на Кагота и поразился перемене, происшедшей в нем. Еще час назад это был уверенный, спокойный мужчина, а сейчас — испуганный, как бы неожиданно потерявший себя человек.

— Мы проделали большой путь по чукотской земле,— сказал Таап.— Всякое мы видели, разных людей встречали, попадали в непогоду, но главная наша цель была — найти заблудшего брата.

И он пристально, без улыбки посмотрел на Кагота.

Таап и его племянник принадлежали к той разветвленной, смешанной семье чукчей и эскимосов, которая расселилась по окрестным селениям вокруг Инакуля. Некоторые родичи даже перебрались через Берингов пролив на остров Святого Лаврентия. Жизнь незримо управлялась небольшой группой, в которую входили покойный Амос, Таап и куда должен был войти Кагот, если б не убежал из селения.

— Отдохнем несколько дней и отправимся в обратный путь,— сказал Таап.— Дорога долгая, и нам надо добраться домой, пока не тронутся реки и не начнут таять снега.

— Значит, и Кагот отправляется вместе с вами? — спросил Гаймисин.

— Да,— ответил Таап.

— Очень жаль,— вздохнул Гаймисин.— Он нам очень понравился. Да и одна здешняя женщина пока безмужняя.

— У нас своих женщин хватает,— усмехнулся Таап.

— Чаю не будет и сахару,— продолжал вздыхать слепой.

Таап не понял, почему с отъездом Кагота этих тангитанских продуктов станет меньше, но не стал спрашивать. Главная цель многоме-

сячного путешествия достигнута — беглец найден и будет доставлен домой. Там ему будет предложен выбор — или он возвращается к тому образу жизни, который ему предназначен свыше, или же уходит из жизни. Но кто в молодые годы вот так, добровольно захочет расстаться с жизнью? Таап встретился глазами с Каготом и только теперь улыбнулся.

Внешне Кагот не выглядел изнуренным. Должно быть, здесь он хорошо отдохнул и подкормился. Вдали от места грустных событий он, видимо, успокоился.

— А где твоя дочка, Кагот? — спросил Таап.

— Она в соседней яранге. — Кагот поднялся с места. — Я пойду к ней.

— Ты приведи ее сюда, — сказал Таап. — Она все же мне родственница.

Кагот вышел. Следом за ним Першин.

— Ты знаешь их? Кто они такие?

Кагот испуганно оглянулся на вход в ярангу, словно опасаясь погони.

— Это шаман Таап и его племянник... Они пришли за мной... Надо уходить, надо убежать!

Кагот и вправду побежал в ярангу Каляны. Першин едва поспевал за ним. Вбежав в чоттагин, Кагот схватил дочку и понесся вниз, к морю, к хорошо видимому с высокого берега кораблю.

Першин некоторое время шел за ним, но потом остановился и долго следил за бегущим человеком с ребенком на руках, пока не убедился в том, что Кагот благополучно добрался до корабля и поднялся на борт.

А тем временем в яранге продолжался разговор.

— Что за корабль стоит у ваших берегов? — спросил Таап. — Это не тех ли, что толкуют о новой жизни?

— Нет, это другие тангитаны, — ответил Амос. — Норвежские люди. Они плывут к самой вершине Земли и дожидаются весны, чтобы с дрейфующими льдами двинуться дальше.

— Иной раз просто диву даешься, сколько сумасшедших среди тангитанов, — заметил Таап.

— Говорят, что они успели побывать в противоположном конце земли, — добавил Гаймисин, — прямо под нашими ногами.

— Много чудного рассказывает про них Кагот, — сказал Амос.

— Да, Кагот в молодости плавал на тангитанском корабле и бывал на их земле, — подтвердил Таап.

— Кагот и нынче у них работает и на корабле живет, — сообщил Амос. — Варит им пищу, убирает в каютах. Хорошо за это платят, дают муку, чай, сахар, табак. И нам перепадает.

— Что ты говоришь! — Таап вскочил на ноги и крикнул товарищу: — Идем!

В яранге Каляны в чоттагине сидел один Першин.

— Где Кагот? — спросил Таап.

Першин спокойно ответил:

— Ушел на корабль.

— А дочка его?

— И дочку свою забрал...

Таап подозрительно посмотрел на учителя и спросил:

— А откуда ты так хорошо говоришь по-нашему?

— Выучился.

Таап внимательно оглядел чоттагин и двинулся к пологу, приподнял меховой занавес и, заглянув внутрь, в теплую темень спального помещения, со злобой сплюнул на пол.

Таап и Нутэн спустились на лед и зашагали мимо собачника и магнитной обсерватории. Таап был не на шутку разгневан бегством

Кагота. Он ожидал увидеть немощного, ослабевшего умственно от переживаний человека, которого легко уговорить вернуться или же просто силой увезти домой. Вместо этого перед ним предстал нормальный, даже процветающий человек, похоже не только не нуждающийся в старых своих родичах, но и не желающий иметь с ними ничего общего. Таап был ненамного старше Кагота, но он давно постиг извечные племенные обычаи, которые часто оказывались жестокими. Иначе не выжить, иначе не поставить под свою власть упирающегося, пытающегося самостоятельно думать человека, тем более теперь, когда на побережье жизнь вовсе пошла наперекосяк, когда появились большевики со своими идеями новой жизни. Эти идеи еще совсем недавно казались такими же несбыточными, как мечта о не замерзающем море, кишасщем разнообразным зверьем. Расстояние от идеи всеобщей, справедливой жизни до действительности было не меньшим, чем от земной поверхности до луны. Во всяком случае, оно казалось таким. И вдруг нашлись люди, которые объявили, что до луны рукой подать, что ключ к справедливой жизни в твоих собственных руках. Все это только сбивает с толку бедных людей.

По мере приближения к кораблю решимость Таапа понемногу слабела. Кто его знает, может, Кагот набрался у тангитанов какой-нибудь такой премудрости, которая окажется сильнее шаманской?

Крепко вмерзший в лед корабль не выглядел попавшим в беду. Большая часть палубы была накрыта толстым плотным брезентом. На заиндевелых мачтах, на такелаже висели замороженные олени тушки и белые тушки полярных куропаток. Из большой трубы шел черный, резко пахнущий дым. Таап знал, что так пахнет горючий камень тангитанов, дающий сильный и устойчивый жар.

Широкий деревянный трап спускался с борта корабля на лед. На палубе стоял человек в меховой кухлянке и смотрел на приближающихся. Когда Таап и Нутэн достигли корабля, человек на палубе сделал предостерегающий жест.

— Нам нужен Кагот! — крикнул Таап.

Тангитан отрицательно покачал головой и жестами дал знать, что пришельцам рекомендуется повернуть обратно.

— Кагот! Кагот! — повторил Таап и сделал шаг на нижнюю ступеньку трапа.

На палубе появился второй тангитан. Из-под низко надвинутого капюшона выглядывал большой нос. Человек был с винчестером. Однако он не стал угрожать ружьем, а только достаточно громко и властно крикнул:

— Назад!

Таап понял значение окрика и отступил от трапа.

Большеносый начал что-то говорить. Говорил он долго и очень решительно.

Таап выслушал речь тангитана с таким вниманием, словно понимал каждое слово. По беспрекословному тону он догадался, что ему не дадут подняться на борт и увести Кагота. Надо действовать иначе.

— Пошли отсюда, — сказал он Нутэну и зашагал прочь от корабля не оглядываясь.

Нутэн шел сзади. Вдруг он сказал:

— Таап, гляди, что там?

— Что? — встревоженно спросил Таап.

— Вон там, над ярангой.

Таап присмотрелся и увидел над крайней ярангой ярко горящий при свете заходящего зимнего солнца красный флаг.

К удивлению Кагота, Аймана нисколько не испугалась ни новых людей, ни большого цинкового корыта, наполненного теплой мыльной водой. Сундбек и Ренне, оба в клеенчатых фартуках, бережно раз-

дели девочку и посадили в воду. Айнана сначала судорожно замолкла, умоляюще посмотрела на отца, но в следующую секунду улыбнулась и разразилась звонким, рассыпчатым смехом, словно по мерзлому руслу затекли осколки прозрачного речного льда.

— Ну и молодец! — воскликнул Сундбек. — Такое впечатление, что мыло и мочалка ей давно знакомы.

Изобретательный Сундбек ухитрился найти какие-то куски чистой цветастой ткани, которые на первое время заменили платье для девочки.

— Я ей мигом сошью полный туалет, — обещал он.

Сундбек, кроме того, что был прекрасный механик, слесарь, токарь и чеканщик по меди, еще отлично шил. В его мастерской стояла шингеровская швейная машинка, вызвавшая в свое время огромное любопытство Кагота.

Молочную кашу взялся сварить сам Амундсен, почему-то не доверив это дело отцу.

Помешивая большой ложкой густеющее варево, начальник экспедиции спросил Кагота:

— А чем вам угрожают земляки?

— Они могут меня убить, если я вернусь в Инакуль.

— Почему?

— Такова судьба отступника. Того, кто решает оставить шаманское призвание, ждет смерть от руки его товарищей.

— А вам не хочется возвращаться ни к шаманству, ни в Инакуль?

— Нет.

— Вы больше не верите в существование духов?

Кагот вздохнул.

— Нет, я верю... Но не так, как раньше. Раньше у меня не было сомнений, и я точно следовал тому, что мне говорили покойный Амос и другие шаманы. Верил даже тому, чего не было на самом деле, соглашаясь, что так надо для блага людей. Но потом пришли сомнения... А вера пошатнулась, когда я не смог спасти жену.

— А что за болезнь у нее была?

— Красная... Все тело было покрыто краснотой, и она не могла смотреть на яркий свет.

— По симптомам похоже на корь...

Амундсен в молодости изучал медицину и, даже покинув университет, не утратил к ней интереса.

— И как вы лечили ее?

— От тех болезней, которые привозят рэккэны, лекарств нет, — ответил Кагот. — Единственная надежда на милость богов. И я просил их, умолял, но они остались глухими к моим мольбам и взяли Вааль к себе...

— Я вам очень сочувствую, Кагот... Но у вас осталась дочь.

— Я бы хотел для нее настоящей счастливой жизни. — с надеждой произнес Кагот. — Ей все здесь так нравится: и мыться, и деревянная яранга, и музыка.

По случаю прибытия Айнаны на борт, к удовольствию девочки, завели виктролу, музыка слышалась и на камбузе. Недостатка в няньках не было, каждый старался чем-нибудь развлечь ребенка. Нашлись даже кое-какие детские игрушки, неведомым образом попавшие на экспедиционный корабль. Плюшевый медвежонок и маленькая гуттаперчевая куколка в платице очень заинтересовали Айнану.

Амундсен снял с плиты кастрюлю, попробовал кашу и с удовлетворением произнес:

— По-моему, в самый раз.

— Ей нравится тангитанская еда, — улыбнулся Кагот, переполненный благодарностью к этим, в общем-то, чужим ему людям, проявившим такую заботу о его дочери.

Перед обедом на корабль явился Першин.

— Очень хорошо, что вы пришли,— сказал Амундсен.— Мне нужно с вами как с представителем законной власти посоветоваться относительно Кагота и его дочери. Вам, должно быть, известно, что для них в связи с приездом земляков возникла серьезная угроза...

— Да, я это знаю,— ответил Першин.

— Сложность заключается в том,— заметил Амундсен,— что и вы и я вмешиваемся в тот уклад жизни, который существовал здесь испокон веков, как бы идем против законов, которые издавна регулировали их жизнь.

— Ничего не поделаешь,— пожал плечами Першин.— Пришло такое время: хочешь не хочешь, а придется вмешиваться. Для меня совершенно ясно: люди, которые приехали за Каготом, это враги новой жизни!

— А если они по-своему правы? — осторожно спросил Амундсен.— Ведь за их действиями стоят многовековой опыт, тысячелетние традиции. Свое отношение к Каготу они изобрели не вчера. Вот в чем сложность и трудность. Откровенно говоря, я вам завидую...

— В чем?

— В том, что для вас все так просто...

— Вы меня не так поняли.— после недолгого раздумья произнес Першин.— К такому отношению к прошлому мы шли долго и нелегко. И если мы уж решили покончить с ним, избавить человека от связывающих его пут, которые вы называете многовековым опытом и тысячелетними традициями, то нас уже ничто не остановит.

— Меня удивляют ваши решимость и уверенность,— после некоторого раздумья произнес Амундсен.

— Мои решимость и уверенность основаны на том, что это историческая неизбежность, которая доказана создателями научного социализма Марксом и Энгельсом и подтверждена опытом нашей революции, ее вождем Лениным.— Голос Першина прозвучал торжественно.

Слушая его, Амундсен кивал и, когда тот кончил, сказал:

— К сожалению, у меня не было времени подробнее ознакомиться с их учением. Лишь порой приходила мысль: как это в недрах немецкого общества, столь приверженного к законопочитанию и порядку, могло родиться такое революционное учение, которое, похоже, совершенно изменило исторический путь России?

— Я возьму на себя смелость заметить,— сказал Першин,— что революция в России окажет такое влияние на мировую историю, какого мы сейчас не можем предсказать. На историческую арену вышла новая огромная сила, сила трудового народа.

Амундсен смотрел на молодого русского и испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, трудно было противостоять логике и убедительности его рассуждений, но с другой — нелегко и примириться с тем, что многое, казавшееся еще вчера незыблемым, устоявшимся, оказывается весьма сомнительным. Вопрос, который встал с первого дня отплытия из Норвегии — каким будет мир, когда экспедиция возвратится в цивилизованные страны? — приобретал новую остроту. И рядом с грандиозностью целей, во имя которых здесь находился этот русский революционер, своя собственная — покорение Северо-Восточного прохода и достижение Северного полюса — порой начинала казаться не такой значительной.

Сделав над собой усилие, чтобы побороть рождающееся чувство, похожее на зависть, Амундсен сказал:

— Если вы не возражаете, Кагот пока останется на «Мод» под охраной и защитой норвежского флага.

— Я буду весьма признателен вам за это,— с достоинством ответил Першин.— Мы могли бы постоять за него и под защитой нашего красного флага, но в данной ситуации будет лучше, если Кагот будет у вас.

Проводив гостя, Амундсен заглянул к Каготу и нашел его играющим с девочкой. Айнана совершенно преобразилась. Коротко подстриженная, чисто вымытая душистым мылом, облаченная в наскоро перешитую мужскую рубашку Сундбека, она светилась довольством и счастьем, не подозревая о той опасности, которая грозила ей и отцу. Да и сам Кагот был удивлен тем, что девочка приняла окружение незнакомых лиц так, будто всю жизнь провела среди этих бородатых и светлолицых людей.

Айнана потянулась ручонками навстречу Амундсену, заставив его почувствовать какое-то странное, незнакомое тепло в груди.

— Да она прелесть! — произнес начальник. — Какая ты красивая, Айнана!

— Она очень похожа на свою мать, — сказал Кагот.

Айнана сразу же стала всеобщей любимицей. Буквально за два дня общими усилиями ей были сшиты платице, обувь и шубка из мягкого пыжика. Каждый член экспедиции считал для себя величайшим удовольствием погулять с девочкой по палубе, уложить ее спать. Купали ее каждый вечер, и эта процедура проводилась членами экспедиции по очереди.

Сундбек в этих хлопотах совершенно позабыл об уроках, которые должен был давать Каготу, и поначалу удивился, когда тот спросил:

— А когда будем учиться?

Кагот откровенно предпочитал уроки, связанные с числами, тем, на которых Олонкин безуспешно пытался привить ему начатки грамоты. Премудрость соединения звука и знака оказалась непостижимой для Кагота. И наоборот, манипуляции с числами, разного рода арифметические действия целиком захватили его. Он готов был заниматься вычислениями бесконечно. Эти действия доставляли ему странное наслаждение, рождали ощущение причастности к какой-то неведомой силе, прикосновения к подлинному могуществу. Кагот надеялся, что где-то в недрах больших чисел таится разгадка многих явлений, может быть, сокровенных тайн бытия, того, например, как Внешние силы связаны с живущими на земле людьми.

Толстая тетрадь, которую ему дали, ранее предназначавшаяся для записи наблюдений над магнитным полем Земли, заполнялась колонками и рядами цифр, какими-то дополнительными значками, понятными только ему.

Заглянув как-то в его тетрадь, Ренне сказал с нескрываемым удивлением:

— Похоже, что Кагот всерьез увлекся математикой.

Слегка нарушенный появлением Айнаны твердый корабельный распорядок быстро вошел в свою колею, и вечерами, после того как была вымыта посуда, искупана и уложена Айнана, в кают-компании возобновлялись уроки. Наскоро покончив с попытками овладеть тайной букв, Кагот со вздохом облегчения закрывал тетрадь для письменных работ и открывал другую, для чисел.

Сундбек, увидев странное большое число, неведомым образом появившееся на новой странице тетради, с удивлением спросил:

— Что это?

— Число. — Кагот смущенно опустил глаза.

— Откуда оно появилось?

— Я взял число ног и рук всех людей, которых я когда-либо знал, — принялся объяснять Кагот, — прибавил к ним все лапы экспедиционных и наших собак, а потом вообразил, что это число в два раза больше, чем на самом деле, и вот получилось это... Мне и не произнести его, это число...

— В самом деле, — пробормотал Сундбек. — Какая-то чертовщина получается.

— Я могу стереть, — с готовностью предложил Кагот.

— Зачем? — возразил Сундбек. — Пусть стоит... Только я вам ска-

жу, Кагот, что и это число можно уловить, а то и утратить.

— Да? — с загоревшимися глазами переспросил Кагот. — Разве это можно?

— Можно.

— И ничего не случится?

— А что может случиться? — пожал плечами Сундбек.

— Но ведь это не просто так, — задумчиво произнес Кагот. — Может получиться огромное, невообразимое число!

— Знаете, Кагот, — заговорил Сундбек посерьезневшим голосом, — вы несколько забегаете вперед. Понятие о бесконечности мы рассмотрим в свое время, а сейчас главная наша цель — научиться складывать, вычитать, делить и умножать целые числа. А потом перейдем к дробям...

— А это что такое — дробь?

— Части целых чисел.

— Как же это? — растерянно пробормотал Кагот. — Части ног? Части рук?

— Ну это потом, — улыбнулся Сундбек и решительно добавил: — Пока мы будем заниматься целыми числами.

Кагот в этот вечер послушно складывал, вычитал числа, умножал на два, даже на три, однако проницательный Сундбек, заметив его странное состояние, спросил:

— Вы чем-то обеспокоены, Кагот?

— Да нет, — ответил Кагот.

— Может быть, вы утомились? Тогда давайте сегодня больше не будем заниматься.

— Хорошо, больше не будем...

Кагот убрал тетрадь и ушел к себе.

Когда за ним закрылась дверь, Амундсен озабоченно заметил:

— Ему, видно, сейчас не до учения.

— Со стороны трудно вообразить, что в недрах их примитивного общества могут бушевать такие страсти, — заметил Ренне.

— Это говорит о том, что мы столкнулись с далеко не примитивным обществом, — сказал Амундсен. — Нет большей ошибки, чем считать арктические народы примитивными, упрощать их духовную и общественную жизнь. Я не могу отделаться от мысли, что, отказывая сородичам Кагота в их требованиях, я грубо нарушаю какие-то очень важные внутриплеменные установления.

— Вы думаете, что было бы правильнее отдать его в руки приехавших за ним шаманов? — спросил Олонкин.

— Нет, и это не было бы решением, — пожал плечами Амундсен. — Посмотрим, что будет дальше. Единственное, что пока могу сказать: за многие годы своих арктических путешествий я никогда не оказывался вовлеченным в такие дела. Самое удивительное, что Алексей Першин, может быть, окажется прав: русская революция так или иначе скажется не только на течении мировой истории, но даже на наших с вами судьбах.

— Во всяком случае, что касается Кагота, то на его жизни эта революция сказалась уже тем, что сохранила ему жизнь. Ведь в другое время бедного Кагота уже давно бы увезли и умертвили либо по дороге, либо в его родном стойбище, — заметил Ренне.

Пока шел этот разговор Кагот сидел в своей каюте у маленького откидного столика возле иллюминатора и рассматривал свои записи чисел. Он снова чувствовал странное волнение, посещавшее его в последние дни, когда он задумывался над великими множествами, которыми повелевал лишь с помощью кончика карандаша. Что можно сравнить с не охватываемыми разумом числами? Первое, что приходило в голову, звездное небо. Звезд, конечно, бесчисленное число, но при известном терпении и сноровке даже их можно сосчитать. Можно, наверно, сосчитать и комаров в летней тундре, когда они тучами

висят над пасущимися оленями. Число людей в мире, видимо, тоже достаточно велико, как можно заключить из разговоров в кают-компаний. Представление о великом множестве дают и рыбные косяки, и галька на обнажившемся от воды берегу моря, и песок, и падающие снежинки... И все же — какое оно, конечное число? Ведь есть же оно, это число! Не может быть, чтобы его не было, это вопреки разуму!

Это число, конечно, должно обладать магическими свойствами. Тот, кто его узнает, постигнет не просто число, а нечто большее, может быть, обретет особую силу, проницательность, мудрость, узнает источник человеческого счастья, высшую справедливость — словом, все, о чем мечтает человек.

Конечно, можно удаивать и утраивать любое число, об этом Кагот догадался. Однако магическое число, как он подозревал, состояло не в огромности выражения, а в конечности, завершенности самого процесса нарастания количества. Значит, для того чтобы найти это число, надо идти осторожно, шаг за шагом, прибавляя единицу за единицей, чтобы не упустить того мгновения, когда высветится это магическое число.

Кагот принялся писать. Он располагал числа в столбик, а чтобы сэкономить пространство, разделил страницу вертикальной линией и, закончив один столбик, рядом начал другой. Это была монотонная и изнурительная работа, но высокая цель светила где-то впереди. Время остановилось, перестало существовать. Отрешенность Кагота была столь велика, что он забыл, что рядом, на расстоянии вытянутой руки, лежит дочка, так похожая на его покойную жену. Он словно бы вознесся над всем этим, раздвинул деревянные стены корабельной каюты и улетел от берегов Чаунской губы гораздо дальше того, куда стремился начальник Норвежской полярной экспедиции великий путешественник Руал Амундсен...

Кагот очнулся, когда глаза перестали различать цифры и карандаш выпал из рук. Погасив свет, он не раздеваясь повалился на узкую корабельную койку и погрузился в сон с причудливыми волшебными сновидениями. Казалось, он видел это магическое число где-то далеко впереди, в ряду стоящих почему-то на берегу, на ледовом припае, чисел. Кагот бежал к светящемуся числу, стараясь догнать его, но оно все отдалялось от него, убегало, украшенное электрическими лампочками, зажженными Сундбеком. Кагот бежал и боялся, что магическое число упадет в холодную воду, погаснет и навсегда исчезнет. Он пытался кричать, чтобы не дали упасть этому числу, но оно все оставалось недосягаемым. Вдруг это число каким-то чудом зацепилось за вершину тороса, и сердце Кагота забилося от радости: еще несколько шагов — и он достанет его... Но тут кто-то схватил его за плечо, остановил бег, и... Кагот проснулся. Над ним стоял Амундсен.

— Кагот! Кагот! Уже половина восьмого!

Кагот вскочил, с ужасом сообразив, что проспал, оставил экипаж без завтрака. Он бросился на камбуз и облегченно вздохнул: плита топилась, в духовке стоял противень с подрумянившимися булочками, а в большой кастрюле доваривалась овсяная каша.

— Что с вами случилось, Кагот? Вы плохо спали? — участливо спросил Амундсен.

— Я поздно заснул...

— Зря волнуетесь, Кагот, — успокаивающе произнес Амундсен, — здесь, на корабле, вы и ваша дочь в полнейшей безопасности. Никто не смеет вас тронуть.

— Спасибо, господин начальник. — Кагот не знал, куда деваться от стыда. — Я не боюсь приезжих.

— Но они требуют, чтобы вы возвратились вместе с ними, — напомнил Амундсен.

— Они, наверное, еще не поняли, что я уже не тот Кагот, которого они помнят.

— Они хотят встретиться с вами и поговорить,— сказал Амундсен.— Может быть, действительно вам следует увидаться с ними? Пусть они услышат из ваших уст, что вы больше не хотите иметь дела с ними.

— Хорошо, я с ними встречусь,— кивнул Кагот.— Поговорю с ними.

Подавая завтрак, Кагот непрестанно думал о том, что во всяком другом месте, с другими тангитанами за сегодняшний проступок его сразу же выставили бы с корабля. Он вспомнил, как с ним обращались на «Белинде». Тогда он считал, что, наверное, не бывает другого обращения с чукчами со стороны тангитанов. Так случалось и на берегу, когда белые торговцы покрикивали на чукчей, открыто посмеивались над ними, передразнивали их повадки, речь. Глупое высокомерие и чванство, сильно ронявшее этих людей в глазах коренных обитателей ледовитого побережья, представлялось их племенным отличием. Но вот, оказывается, есть среди них совершенно нормальные люди с нормальным отношением к любому человеку как к своему собрату.

24

Сундбек и сам Амундсен с самым серьезным видом сказали Каготу, что поиски конечного большого числа — это абсурд. Но он не поверил им. Конечно, Кагот понимал, что его знания не идут ни в какое сравнение со знаниями тех, которые учились грамоте и счету долгие годы. Но почему-то ему казалось, что до них либо не дошел смысл магической силы конечного большого числа, либо они сознательно скрывают его. Может быть, именно знанием такого числа и объясняется удача этих людей, их удивительное умение мастерить и изобретать?

Все чаще Кагот боролся с желанием бросить дела, вернуться к тетради и писать, писать цифры, подкрадываясь к магическому числу.

После случая с завтраком Кагот постарался и приготовил хороший и разнообразный обед, и все за столом выразили вслух свое одобрение. Для маленькой Айнаны Сундбек соорудил специальный высокий стул. Он же выточил на токарном станке из моржовой кости крохотную ложечку, вилочку и украшенное резьбой кольцо для салфетки. Когда Айнана садилась за стол и ей подвязывали под подбородком цветную салфетку, у отца замирало сердце от любви и нежности. Самой Айнане казалось, что все эти бородатые, говорящие на незнакомом языке, шумные и большие люди играют с ней, и она вела себя соответственно, играя вместе с ними в долгую, многодневную игру, пыталась есть с помощью ложки и вилки, гуляла по заснеженной палубе, каталась на санках по специально положенной обледенелой доске рядом с трапом. День кончался мытьем в большом оцинкованном корыте.

Когда наступил очередной час урока, Кагот вдруг сказал Сундбеку:

— Может быть, не будем считать?

— Почему?

— Смысла не вижу.

— Да? — удивился Сундбек.

— Мы все складываем и вычитаем, решаем разные задачи, а до главного добраться никак не можем,— сказал Кагот.

— А что вы имеете в виду под этим главным? — спросил Сундбек.

— Самое большое конечное число,— тихо сказал Кагот.

Сундбек тяжело и глубоко вздохнул.

Все сидящие в кают-компании насторожились.

— Я уже вам говорил, Кагот, что самого большого конечного числа не существует...

— Но вы же сами в самом начале обучения говорили, что числа — это суть обозначения количества окружающих нас предметов,— на-

помнил Кагот.— А предметы имеют конечное число. Все имеет конец. Я подумал, что и комары когда-то кончаются, точно так же, если вы идете по песчаному берегу, песок где-то кончается — и вы упираетесь или в галку, или в валуны, или же в тундру. Шерсть на оленьей шкуре и даже звезды можно сосчитать, если взяться как следует.

— Вы уверены, Кагот, что звезды можно сосчитать? — с иронией спросил Амундсен.

— Можно, — решительно ответил Кагот.

— Интересно, — промолвил начальник экспедиции и оглядел своих товарищей.

— Мне кажется, — сказал Кагот, — это конечное большое число можно найти. Только надо иметь терпение...

И Кагот ушел к себе. Когда за ним закрылась дверь, Амундсен сказал:

— Он просто устал. Видимо, он плохо спит, опасается близкого соседства врагов.

— А может быть, он пишет числа? — высказал догадку Сундбек.

— Я сейчас посмотрю, — сказал Олонкин и, поднявшись со стула, на цыпочках пошел к двери каюты Кагота. Осторожно приоткрыв ее, он заглянул и увидел повара, склонившегося над тетрадь, разложенной под иллюминатором.

Кагот даже не шевельнулся, не повернул голову в сторону двери.

Вернувшись, Олонкин сказал:

— Пишет...

— Меня беспокоит его состояние, — встревоженно произнес Сундбек. — Может быть, действительно грамота и счет здешнему туземцу только во вред?

— Я читал в каком-то этнографическом сочинении, — заговорил Амундсен, — что люди, привыкшие к определенному укладу, насчитывающему тысячелетия, настолько сживаются с ним, что всякое нарушение равномерного течения жизни может болезненно отразиться на их психическом состоянии.

— Так вы хотите сказать, что учение не пошло на пользу Каготу? — спросил Сундбек.

— По-моему, делать такие выводы рано, — успокаивающе произнес Амундсен. — Ведь поначалу все шло хорошо.

— Думаю, что следует устроить перерыв в занятиях, — решил Сундбек. — У Кагота сейчас нелегкое время: родичи, приехавшие за ним, заботы о дочери... Пусть немного передохнет.

На следующее утро за завтраком Сундбек объявил Каготу, что занятия на некоторое время прекращаются. Повар с удивлением посмотрел на своего учителя.

— Почему?

— Так полагается, — бодро ответил Сундбек. — В таких умственных занятиях время от времени делают перерывы, которые называются каникулами.

— Для чего?

— Чтобы знания смогли глубоко проникнуть в сознание ученика, — ответил Сундбек.

Кагот молча кивнул в знак согласия, но весь его вид выражал недоверие.

Когда пришел вечер, Амундсен, чтобы развлечь Кагота, завел виктролу и устроил вечер танцев.

Кагот и Айнана хохотали до слез, наблюдая, как начальник, изображавший кавалера, пытался обхватить за талию рослого, плотного Сундбека. Олонкин крутил вокруг себя Ренне. Танганские танцы, конечно, не имели ничего общего с чукотскими и эскимосскими, но если присмотреться, то к ним вполне можно привыкнуть. Однако Каготу больше нравилось просто слушать музыку, особенно когда из широкого раструба виктролы слышался женский голос. В этом голосе

чувствовалась глубокая тоска. Почему-то большая часть песен, исполняемых женскими голосами, была печальной. Или так казалось Каготу?

Танцующие сменяли друг друга. Сундбек взял на руки Айнану и прошел с ней несколько кругов. Девочка смеялась от души и долго не соглашалась отправиться спать, пока ей не посулили дать подольше поплескаться в теплой воде.

После того как все члены экспедиции, утомленные танцами и вельселем, разошлись, Кагот убрался в кают-компанию, протер влажной тряпкой, насаженной на длинную палку, линолеум, сложил пластинки и, прежде чем спрятать в инкрустированный ящик виктролу, остановился в нерешительности.

На корабле царил тишина. Из каюты Амундсена слышалось мерное дыхание. Изредка с верхней палубы доносился скрип снега под ногами вахтенного. Кагот глубоко вздохнул. Может быть, больше никогда не представится такой удобный случай?..

Он осторожно вынул виктролу из столика и перенес ее на большой стол, под висячую лампу. Сходил на камбуз и принес оттуда отвертку.

Снять трубу не представило большого труда. Она легко отделилась от ящика и легла на стол. Так же легко поддался тяжелый металлический диск, на который ставились пластинки, сделанные из незнакомого легкого черного материала, не похожего ни на дерево, ни на металл. Снимая детали с музыкального ящика, Кагот запоминал, откуда они, и аккуратно складывал рядом.

Дальше предстояло забраться в святая святых музыкального ящика, в самую его сердцевину.

Слух у Кагота настолько обострился, что он слышал даже дыхание Ренне, спящего в самой отдаленной каюте. Внутри ящика иногда что-то звенело, словно там кто-то осторожно двигался, задевал за железные части. Кагот с замиранием сердца принялся отвинчивать винты, крепящие крышку. Они выходили легко, без напряжения. С каждым мгновением волнение Кагота усиливалось, начали дрожать руки. Один из винтиков странным образом прилип к отвертке, а потом отцепился и упал на линолеум. Пришлось лезть за ним под стол. В темноте откатившийся винтик пришлось искать на ощупь. Найдя его, Кагот вернулся к раскрытому музыкальному ящику. Со стен кают-компаний за ним следовала королевская чета. Кагот с опаской посмотрел на них. От мысли, что они вот-вот строго прикрикнут на него, его бросило в жар. Но норвежские эрмэчины¹ молча наблюдали за действиями Кагота и, похоже, не собирались вмешиваться.

Настала самая волнующая минута: снятие крышки. Кагот всерьез опасался, что стоит ему приподнять ее, как маленькие человечки — музыканты, певцы и певицы вырвутся на волю и разбегутся по кают-компанию. На всякий случай он встал из-за стола и проверил, хорошо ли закрыта дверь.

Но внутри ящика никаких человечков не оказалось! Вместо них — скопление каких-то колесиков с зубцами и толстая пружина, больше ничего! Разочарование было так велико, что Кагот не сдержал стога.

Медленно отворилась дверь каюты, и в проеме возникла высокая фигура начальника экспедиции.

— Почему вы не спите, Кагот?

Амундсен не сразу рассмотрел на столе растерзанный музыкальный ящик. Но когда он увидел его, на его лице отразилось изумление, смешанное с ужасом, и он неожиданно тихо спросил:

— Что вы наделали, Кагот?

— Я хотел найти внутри ящика человечков, — растерянно пробормотал Кагот.

¹ Эрмэчины — вожди.

— Но ведь вам не раз говорили, что никаких человечков внутри виктролы нет! — почти простонал Амундсен.

— Да, говорили, — грустно отозвался Кагот.

— Вы что, не верите тому, что мы говорим?

— Верю...

— Но я вижу доказательство вашего недоверия!

Голос у Амундсена зазвучал громче и тверже, но он все же сдерживал себя, помня, что в каютах спят товарищи, а совсем рядом — маленькая девочка.

— Я очень виноват, — вдруг быстро заговорил Кагот. — Но я ничего не мог с собой поделаться! Да, я и вправду верил, что внутри ящика нет человечков. Ну а вдруг? Вдруг там что-то есть такое, чего вы не заметили? Вот я и полез. Вы не беспокойтесь, я снова соберу ящик, ничего с ним не случится, раз он неживой... Вы меня поймете, должны понять... Это тянуло меня так, что я готов был связать себе руки... Это все равно как для вас Северный полюс.

— Что вы сказали, Кагот? — удивленно спросил Амундсен.

— Как Северный полюс, — тихо повторил Кагот. — Вас ведь тоже тянет к себе Северный полюс, потому что там — неизвестность и вы хотите сами, своими глазами увидеть, что там такое на самом деле. Разве не так?

Сначала до Амундсена не сразу дошло, какая связь существует между виктролой и Северным полюсом, но подумав, он примиряюще сказал:

— Вот что, Кагот: соберите виктролу и положите на место. После этого ложитесь спать. Надеюсь, что утром завтрак будет подан вовремя.

— Хорошо, — с облегчением произнес Кагот. — Вы не беспокойтесь, я все исправлю... Все будет хорошо...

Проснувшись поутру, Амундсен усилием воли удержал себя на койке еще некоторое время, прислушиваясь к шуму за стенами каюты. Ночное происшествие огорчило его: Кагот явно перешел границы, которые диктовались его положением повара экспедиции. Правда, все это легко объяснялось его любознательностью, неумным желанием все разузнать, до всего докопаться своими руками. Но если сегодня он разобрал виктролу, то не возьмется ли завтра за хронометры и компасы? Сундбек уже рассказывал, что Кагот помогал ему разбирать и смазывать машину и что это доставляло повару превеликое удовольствие.

Войдя ровно в восемь часов в кают-компанию, он увидел всех за накрытым столом. Даже маленькая Айнана сидела на своем месте и сосредоточенно ела своей маленькой ложкой молочную кашу.

Медленно разворачивая салфетку, Амундсен невольно бросил взгляд на инкрустированный ящик с виктролой, потом посмотрел на Кагота.

Внешне Кагот выглядел так, словно никакого ночного происшествия не было.

— Что-то тихо у нас сегодня, — весело произнес Амундсен.

— Погода хорошая, — отозвался Ренне, только что спустившийся с палубы. — Сегодня будет отличный солнечный день. Весной пахнет!

— По такому случаю и в честь воскресного утра неплохо бы позавтракать с музыкой, — сказал Амундсен и посмотрел на Кагота.

Тот с готовностью подошел к музыкальному ящику, раскрыл его и вынул ручку, которой заводили пружину. Наладив виктролу, он спросил:

— Какую пластинку поставить?

— Поставьте марш, — сказал Амундсен.

Кагот взял пластинку. Она ему очень нравилась, и он как-то принался, что под эту музыку ему так и хочется ходить.

Кают-компания наполнилась бравурными звуками норвежского военного марша. Амундсен весело глянул на Кагота и объявил:

— Давайте сегодня отметим приход весны! Во-первых, объявляю сегодняшний день днем отдыха. Во-вторых, предписываю всем принять участие в состязаниях по метанию стрел, по преодолению торосов, а также в игре в мяч на льду.

Еще во время полярной ночи рядом с вмерзшим в лед кораблем была расчищена небольшая площадка, на которой иногда гоняли мяч, бросали стрелы. Сегодня здесь было оживленно по-настоящему. Из становища пришли Амос с женой и двумя детьми, Гаймисин с женой и Умкэнеу, которая тут же бросилась к разодетой Айнане, принялась ее тискать и обнюхивать.

— Какая ты стала красивая! Совсем тангитанская девочка!

Потом пришел Алексей Першин, за ним Каляна.

Состязание по метанию стрел было в разгаре, когда на высоком берегу показались две фигуры. Они остановились поодаль и оттуда наблюдали за весельем.

Амундсен спросил у Першина:

— Они еще не уехали?

— Пока вроде не собираются, — ответил русский.

— Что им нужно?

— Мне они сказали, что им нельзя возвращаться без Кагота и девочки, — ответил Першин. — Они живут у Гаймисина, ходят на охоту, ездят к оленеводам — словом, ведут себя так, словно решили поселиться тут навсегда.

— Вы получали какие-нибудь известия от вашей центральной власти? — поинтересовался Амундсен.

— Да, я получил письмо от Терехина. Он благополучно добрался до Ново-Мариинского поста, проехав вдоль реки Анадырь. Кстати, в одном из оленеводческих стойбищ он встретился со Свердрупом.

— Вот как! — воскликнул Амундсен. — И что же он сообщает о наших товарищах?

— Путешествие у них проходит нормально, и они очень довольны результатами. Терехин сообщает, что нарты нагружены разнообразными этнографическими коллекциями.

— Благодарю вас за ценные сведения! — воскликнул Амундсен и, помолчав, спросил: — А что же все-таки вы будете делать с теми? — Он кивнул в сторону Таапа и Нутэна, которые по-прежнему стояли поодаль на торосе и внимательно наблюдали за играми.

— В моей власти приказать им покинуть становище, — ответил Першин. — Здесь ведь предполагается создать специальную базу со школой-интернатом, мастерскими, радиостанцией и больницей — словом, один из опорных пунктов для распространения культуры, грамотности и медицинского обслуживания среди оседлого и кочевого населения.

— Да, пожалуй, здесь неплохое место, — одобрил Амундсен, — удобная гавань, хорошие подходы, сравнительно спокойный климат. Во всяком случае, здесь меньше снежных бурь, чем у побережья Таймыра, где мы провели предыдущую зиму.

Амос, решивший попробовать себя в метании стрел, неожиданно поразил всех меткостью и получил один из призов — кулек белой муки и несколько кусков рафинада.

— Как жаль, что я не вижу! — горестно воскликнул Гаймисин. — А то бы тоже посостязался!

— А у нас есть приз для самого отзывчивого зрителя, — объявил Амундсен и велел Ренне принести такой же кулек и добавить к нему пачку виргинского трубочного табака.

— А чем я хуже? — вдруг воскликнула Умкэнеу. — Давай сюда эти стрелы!

Она взяла три стрелы из рук Амоса и попыталась метнуть. Поначалу она промахнулась, но потом приоровилась, и со второй попытки ей удалось несколько раз подряд попасть в мишень. Гордая своим успехом, Умкэнеу подошла к Амундсену и громко произнесла по-русски: — Хорошо!

— Вы прекрасно говорите по-русски, — похвалил ее начальник, знавший от Олонкина это распространенное русское слово.

— У нас хороший учитель! — Умкэнеу с такой нежностью посмотрела на Першина, что никакого сомнения не оставалось в том, что девушка питала самые горячие чувства к русскому юноше.

Першин сказал несколько слов по-чукотски. Амундсен, конечно, не понял, но Умкэнеу, удаляясь от тангитанов, не сразу отвела лукавый и вместе с тем влюбленный взгляд от своего учителя.

Кагот вместе со всеми старался веселиться. Он тоже метал в мишень стрелы, гонял резиновый мяч по льду, но всякое мгновение чувствовал, что за ним, за каждым его движением, за каждым шагом его дочери следят четыре пристальных глаза.

25

Кагот ждал гостей в кают-компании. Он сидел за большим обеденным столом. На металлическом подносе стоял чайник, три толстые фаянсовые кружки и оставшиеся от завтрака сдобные булочки. Айнану повели кататься на собаках на берег Ренне и Олонкин.

Кагот зачем-то взял с собой тетрадь, где записывал числа. Он снова начал их писать, пользовался каждой свободной минутой, чтобы заполнить еще столбец. Вечерами он уже не оставался в кают-компаний, а, уложив Айнану, садился к своему маленькому столику и писал.

Сегодня перед приходом родичей он как раз начал новую страницу. Каждый раз, когда он оставлял позади уже написанное и приступал к чистой странице, надежда, что именно здесь и появится магическое конечное число, вспыхивала с новой силой.

Открылась дверь, и первым в кают-компанию вошел Таап. Быстро оглядев стены, он нашел портрет королевской четы и широко, как его учил знакомый русский поп, перекрестился и поклонился.

— Это не тангитанский бог, — сказал Кагот.

— А кто это? — удивленно спросил Таап.

— Это норвежский король.

— А, вроде русского Солнечного владыки...

Вошедший следом Нутэн озирался с изумлением и любопытством.

— Садитесь сюда. — Кагот хозяйским жестом показал на стулья.

Усевшись за стол, Таап еще раз осмотрелся, пристально взглянул на своего земляка и сказал:

— Здесь ты выглядишь как настоящий тангитан... Но если ты, вырядившись в одежду белого человека, решил, что стал другим, то сильно ошибаешься.

— Нет, я стал другим, Таап, — тихо ответил Кагот.

— Нельзя стать другим по собственному желанию и нельзя отречься от предназначения только потому, что тебе так захотелось...

Кагот встал и принялся разливать чай. Придвинув гостям кружки, сахар и булочки, он радушно произнес:

— Пейте чай, угощайтесь.

Таап с Нутэном отпили по глотку, надкусили булочки.

— А нет ли у тебя дурной огненной воды? — спросил Таап.

— Нет.

— Настоящие тангитаны всегда имеют большой запас этого напитка, — заметил Таап.

— Здешние тангитаны не такие, о каких ты говоришь. Они не торговцы.

— А кто же они?

— Путешественники и исследователи. Они изучают очертания берегов, движение ветра и морские течения. Кроме того, они собираются взобраться на вершину Земли.

— И тебя туда беруг? — спросил Таап.

— Возможно, — уклончиво ответил Кагот.

— А ты, отрекаясь от предназначения, разве не боишься, что я могу насрать на тебя божественное наказание, смертоубийственный уйвэл? — помолчав, зловещим шепотом спросил Таап.

— Не боюсь я твоего уйвэла, — с легкой улыбкой ответил Кагот.

Пораженный ответом, Таап несколько мгновений смотрел на Кагота.

— Как не боишься? Ты думаешь, о чем говоришь?

— Я говорю так, потому что знаю...

Таап насторожился:

— Что ты знаешь?

— Дело не в уйвэле... Дело в числах. В них и таится разгадка.

— В каких числах? Что ты говоришь? Ты, наверное, помутился разумом!

Таап не ожидал, что разговор с Каготом примет такой оборот, и был несколько растерян. Кагот глянул на него и с горечью в голосе произнес:

— Вот всегда так: как только человек подумал или поступил по-новому, не похоже, так сразу о нем говорят — помутился разумом!

— То, что ты утверждаешь, свидетельствует об этом, — заметил Таап. — И как только тангитаны не догадались?

— Они и научили меня числам, — с улыбкой ответил Кагот. — Вскорости, наверное, начну различать следы человеческой речи на бумаге.

— Все вы тут походили с ума! — воскликнул Таап. — Там, в нищем становище на берегу, учатся, здесь тоже, в Уэлене собирают детишек и гонят в большой деревянный дом на учение! Нет, все помутились разумом!

— Это еще неизвестно, у кого муть в разуме, — спокойно ответил Кагот и раскрыл лежащую рядом с ним тетрадь. — Вот гляди!

Таап настороженно склонился над тетрадью.

— Что это?

— Это числа! — с гордостью ответил Кагот. — Мои числа! Это я их написал. И пишу каждый день, каждое свободное мгновение.

— Но зачем тебе все это?

— Я думаю найти предел, последнее число, — ответил Кагот. — И тогда, я думаю, все станет ясно. Все станет на свои места, просветлеет.

— Это выше моего понимания, — прошептал Таап, еще раз взглянув на числа.

— Я тоже сначала не понимал, — сказал Кагот. — Но теперь, когда я пишу, я чувствую, как что-то большое растет у меня в груди. Иногда кажется, что вот-вот моя грудь разорвется.

— Послушай, Кагот! — Голос Таапа зазвенел от волнения. — Это в тебя вселился злой и беспокойный дух белого человека. Вспомни, ты раньше был совсем не таким!

Кагот улыбнулся в ответ.

— Нет, я всегда был таким. Только вы этого не видели, не замечали. Правда, я и сам не подозревал многого в себе...

Пробили большие корабельные часы, и от их звона Таап и Нутэн вздрогнули.

— Пейте чай, — еще раз сказал Кагот. — И сахар, и чай, и эти булочки — это мною заработанное. Не стесняйтесь.

Таап допил почти остывший чай и попросил налить вторую кружку. Его примеру последовал Нутэн.

— Значит, ты не боишься моего уйвэла? — задумчиво проговорил Таап.

— Не боюсь,— ответил Кагот.

— У тебя здесь есть какая-то защита? Оружие?

— Вот она, моя защита! — Кагот показал на тетрадь.

— Разве в них есть сила? — удивился Таап.

— В них такая сила,— медленно, значительно произнес Кагот,— в них такое могущество, какое тебе и не снилось!

Таап с опаской поглядел на тетрадь и отодвинулся от нее.

В кают-компании воцарилась тишина. Слышно было лишь, как тикали большие корабельные часы да изредка с верхней палубы доносился скрип шагов вахтенного.

— Послушай, Кагот,— снова заговорил Таап.— Раз ты окончательно решил порвать с прежней жизнью, пожалей хоть дочь!

— Нет, не могу отдать и дочь свою,— мотнул головой Кагот.— В молодые годы я верил во многое, что оказалось ложным. Не хочу, чтобы это было судьбой моей дочери. Вот ты говорил об уйвэле. Вы же помните, что вначале я верил во все это, но когда надо было защитить жизнь моей любимой женщины, боги отвернулись от меня, не вняли моей мольбе...

— Айнана принадлежит не только тебе, но и всему нашему роду,— напомнил Таап.— Она должна вернуться, вырасти и продолжить наш род.

— Она никогда не вернется к вам,— твердо ответил Кагот.— Это моя дочь, единственная живая связь с ушедшей навсегда Вааль.

— Ты идешь против наших исконных законов,— медленно проговорил Таап,— против установлений, на которых держится жизнь.

— Жизнь держится на другом,— возразил Кагот.

— Если ты знаешь, то скажи на чем,— с вызовом произнес Таап.— Мы тебя слушаем.

— Я еще не знаю конечную истину,— помедлил с ответом Кагот.— Я еще не нашел... Но чую — она в числах.

— Как же ты собираешься жить дальше, если ты и от нас ушел, и к другой жизни не пришел? Так и будешь бродить, как заблудившийся в тумане путник?

— Нет, я не заблудившийся,— покачал головой Кагот.— У меня впереди светит огонек, и я к нему иду.

— И долго собираешься идти? — теряя терпение, сердито спросил Таап.

— Не знаю,— ответил Кагот.— Это такое дело: истина может открыться сегодня или завтра, а может быть, на это уйдет вся моя жизнь.

— Так и умрешь, не постигнув истины...

— Кто-нибудь продолжит мое дело,— с надеждой в голосе произнес Кагот.— Может быть, Айнана...

— Не впутывай девочку в свое сумасшествие! — воскликнул Таап.

— Если вы пришли меня уговорить, то это напрасный труд, зря только теряете время и силы,— спокойно ответил Кагот и снова улыбнулся.— И Айнану я ни за что вам не отдам! Умру, но не отдам!

Таап встал, гневно отодвинув от себя кружку с чаем. Следом за ним поднялся Нутэн.

Прежде чем захлопнуть за собой дверь, Таап обернулся и зловеще прошептал:

— Ну уж ее-то, девочку, никакие числа не защитят от моего уйвэла!

Кагот прислушивался к их шагам, удаляющимся от кают-компании к трапу. Взглянув в иллюминатор, он увидел, как родичи спустились на лед и направились к берегу, к чернеющим там трем яран-

гам. Становище в хорошую погоду отлично просматривалось из широкого углового иллюминатора.

Кагот вернулся к столу и опустил на стул. Только сейчас он почувствовал, какого напряжения стоила ему эта встреча, этот разговор. Он заметил, что держит в руках тетрадь с числами. Поначалу он и не собирался прибегать к ним в разговоре с земляками. Это получилось как-то само собой. Он думал откупиться от них щедрыми подарками: в его каюте были приготовлены два мешка с мукой, сахаром, чаем, табаком, даже припасена на всякий случай дурная огненная вода. Все это осталось. А может быть, все-таки отдать им? Но вспомнив, как Таап грозился уйвэлом, Кагот ощутил в себе гнев и отогнал мысль о том, чтобы передать мешки с подарками.

За себя Кагот был спокоен. Он был уверен, что теперь никакая шаманская порча его не возьмет. Но Айнана... Смогут ли и ее защитить деревянные стены тангитанского корабля и новая, матерчатая одежда?

Кагот ощутил нарастающее беспокойство, и вдруг светлая мысль пронзала его: имя! Надо сделать так, как всегда делается в таких случаях,— переменить имя Айнане, и тогда уйвэл не найдет ее.

Он едва дождался возвращения девочки, потому что опасался еще и того, как бы Таап и Нутэн не перехватили упряжку и не отняли Айнану силой. Но, видно, они не посмели этого сделать. Выйдя на палубу, Кагот еще издали заметил на нарте ярко и нарядно одетую дочку.

Амундсен подошел и спросил:

— Чем кончилось ваше свидание?

— Я им все сказал,— ответил Кагот.

— Они согласились с вами?

— Главное в том, что я не согласился с ними,— сказал Кагот.

— Вы думаете, что они отступились от вас?

— Они поняли, что нет такой силы, которая заставила бы меня вернуться к ним...

— Но, Кагот, может быть, в этом деле не все плохо? Ведь шаманы, насколько я знаю, занимаются не только ворожбой, но и другими делами: лечат, предсказывают погоду, совершают разные обряды, хранят традиции... Быть может, среди служителей вашего культа есть какое-то разграничение на добрых и злых шаманов?

— Нет,— твердо ответил Кагот,— у нас шаманы не делятся на белых и черных, на добрых и злых... Если говорить по справедливости, то шаман должен быть только добрым. Но могущество, которое дается ему Внешними силами, часто используется им во вред человеку... Я отрекся от своей судьбы не потому, что так захотел, а потому что судьба сама отвернулась от меня. В молодые годы мне почудилось, что я увидел богов и услышал их голоса. Тогда жизнь казалась мне прекрасной и бесконечной. А когда я встретил Вааль, я окончательно уверился, что Внешние силы избрали меня среди многих живущих на земле и одарили великим счастьем. Но уже тогда стала появляться мысль— не много ли счастья? Я сердцем болел, когда думал, что оно когда-то может кончиться. И предчувствие мое сбылось. Несмотря на то, что я дни и ночи камлал, пытаюсь умолить Внешние силы, люди умирали, не донеся куска мяса до рта, чаши с водой до своих иссохших губ. Никто не услышал меня: ни Внешние силы, ни другие шаманы... Умерла и моя Вааль... И тогда я проклял свое предназначение и ушел. Другого пути у меня не было...

Когда Кагот говорил все это, голос у него прерывался от волнения.

— Успокойтесь, Кагот.— Амундсен положил свою тяжелую руку ему на плечо.— Здесь вы в полной безопасности...

Нарты подъехали. Айнана соскочила и бегом поднялась по трапу на борт корабля. Она что-то держала в руке. Кагот взял и узнал

старый, почерневший обломок моржового бивня.

— Это на счастье,— сказал Кагот.— Я вырежу из него талисман для тебя.

— Из-под снега его выкопал дядя Олонкин, а нашла я сама!— гордо сказала девочка.

За обедом, подав на десерт сливочное мороженое, приготовленное в естественном холодильнике за бортом, Кагот расположился со своей тарелкой рядом с дочерью и, когда насытившиеся члены экспедиции взялись за свои сигары и трубки, громко объявил:

— Господа! Я хочу дать Айнана тангитанское имя.

Сундбек с удивлением воззрился на повара и сказал:

— А мне очень нравится ее имя— Айнана! По-моему, прекрасно звучит, а, господа?

— Очень нужно, чтобы у девочки было тангитанское имя,— повторил Кагот.

— А зачем это?— спросил Амундсен.

Каготу не хотелось раскрывать настоящую причину, и он уклончиво сказал:

— А вдруг она поедет учиться в тангитанскую школу и там ее спросят: как зовут?

— В общем-то, это резонно,— сказал Амундсен.— У меня действительно не раз возникала мысль о том, чтобы взять девочку в Европу и отдать в какой-нибудь приличный пансион, выучить грамоте, музыке...

— Ну хорошо,— вмешался в разговор Олонкин.— Допустим, Айнана действительно выучится и грамоте, и музыке, и европейским манерам... А потом вернется обратно в ярангу?

— Совсем недавно именно это соображение останавливало меня,— сказал Амундсен.— Но теперь ситуация стала иной: Першин и его товарищи собираются коренным образом менять здешнюю жизнь.

— И вы верите, что у них получится?— с оттенком недоверия спросил Олонкин.

— Вы, возможно, удивитесь моему ответу, господа, но у меня такое впечатление, что у них должно получиться,— с серьезным видом ответил Амундсен.— Во всяком случае, их мечты вызывают сочувствие и уважение. Так что может статься, что Айнана вернется сюда врачом или дипломированной сестрой милосердия, а может быть, даже и учительницей...

— Давайте назовем ее Анной,— предложил Сундбек.

— Анна— это похоже на Айнану,— немного подумав, сказал Кагот.— Хорошо, если бы новое тангитанское имя девочки звучало совсем по-другому.

— А если Мери?— подал голос Ренне.

— Мери— это хорошо!— воодушевился Кагот.— И легко произносится, и в то же время совсем не похоже на прежнее!

Он боялся, что кто-то предложит такое имя, которое потом и ему самому не выговорить.

— Мери— это мне тоже нравится,— с удовлетворением произнес Амундсен и обратился к девочке: — Мери!

Айнана подняла вымазанное в мороженом личико и улыбнулась.

— Вот видите!— торжествующе произнес Кагот.— Она уже отзывается на новое имя. Мери! Ты будешь Мери. Отныне здесь девочка, которую зовут Мери!

Возбуждение и страстное желание повара переменить имя девочке показалось несколько подозрительным, но Амундсен, видевший, как Кагот разбирает, а потом собирал виктролу, решил, что странности вообще в характере этого человека.

Дня через два после этого Кагот решил посетить становище. Как всегда, он нагружился подарками, но Айнану-Мери не стал брать с собой. В тот день над берегом стоял туман, предвестник надвигающейся долгой весны. Солнце уже высоко поднималось над горизонтом, и в ясный день все вокруг сверкало. Особенно прекрасна была «Мод» со своими заиндевелыми мачтами. Кагот несколько раз оглянулся, любуясь кораблем.

Вечером того дня, когда он переменял имя дочери, тайком от обитателей корабля, в темноте он принес жертвы богам, разбросав во все стороны света самые лучшие дары — куски сдобных булочек, щепотку ароматного виргинского трубочного табака, раскрошенный мелко сахар, оленье мясо и сало. Слова пришли сами, и Кагот даже немного удивился им, шепча заклинание:

В поисках следа оглянись вокруг,
В белизне не теряй пути,
Может, в небо посмотришь —
И свет звезды ты взором поймаешь.

В поисках следа ты подумай о том,
Как прекрасно живое вокруг,
Красота земли, блеск небесных звезд
Лишь живую волнуют кровь...

Он несколько раз повторил эти слова, не очень вникая в их туманный смысл, и вернулся в свою каюту. На верхней койке, разметавшись, мирно спала дочка.

— Ну вот, теперь ты Мери, — тихо прошептал Кагот. — И никакой уйвэл не достанет тебя в деревянной плавучей яранге, под другим, тангитанским именем...

Как она походила на покойную Вааль! Та ушла из жизни совсем молодой, даже не утратив еще детской округлости лица. Вот уже много дней она не являлась Каготу, образ ее все больше отступал в туман забвенья. Порой надо было прилагать усилие, чтобы воссоздать в памяти ускользающий облик, и тогда Кагот думал: как было бы хорошо, если б кто-то из тангитанов в те давние времена догадался «снять тень» Вааль. Как ему объяснили, с помощью этой штуки, похожей то ли на короткоствольное ружьецо, то ли на одноглазый бинокль, можно было получить изображение человека на бумаге с удивительной схожестью. Когда Кагот вытачивал из черного мореного моржового бивня изображение лица Вааль, он потратил на это несколько дней, вспоминая ее облик. Само изображение получилось величиной со среднюю тангитанскую монету. Сверху он сделал ушко-отверстие, в которое продел свитый из оленьих жил шнурок. Однако Сундбек, который питал особую любовь к девочке, принес тоненькую золотую цепочку, заменив ею оленью жилу. Кроме того, по просьбе Кагота на оборотной стороне портрета он вырезал: Мери-Айнана Кагот.

Привычной тропой Кагот поднялся к яранге Каляны и еще издали услышал монотонное повторение каких-то непонятных слов. Похоже, что учитель снова читал стихи.

Войдя в чоттагин, Кагот поразился необыкновенному свету, который никак не мог дать горящий костер. Подняв голову, он увидел вставленную в крышу из моржовой кожи раму со стеклом.

— Амын етти! — радушно поздоровался учитель и, взяв небольшой колокольчик, позвонил, объявляя: — Перерыв!

Среди учеников Кагот на этот раз почему-то не увидел Умкэнеу. Другая ученица, Каляна, тоже занималась своим делом — шила.

Ребятишки, обрадованные перерывом, выбежали из яранги на волю. Кагот оглядел окошко в крыше и одобрительно произнес:

— Хорошо получилось.

— А ты знаешь, Кагот, кто это придумал? — спросил Першин. — Умкэнеу! Сначала она хотела вставить сюда старый плащ из моржовых кишок, а потом говорит: а почему бы не попросить у корабельных тангитанов кусок настоящего стекла? Когда я объяснил Сундбеку, что мне нужно, он за полчаса изготовил это окошко. А вставить его сюда уже было нетрудно.

— Издали теперь наша яранга как тангитанский корабль, — сказала Каляна, оставляя шитье и принимаясь готовить полагающееся угощение. — И флаг есть, а вот теперь еще и стеклянный глаз. Скоро машину поставит наш учитель.

— Теперь ждать осталось не так много, — весело сказал Першин. — Время повернуло на весну. Уйдут льды, и сюда прибудет пароход. А твои земляки, Кагот, уехали...

— Уехали? — переспросил Кагот. Он и вправду заметил, что в том месте, где были привязаны собаки, пусто. — А может быть, они к оленным людям на время поехали?

— Да нет, — сказал Першин, — вроде бы насовсем. Накануне всю ночь камлали у Гаймисина. Выставили всех из яранги, только к утру позволили вернуться.

— Не иначе как пытались наслать уйвэл на меня или на девочек, — заметил Кагот. — Но я перехитрил их...

— Каким образом? — спросил Першин.

— Переменил имя дочери на другое, тангитанское. Теперь ее зовут Мери.

— По-русски значит Маша, Мария.

— А сам я показал им свою тетрадь с числами, и они, похоже, отстали от меня...

— Все пишешь числа, Кагот? — с удивлением спросил Першин.

— Пишу, — ответил Кагот с воодушевлением. — Только времени нет. Если б не работа на камбузе, только и делал бы — писал числа и наконец поймал бы его!

— Кого?

— Большое конечное число!

Першин некоторое время молчал, размышляя о чем-то своем, потом осторожно начал:

— Знаешь, Кагот, этой самой математикой, вычислениями, люди на земле занимаются испокон веков. Многие тысячи лет. И все они, эти могущественные разумом люди, пришли к выводу: не существует конечного большого числа!

— Они его просто не чуяли, — спокойно ответил Кагот.

— Как это — не чуяли? — удивился Першин.

— У них не было ощущения, что это число рядом, вот-вот попадется. Иначе они не бросили бы вычисления.

Кагот говорил убежденно, с таким видом, словно он был заранее готов к возражениям. Это так и было на самом деле. Теперь почему-то каждый считал своим долгом предостеречь его о тщетности попыток найти конечное большое число, и Кагот начал понимать, что самое лучшее — не выставлять напоказ свою работу, а производить ее в уединении. Иногда он это делал даже в ущерб своим поварским обязанностям, предпочитая готовить кушанья, которые не требовали много времени.

— Если бы в числах не было никакой силы, Таап не поспешил бы отсюда, — сказал Кагот, стараясь перевести разговор на другое.

— А как дела с постижением грамоты? — спросил Першин.

— Каникулы у нас, — ответил Кагот. — Так полагается... Однако я вижу, что и у вас взрослые больше не учатся?

— Пока не учатся, — каким-то безразличным тоном ответил Першин.

— Тоже каникулы? — с сочувствием спросил Кагот.

— Учитель у нас сильно полюбил Умкэнеу, — вдруг сообщила из своего угла Каляна.

— Какомэй! — не сдержал возгласа удивления Кагот. — Вот не ожидал такого!

— Да и никто не ожидал, — вздохнула Каляна, разговаривая так, словно Першина не было в чоттагине. — Все думали, девочка молоденькая, а оказалось — уже созрела для любви.

— Это так? — обратился Кагот к Першину.

Учитель молча кивнул.

— Жениться собираетесь?

— Я бы женился на ней, — смущенно признался Першин, — да все думаю: может быть, она еще несовершеннолетняя?

— Это что такое? — не понял Кагот.

— Может быть, она еще слишком молода для семейной жизни? — объяснил Першин. — Кстати, не знаешь ли, сколько ей лет? Мы тут пытались сосчитать, и получается что-то между пятнадцатью и семнадцатью годами.

— А зачем считать года? — спросил Кагот.

— Чтобы знать — созрела ли она для замужества, — пояснила Каляна. — Не понимаю только, при чем тут года. Главное ведь, если женщина пожелала мужчину. Да и внешним видом она далеко не девочка.

— Тогда почему вы медлите? — спросил Кагот.

— Все же думаю немного подождать, — неуверенно ответил Першин.

За стенами яранги послышался смех, шум, и в сопровождении ребятшек в чоттагин ввалилась Умкэнеу. Она шумно поздоровалась с Каготом и взялась за чашку со свежим чаем.

За то короткое время, пока Кагот не видел ее, девушка разительно переменялась. Теперь это была совершенно определенно молодая женщина, прекрасная, цветущая, и непонятной становилась медлительность и нерешительность русского учителя, который, вместо того чтобы жениться, занялся подсчетами прожитых девушкой лет.

Умкэнеу подошла к засмущавшемуся учителю и сказала, гордо поглядывая на Кагота:

— Алексей! Поцелуй меня по-русски, как ты вчера делал!

— Ну, Умкэнеу! — с укором произнес Першин. — Кто целуется на людях? Хорошая девушка должна стыдиться этого.

— А я не стыжусь! — громко заявила Умкэнеу. — Я горжусь! Мне очень нравится русский поцелуй.

Бедный Першин покраснел.

— О, Умкэнеу!

— Ну ладно, не целуй, — пожалела его девушка. — Мы еще раз сосчитали с родителями мои года, получается теперь шестнадцать с половиной. А если прибавить и будущий, то к восемнадцати подойдет.

Усевшись рядом с Першиным, напротив Кагота, Умкэнеу показала на окошко в крыше яранги и сказала:

— Это я придумала. А когда Алексей переедет в мою ярангу, мы там поставим два окна... И флаг перенесем.

Кагот слушал и дивился твердости и решительности характера Умкэнеу. Она совсем не походила на скромных, застенчивых чукотских девушек. Очевидно, во многом это объяснялось тем, что она, по существу, одна вела хозяйство в отцовской яранге. Ей случалось не только самой ездить на собаках, но и ставить капканы и ходить на морскую охоту, если Амос по каким-либо причинам не мог выйти на лед.

Умкэнеу рисовала будущую жизнь, а Першин покорно и молча слушал и только кивал, если девушка обращалась за подтверждением.

— Когда здесь построят культбазу, мы переселимся в настоящий большой деревянный дом с большими окнами. Алексей говорит, что такой дом будет больше, чем тангитанский корабль. Рядом будут стоять баня и больница. В бане будем мыться... Если мыться часто, то можно побелеть, верно, Алексей?

На этот раз учитель засомневался и сказал:

— Да нет, если цвет кожи темный, то его уже не отмыть...

— Тогда зачем часто мыться? — с недоумением спросила Умкэнеу. — Можно и пореже... Здесь откроют большую лавку, и товаров в ней будет больше, чем на тангитанском корабле... Верно, Алексей?

Першин молча кивнул.

— И товары там можно будет покупать дешево, почти что даром, потому что власть бедных и сами бедные будут торговать...

— А откуда бедный возьмет товар? — спросил Кагот.

— У богатых возьмет! — решительно ответила Умкэнеу. — У твоих же тангитанов!

— Как это так? — удивился Кагот.

— Умкэнеу! — На этот раз голос Першина зазвучал строго. — Я тебе такого не говорил!

— Ну хорошо, — согласилась девушка. — Это я сама придумала. Потому что где мы возьмем товар, если кругом нас нет богатых? Одна надежда только на этих, которые на норвежском корабле...

— Товар привезут на пароходе, — сказал Першин. — Из Владивостока или Петропавловска, что на Камчатке.

— А потом, когда мы здесь выучим всех и вылечим всех больных, отправимся в Россию, в тангитанскую землю, в Петроград... Кагот, ты был в Петрограде?

— Не был, — ответил Кагот. — Я был только в Номе и Сизтле.

— Правда, Петроград лучше, чем Ном или Сизтл?

— Лучше, — ответил Першин.

— Там стоят дома, поставленные друг на друга, между ними ездят повозки на колесах, и вместо собак их тянут машины с дымом и грохотом. В Петрограде живет Ленин, вождь большевиков и революционеров. Алексей, мы пойдем к нему в гости?

— Он нынче живет в Москве, — сказал Першин.

— А говорил — в Петрограде, — напомнила Умкэнеу.

— Он переселился...

— Зачем?

— Так надо.

— Жаль, не дождался нас, — вздохнула Умкэнеу. — А я ему уже в подарок кухлянку начала шить и малахай с росомашей оторочкой.

— Все равно ехать будем через Москву, завезем, — с улыбкой сказал Першин.

Похоже, Першину уже начала нравиться эта игра, и он поддакивал Умкэнеу, явно любясь своей невестой.

— Но моя самая большая мечта, чтобы отец мой прозрел, — со вздохом произнесла Умкэнеу. — Один приезжий рассказывал: в Уэлене живет эрмэчин Тынэскын. Он тоже, как и мой отец, долгие годы не видел дневного света, ходил с поводырем. А потом из американской земли приехал доктор и вылечил ему глаза.

— Я тоже слышал об этом, — подтвердил Першин. — Когда мы были в Уэлене, я видел Тынэскына. Он видит, сам ходит и уже не нуждается в поводыре. Но у него глаза все время слезятся и красные... А твоему отцу сделаем операцию лучше, в настоящей больнице.

— Я ни о чем так сильно не мечтаю, как вернуть зрение отцу! — еще раз сказала Умкэнеу.

Она помолчала и с такой нежностью посмотрела на Першина, что у Кагота, заметившего это, дрогнуло сердце и он невольно оглянулся на Каляну.

Они встретились взглядами, и он увидел в глазах Каляны покорность судьбе. Она, по всей видимости, смирилась с тем, что и этот мужчина, поселившийся в ее яранге, тоже уходит, как в свое время ушел Кагот.

По заведенному обычаю Кагот посетил и остальные яранги. Побывал у Амоса, выслушал его рассказ о поездке к кочевникам.

— В тундре тревожно,— рассказывал Амос,— Люди прослышали о новой жизни, о дележе богатств, беспокоятся. Особенно те, у кого большие стада. Корабье уже откочевал к якутской земле, но и там, сказывают, тоже неспокойно. Какие-то неизвестные бродят по тундре, нападают на кочевников, убивают, грабят, угоняют оленей. Называют себя белыми. Те же, которые воюют против белых, объявили себя красными, хотя по внешнему виду они все одинаковые.

— Красные — это большевики,— уверенно сказал Кагот.— Потому что у них свой знак отличия — красная материя, повешенная на высокий шест.

— Вообще у тангитанов такая привычка — вешать матерью,— заметил Амос.— На вашем корабле тоже висит, на корме.

Амос имел в виду норвежский флаг.

— По материи и отличают кто чей,— сказал Кагот.— У корабельных тангитанов запас этой материи огромный. Флаги называются. Ренне показывал мне некоторые из них. Старый русский — он трех цветов. Американский — полосатый, а в углу на синем поле звездочки. Есть еще английский — яркий, как камлейка у эскимоса.

— А красный флаг у них есть? — спросил Амос.

— Красного флага нет,— ответил Кагот.— Но Ренне сказал, что они сделают его из красной материи.

— Но наш флаг вроде собирается переезжать,— сказал Амос.

— Умкэнеу мне говорила,— кивнул Кагот.— Как ты думаешь, намерение у этого русского серьезное?

— Думаю, у него женитьба будет прочная, а не только на время, как это водится у тангитанов,— ответил Амос.— Вон сколько появилось на побережье детей, рожденных от временного сожителства. Лицом ну чистые белые, только по языку отличаешь да по одежде.

— Пойду-ка к Гаймисину,— сказал Кагот, поднимаясь с китового позвонка.

Возле яранги слепого бросалась в глаза особая ухоженность. Гаймисин стоял с лопатой из китовой кости и далеко от себя отбрасывал снег. Узнав по шагам приближающегося Кагота, он остановился и с улыбкой воскликнул:

— Амын ети!

— Ии! — отозвался Кагот, приближаясь к слепому.— Чисто вокруг твоей яранги стало.

— Что делать,— вздохнул Гаймисин,— стараюсь. Дочка собирается тангитана привести мужем, негоже жилище в беспорядке держать.

— Решились?

— Да разве нашу Умкэнеу отговоришь! — махнул рукой Гаймисин, воткнув лопату в сугроб.— Иной раз думаю: зря она родилась женщиной, быть бы ей парнем!

— А каков жених?

— К ней ласковый, а к нам уважительный,— ответил Гаймисин.— Что это мы здесь стоим? Пойдем в ярангу.

И Гаймисин пошел вперед, уверенно шагая. Со стороны и не скажешь, что идет слепой. В чоттагине он направился к бревну-изголовью, уселся на него и показал место рядом с собой.

— Садись здесь, Кагот.

Чотагин тоже поражал чистотой. Земляной пол тщательно выметен, а собачьи мерзлые лужицы соскребаны.

— Дошла до меня весть,— начал Гаймисин,— что чудо такое свершилось в Уэлене: тамошний бывший эрмэчин Тынэскын с помощью тангитанского лекаря прозрел. Ты слышал когда-нибудь про него?

— Про то, что прозрел, я только что услышал.

— Тынэскын происходит из крепкой и богатой семьи, тяготеющей к клану Гэмалькота,— рассказывал Гаймисин.— Хорошо жил Тынэскын— богато и весело. Еще в молодости двух жен завел. А потом случилась с ним беда— туман напалз на глаза, в точности как у меня. Сначала как бы облачный день настал, а потом и густые тучи закрыли солнечный свет, пока все не скрылось в белесой мгле... Я свет-то вижу, особенно когда смотрю на солнце,— продолжал Гаймисин,— а вот ничего не различаю, только слухом кормлю свое любопытство... Так и Тынэскын жил много лет. В позапрошлом году его родич, торговец Карпендель, что поставил свою деревянную ярангу в Кэнискуне, позвал из Америки лекаря. Тот приехал с ножичками и разными другими приспособлениями. Связали Тынэскина, чтобы не рвался, напоили до бесчувствия дурной огненной водой и соскоблили туман со зрачков. Конечно, кровь была, боль такая, что крик Тынэскина, говорят, слышали в Наукане, но ничего! Походил несколько дней в повязке, а потом, когда снял, снова увидел мир!.. Эх, мне бы такое счастье!

Теперь Кагот понял скрытую причину, по которой Гаймисин легко дал согласие породниться с тангитаном. Слепой надеялся, что Першин тоже найдет ему тангитанского лекаря.

— А что говорит Першин? — спросил напрямик Кагот.

— Он говорит, что если такое возможно, то новые лекари и мне возвратят зрение,— с затаенной надеждой в голосе произнес Гаймисин.— Хоть бы это случилось! Ведь я нестарый человек, сил у меня еще много! Да и жизнь впереди, как рассказывает Першин, настает новая, интересная. Не увидать все это обидно! А пойдут дети у Умкэнеу, что же, мне только ощущивать их? Ты знаешь, Кагот, я бы согласился отдать и руку и ногу, только бы снова видеть!

— Будем жить надеждой,— сказал Кагот.

Гаймисин повернул к нему свое подвижное лицо с невидящими глазами и спросил:

— А как твои числа? Я слышал, как их проклинали Таап и Ну-тэн. Неужто они на самом деле такие сильные?

— Сила у них есть, я чувю.

— Может, попросишь их, раз они такие могущественные? — предложил Гаймисин.— Вдруг они и мне помогут?

Кагот ответил не сразу.

— Может быть, и помогут,— сказал он задумчиво.— Но сначала я должен найти магическое число. Оно где-то совсем близко, но ускользает.

— Эх, если бы я мог тебе подсказать в этом...

— Нет, его надо искать одному,— сказал Кагот.— Я это понял. Оно как осторожный и хитрый зверь: прячется, путает след. Если бы я его видел впереди, я бы пошел не разбирая дороги. Но нет, оно где-то среди этих чисел, которыми я исписал уже почти половину большой тетради.

— И что же будет, когда найдешь его? — затаив дыхание, спросил Гаймисин.

— Тогда откроется истина, и всем станет хорошо... Только как это будет на самом деле, я и сам пока не знаю.

Возвращаясь на корабль, вспоминая разговор со слепым, Кагот думал: а вдруг и впрямь с нахождением конечного большого числа он обретет могущество?

И тогда он сможет растопить льды и освободить корабль...
 Дойти вместе с Норвежской экспедицией до вершины Земли...
 Вернуть зрение бедному Гаймисину...
 Найти хорошего мужа для Каляны...
 Сделать так, чтобы всегда было вдоволь зверя у берегов Чу-котки...
 Дать всем счастье...

27

С приближением весеннего тепла дел на корабле прибавилось. Однако предсказать, когда точно произойдет вскрытие моря на этом побережье, было невозможно. Амундсен несколько раз ходил на берег в сопровождении Кагота и Олонкина, спрашивал и Гаймисина, и Амоса, и даже Каляну, чтобы выяснить, когда же все-таки можно будет ожидать чистой воды. Но никто не давал вразумительного ответа, а Амос сказал, что на его памяти был случай, когда среди зимы ураганом оторвало лед и море открылось до самого горизонта, но через несколько дней льды снова появились и их было даже больше, чем раньше.

Общими усилиями определили, что наиболее реальный срок вскрытия моря конец июня — начало июля. Правда, тот же Амос счел нужным предупредить:

— Я помню один год, когда лед вовсе не уходил с наших берегов и старый припай так и дождался новой зимы.

— Это самое худшее, что может нас ожидать, — мрачно заметил Амундсен.

Вернувшись на корабль, Амундсен удалился в свою каюту и принялся листать дневник:

«27 апреля. Утром северо-западный ветер, усилившийся среди дня. Сундбек мерил молодой лед... Вчера приказал снять часть крыши перед камбузом, чтобы там было светлее. Теперь могу работать совсем без электричества.

28 апреля. Апрель здесь такой же капризный, как у нас дома. Ночью было 17° мороза, а в 2 часа — 14°. Северо-западный ветер, свежий ночью, за день утих. Караев и двое русских уехали сегодня утром. Один из последних сейчас же поехал обратно в Сухарное за маленьким белым медвежонком, который живет там у Кибизова. Он нашел его возле Колымы в первую свою поездку 1 марта. Медвежонок был тогда не больше кошки, но очень злой. Теперь он стал совсем ручным. Я обещал взять его с собой в Ном...»

Медвежонок, кроме того, предназначался Мери, которая уже самостоятельно расхаживала по палубе и весело играла под ярким ослепительным весенним солнышком.

Отец ее, наоборот, стал замкнутым и малоразговорчивым. Он часто уединялся в своей каюте и сидел над тетрадью. Амундсен несколько раз пытался отговорить его от бесполезного занятия, но Кагот только молча отводил глаза.

Все было бы ничего, но писание чисел явно шло в ущерб прямым обязанностям Кагота. Порой надо было напоминать о простейших вещах, о том, что надо как следует вымыть посуду, не торопиться вынимать хлеб из печи.

Вот и сегодня, когда Амундсен заглянул на камбуз, он увидел, что повар разложил свою злополучную тетрадь прямо на доске, на которой раскатывал тесто. Пришлось сделать замечание, что камбуз отнюдь не место для математических занятий. Кагот был смущен. Он быстро спрятал тетрадь, словно боясь, что ее отберут, извинился, пообещал, что больше такого не повторится.

После очередного внушения Кагот с новой энергией и усердием брался за дело. Он снова начинал следить за собой, сиял чистотой, мыл и скреб не только камбуз, но и кают-компанию, готовил замыс-

ловатые и вкусные блюда. И поведение его менялось: он больше общался с членами экспедиции, говорил с ними, возился с дочерью. Но проходило время, он снова замыкался и уходил в свои числа. Так длилось до очередного промаха, после которого все снова становилось на свои места.

Весеннее настроение все больше охватывало людей на корабле, постепенно освобождаясь от снега, замороженного, застоявшегося воздуха. Свет теперь проникал всюду, и поздним вечером, чтобы уснуть, надо было занавешивать иллюминаторы плотными шторами.

У Амоса была небольшая байдара. Она пролежала всю зиму на высокой подставке, сооруженной из челюстей кита, и теперь пришло время спустить ее, обложить снегом на берегу моря, чтобы к вскрытию воды высохшая за зиму моржовая кожа снова стала упругой, эластичной. При спуске байдар обычно совершают обряд, чтобы умиловить морских богов, и Амос позвал для этого Кагот. Когда Кагот обратился с просьбой отпустить его, Амундсен спросил:

— Я хочу, чтобы вы мне объяснили: почему, отрекаясь от шаманского звания, вы тем не менее не отказываетесь от священнодействий? Вот вы изменили имя Амосу, оберегая его от злых сил, затем такую же процедуру проделали с дочерью. Сейчас вы собираетесь совершить священный обряд спуска байдар... Что все это значит?

— Я ведь не отрекаюсь вовсе от шаманского звания,— ответил Кагот.— Просто я не хочу больше быть посредником между Внешними силами и людьми. Не хочу я и лечить людей с помощью магических заклинаний, потому что перестал в них верить. Но я не перестал верить в существование Внешних сил, в зависимость человека от них. Надо, чтобы человек делал так, как угодно им, иначе может быть плохо. Есть установления и обычаи, истоки которых уходят в далекие времена. Мы уже забыли значение обряда, однако совершаем его, чтобы укрепить внутренние силы человека...

— Вы говорите — внутренние силы человека? — переспросил Амундсен.

— Да,— ответил Кагот,— человек изнутри должен быть не менее сильным, чем внешне. Иной раз внутренняя сила бывает нужнее.

Амундсен подумал и согласно кивнул.

— Пожалуй, вы правы, Кагот.

Но по глазам его было видно, что он думает о чем-то своем, и эта мысль была о возможной неудаче, если в этом году береговой лед не отпустит «Мод».

Амундсен достал лист бумаги и набросал план стоянки корабля. Край припая сегодня находился довольно далеко, и движущийся лед в этом районе часто смерзался с неподвижным. Надо подумать, как помочь морскому течению и ветру разломать лед. Для этого можно использовать имеющийся на борту запас взрывчатки. Амундсен провел на плане черту от борта «Мод» дальше, на северо-восток. Если заложить в заранее приготовленные шурфы заряды достаточной силы, то в подходящий момент можно будет попытаться с их помощью создать канал, ведущий к открытой воде.

Возле яранги Амоса собрались все жители становища.

Маленькая байдара уже была освобождена от лахтачьих и моржовых ремней. Чейвынэ держала широкое деревянное блюдо, на котором лежали чуть пожелтевшие ломти оленьего окорока и сала и чудом сохранившийся для этого случая кусок итгильгына². Дары морским богам были дополнены кусочками сахара, шоколада, галетами, табаком и несколькими сигарными окурками, подобранными из пепельниц в кают-компании «Мод».

² Итгильгын — китовая кожа с салом.

Чейвынэ передала Каготу блюдо. Оглядевшись, он заметил, что Першин стоит в стороне и наблюдает за действием.

— Почему он не подходит? — спросил Кагот Умкэнеу, обнося всех пиццей богов: согласно обычаю угощение должны сначала попробовать люди, а что останется — то богам.

— Он не может, — ответила Умкэнеу, беря галетину и кусок шоколада.

— Почему?

— Он неверующий.

— Ну и что? — пожал плечами Кагот.

— Он большевик, — сказала Умкэнеу. — Большевики считают все эти обряды дурманом. Он говорит, что вообще с этим надо бороться. — И добавила: — Вот когда я стану большевиком, то тоже буду против шаманства и старых обычаев.

— А когда ты собираешься стать большевиком?

Умкэнеу откусила кусочек шоколада и от удовольствия зажмурилась.

— Может быть, сегодня ночью я стану женой большевика, а как дальше будет — посмотрим...

— А почему именно сегодня?

— Потому что завтра — самый главный праздник работающих людей.

— А мы этого не знали! — с оттенком упрека сказал Кагот.

— Да я сама недавно узнала, — призналась Умкэнеу. — Алексей мне сказал об этом, когда обещал жениться в этот день.

Одарив всех пиццей богов, Кагот занял место впереди процессии. Байдару осторожно сняли с подставки и взяли на плечи.

— Иди помогай! — позвала Умкэнеу учителя.

Першин подставил плечо рядом с Гаймисином, который, не смотря на слепоту, изо всех сил старался быть полезным. На его лице застыло блаженно-радостное выражение оттого, что приближается время настоящей, деятельной жизни, время большого света, таяния снегов, птичьих голосов, моржового рева под скалистым берегом.

Весна уже наложила свой отпечаток на всю жизнь крохотного становища. Не было такого дня, чтобы мимо не проезжали упряжки, которые торопились домой, потому что приближалось время, когда талая вода отрежет все нартовые пути. Каждому пережившему темное время года не терпелось насладиться светом и теплом.

Вот и сейчас под теплыми лучами солнца все обнажили головы, никто не надел ни малахая, ни капюшона.

Ребятишки побежали вместе с собаками впереди процессии и остановились под высоким берегом на предназначенном для байдары месте. Еще вчера Амос широкой китовой костью, насаженной на рукоять, вырыл в плотном, слежавшемся снегу яму, предназначенную для кожаного суденышка.

Медленно опустили байдару в яму и остановились. Кагот прошел чуть вперед, к невидимой, скрытой снегом границе между морем и берегом, и тихо начал:

Великий свет, пришедший с солнцем,
Все разбудил, все озарил вокруг...
Забыты тьма, холодный звездный свет
И стужа, доходящая до мозга.

Сегодня мы приносим жертву вам,
Морские боги, кормящие нас,
И молим вас послать удачу,
Обилием добычи порадовать людей.

В долгу мы не останемся у вас,
И долю вашу мы всегда подарим.
Обычаи исполним до конца,
Чтоб радовать сердца морских богов.

Пусть лед скорей уйдет от берегов,
Пусть птичьим криком полнится земля,
Земля, которая населена людьми,
Чтящими и помнящими вас...

С последними словами Кагот широким жестом бросил на морской лед остатки жертвенного угощения. Собаки кинулись подбирать пищу богов, и вскоре на снегу остались лишь толстые окурки сигар.

Байдару принялись обкладывать снегом. Как раз к тому сроку, когда ледовый припай покроется трещинами, высохшая за зиму моржовая кожа пропитается влагой, и лодка будет готова к плаванию.

На обратном пути Кагот оказался рядом с Каляной. Поравнявшись с мужчиной, она тихо сказала:

— Скучаю я по девочке. Как она там живет, среди тангитанов?

— Привыкла,— с затаенной гордостью ответил Кагот.

— А мне, наверное, так и не доведется услышать крик рожденного мною ребенка, так и останусь я одна! — с тоской произнесла женщина.

Кагот не нашелся что ответить. Видно было, что Каляна страдает. Маленькая надежда, возникшая с приездом учителя, угасла навсегда.

— Слышал я, скоро здесь, на этом берегу, много людей будет,— осторожно сказал Кагот.— Культбазу будут строить.

— Учитель Алексей так говорит,— ответила Каляна.— Все только на это и надеются, даже слепой Гаймисин ждет чуда.

— А вдруг такое случится, что и ты дождешься своего чуда?

Каляна остановилась и пристально посмотрела на Кагота.

— А что говорят твои числа?

— Пока молчат,— серьезным тоном ответил Кагот.— Но я чувствую, что нахожусь на верном следу.

— Я всегда знала, что ты необыкновенный человек! — произнесла Каляна, и в ее голосе Кагот уловил новое чувство по отношению к себе — глубокое уважение.

Амос позвал всех в свою ярангу, где выставил обильное угощение — остатки оленьего окорока, уже сильно высохшего и почти потерявшего вкус, свежую нерпятину и прошлогодний копальжен, пронизанный синеватыми прожилками, приятно и остро щекочущим языком. Когда дошли до чаепития, Першин сказал Каготу:

— Скажи там, на корабле, что завтра у нас большой праздник — Первое мая! Пусть приходят.

Когда Кагот передал начальнику экспедиции приглашение, Амундсен спросил:

— Это чукотский праздник?

— Нет, похоже, что это праздник большевиков,— ответил Кагот.— Раньше у нас такого не было. Был только праздник спуска байдар, затем килвэй³, а такого, чтобы трудовые люди праздновали, не слышал.

— Ну что же, господа, это, очевидно, государственный праздник Советской республики, и мы, находящиеся на территории этой страны, должны оказать уважение. Прежде всего надо поднять советский флаг,— сказал Амундсен.

— Советского флага у нас нет,— напомнил Ренне, отвечающий на «Мод» за корабельное имущество.

— Придется срочно изготовить,— распорядился начальник.

На корабле нашлось достаточно красного кумача. Ренне вырезал ножницами из темной материи изображение серпа и молота и нашил их на полотно флага. По просьбе Першина он изготовил

³ К и л в э й — праздник молодого оленя.

еще несколько флажков и даже написал лозунг на красном полотнище, растянутом на двух палках: «Да здравствует 1 Мая!»

Весенний свет, усиленный отражением от снега, бил в иллюминаторы. За долгий солнечный день снег заметно подтаивал, а к вечеру его прихватывало морозом. На белой поверхности образовывался гладкий, зеркальный наст, отражающий светлое небо.

Кагот сидел на своем привычном месте перед иллюминатором и медленно писал. Раньше он торопился, быстро одну за другой выводил цифры. Но спешка первых дней давно прошла: так можно упустить заветное, магическое число. К тому же цифры стали уже такими большими, что на написание даже одной уходило много времени.

Сегодня у него было какое-то особое, возбужденное настроение. Может, причиной этому разговор с Каляной? Или весна?.. Весна... Начало нового отсчета жизни. Именно в это время по-настоящему начинается новая полоса в жизни человека. И все окружающие связывают с наступающей весной свои надежды: Алексей Першин ждет пароход с товарами, книгами и деревянными домами для школы и больницы; Амос намерен взять сына на первую весеннюю охоту и начать учить его нелегкому делу добытчика; Гаймисин и вправду надеется вернуть себе зрение; Умкэнеу вся светится счастьем и радостью в ожидании замужества; члены экспедиции Амундсена смотрят вперед, на вершину Земли, на Северный полюс. А какое будущее у него, Кагота? Возможность отправиться вместе с тангитанами на вершину Земли уже не так привлекала, как вначале. Еще неизвестно, что там, на Северном полюсе. И нужен ли этот полюс ему, Каготу? Даст он что-то для счастья его дочери?

Ну а найдет ли он свое магическое число? Станет он другим или останется таким, какой есть? Стать другим? Разве это возможно? Человек рожден со своей судьбой и своей, данной ему богами внешностью. Единственное, что можно изменить, это имя. И то лишь для того, чтобы избежать уйвэла.

Написав очередное число, Кагот останавливался, смотрел на слегка светящийся под небесным сиянием снег и думал.

Кто он сам, Кагот? Ну отрекся от своей судьбы. Хорошо ли ему от этого? Его несет ветром жизни по огромному пространству чередующихся дней и ночей, и он не знает, где остановится, где прибьет-ся. Единственная надежда — желанное конечное число...

Почему все в один голос говорят, что такого числа нет? Разум ему подсказывает, что такое число есть. Или всеобщее заблуждение многих людей сильнее истины, открывшейся одному человеку?

Снег светлел. Взросло ненадолго ушедшее за горизонт солнце. Вскоре оно совсем перестанет прятаться, и на побережье наступит долгий солнечный день. Этот день откроет дорогу «Мод», и тангитаны уплывут. А что будет с ним? Что будет с маленькой Мери?

Кагот осторожно поднялся со стула и на цыпочках подошел к спящей девочке. Она лежала лицом к нему, раскрасневшаяся от сна. Иногда ее ресницы вздрагивали, маленькие пухлые губки шевелились, словно она что-то говорила в другом бытие, в многокрасочных снах, которые не умела рассказывать. Да, она очень похожа на Вааль... Только себе, только наедине с собой Кагот мог признаться, что с числами он связывал смутную надежду каким-то неведомым образом снова увидеть Вааль... Бывает ли такое? Но с кого-то должно начаться это чудо, которое люди затаенно ждут многие века!

С приближением утра мысли начали путаться, и порой Кагот ронял отяжелевшую голову на стол, прямо на тетрадь с аккуратно написанными рядами числами.

Он не слышал, как поднялся Амундсен, прошел на камбуз, разжег огонь и поставил на него большой кофейник.

Кагот вскочил, когда в его ноздри ударил запах сварившегося кофе.

Он быстро умылся и принялся лихорадочно помогать Амундсену, позабыв даже поздороваться с ним. Он стремительно промчался по палубе, принес с близкой снежницы новой свежей воды, кинулся накрывать на стол в кают-компании, путая приборы, кружки и тарелки.

Амундсен молчал.

Но когда все уселись за стол, то, прежде чем приняться за еду, начальник, постучав ножом по стакану, попросил внимания.

— Перед тем как объявить сегодняшний распорядок дня,— начал он суровым голосом,— я бы хотел поставить в известность всех членов экспедиции о сегодняшнем проступке Кагота, в результате чего мы едва не лишились завтрака. Я бы не хотел углубляться в причину подобного поведения, которое усугубилось в последнее время. Ваше личное дело, господин Кагот, заниматься всем чем угодно в свободное от работы время. Единственное, чего я требую от членов своей экспедиции (а вы, господин Кагот, имеете честь таковым являться), это неукоснительного исполнения своих обязанностей. Сегодня, господин Кагот, я вам объявляю публичное порицание и хочу поставить вас в известность, что, если вы не измените своего отношения к своим обязанностям, нам придется расстаться... Поймите меня, господин Кагот, мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам, но как начальник экспедиции я буду вынужден это сделать. Вы поняли, что я вам сказал, господин Кагот?

Кагот молча кивнул. Сказать в свое оправдание ему было нечего.

28

В назначенный час все члены экспедиции собрались на палубе, чтобы вместе двинуться в становище. Надев на Мери самую нарядную камлейку, Кагот вышел вместе с девочкой из каюты на яркое солнце. На главной мачте «Мод» реяли два флага — норвежский с синим крестом на алом фоне и флаг Советской республики, ярко-красный, пронизанный весенними солнечными лучами. Взглянув на яранги, Кагот не удержал возгласа удивления: на всех трех ярангах плескались красные флаги. Все они были одинаковы, и трудно было по ним установить, свершилась ли мечта Умкэнеу, переехал ли сегодня Алексей в ее ярангу.

Ренне раздал сделанные им маленькие норвежские и советские флажки, и все во главе с начальником экспедиции двинулись к берегу, держась хорошо знакомой тропинки. Мери сначала шла вместе с отцом, но потом Сундбек взял ее на руки и посадил на плечи. Девочка махала обоими флажками и кричала с высоты что-то свое, очень веселое.

Разряженные жители становища выстроились возле ближней к берегу яранги Каляны. Амос и Гаймисин были в хорошо выделанных замшевых балахонах, богато украшенных разноцветными полосками. Женщины надели новые камлейки, сшитые из подаренной норвежцами материи. Умкэнеу вдобавок нацепила на грудь большой красный бант.

Когда гости подошли ближе, Першин, одетый в белую камлейку, украшенную таким же красным бантом, как у Умкэнеу, взмахнул рукой, и хор, состоящий из двух детей Амоса, Гаймисина, Умкэнеу и самого Першина, старательно и довольно слаженно запел:

Вставай, проклятем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!
Это есть наш последний и решительный бой,
С Интернационалом воспрянет род людской!

— Это что за песня? — тихо спросил Амундсен у Олонкина. — Похожа на гимн.

— На царский не похож, — ответил Олонкин.

— Ну разумеется, у них же новое правительство, — догадался Амундсен, — значит, и новый гимн. Переведите, пожалуйста...

Хотя было ясно, что поющие в большинстве своем не понимают слов, произносили они их довольно внятно. Внимательно выслушав краткий перевод, Амундсен заметил:

— Решительные слова!

Когда пение «Интернационала» закончилось, Алексей Першин встал на приготовленную заранее нарту и начал речь:

— Тумгытури ⁴! Товарищи и господа! Сегодня впервые на протяжении своей тысячелетней истории жители этого побережья отмечают светлый праздник трудящихся — Первое мая. Этот праздник дошел и сюда, до самого глухого уголка Чукотского полуострова. Такие же митинги сегодня происходят и в Уэлене, и в Ново-Мариинске, и в Якутске, и в других местах нашего Севера... Нашей революции всего четвертый год. Но эти годы равны иным столетиям в истории человечества, этим годам иная мера! Мы начинаем отсчет новой эры...

Стоящий рядом Олонкин переводил слово в слово, не торопясь, потому что Першин говорил размеренно, медленно, давая возможность осмысливать сказанное.

— Новая, советская власть крепко устанавливается на Чукотке, — продолжал Першин. — Повсюду создаются новые органы власти — Советы. Следующим нашим шагом будет объединение трудящихся охотников и оленеводов в артели по совместной работе, для того чтобы легче было добывать зверя, пасти оленей. Потом мы построим здесь, на берегу Чаунской губы, культурную базу, откуда по всей тундре и ледовому побережью разойдутся великие идеи преобразования мира на основе справедливости: кто не работает, тот не ест!

— Вот это хорошо! — заметил Амундсен, когда Олонкин ему перевел. — С этим я полностью согласен!

— Да здравствует революция! Да здравствует Первое мая! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Дети Амоса держали за две палки полотнище с лозунгом, рядом с ними с красным флагом, сшитым парусным мастером Ренне, стояла гордая Умкэнеу.

— Товарищи и господа! — сказал Першин. — Я приглашаю вас совершить торжественное шествие.

Он прыгнул с нарты, взял из рук Умкэнеу флаг и пошел вперед. За ним двинулись дети Амоса, сам Амос с женой, Гаймисин, держащийся за подол Тутыны, Каляна, а замыкали шествие члены Норвежской полярной экспедиции. Люди с флагами и лозунгом сделали круг по становищу, обойдя все три яранги, спустились к байдаре, засыпанной тающим снегом, оттуда прошли мимо магнитного павильона и снова по протоптанной тропе поднялись вверх к яранге Амоса.

— А теперь, товарищи, — сказал Першин, — прошу вас на концерт по случаю праздника. Концерт состоится в яранге Гаймисина.

Пол в чоттагине был тщательно выметен, а слева висел небольшой дополнительный полог, которого раньше в яранге Гаймисина не было.

Передняя стенка-занавес большого полога была приподнята и подперта палкой, открывая внутренность спального помещения, в глубине которого виднелись погашенные, почерневшие от жира и копоти каменные светильники.

⁴ Тумгытури — товарищи.

— Пусть все садятся в чоттагине! — распорядилась Умкэнеу. — А детишки и мой отец пусть устроятся на бревне-изголовье. Алексей, иди сюда! А вы, господин Амундсен, как большой гость, возьмите вот этот китовый позвонок. На нем вам будет удобнее.

Когда все расселись, Умкэнеу встала перед пологом и громко объявила:

— Начинаем веселье, которым мы отмечаем праздник трудящихся людей всей земли — Первое мая!

Обернувшись назад, она взмахнула рукой, и тот же хор запел:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Слушая перевод Олонкина, Амундсен думал о том, что за долгие годы путешествий по неизведанным краям планеты он сегодня присутствует, быть может, на самом интересном, жизненно важном событии. Что это за люди — большевики? Какая в них сила убежденности в своей правоте! А впрочем, если задуматься, что может быть благороднее, чем посвятить себя решению самых насущных для человечества задач — накормить всех голодных, осчастливить обездоленных, утешить обиженных? Как это они сегодня пели: вставай, проклятьем заклеименный, весь мир голодных и рабов...

Исполнив несколько русских песен, жители становища перешли к своим исконным песням и танцам. Как-то незаметно получилось, что Умкэнеу, которую еще вчера никто не хотел признавать взрослой, сегодня оказалась главной заводилой праздника. Она достала большой бубен и, слегка смочив его поверхность водой, подала отцу. Изменчивое лицо слепого озарилось, несколько раз легонько ударив по натянутой коже гибкой палочкой из китового уса, он запел песню — танец радости. К нему присоединились все — и Амос, и Гутына, и Умкэнеу, и даже Кагот, не выдержав, подпел своим чуть хрипловатым, но выразительным голосом.

Умкэнеу вышла на небольшое свободное пространство перед очагом и начала танец. Она исполняла медленную часть танца с полуприкрытыми глазами, как бы подчеркивая девичью стыдливость. Кагот смотрел на нее и думал о Вааль. Он вспомнил: первый росток растущей нежности к будущей жене он почувствовал, когда увидел ее в танце и понял, что его подруга по детским играм уже больше не маленькая девочка, а взрослая женщина и что танец, который она исполняла, выражал ее затаенные желания и надежды.

Когда резким ударом Гаймисин перешел к другой части танца, Умкэнеу, восторженно уставившись, на миг замерла, ее сильное, зрелое тело напряглось, и вторую половину танца она исполнила в быстром, стремительном темпе.

Ее наградили громкими возгласами восхищения, а начальник Норвежской экспедиции воскликнул:

— Bravo!

Гром бубнов и старые мелодии всколыхнули воспоминания в душе Кагота, и он, дав знак Гаймисину, вышел на место, с которого только что ушла Умкэнеу.

Это был танец Ворона, длинный танец, повествующий о происхождении земли, воды и неба. Танец сказочный, трудный для исполнения.

Лицо Кагота сначала застыло в каменной неподвижности, потом на нем возникла улыбка, которая так и осталась как маска, пока танцор движениями рук и тела показывал, как летящий в крошечной вечной тьме Ворон создавал землю, воду, небо. В действиях священной птицы зрители видели предысторию своей обители — земли, все, что делал Ворон-Кагот, было преисполнено для них глубокого

значения. Амундсен широко открытыми глазами наблюдал за танцем-повествованием, чувствуя в душе такое волнение, которое он испытывал лишь при слушании симфонического произведения или на религиозной церемонии. В этих простых и примитивных на первый взгляд звуках и телодвижениях была та таинственная сила искусства, которая объединяет все человеческое на земле.

Когда закончился концерт, Умкэнеу позвала всех в ярангу Кальяны, где было приготовлено праздничное угощение. Она все продумала. В длинных деревянных блюдах лежали тонко нарезанный копальхен, свежее нерпичье мясо и старая копченая оленина, громоздились пластинки настроганной рыбы, искрилась раздробленная в каменной ступе нерпичья печень.

Прежде чем приступить к трапезе, Амундсен встал и торжественно объявил:

— Мы искренне, сердечно благодарим вас за приглашение и за такой прекрасный праздник. Однако мы тоже не бездельники. И если этот майский день — праздник трудовых людей, то мы тоже имеем отношение к нему. Поэтому после этого обеда мы приглашаем вас всех — всех до одного человека — на большое чаепитие на наше экспедиционное судно...

Часа через полтора процессия, уже без флагов и лозунга, направилась к вмерзшему в лед кораблю.

Пока накрывался стол в кают-компани, Першин сказал Амундсену:

— Мы с Умкэнеу поженились...

— От души поздравляю! — воскликнул Амундсен. — Что же вы мне раньше об этом не сказали? Мы бы приготовили подарки...

— Нет, нет, спасибо, нам ничего не нужно, — покачал головой Першин. — Я большевик, а большевики привыкли обходиться минимумом вещей.

— Минимум минимумом, — заметил Амундсен, — но женитьба — это такое событие, которое должно оставить след на всю жизнь. Извините меня, господин Першин и госпожа Умкэнеу, но поскольку вы находитесь на моем корабле, позвольте нам все же отметить этот день хотя бы в пределах наших возможностей.

Он позвал Ренне и Сундбека и велел им спуститься в продовольственный трюм и принести яства, сберегаемые для особых случаев. Потом он извлек виктролу из инкрустированного ящика и завел музыку.

Пристроившись рядом с музыкальным ящиком, Гаймисин качал в такт головой и пытался даже подпевать. Беседа шла с помощью Олонкина и Першина. Услышав еще раз историю прозрения уэленского эрмэчина Тынэскына, Амундсен сказал:

— Об этой истории я уже слышал и как человек, когда-то изучавший медицину и не потерявший к ней интереса до сих пор, могу сказать, что такие операции иногда заканчиваются успехом.

Тем временем стол заполнялся сказочными кушаньями. Детишки Амоса с затаенным дыханием смотрели за тем, как Кагот приносил то одно, то другое невиданное блюдо, открывал банки, ставлял чашки и стеклянные бокалы на тонких ножках.

В довершение всего Сундбек воздрузил на стол большой букет белых роз, искусно сделанных из тонкой папиросной бумаги. Когда он успел такое смастерить, одному богу известно, но цветы произвели удивительное впечатление на Першина, и он дрогнувшим от волнения голосом сказал:

— Как живые! Смотри, Умкэнеу, такие цветы дарят невесте, когда совершается тангитанский свадебный обряд.

— Как красиво! — воскликнула Умкэнеу.

Рассадив гостей и членов экспедиции и уступив жениху и невесте места во главе стола, Амундсен дал знак разлить шампанское

по бокалам, а когда пенистая шипящая жидкость наполнила прозрачные сосуды, он поднялся и торжественно произнес:

— За здоровье новобрачных!

Амос, Чейвынэ, Тутына, детишки, Каляна и Умкэнеу пристально, стараясь не упустить ни одного движения, следили за тем, как большой норвежский тангитан легонько стукнул краем своего наполненного сосуда о край сосуда Першина, затем Умкэнеу, и только после этого поднес его ко рту. Обо всем, что происходило за столом, Тутына тихонько рассказывала мужу, и на лице Гаймисина отражалось напряженное внимание. Услышав звон бокалов, Гаймисин тихо произнес:

— Какомэй!

— Дорогие друзья! — сказал Амундсен, поднимая второй бокал. — Я не знаю, удастся ли нам еще раз собраться в таком дружном кругу, но мне бы хотелось сказать вам многое именно сегодня. Прежде всего я хочу от всей души поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказали нашей экспедиции. Наше королевское правительство, думаю, отметит это, когда мы вернемся домой и доложим его величеству о том, как вы скрасили нам трудности зимовки. Какими бы высокими и красивыми словами ни называли нас за то, что мы делаем по исследованию белых пятен нашей планеты, я не могу скрыть своего восхищения перед тем вечным подвигом, который совершаете вы, обживая самые суровые и пустынные пространства земли. Наши свершения всегда будут в тени ваших!.. И еще — за долгую зиму у нас не было ни одного повода к недовольству друг другом. Это свидетельствует о том, что, какими бы разными ни были жизненные обычаи, привычки, верования, общечеловеческое дружелюбие сильнее всего. Пусть наш маленький опыт сотрудничества станет примером для всех. Когда мы вернемся в Европу, мы расскажем о вас, о вашем маленьком становище и тепло нашего человеческого общения сохраним в наших сердцах на всю жизнь.

Амундсен перевел дух и, по-прежнему держа бокал в руке, с улыбкой обернулся к молодоженам.

— Сегодня мы стали свидетелями прекрасного события в жизни вашего становища — Алексей Першин и Умкэнеу стали мужем и женой. Вся наша полярная экспедиция сердечно поздравляет их со вступлением в брак и просит принять наши скромные подарки.

Амундсен сделал знак, и Сундбек с Ренне внесли в кают-компанию яркое шерстяное одеяло, несколько свертков с постельным бельем, медный рукомойник, украшенный чеканкой. Потом появился складной столик со стулом, нитки, бусы, бисер и набор продуктов.

Умкэнеу со счастливым видом принимала подарки и в знак благодарности широко улыбалась и всем кивала.

Допив шампанское, гости принялись за чай. Зная привычки своих соплеменников, Кагот поставил на плиту два больших чайника и едва успевал наполнять чашки и заваривать свежий чай.

Амос и Амундсен склонились над схемой расположения ледяных полей и долго обсуждали, в каком направлении следует ожидать вскрытия льдов в эту весну.

Ренне повел женщин в мастерскую и показал, как строчит швейная машинка, а Олонкин развлекал ребятишек тем, что без конца крутил ручку виктролы и менял пластинки.

Гости разошлись перед восходом раннего весеннего солнца.

Проснувшись раньше всех, Кагот, прежде чем пойти на камбуз, посмотрел с палубы на становище: теперь флаг оставался лишь над ярангой Гаймисина, свидетельствуя о том, что представительство советской власти сменило место своего пребывания.

Весна на берегу Чаунской губы в 1920 году была изменчивой, капризной, порой думалось, что настоящее лето никогда не наступит в этом пустынном месте: ясное небо часто покрывалось плотными облаками, по несколько дней солнце вообще не показывалось и чудилось, что возвращается полярная ночь. Временами раздражалась такая пурга, какой и зимой не бывало. Ураганный ветер свистел в вантах, грозил сорвать развешанные для просушки меха, медвежью же шкуру, подарок Першина, пришлось убрать в трюм. Однако, несмотря на все это, деятельная подготовка к освобождению от ледового плена не прекращалась ни на минуту, и начальник экспедиции пользовался каждой возможностью, чтобы подбодрить своих товарищей. Ему и самому вовсе не улыбалась перспектива третьей зимовки, когда до Берингова пролива рукой подать, а до ледового поля, в который предполагалось вмерзнуть, чтобы продрейфовать с ним к Северному полюсу, всего лишь дня полтора ходу по чистой воде.

18 мая приехал Свердруп. Сначала Амундсену показалось, что это едут очередные гости, и он с досадой подумал, что опять надо прерывать работу и в который раз объяснять, что он не торгует и не имеет для продажи спиртного. Лишь только когда эздок поднялся с нарты и подошел к самому трапу, он узнал Свердрупа.

Несмотря на тяготы долгой зимней поездки, путешественник чувствовал себя хорошо. Единственное, чего он попросил, когда утихло первое ликование встречи: срочно — баню!

— Я вижу у вас тут большие перемены! — сказал он за ужином, с интересом следя за подававшим кушанье Каготом, за сидящей на своем высоком стульчике Мери. — Когда я увидел над одной из яранг развевающийся красный флаг, то подумал, что сбился с дороги и каюр привез меня совсем в другое место. И только разглядев знакомый силуэт «Мод», успокоился и понял, что я дома. Расскажите же ради бога, что тут у вас произошло?

— Здесь установлена советская власть, — ответил Амундсен. — Яранга, над которой развевается красный флаг, — официальная резиденция представителя новой власти Алексея Першина. Он же является и учителем.

— Вот не думал, что большевики добрались уже сюда! — заметил Свердруп. — Вы не представляете, каких противоречивых рассказов о них я наслушался в тундре. Говорят, что они отбирают имущество, делят между собой все, что можно поделить, вводят общественное пользование не только вещами, но и женами!

— Ну у нас до этого не дошло! — засмеялся Амундсен. — Что касается Першина, то он несколько не похож на тех, о которых вы рассказываете. Это нормальный интеллигентный парень, увлеченный идеями Ленина. У него грандиозные планы превращения здешнего становища в культурный и просветительный центр региона. Кстати, недели две назад он женился на здешней красавице Умкэнеу.

— Но и вы, вижу, зря не теряли времени, — сказал Свердруп, когда Кагот, подав чай и забрав дочку, удалился к себе в каюту. — Каготу впору служить не здесь, а в королевском дворце! Небось и грамоте научили?

— Пытались, — с усмешкой ответил Сундбек, — но он увлекся математикой, а письмо совершенно забросил и, похоже, не собирается к нему возвращаться.

— В данном случае я бы не сказал, что Кагот увлекся математикой, — с горечью заметил Амундсен. — Скорее всего он впал в заблуждение и никак не хочет внять здравому смыслу. — И Амундсен рассказал про навязчивую идею Кагота о конечном числе. — Все было бы ничего, — с грустью продолжил он, — но Кагот стал пренебрегать своими обязанностями. Вчера отказался мыться в бане, хотя еще недавно

его оттуда было не выгнать. Как он объяснил свое нежелание, Сундбек?

— Опасается, что у него кожи не останется,— с улыбкой сказал Сундбек.— Но когда я заглянул к нему в каюту, он, как всегда, сидел перед иллюминатором и писал свои числа. Он страшно перепугался, закрыл грудью тетрадь, словно боялся, что я ее отберу.

— Вчера подал подгоревшие бифштексы и не вымыл посуду,— продолжал Амундсен.— Как ни прискорбно, придется, видно, с ним расстаться.

— Девочку жалко,— вздохнул Сундбек, привязавшийся к Мери, казалось, больше всех на корабле.

— Ну, девочка пусть побудет у нас до нашего отплытия,— сказал Амундсен.— Я, кстати, тоже очень привык к этому прелестному созданию.

— Аборигены вообще трудно приспособляются к новому образу жизни,— заметил Свердруп.— За время поездки по стойбищам и становищам я пришел к убеждению, что чукчи — это гордый и независимый народ, даже с заметной долей высокомерия по отношению к людям другой национальности. В чукотском языке все, что относится непосредственно к их укладу жизни, к их обычаям, все, что соответствует их представлениям, это настоящее, истинное. И само собой разумеется, что все чужое — это ненастоящее. Даже собственное название их — луоравэтлан — означает: человек в истинном значении этого слова.

— Эскимосское название иннуит переводится точно так же,— сказал Амундсен.— Мне кажется, тут нет оснований говорить о высокомерии. Наоборот, на основании нашего опыта общения со здешними аборигенами мы убедились, что это очень дружелюбные, всегда готовые прийти на помощь люди.

— Теперь о большевиках...— продолжал Свердруп.— В Якутию с юга проникли остатки войска царского адмирала Колчака, который пытался восстановить старую власть в Сибири. Но они потерпели жестокое поражение от Красной гвардии, от большевиков... Что же касается уклада жизни оленных людей, с которыми мы преимущественно общались, то он остался в том же виде, в каком, думаю, просуществовал тысячелетия. У меня буквально руки чешутся от желания скорее приступить к обработке собранных этнографических материалов.

— Теперь нам осталось дожидаться Хансена и Вистинга, и тогда наша экспедиция будет в полном сборе,— сказал Амундсен и добавил, обращаясь к Свердрупу: — Мы время от времени получали о них сведения от проезжавших здесь торговцев и путешествующих чукчей. Первоначально наши товарищи пытались подать телеграммы через радиостанцию зимующего у мыса Сердце-Камень русского парохода «Ставрополь». Но радиостанция на судне не работает. Пришлось им двигаться дальше, к мысу Дежнева, откуда рукой подать до Нома на Аляске, где имеется довольно мощная радиостанция. Но в зимнее время из-за вечно движущегося льда Берингов пролив непроходим. Поэтому наши путешественники должны были проделать путь до Ново-Мариинска, расположенного на южном берегу обширного Анадырского залива. По моим расчетам, они уже добрались до устья реки Анадырь и сейчас находятся на обратном пути.

Перед тем как пойти к себе в каюту и лечь спать, Амундсен вышел на палубу и заметил горящий огонек в иллюминаторе каюты Кагота.

Бедняга! Очевидно, все же у него какое-то нарушение умственной деятельности, возможно, это результат его шаманства. А ведь во всем другом он вполне нормальный, приятный и сообразительный человек! Неужели сильное, а тем более ошибочное увлечение может

так захватить человека, что он пренебрегает разумными советами, предостережениями опытных людей?

Размышляя об этом, Амундсен вдруг остановился от неожиданно возникшей мысли: а чем, в сущности, он отличается от Кагота? Разве его самого не называли фанатиком, безумцем, пренебрегающим советами разумных и опытных людей? Это было, когда он объявлял о своем намерении пройти Северо-Западным проходом, открыть магнитный полюс Земли, когда затем пустился к Южному полюсу через огромный ледовый континент на собачьих упряжках, без того великолепного технического снаряжения, которое имелось у его соперника капитана Скотта. И теперь, когда он намеревается заморозить «Мод» в лед и продрейфовать вместе с ним к Северному полюсу, его снова называют безумцем, напоминают, что даже опытному полярному исследователю Фритьофу Нансену не удалось этого сделать.

Тем временем Кагот сидел в своей каюте и снова писал и писал числа. Хорошо в ночной тишине не только следить за возрастанием цифр, но и чувствовать в себе нарастание уверенности в существовании магического числа. Написав очередное число и несколько помедлив перед следующим, Кагот мысленно обозревал расстояние между этими двумя числами. С одной стороны, очевидно оно выражалось всего-навсего в единице, с другой — это была лишь маленькая полоска белого поля, отделяющая одну цифру от другой. Но это только на первый взгляд. На самом деле, когда вдруг окажется, что следующее число и есть то самое, искомое, между ними может быть расстояние в вечность. Иногда путешествие по числам казалось Каготу бесконечным восхождением: кажется, вот она, впереди, желанная вершина, взбираешься на нее, теряя последние силы, и оказывается, что за ней сияет снегами другая — еще более прекрасная и еще более недоступная...

Самое трудное — вовремя прекратить писание и найти в себе силы захлопнуть тетрадь. Но еще долго после этого перед закрытыми глазами сменяются написанные цифры, перегоняя друг друга, путая последовательность. Может быть, правы тангитаны, утверждая, что никакого конечного числа не существует и все, что испытывает Кагот, не что иное, как особый вид новой, неизведанной болезни? Но прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, Кагот не обнаруживал в себе признаков болезни, если не считать слабой головной боли от бессонной ночи. Написав уже под утро очередное число, Кагот заставил себя ополоснуть лицо холодной водой, чтобы отогнать сонливость, и отправился на камбуз готовить завтрак. Прежде всего он быстро вскипятил кофе, к которому здесь пристрастился, и, выпив несколько глотков, почувствовал в себе утреннюю бодрость. Оставленная в каюте тетрадь манила, но, сделав над собой усилие, Кагот принялся за приготовление завтрака. На этот раз он решил напечь оладий, не требующих столько времени, как полюбившиеся всем белые, пышные булочки. Замесив тесто и поставив на огонь большую сковородку, Кагот сбегал к себе в каюту и успел написать еще несколько чисел.

Когда он вернулся на камбуз, сковородка уже нагрелась. Шлепнув на нее несколько оладий, он сообразил, что, пока эта порция печется, он сможет написать следующее число. Вернувшись на камбуз, Кагот обнаружил, что времени, затраченного на написание очередного числа, как раз хватило на то, чтобы оладьи подрумянились с одной стороны. Довольный своим открытием, Кагот перевернул оладьи и, подложив дров в плиту, вернулся в каюту.

На этот раз он решил написать несколько чисел, потому что, пока разгорятся дрова, пройдет чуть больше времени. Утренние мысли о тщетности поисков магического числа улетучились, едва только он снова начал писать. К нему вернулось то состояние внутреннего напряжения, которое он всегда испытывал наедине с тетрадью. Все это

напоминало охоту, когда идешь по льду и, хотя думаешь о вещах, далеких от поисков ускользающего зверя, какая-то часть твоего тела все время настороже. Нерпа или белый медведь могут появиться неожиданно, в любое мгновение, но они не могут застать охотника врасплох. Точно так, когда сидишь у разводья на ледовом берегу и сторожишь тюленя, глаза равнодушно скользят по гладкой водной поверхности, мысли могут быть где угодно, но стоит появиться круглой блестящей голове нерпы, как все внимание тотчас переключается на нее...

Какой-то назойливый запах проникал в каюту, но Кагот не обращал на него внимания, продолжая методично записывать числа одно за другим, пока его не привлек шум: кто-то бежал по палубе и кричал. Кагот прислушался.

— Пожар! Горим!

И тут только до него дошло: оладьи! Там на раскаленной сковороде горят оладьи!

Отбросив тетрадь, Кагот выскочил из своей каюты и ринулся на камбуз через заполненную вонючим, горьким дымом кают-компанию.

Дым и гарь встретили его в раскрытой двери камбуза, где орудовал едва одетый Амундсен. Ворвавшись туда, Кагот увидел разъяренное лицо начальника экспедиции, вымазанный в саже большой острый нож, напоминавший плавник хищной косатки.

— Идите в свою каюту! — услышал он грозный окрик. — Вы здесь больше не нужны!

Кагот покорно вернулся в каюту. Разбуженная шумом и криками Мери сидела на своей койке.

— Все, — сказал ей Кагот мрачно, — кончилась наша тангитанская жизнь...

Странно, он не чувствовал ни сожаления, ни даже раскаяния. Как будто прервался долгий неспокойный сон, он наконец проснулся и надо заниматься привычными, может, иной раз даже скучными делами, то есть надо просто жить.

Одев девочку и выпустив ее на палубу погулять, Кагот принялся собирать свои нехитрые пожитки. На самом дне рундука хранился его дорожный мешок из мандарки — выбеленной нерпичьей кожи. Снял со стены барометр, свою первую тангитанскую вещь. А вот тетрадь. Погладив обложку, Кагот положил тетрадь на самое дно вместе с запасом новых, еще не заточенных карандашей. Что еще? Кагот открыл стенной шкафчик и увидел постельное белье, которое так ни разу и не постелил на свое ложе. Интересно, каково лежать на белоснежной материи? Жаль, что не довелось попробовать. Все некогда было, да и забыл он, что в шкафу спрятана материя для сна.

Он огляделся. Вроде ничего не осталось. Его чукотская одежда, в которой он пришел на судно, хранилась на палубе, в холодной кладовке. А эту, наверное, надо сдать.

Кагот вздохнул и сел на койку.

Придется возвращаться в ярангу Каляны. Больше некуда. Она, наверное, не будет против: ведь тангитан, на которого у нее были слабые надежды, переселился к Умкэнеу... Что же, может быть, это судьба? Она хорошая женщина и всегда заботилась о Мери...

Выходит, что Северный полюс увидят без него. Самую вершину Земли. Взойдут на нее и, быть может, вспомнят Кагота. Интересно, вспоминают тангитаны здешних людей, когда возвращаются на свою землю?

Послышался стук в дверь, и в каюту просунулась голова Сундбека.

— Иди, Кагот, завтракать.

В кают-компании было пусто. На столе оставался только один прибор. Кагот сел. Сундбек принес омлет из яичного порошка с беконом, поджаренный вчерашний хлеб, масло, джем и кофе и поставив все это перед Каготом, сам уселся напротив.

— А где Мери? — спросил Кагот, принимаясь за еду.

— Она играет на льду, — сообщил Сундбек, с сочувствием глядя на него.

— Я собрал свои вещи, — сказал Кагот. — Только детские не успел.

— Но тебя пока еще никто не гонит с корабля, — сказал Сундбек.

— Однако я больше не могу оставаться здесь, — вздохнул Кагот. — Вы все были очень добры ко мне...

— Мне жалко, что Мери, которая так привыкла к здешней жизни, снова вернется в ярангу, — сказал Сундбек.

— Что делать? Она родилась здесь и, видимо, не предназначена для другой жизни...

— Ну пусть она побудет с нами, пока мы не отплывем. — В голове Сундбека слышалась неподдельная теплота. — Мы все так привыкли к ней...

Однако Каготу не сразу удалось покинуть корабль. Во время обеда между членами экспедиции произошел разговор, который отсидившийся в своей каюте Кагот не слышал.

— Прежде чем объявить Каготу о том, что он уволен и должен, естественно, покинуть корабль, — начал Амундсен, — мне бы хотелось довести до вашего сведения это мое решение. У вас есть какие-нибудь соображения?

Все молчали. Всем было тягостно. Амундсен продолжил:

— Кагот за последнее время стал откровенно пренебрегать своими обязанностями и гигиеническими правилами, которых должен был неукоснительно придерживаться. Несколько раз я его предупреждал, говорил, что, если он не вернется к прежнему добросовестному исполнению работы, нам придется расстаться. Но, увы, он не внял моим предостережениям.

— А я слышал рассказы о Каготе как о человеке весьма способном, отличном поваре и слуге, — с удивлением заметил Свердруп.

— Да, он и был таким, — сказал Амундсен.

— Я думаю, — заговорил Сундбек, — что часть вины за изменение в поведении Кагота лежит на мне...

— Что вы имеете в виду? — спросил Свердруп.

— Это я начал учить его счету, — сказал Сундбек.

— Да, все началось с чисел, — подтвердил Олонкин.

— Прямо какое-то наваждение нашло на него, — добавил Ренне. — До этого он был спокойный, нормальный человек. А как начал считать, писать числа, резко переменялся!

— Может, просто отобрать у него тетрадь и запретить ему писать числа? — предложил Свердруп.

— Давайте спросим самого Кагота, — предложил Сундбек. — Поставим ему условие: бросишь писать числа, вернешься к нормальному исполнению своих обязанностей — останешься на корабле.

Амундсен почувствовал скрытое сопротивление экипажа и напомнил:

— Господа! Не забывайте, что перед нами стоят большие задачи. Наша экспедиция, если говорить прямо, еще и не приступала к выполнению главной задачи — достижению Северного полюса. Хочу вам напомнить, что наши цели далеки от благотворительных, и, как начальник экспедиции, считаю обязанным отметить с дороги все, что может нам помешать... Но я вижу, что вам не хочется расставаться с Каготом. Поверьте, господа, и мне очень жаль, что наше сотрудничество с ним кончается так несладко. Присоединяюсь к мнению Сундбека, что часть вины лежит и на нас... Я согласен, давайте спросим Кагота.

Призванный Сундбеком Кагот предстал перед членами экспедиции в непривычном виде. Он успел достать свою кухлянку и малахай, переделался, а одежду, выданную ему на корабле, аккуратно сложил.

— Садитесь, Кагот,— сдержанно пригласил его Амундсен.

Кагот послушно уселся на свое привычное место, ближе к двери на камбуз.

После небольшой паузы Амундсен заговорил:

— Вы понимаете, Кагот, что после всего случившегося мы должны расстаться с вами. Но нас связывает так много хорошего, что мы все сообща решили сначала спросить вас: как вы сами относитесь ко всему случившемуся?

Кагот ответил не сразу. Он обвел взглядом всех и сказал:

— Я решил уйти... Другого решения у меня нет...

— Но, Кагот, у вас есть выбор,— сказал Амундсен.— Если вы бесповоротно откажетесь от сумасбродной идеи найти не существующее на самом деле число и обещаете работать на камбузе так, как вы это делали в начале вашего пребывания на корабле, вы можете остаться... Но, повторяю, никаких чисел!

Какое-то подобие улыбки мелькнуло на лице Кагота.

— Нет,— сказал он твердо.— Я не могу отказаться от поисков магического числа. Я ухожу с корабля.

Амундсен обвел взглядом членов экспедиции и со вздохом произнес:

— Ну что ж... В таком случае не будем вас задерживать, господин Кагот.

Но Кагот ушел с корабля лишь к вечеру. Сначала его ознакомили с заработанной суммой денег, предложив отобрать товары по своему усмотрению. Этим он занимался почти целый день с Сундбеком и Ренне, обходя битком набитое чрево корабля. На палубу выносились мешки с мукой, сахаром, сухим молоком и крупами, сливочным маслом, патокой, чаем, табаком. Ко всему этому прилагался еще новый винчестер с запасом патронов. В довершение всего ему оставили всю одежду, в которой он ходил на корабле. Взглянув на кучу добра, Кагот удивился: неужели он столько заработал?

Пришлось сделать три ездки на нарте, чтобы перевезти все товары на берег. Дочку Кагот решил все-таки взять с собой.

30

— Ты насовсем возвращаешься на берег? — спросила Каляна, и в ее голосе Кагот уловил затаенную надежду.

— Да,— ответил Кагот.

— Это хорошо,— сказала Каляна.

Когда привезли последние свертки и большой кусок старого, уже ненужного брезента, который натягивали как тент над палубой, Кагот сказал Каляне:

— Я буду жить у тебя.

— Но у меня нет гостевого полога,— напомнила Каляна.— Его забрал Першин, когда переселился в ярангу Гаймисина.

— Ничего, я буду спать в твоём пологе, если ты не возражаешь.

— Как я могу возражать? — улыбнулась Каляна.— Мы ведь уже жили так. И для Айнаны найдется место.

— Ее теперь зовут Мери,— напомнил Кагот.

— Хорошо, пусть будет Мери.

Уложив девочку, Кагот и Каляна взялись разбирать и укладывать полученные в уплату за работу и в подарок товары.

— Ты стал как богатый тангитан,— заметила Каляна и вдруг испуганно сказала: — Все это надо побыстрее спрятать, пока учитель Алексей не увидел!

— Почему ты боишься учителя? — удивился Кагот.

— Он ведь большевик,— ответила Каляна.

— Мне казалось, что ты большевиков не боишься,— заметил Кагот.

— Я-то не боюсь, но ты должен его остерегаться.

— Почему? — никак не мог понять Кагот.

— Потому что ты богатый! А большевики богатых не любят и отнимают у них богатства. Вот придет он завтра утром к нам и скажет: давай-ка, Кагот, поделим все это твое богатство по большевистскому обычаю.

— А я и без него собираюсь это сделать, — спокойно сказал Кагот. — Ты же прекрасно знаешь наш обычай: если к кому-то приходит удача, он делится этой удачей с другими. Таков закон настоящей жизни и настоящих людей. Если, как ты утверждаешь, такой обычай существует и у большевиков, значит, они настоящие люди!

На следующий день Кагот разделил заработанное на равные доли и разнес все по ярангам. Першин попытался было вопреки предсказаниям Каляны отказаться от своей доли, но Умкэнеу объяснила ему:

— Таков наш обычай: удача делится на всех.

Молодая женщина расцветала с каждым днем. В ней исчезла девичья угловатость, резкость, в движениях появилась плавность и медлительность. Потчуя Кагота свежим чаем, она вдруг сказала:

— Переменил бы ты мне имя, Кагот...

— Разве тебе что-то угрожает?

— Пока ничего.

— Тогда какой смысл менять имя? От кого ты хочешь укрыть свой след?

— Мне кажется, что Алексею не нравится мое имя.

— Что ты! Умкэнеу — это очень хорошо! — возразил Першин.

— Он иногда зовет меня умкой, — жалобно произнесла Умкэнеу.

— Это я так сокращаю, — объяснил Першин.

— Умка — это медведь-самец, — растолковал Алексею Кагот, — а ее имя значит белая медведица, и его нельзя сокращать.

— Хорошо, не буду сокращать, — обещал Першин.

— Мне так хочется иметь настоящее тангитанское имя! — мечтательно проговорила Умкэнеу. — Как зовут твою сестру?

— Лена, Елена...

— Какое хорошее имя! — воскликнула Умкэнеу. — А если я его возьму?

— Как это можно вот так брать имена! — сердито сказал Гаймисин. — Это тебе не кэркэр — надел и снял!

И хотя Гаймисин говорил строго, в его словах чувствовалась радость оттого, что его дочь по-настоящему счастлива. Правда, Першин казался несколько растерянным от всего случившегося, но старался держаться солидно и серьезно. Он перенес учительские принадлежности в ярангу Гаймисина, и ребята теперь занимались здесь.

В яранге Амоса почти ничего не изменилось, если не считать какого-то подобия столика, на котором стоял таз, а на стене на гвозде висела чистая тряпочка.

— Учитель велит ребятам мыть руки, — как-то виновато произнес Амос. — Бумага-то белая, пачкается.

Приняв подарки сдержанно, как должное, потому что не полагалось по этому поводу ни выражать особой радости, ни благодарить, хозяин яранги сказал:

— Хорошо, что ты вернулся на берег. Скоро придет пора весенней моржовой охоты, и мне нужен товарищ на байдару.

— А учитель? — напомнил Кагот.

— В зимней нерпичьей охоте он достиг большого мастерства, — похвалил Амос, — однако на байдаре я его еще не пробовал. Ему еще многому надо учиться: как кидать гарпун, управляться с парусом.

Обходя яранги, разговаривая со своими земляками и соплеменниками, Кагот чувствовал, как затихает его встревоженное и опечаленное сердце, как возвращается к нему ощущение спокойствия и самоуважения. Как бы ни было хорошо на корабле, с каким бы дружеским отношением ни относились к нему, все же он не чувствовал себя там со-

вершенно своим. Да, его уважали, но в этом уважении была и доля любопытства, ожидания каких-то чудачеств с его стороны и особенно непрерывного удивления по поводу разных технических чудес. Но после истории с виктролой Кагот уже не проявлял большого интереса к техническим устройствам на корабле, чем несколько разочаровал тангитанов.

Здесь, на берегу, уважение к нему было неподдельным, прочным, таким, какое полагалось иметь мужчине, кто своими руками добывает пропитание и к кому приходит удача. А, как известно, удача приходит к тем, кто деятелен и не лишен смекалки.

Возвратившись к яранге Каляны, Кагот осмотрел жилище, обойдя его вокруг, поправил ремни, которыми были обмотаны большие камни. Эти камни как бы держали легкое жилище на земле, не давая ветру унести его в море. Кое-где в крыше из моржовой кожи виднелись дыры, заткнутые плоскими дощечками. Когда сойдет снег, надо будет снять старые, прохудившиеся кожи и на их место натянуть полученный в подарок большой кусок брезента. А так яранга еще крепкая и простоит долго.

Каляна распаковала тангитанскую одежду Кагота и повесила на стену в чоттагине. При свете костра на суконой куртке тускло поблескивали металлические пуговицы, и Кагот подумал, как бы он неплохо выглядел, если б сейчас вздумал вырядиться в эту куртку.

На видном месте, на бревне-изголовье, лежала толстая тетрадь. Кагот взял ее в руки и погладил. Теперь у него достаточно времени спокойно писать числа.

Кагот раскрыл тетрадь и посмотрел на последнее число. Сколько же это, если наполнить его какими-нибудь вещами, предметами? Например, сколько бы это было людей? Если их поставить в ряд, они, пожалуй, встали бы от Чаунской губы до Уэлена и еще завернули к югу, к устью великой реки Анадырь. Нет, так не вообразить это число. Наверное, только звездное небо с его бесчисленными светилами может выразить это непостижимое количество.

Кагот писал при свете жирника и слышал мерное дыхание дочери на оленьей постели, вздохи Каляны, которая долго не могла уснуть. Наконец она шепотом спросила:

— Ты не спишь, Кагот?

— Нет.

— Все пишешь числа?

— Пишу...

— А можно мне на них взглянуть?

— Можно, конечно, но ты в них ничего не поймешь.

— А вдруг мне что-нибудь откроется? — громким шепотом произнесла Каляна.— У меня хорошие глаза, зоркие. Бывало, охотник еще далеко во льдах, еще никто его не видит, а я вижу. И стезок у меня маленький, оттого мои торбаса не пропускают воду.

— Никому ничего не откроется, пока не найдено большое магическое число,— сказал со вздохом Кагот.

Каляна придвинулась ближе. Она была совершенно раздета, и оленья шкура, которой она накрывалась, сползла с нее. В полутьме освещенного жирником мехового полога ее тело словно светилось изнутри, и от кожи исходил такой жар, будто внутри бушевал огонь. И дыхание у Каляны было жарким, оно напоминало летний горячий ветер, который неожиданно дыхнет на тебя, когда медленно плывешь на байдаре вдоль берега мимо обрывающихся к открытому морю глубоких долин.

Кагот сделал движение, чтобы отодвинуться от женщины, но Каляна по-прежнему была близко и упругой, налитой грудью касалась его тела, туманя ему сознание и будоража кровь.

Огонек в жировом светильнике от прерывистого дыхания людей **змигну** и погас, и теплый меховой полог погрузился в жаркую тьму.

Каготу показалось, что он вдруг поплыл по длинной узкой реке с горячей, исходящей паром водой. Такие речушки и ручейки в изобилии текли в окрестностях Инакуля, и в детские годы вместе с другими ребятами Кагот с замиранием сердца забирался в них голыми ногами.

Женщина была горячая и чуть влажная от пота...

Когда она отодвинулась в изнеможении, Кагот вдруг ощутил возникшую вокруг него пустоту и в испуге протянул руку. Дотронувшись до теплого тела Каляны, он тихо сказал:

— Не уходи...

— Теперь-то я никогда от тебя не уйду,— ответила Каляна, и по темному меховому пологу рассыпался тихий женский смех.— Я тебя долго ждала. Иногда теряла надежду, а потом снова надеялась.

Вдруг какой-то внутренний толчок заставил вздрогнуть Кагота.

— Что с тобой? — испуганно спросила Каляна.

— Ничего,— шепотом ответил Кагот и снял руку с ее тела.

До боли, до звона в ушах он прислушивался и всматривался во тьму полога, в тот угол... Но не было ни голоса, ни движения. Ничего. Только рядом слышалось взволнованное дыхание счастливой женщины.

31

Проснувшись, Кагот в испуге открыл глаза, но увидев вместо люминатора внутренность мехового полога, освещенного неясным светом множества проплешин в шкурах, успокоился и снова почувствовал глубокое умиротворение. Из чоттагина слышались голосок Мери и пение Каляны. Слов было не различить, но даже постороннему было ясно, что поет счастливая женщина.

Высунув голову из полога, он увидел Каляну, освещенную костром и верхним светом из окошка, вставленного в крышу учителем Першиным.

— А у нас в становище гости,— сообщила Каляна.— Приехал Нутэн из Инакуля. Тот, второй, молодой, который был еще зимой.

— Где он остановился? — встревоженно спросил Кагот.

— У Амоса.

Сон и блаженное настроение мгновенно улетучились, и Кагот быстро выскользнул из полога. Одеваясь, он сказал:

— Он приехал за Мери!

— Как за Мери? — испуганно спросила Каляна.

— Они хотели забрать девочку еще зимой, но я не дал,— ответил Кагот.— Амундсен тогда взял нас под свою защиту.

— Кто же теперь защитит ее?

— Я отведу девочку на корабль! — решительно заявил Кагот и, взяв на руки ничего не понимающую Мери, бросился из яранги.

Как всегда, прежде чем подняться на палубу, Амундсен перечитывал сделанную накануне запись:

«9 июня. Великолепная ясная погода при слабом юго-восточном ветре. Мы продолжаем готовиться к плаванию. Все идет гладко и хорошо, весело и оживленно. И несомненно мы пятеро, оставшиеся сейчас на борту, приведем «Мод» в готовность так же легко и хорошо, как в прошлом году десять человек... Я уже снял половину навеса, а Ренне закрепил все доски на рубке. Свердруп все время пишет, торопится кончить, чтобы отправить отчет из Нома».

На палубе послышался шум. Захлопнув дневник и убрав его в ящик письменного стола, Амундсен вышел на палубу и увидел Кагота с ребенком.

— Что случилось, Кагот?

— Вы помните тех двоих, которые приезжали зимой?

— Они что, вернулись?

— Один из них вернулся и наверняка хочет похитить девочку,— заговорил, запинаясь от волнения, Кагот.

— Тогда оставьте девочку на борту,— решительно сказал Амундсен.— Здесь она будет в полной безопасности... Здравствуй, Мери. Мы уже по тебе соскучились.

Мери доверчиво пошла к Амундсену.

— Вы можете быть спокойны, Кагот, за свою дочку,— обещал Амундсен.— И можете навещать ее, когда вам угодно.

— Большое спасибо, господин начальник,— поблагодарил Кагот.— Вы ко мне так добры...

Каюта Кагота по-прежнему была свободна, и Мери поместили туда. Прощаясь с Каготом, Амундсен сказал:

— Если и вам будет грозить опасность, мы готовы предоставить вам убежище.

— Нет, мне лично опасность не грозит,— ответил Кагот.

С корабля он направился прямо в ярангу Амоса, возле которой на длинной цепи лежали, греясь на солнце, собаки гостя.

Нутэн сидел в чоттагине и точил охотничий нож.

— Ты зачем приехал? — спросил его Кагот.

— Зачем спрашиваешь, если догадался? — ответил Нутэн.

— Все это напрасно,— сказал Кагот,— я переменил имя девочке. Ее зовут Мери...

— Но она не стала от этого другой,— заметил Нутэн.

— Она прожила почти всю зиму на тангитанском корабле и переняла многие их обычаи. Она любит мыться, есть сладкое...

— Обретенные привычки быстро забываются.

— Ты знаешь, что я не отдам девочку...

— Придет время, и я сам ее возьму,— спокойно сказал Нутэн.— Меня послали сюда и сказали, чтобы я без Айнаны не возвращался.

— Айнаны нет,— снова напомнил Кагот,— есть Мери.

— Для нас она осталась Айнаной, той, которую родила Вааль...

Напоминание о покойной жене ударило по сердцу Кагота. Неужели он ее забыл и ее место теперь заняла Каляна? Вааль больше не приходила к нему ни наяву, ни во сне, исчезла, растворилась в небытии.

Пришел Амос и сообщил:

— Большое ледовое поле оторвалось от припая, и его выносит в открытое море. А вокруг корабля лед еще крепок, и им придется подождать, пока он ослабнет. Дня через два спустим байдару на воду и пойдем на моржей. Еще один гребец будет на нашей лодке.

Все последующие дни Нутэн вел себя так, словно решил навсегда поселиться в становище Еппын. Собак он распустил на лето, а нарту убрал на высокие подставки из китовых костей, на которых зимой лежала кожаная байдара Амоса. Он ходил на охоту, приносил добычу в ярангу Амоса и даже начал посещать занятия, на которых Першин продолжал обучать взрослых — Калянгу и Умкэнеу.

Иногда его видели недалеко от корабля, но вся небольшая команда «Мод» была начеку, и Нутэн даже не пытался проникнуть на корабль и видел девочку лишь издали.

Кагот пришел на свидание с ней и зашел к начальнику экспедиции.

— Помните, Кагот,— сказал Амундсен,— зимой мы говорили о том, чтобы взять Мери в Норвегию и отдать там в школу или в пансион?

— Помню,— кивнул Кагот.

— На мысе Дежнева у торговца Карпенделя есть девочка такого же возраста, что и Мери. Я ее отправлю в Норвегию. Было бы очень хорошо, если б с ней поехала и Мери. Им будет не так скучно вдвоем. А когда они окончат школу, вернуться сюда. К тому времени, я думаю, ей уже не будет угрожать опасность, она будет взрослой...

— Не знаю,— с сомнением покачал головой Кагот,— хотя, в общем, это, наверное, было бы правильно...

С верхней палубы слышались голоса. В каюту ворвался Сундбек и объявил:

— Наши едут!

Это были Хансен и Вистинг, возвращавшиеся со стороны мыса Восточного.

Кагот ушел на берег поздним вечером, наигравшись с девочкой.

В тот вечер Амундсен записал в своем дневнике:

«Как мало мы можем судить о будущем! Только вчера я решительно отказался от надежды дождаться Хансена и Вистинга, а сегодня они здесь. Оба загорели и здоровы, но собаки ужасающе худы.. Хансен чрезвычайно доволен своим пребыванием в Анадыре. Несмотря на трудности, ему удалось восстановить прерванное сообщение с Америкой. Пришлось прибегнуть к сигналам бедствия. Когда американцы узнали, в чем дело, они приняли две первые телеграммы, а через 48 часов открыли путь для всех сообщений с «Мод». Теперь шлагбаум снят! Спасибо русским за настойчивость. И спасибо американским властям, разрешившим передачу телеграмм! Разумеется, среди участников экспедиции царила великая радость по поводу хороших вестей, полученных из дому. Мы все с нетерпением ждем теперь почты в Неме... У нас снова юго-восточный ветер и тепло. Вся пресная вода сошла со льда, так что оттуда теперь нельзя добыть воды. Придется, пожалуй, опять растаивать лед, чтобы шесть наших бочек остались полными ко времени нашего ухода отсюда».

Прежде чем улечься спать, Амундсен заглянул в каюту Кагота и, убедившись, что девочка крепко спит, вернулся к себе.

32

Лед настолько истончился, что на корабль уже опасно было ходить, и это несколько успокоило Кагота.

Можно сказать, что в Чаунской губе наступило настоящее полярное лето. Прилетели кайры, и в меню жителей становища, как и корабельных тангитанов, появились свежие яйца. Эта еда особенно нравилась Першину, и он учил Умкэнеу готовить омлет, взбивая свежие яйца с молочным порошком, разведенным в воде. Однако для чукчей эта еда годилась лишь как дополнение к мясу, и все только и мечтали о том, чтобы попробовать свежей моржатины.

Но выходить на кожаной байдаре в море еще опасались из-за сплоченных льдов. Кое-где уже видели моржей на льдинах и ждали только северного ветра, который подгонит ледовые поля со зверем. Охота эта опасная, потому что погода в такое время неустойчива, в одно мгновение ветер может перемениться и отогнать лед в открытое море.

Першин закончил учебный год и, не дожидаясь парохода, принялся таскать к яранге Гаймисина плавник, чтобы соорудить деревянную пристройку к яранге.

Нутэн удивлял жителей становища Еппын своей старательностью: он ни мгновения не сидел без дела и пользовался каждой благоприятной минутой, чтобы пойти на охоту. Иногда отправлялся в море вместе с Каготом. На расплзающемся морском льду парень рассказывал о жизни в родном Инакуле, о родичах. Оказывается, когда в селении обнаружили исчезновение Кагота, Таап сначала был спокоен и отговорил тех, кто собирался сразу пускаться на поиски. Только когда до него дошли слухи о том, что Кагот жив и при нем Айнана, он решил действовать.

— Таап дал слово,— рассказывал Нутэн,— что человек, проклявший богов, отрекшийся от предназначения, не будет жить. Внешние

силы велели ему найти тебя и либо вернуть в селение, либо убить... А когда ты оказался среди тангитанов, да еще со своими магическими числами, Таап засомневался... Еще большие сомнения его охватили, когда его камлание здесь перед отъездом оказалось тщетным и не принесло никакого вреда ни тебе, ни Айнане...

Кагот спросил:

— Почему ты не возвратишься в Инакуль? Ты же видишь, что девочку тебе не заполнить.

— Я не могу вернуться без нее, — со вздохом ответил Нутэн. — Тогда и мне не жить.

В молодости, когда он еще не был шаманом, да и позже, Кагот и не представлял, сколько жестокости в деятельности шаманов, сколько пренебрежения простыми человеческими ценностями, в том числе и жизнью. Шаманы старались внушать страх — это было главной их целью. Страх рождал повиновение. А с повинующимся можно было делать что угодно... Вот как с Нутэном.

Иногда небо заволакивалось тучами и шел снег, переходящий в студеной дождь. Амос и Гаймисин утверждали, что это обычная летняя погода на берегу Чаунской губы, и успокаивали встревожившихся норвежцев: до зимы еще далеко.

После той памятной ночи, когда Кагот взял женщину, внутри него что-то переменялось. Поутру он почувствовал себя так, будто долго страдал странным недугом и вот наконец избавился от него, стал снова здоровым, обрел зоркость и проницательность. Он продолжал писать числа, но стал замечать, что порой ему приходится прилагать усилие, чтобы открыть тетрадь. Ощущение, что разгадка наибольшего магического числа совсем рядом, что цель близка и почти достигнута, исчезло. Порой сознание того, что, быть может, он так же далек от конечного результата, как и в самом начале, повергало его в уныние и растерянность.

В тот день Нутэн, несмотря на предостережение Амоса, взял легкий гарпун и, нацепив на ноги «вороньи лапки», вышел на лед. Несмотря на несколько дней дула северный ветер, и разошедшийся лед снова сплотилось, так что по нему можно было уйти далеко, к чернеющим вдали моржам.

Кагот с Амосом стояли на берегу и смотрели на парня в бинокль.

— Бедовый парень, — заметил Амос. — Он не знает коварства здешних ветров. Вот сейчас вроде бы дует устойчивый северный ветер, а ведь он может в любой миг повернуть, и Нутэн даже не почувствует. И еще — течение в эту пору часто меняется.

Но, похоже, опасаться было нечего: лед сплошным полем покрывал Чаунскую губу, уходя вдаль, к стыку моря и неба.

Амос и Кагот прекратили наблюдение и возвратились в ярангу, где возле срединного столба их ждали разложенные гарпуны и мотки лахтачьих ремней. Ремни за долгую зиму пересохли, а гарпунные наконечники надо было заново наточить на мягком камне, чтобы округлое лезвие легко прокалывало толстую моржовую кожу. Разговаривая, они не заметили перемены ветра и, когда выглянули наружу, увидели, как лед в губе пришел в движение. От «Мод», еще вчера, казалось, накрепко вмерзшей в прибрежный припай, пролегла трещина прямо по направлению к открытому морю. До слуха донеслось несколько взрывов, и корабль окутался ледяной и водяной пылью, поднятой взрывчаткой.

— Надо идти за Нутэном, — встревоженно сказал Амос, вглядываясь в море. — К вечеру уже будет поздно, льдины может унести в открытое море.

— Я пойду! — решительно заявил Кагот и, взяв в руки посох и легкий багорчик, нацепил на ноги «вороньи лапки».

Спустившись на лед, он бросил взгляд на «Мод» и увидел, как корабль двинулся вперед, к большой трещине, которая, в свою очередь, вела к расширяющейся полынье.

На льду ветер почти не ощущался, зато явственно чувствовалось внутреннее движение, словно там, в морской глубине, орудовали невидимые подводные великаны. Поначалу Кагот шел довольно легко, все дальше и дальше уходя от берега, оставляя по левую руку от себя норвежский корабль. Завтра можно будет на байдаре подойти к борту судна и снять Мери. Думая о дочери, Кагот снова вспомнил о Вааль и ощутил укол в сердце.

Глубоко вздохнув, он обратил взор вперед, стараясь отыскать среди льдин фигуру Нутэна. Но парень ушел в белой камлейке, чтобы можно было незаметно подкрадываться к спящим моржам, и издали среди окрестной белизны его было мудрено заметить. И сам Кагот был в белой охотничьей камлейке, сшитой из двух простынь, принесенных со службы на «Мод».

Небо над морем было заполнено птицами. Они летели стаями и в одиночку — гуси, кайры, топорки, чайки, утки, бакланы,— оглашая открывшееся пространство свистом крыльев и криками. Кагот вспомнил, как в далеком детстве, вот в такую весеннюю пору охотясь на птиц, он залезал на высокие прибрежные скалы и воображал себя птицей, мысленно облетая побережье, проносясь над тундровыми озерами, взлетая выше облаков, к причудливым нагромождениям туч, туда, ближе к звездам и луне.

Взобравшись на торос, чтобы оглядеться, Кагот обнаружил, что ветер усилился и его несет вместе с несколькими ледяными полями прямо в открытое море. С южной стороны открылась вода, и даже отсюда было хорошо видно, что припай начисто отрезало от материкового берега и разломило на несколько маленьких кусков.

И тут до него дошло, какую глупость он совершил, двинувшись так решительно вперед и ни разу не оглянувшись. Случилось то, от чего предостерегал Амос: течение и ветер теперь соединили свои усилия. Значит, если ветер не утихнет, его вынесет в море и возвращение станет невозможным. Если, конечно, не случится такого чуда, что его снова прибьет к берегу. Это бывает. Придется, конечно, набраться терпения и рассмотреть льдину крепче. Такая нашлась недалеко, и Кагот перебрался на нее. Где-то невдалеке от него дрейфует на такой же льдине безрассудный Нутэн, заставивший его поступить не менее опрометчиво.

Солнце сияло в небе, летели птицы, а льдина неумолимо шла на север, в том самом направлении, где, по словам Амундсена, находилась вершина Земли — Северный полюс.

Подложив под себя нерпичьи рукавицы и малахай, Кагот сел и вдруг подумал, что сейчас, когда ему остается только ждать и надеяться на милость судьбы, у него как никогда вдоволь свободного времени, чтобы писать числа...

Что же это такое — магическое наибольшее число? Может быть, оно — вот эта беспредельность пространства? Или высота над головой, доступная только самым сильным птицам?

Кагот взглянул на небо, на расширяющийся горизонт и подумал: если ему не удастся возвратиться на берег, сможет ли он там, в другой жизни, встретить Вааль и повиниться перед ней за то, что разделил с другой только ей принадлежавшую нежность?.. И куда поместят его боги, которые распоряжаются ушедшими навсегда с земли?.. Скорее всего он взлетит в окрестности Полярной звезды, где помещаются не совсем обычные люди, жившие на Земле.

И вдруг Кагот усмехнулся про себя: как легко, оказывается, смывается человек с обстоятельствами! Еще виден берег, еще нет и намека на трагический исход, а он уже подумал о месте около Полярной звезды...

Кагот решительно встал и обошел льдину. Если не столкнется с большим айсбергом, она еще много дней может служить ему убежищем, и он вернется на ней к берегу. Только вот еды нет. Таков уж обычай: идущий на охоту не берет с собой запаса, чтобы не ослаблять стремления поскорей возвратиться с добычей на берег. Правда, он шел не на охоту, но все равно — обычай есть обычай. Однако почему он не взял с собой новый винчестер? Тогда легко можно было бы настрелять себе птиц, пролетающих так близко, что иной раз кажется: протяни руку — и схватишь их. Кагот осмотрел одежду и нашел в торбасах свитый из оленьих жил шнурок, которым они стягиваются. Из него можно смастерить эплыкытэт⁵.

А тем временем «Мод» потихоньку выбиралась из своего ледового плена. Освобождение шло нелегко. Дожидаясь Хансена и Свердрупа, отправившихся за оленьим мясом, упустили время. В густом тумане маневрировать стало труднее. Внезапно льдину вместе с вмерзшим в нее судном понесло к берегу. Пришлось взорвать несколько мин вокруг судна, чтобы освободить его и дать возможность с помощью машины отойти на большую глубину.

Амундсен почти все время находился на палубе, поднимался на смотровую площадку на мачте, чтобы оттуда руководить проводкой судна. Было бы нелепо на пороге освобождения почти от годового ледового плена с ходу напороться на крупную льдину, получить пробоину, повредить судно так, что станет невозможным исполнение замысла — дрейфа к Северному полюсу.

Проведя почти двое суток на мостике, Амундсен перед вечером спустился к себе в каюту.

Свердруп сказал, что он не видел на берегу Кагота и, следовательно, не смог поговорить с ним о судьбе девочки. Правда, существовала ранняя полудоговоренность о том, что в случае, если Нутэн останется в становище, Мери поплывет на «Мод» в Уэлен и оттуда, если от Кагота не поступит никаких иных распоряжений, отправится вместе с дочерью Карпенделя в Норвегию.

Напившись горячего кофе, Амундсен сделал в дневнике очередную запись:

«8 июля. Маленький канал, который вывел нас вчера вечером в большую полынью, был сильно забит торосистым льдом. Огромные торосы лезли вверх и вскоре обрушивались. Некоторые из них достигали шести метров высоты. Течение в этом месте было очень сильное. Мы все время наблюдали за происходившей в канале работой. Внезапно в 11.30 вечера льдины разлетелись в стороны со скоростью многих миль, и мы вскоре очутились в полынье. Она тянулась к северу. Мы шли ею до 3.30 утра, но тут она уклонилась слишком сильно к западу и перестала быть нам пригодной. Мы стали у кромки льда. Было мглисто и видимость плохая. В 8 часов утра прояснилось, и, к нашему изумлению, мы увидели большую полынью в северо-восточном направлении. Дали ход и быстро двинулись вперед. Между тем показалось солнце, и мы увидели вдали Айон и около десяти из старых, хорошо известных гор на берегу. Продолжали идти прекрасным открытым морем до 4 часов дня. Тут нас снова затерло».

В этот день к мысу Якан вышел измученный, почти потерявший человеческий облик Нутэн. Когда он дошел до яранг становища Еппын, первыми словами, которые он услышал, были:

— Где Кагот?

— Я его не видел, — ответил пересохшими, потрескавшимися губами Нутэн.

Наевшись, он заснул и спал двое суток. Когда проснулся, его снова спросили о Каготе, и он снова ответил, что не видел его во льдах.

⁵ Эплыкытэт — орудие для ловли птиц.

Как только позволила ледовая обстановка и разошелся туман, Амос спустил на воду байдару, и втроем, с Першиным и пришедшим в себя Нутэном, они отправились в море. Иногда, завидя темное пятно на одинокой льдине, они устремлялись к ней, но это был либо обломок старого пакового льда, либо морж... Кагота нигде не было.

Так продолжалось несколько дней.

Каждый раз байдару встречала Каляна, молчаливая и печальная. Ни о чем не спрашивая, она помогала вытаскивать суденышко на берег, разделявала добычу, уносила куски мяса и жира наверх, в хранилище.

Была смутная надежда, что Кагота подобрала «Мод». Однако отсюда не было никаких известий.

Согласно старому обычаю Кагот не считался погибшим до прихода нового льда. Поэтому надежда, которую хранила в себе Каляна вместе с нарождающейся новой жизнью, каждый раз приводила ее на берег.

Так было все лето.

Пришел пароход, на который так надеялся учитель Першин, приехали люди и начали строить новый, никогда не виданный на Чукотке поселок сплошь из деревянных домов. Ждали большого умелого тангитанского лекаря, который должен вернуть зрение Гаймисину.

А Кагота все не было...

В яранге Каляны в укромном месте лежала его тетрадь, заполненная аккуратными, все возрастающими цифрами.

А Кагота все не было...

Лето на ледовитом побережье Чукотки проходит быстро. Только вчера еще было тепло, но по ночам уже стало подмораживать. Нутэн снял с высоких подставок нарту и начал ладить ее к зиме. На дальней косе вылегли моржи, и охотники готовились к осеннему забою.

Но Кагота среди них не было...

Настал день, когда к берегу становища Еппын подошел плотный лед и закрыл прибрежную полыню, образовав крепкий припай.

С небольшой деревянной чашей в руке, пройдя под поднятой и укрепленной на зиму байдарой, на берег спустилась женщина в кэр-кэре из темных одноцветных оленьих шкур и молча разбросала по льду искрошенное оленьё мясо, табак и сахар. Так Каляна навсегда простилась еще с одним мужчиной, отнятым у нее безжалостным морем.

Но жизнь продолжалась. Она продолжалась в новых учениках Першина, привезенных с окрестной тундры и поселившихся в большом деревянном доме, в надежде на исцеление Гаймисина, в счастье Умкэнеу и, наконец, в ней самой, Каляне, в которой удивительный и необыкновенный человек Кагот зачал новую жизнь.

ЭПИЛОГ

Эта толстая тетрадь в коричневом переплете, с надписью на норвежском языке «Норвежская полярная экспедиция Руала Амундсена» попала ко мне летом 1960 года и пролежала на полке среди других блокнотов и тетрадей почти четверть века. В первый раз, когда я увидел плотный ряд цифр во все возрастающем значении, я ничего не понял.

Как известно, достигнуть Северного полюса на дрейфующей во льдах «Мод» Амундсену так и не удалось, хотя он еще в течение двух лет после зимовки у Чаунской губы предпринимал попытки.

Северного полюса Амундсен достиг другим путем. На дирижабле «Норвегия» он пролетел над вершиной мира 12 мая 1926 года.

После этого он занялся обработкой своих дневников и наблюдений, читал лекции, выступал с рассказами о своих путешествиях, иногда упоминал и своего повара Кагота. Но в дальнюю дорогу больше не

пускался. Он написал в своей книге «Моя жизнь»: «...я хочу сознаться читателю, что отныне свою карьеру исследователя считаю законченной. Мне было дано выполнить то, к чему я себя предназначал. Этой славы достаточно на одного человека... В дальнейшем я всегда с величайшим интересом буду следить за разрешением загадок далеких полярных стран, но не могу уже надеяться найти такое богатое поле деятельности, которое я оставил позади. Поэтому я ограничусь посильной помощью в разрешении этих вопросов, большую же часть своего времени буду посвящать чтению докладов, писанию книг и встречам с моими многочисленными друзьями...»

Но спокойная жизнь великого путешественника продолжалась лишь два года. В 1928 году итальянец Умберто Нобиле стартовал на дирижабле «Италия», чтобы повторить тот маршрут, который он проделал два года назад в компании с Амундсеном. До сих пор исследователи и историки освоения Арктики спорят о целесообразности этого полета, о его подготовке, примешивая к своим домыслам личные отношения Амундсена и Нобиле.

Но когда случилось несчастье и дирижабль «Италия» из-за обледенения потерпел катастрофу и упал на лед, Амундсен встал выше личных пристрастий. Арендовав французский самолет «Латам», он вместе с норвежским летчиком Дитрихсеном вылетел из Тромсё 18 июня. Никто не знал о предполагаемом маршруте полета, однако никто не сомневался в том, что участие такого авторитета в поисках оставшихся на льду участников итальянской экспедиции будет очень полезным.

Через два часа после старта самолета радиосвязь с ним прервалась. Наступили долгие дни предположений и надежд.

Надежда не исчезала все лето.

Поздней осенью рыбаки, промышлявшие треску у берегов Северной Норвегии, на траверзе маяка Торсвог выловили из воды самолетный поплавок с надписью «Латам»... Но только 14 декабря народ Норвегии почтил память своего великого сына двухминутным молчанием

Недавно во время одной из поездок в Норвегию я еще раз побывал в полюбившемся мне Морском музее на окраине норвежской столицы. Здесь на открытом воздухе, на вечном покое отдыхают великие корабли отважных норвежцев, среди которых и «Фрам». Чуть поодаль в специальном павильоне — бальсовые плоты Тура Хейердала.

Однажды я пришел сюда в ранний час, когда музей был еще закрыт. Сидя на берегу, с которого открывался прекрасный вид на норвежскую столицу, я вспомнил тетрадь Кагота, его записи, вспомнил многочисленные рассказы о нем, граничащие с легендами, вспомнил встречу с его внучкой в Копенгагене... Вернувшись в Ленинград, я достал тетрадь.

Нет, я не нашел в ней магического числа, но передо мной вдруг предстала удивительная жизнь, о которой я не мог не рассказать.



ВАДИМ КУЗНЕЦОВ



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Скворец

Скворец уселся на заплот
и замыкал и закрючал.
С чужого голоса поет,
а хорошо поет, чертяка!

Смелей, залетный!
Резче тон,
безумной музыки ваятель!
Пусть обвиняют:
— Эпигон!
Пусть обличают:
— Подражатель!

Переводи на свой язык,
не испугавшись мешанины,
крик петуха,
бычий зык,
грачиный грай и шум машины.

Пускай летит над садом весть,
вспорхнув с высокого насеста,
о том, что ты
на свете есть,
что застолбил под солнцем место!

Многоточие

Немые звезды многоточия
в книгопечатном зодиаке
люблю я больше, чем все прочие
орфографические знаки.

Его удел — недосказанья,
а не законченность доноса,
категоричность восклицанья,
недоумение вопроса.

В нем ни привета,
ни прощанья,
а осмотрительность, толковость

да золотое обещанье
домыслить начатую повесть.

Три черных точки,
будто почки
на ветке в снежной канители.
Никто из нас не знает точно,
чем они выстрелят в апреле.

Еще мне по сердцу отточие,
что ставят к строчке как чатало.
Но это —
то же многоточие,
перенесенное в начало...

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА



ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ

*Девять писем, с десятым неотправленным и
одинадцатым полученным и Послесловием*

Книга и жизнь, стихотворение и то, что его вызвало,—
какие несоизмеримые величины!

Марина Цветаева.

Это было в конце мая или начале июня 1922 года. Марина Цветаева, только что приехавшая в Берлин, получила для перевода новеллу Генриха Гейне «Флорентийские ночи». Книгу дал ей А. Г. Вишняк, или, как все его называли, Геликон — по имени издательства, которое он тогда возглавлял. (Впоследствии Вишняк погиб в фашистском концлагере.) Вишняк дружил с Ильей Эренбургом, Андреем Белым; печатал книги А. Ремизова, А. Белого и других русских писателей; в 1923 году издал книгу стихов Цветаевой «Ремесло». Двадцатисемилетний этот человек, сухопарый, элегантный, изящный, любящий стихи и сам пытавшийся их писать, вызвал у Цветаевой живейший, хотя и недолгий, интерес, преобразившись в ее творческом сознании в некий художественный образ, не реальный, а мифологизированный, «мечтанный». Дочь Цветаевой Аля записала в своем дневничке:

«Геликон всегда разрываем на две части — бытом и душой... Быт — это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться — души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает. Когда Марина заходит в его контору, она — как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему... Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока — Северный полюс, и так же заманчива... Я видела, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помытам стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Марино существо — это сдержанность и сжатые зубы, а сам он — гибкий и мягкий, как росток горошка»...

Эта совсем не детская запись сделана была, конечно, под магией материнских стихов и писем, вдохновленных новым знакомством. Оно быстро, впрочем, потускнело, а затем и вовсе сошло на нет, как и множество других встреч Марины Ивановны, и уже через год она писала об этом человеке Пастернаку с нескрываемым пренебрежением.

Письма адресат ей вернул, стихи к нему вошли в новую книгу, вышедшую шесть лет спустя. «Флорентийские ночи» переведены, по-видимому, не были.

Прошло более десяти лет.

Весной 1933 года в письме своей чешской приятельнице А. Тесковой, сообщая о том, что написала минувшей зимой, Цветаева сказала, что сделала «перевод своей собственной вещи на французский: 9 (своих собственных настоящих) писем и единственное, в ответ, мужское — и послесловие: *Postface ou Face Posthume de choses* — и последняя встреча с моим адресатом, пять лет спустя, в новогоднюю ночь. Получилась целая вещь, написанная жизнью».

Так родились цветаевские «Флорентийские ночи».

Переключка с Гейне у Цветаевой здесь была: ночь как время действия; бал, где происходит неожиданная встреча героев; романтическая любовь, не подвластная никаким обстоятельствам...

Несмотря на «похвалы французов со всех сторон», «Флорентийские ночи» не были напечатаны. Вероятно, проза Цветаевой для французского слуха и сознания была непривычна во всех отношениях, начиная с интонаций, акцентировки, звукописи, а также, видимо, в силу истинно цветаевского психологизма.

Русские письма остаются неизвестными. Уничтожила ли их Цветаева? Подвергла ли переработке, когда переводила? Все ли перевела? На эти вопросы пока нет ответа. В нашем распоряжении одно: маленький роман в письмах (большое стихотворение в прозе), словом, художественное произведение.

Почти за каждой фразой угадываются образы, которые пришли из лирики Цветаевой. Цветаева как бы переливает свою поэзию в эти романтические письма, и когда мы читаем их, в памяти всплывает не только ее лирика 20-х годов, но и песни «Феникс», и «Поэма Конца», и «Крысолов», и письма ее Райнеру Марии Рильке. «Флорентийские ночи» погружают нас в мир цветаевской Романтики, в «раскаленный и разряженный воздух» (слова ее дочери) чувств и страстей.

Ночь, бездна, вертикаль земной человеческой любви, погружение в темное, таинственное природное «я» человека. И образ бескрайнего, непреходящего неба; галь, которая не рознит, а, напротив, соединяет души. Сон как некое местопребывание души, сон, который тоже «сводит все разрозненности», в котором все сбывается... Но главное, конечно, лирическая героиня, с которой Цветаева отождествляет самое себя, которая проходит по ее лирике, поэмам, прозе, письмам. Безоглядная и беззащитная в любви, торжествующая, даже победоносная в поражениях, она, подобно восстающей из пепла птице Феникс или морской волне, что разбивается о камни и неизменно возрождается, бессмертна в этом нескончаемом стремлении от страдания к радости, и вновь к страданию, и снова — к радости:

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!

Письмо первое

17 июня 19...

Мой дорогой. Книга, которая благодаря Вам вошла в мою жизнь, не случайность¹. Когда я прочла на обложке ее название, то почувствовала, будто в мою голову вцепились чьи-то когти.

Вы не знаете — Вы совершенно не знаете, — как все верно. Но Вы ничего не знаете, Вы просто слишком чувствительны (нет, Вы — чувствующий: не душой, а, подобно волку, кончиком морды: не сердцем, а чутьем), — в данный момент Вы безошибочны.

Я не преувеличиваю Вас, все это остается в пределах тьмы — беспредельности (тьма и есть беспредельность) — в пределах чащобы и шубы (все тот же волк, который — Вы замечали? — всегда возвращается).

Я знаю Вас, знаю Вашу породу, Вы больше в глубину, чем в высоту, это всегда будет погружение в Вас, а не подъем; я употребляю эти слова ни в каком ином смысле кроме как: чувство направления.

Спуск в ночь (которая мне видится лестницей — ступенька за ступенькой, — притом что последней не будет никогда).

Спуск в самую ночь. Вот почему мне так хорошо с Вами без света. («Деревня сорока огней...» С Вами я — деревня без единого огня, возможно, большой город, возможно — ничего — «когда-то было...». Ничто не обнаружит меня, ибо я потухаю целиком.) Без света, в укрытии наших голосов. Вот почему все так и е часы Вашей жизни Вы будете со мной: отсутствуя — присутствовать.

¹ Речь идет о «Флорентийских ночах» Г. Гейне.

Есть люди страстей, люди чувств, еще есть люди ощущений; Вы — человек эманаций. Вы постигаете мир кожей: это не меньше, чем душой. Вашей кожей Вы постигаете и души, и это более надежно. Ибо Вы — мастер своего дела. Нет необходимости дотрагиваться до Вас рукой, достаточно лишь смутно этого захотеть. Чутье намерений. Гений намерения. Мгновенный слепок намерения. Инстинкт зверя. (Если бы я знала, что это так просто!)

Бедная я, которая возле Вас чувствует себя окоченевшей и словно бы наглухо замороженной (завороженной). (Не делайте из меня ни глухую, ни немую, я совсем не такая: что же до слепоты — вспомните Гомера.)

Я не преувеличиваю Вас в моей жизни, на моих пристрастных, милосердных, снисходительных весах Вы — легки. Я даже не знаю: есть ли Вы в моей жизни? В просторах моей души — нет. Но там, на подступах к душе в некоем между: небом и землей, душой и телом, собакой и волком², в пред-сне, в после-грезье, там, где «я больше не я и моя собака больше не моя», там Вы не только есть, но только Вы один и есть.

Вы смутно напоминаете мне одного моего друга прежних лет, автора целой породы моих стихов, в которых никто меня не признает, за исключением всей его породы, которая там узнается вся. Но я не хочу говорить Вам о нем, я уже давно его забыла, поставила на нем крест, я хочу радоваться Вам и тем темным силам, которые Вы извлекаете из меня, словно открыватель родников.

Открывателю родников не нужно осознавать: ни своей силы, ни ценности родника. Это — дар, как и всякий другой, и потому дается не ведающим и неблагодарным. Как все дары, кроме дара души, которая не что иное, как совесть и память. (Чтобы немного посмеяться: если Вы источник, то я Крысолов из немецкой сказки, который уводит своей флейтой крыс и детей — а может, и родники тоже?)

Все последние годы я жила настолько иначе, настолько сурово, столь замороженно, что теперь лишь пожимаю плечами и удивленно подымаю брови: это — я??

Вы меня разнеживаете, как мех, делаете человечнее, женственнее, прирученнее. Женщины будут говорить Вам о Ваших высоких моральных качествах, другие — о Ваших прекрасных манерах. Пусть. А я вижу только огонь (лисьего хвоста). Но мех, разве это меньше? Шерсть — это ночь — пещера — звезды, — голос, его рык (шерстяной зов) — и еще просто...

Мой неженка... (тот, кто делает меня нежной, кто учит меня этому чуду: быть нежной, нежить...)

Письмо второе

19 июня, ночь.

Вы освобождаете во мне мою женскую суть, мое самое темное и наиболее внутреннее существо. Но от этого я не менее ясновидяща. Вся моя зречость обратной стороной имеет — ослепление.

Мой нежный (тот, кто меня делает...), всей моей неразделимой двойственностью, двойной неделимостью, всем моим существом двусторого меча (наделенным этим утешительным единством: ранить только меня самое) я хочу в Вас, в Вас, как в ночь. «Строфы и грезы», и, совсем просто: прочесть и уснуть. (Нечаянно Вами, Вами оброненные слова, я помню их все.) Сколько видели во мне только строфы.

Всё — душою, друг — и всё — в душе. (Фонтан, сам себя вспаивающий. Великие воды Великого Короля.) Кожа сама по себе не существует. Вы, с Вашим звериным чутьем, гениальным чутьем, это знаете. (Мой «шерстяной, мой такой».) Шерстяной — это не только зверь, но и растение тоже: ель, сосна, мой можжевельник, столь любимый...

² Entre chien et loup — французская идиома, означающая «в сумерки».

И если дать Вас в красках, Вы — коричневый. Как Ваши глаза.

Милый, я никогда еще никому не писала подобных писем (с тех пор как держу перо, нет — как перо держит меня, — нет — когда у меня еще были мои ангельские перышки, — всем, всегда. Но, однако, верьте мне).

Я все знаю, Человек, знаю, что Вы поверхностны, легкомысленны, пусты, но Ваша глубокая звериность затрагивает меня сильнее, чем другие души. Вам так хорошо ведомо чувство холода, жары, голода, жажды, сна. Всякая пустота — не Ваша — такова, что мы не можем представить ее иначе как наполненной звездами или атомами, то есть населенной живыми мирами. Будьте пусты сколько Вам угодно, сколько Вы сможете: я — жизнь, которая не страдает пустотой.

Дитя мое (позвольте мне так говорить...), мальчик мой! Если иногда я не отвечаю Вам прямо, то потому, что есть слова, которые в иных стенах не должны звучать, которые в иных стенах сам воздух не выносит. Стены же выносят все и ни от чего не страдают, и это единственная вещь, которую не выношу я, и это они, которые заставляют меня выносить еще большие страдания. Ибо знайте: та, что в Ваших глазах слывет словесницей, в самые великие часы своей жизни — не что иное, как спартанец с его лисицей. (Смеюсь: с целым выводком лисиц!)

Не знаю, быть может, в Вашей жизни Вы залюблены (перекормлены любовью). Возможно, да. Но я знаю (и услышите это в тысячный раз!), что ни один, (ни одна) никогда так Вас... В тысячный раз, в тысяча первый. Мое так не есть мера веса, ни количества, ни протяженности, это — мера качества: тождества. Я люблю Вас ни настолько, ни до такой степени, ни до... — я люблю Вас так. (Я не люблю Вас на столько, я люблю Вас как.) О, сколько женщин любили Вас и будут любить еще сильнее. Все будут любить Вас больше. Ни одна не будет любить Вас так. Если моя любовь во всех жизнях единственна, то единственно из-за своей двойной тождественности любимому и мне самой. Вот почему ее никогда не принимают за любовь.

«Любите меня великим, любите меня красивым, любите меня всяким!» Что до меня, я всегда хотела и даже требовала, чтобы меня любили такой, какова я есть, за то, что я такая, потому, что я есть. Не за то, какой, по-Вашему, я могла бы, должна бы, должествовала бы быть. Пусть любят меня, меня, а не идеальное и фальшивое существо, порожденное воображением влюбленного поэта третьего ряда и последнего часа, если только он не прирожденный поэт и не прирожденный мыслитель. Я всегда предпочитаю быть сфотографированной, отраженной, повторенной, плохо трактуемой, каковой меня делает безразличие объектива, нежели написанной, то есть хорошо трактуемой, идеализированной, оживленной художником, в отношении которого я даже не уверена, что у него есть душа, и который часто — не что иное, как рука единственной и всегда одной и той же мании.

Не судите обо мне хуже, чем меня создала природа — или делает зеркало, — вот все, о чем я покорнейше прошу художника и возлюбленного. «Каждое лицо всего лишь отправная точка». Пусть так, но хорошо ли Вы поняли суть моего (своего) направления? Того, чем я в действительности стала бы, до чего я бы в действительности поднялась, если бы... Можете ли Вы хотя бы следовать за мной — Вы, кто хочет меня обогнать, — чтобы направлять меня? Великий мастер может создать нечто идеальное, ибо он создает то, что долженствует быть, реальность во всем ее могуществе. Высокую реальность. Другим же, малым мастерам в искусстве и в любви, остается только делать (рисовать, любить) согласно с природой. Сделайте меня — если можете.

Я всегда предпочитала быть узнанной и посрамленной, нежели выдуманной и любимой. Взгляните на меня пристально всеми **Вашими**

глазами или идите «создавать» женщину, которая возле, которая будет за это Вам только признательна и которая узнает себя в каждом из Ваших «портретов», потому что она не знает себя, это понятно, ведь в ней нечего узнавать. Ничто, принимающее любые формы. Что до меня, то я уже создана, и создал меня Бог. Достаточно одного создания. Такого создателя.

Я буду равной самой себе лишь в любви того, кто выберет меня меж всеми существами, прошлыми, настоящими, будущими; мужчинами, женщинами; из воды, из огня, из воздуха, из земли, из неба. И еще — ведь есть другие планеты!

Такова я. Если я Вас огорчила — простите мне, что я есмь.

И подумать только, если бы мы были вместе, я бы ничего не узнала из того, о чем только что поведала Вам!

Как все обретается, когда расстаются.

Как все соединяет даль.

* * *

Мой маленький! Сейчас четыре утра, я с Вами, лбом в Вашем плече, я готова отдать Вам все свои стихи, прошедшие, пришедшие, те, что придут, — не как некую ценность, а как нечто, нравящееся Вам.

И еще это, — хотите?

Верность: невозможность другой (быть другой). Все прочее — Люцифер (гордость) и Лютер (долг). Как видите, моя голова пользуется моим сердцем.

* * *

И уведите меня как-нибудь вечером — на весь вечер. Чтобы, обретя Вас, я немного Вас забыла. Чтобы мы вдвоем несли Вас.

Письмо третье

Когда я только что сидела подле Вас на этой бродяжьей скамейке — больше в отдалении, чем рядом, — моя душа исходила нежностью, мне хотелось поднести Вашу руку к моим губам и держать ее так долго-долго...

Скамья покинутая,
Скамья бродяжья...

(Покинутость. Богатство бедности — в одном слове даны две вещи, в одном звуке — два смысла: расширительный, уточняющий.)

Но Вы видели, мы расстались... вежливо. (Вот первые ласточки! Наш невозможный час!) Я могу без Вас. Я ни девочка, ни женщина, я обхожусь без кукол и без мужчин. Я могу без всего. Но, быть может, впервые я хотела этого не мочь.

Возможно, Вы скажете мне: «Мне нечего делать с Вами — такой (слабой, как все прочие, и гораздо менее красивой)». В таком случае: пусть будет так! Но только пусть между нами не будет одного: обмана. Я хочу, чтобы ты любил меня всю, всё, что я есмь, все, что я собой представляю. Это единственный способ быть любимой или не быть любимой. Я чувствую себя Вашей (я не чувствую Вас — моим). Я не боюсь об этом говорить, не бойтесь и Вы того, что имеет значение лишь для меня и никогда не будет иметь для Вас. Когда вновь начнутся Ваши танцевальные па, я сделаю лишь один прыжок, как прыгают из лодки, заставляя ее плясать на воде. Вы ничего не узнаете о моей боли. Не будет даже пустоты, поскольку я никакого места в Вашей жизни не занимаю. Что касается «душевной пустоты», то чем больше душа пуста, тем лучше она наполняется. Лишь физическая пустота идет в счет. В Вашей жизни не будет стула, пустующего мною.

Наша вечность — на час, она уже проходит. Я хочу от Вас только одного: позволения любить Вас, — ничего, кроме этих бедных слов:

«Люби меня, как тебе хочется и как не хочется: со всем, что есть в тебе».

Я не говорю о жизни. Я не говорю о течении часов. Я знаю, что все жизни и все часы заняты, и я последняя, пожелавшая посягнуть на право собственников (право и собственники — две вещи, которые я равно презираю). Моя любовь не соответствует никакому времени, никакому месту. Эта любовь не будет вхождением в такую-то комнату в такой-то час. Это будет выхождением из всего, начиная с моей собственной кожи! Когда все кончится, это будет великое возвращение в меня самое. Пока я Вас люблю, Вы всегда найдете меня между собой и мною; никогда в Вас или во мне. В пути, как струя воды, как поезд. Какое время когда-либо содержало любовь, ведь душа сама изливает ее целыми волнами (я люблю тебя до изменения — где — в моем теле!), ведь ее первое слово — «всегда», ее последнее слово — «никогда». Полночь — не более ее час, чем полдень, все это из любовного жаргона, из обихода — такого изношенного! То, что время содержит в себе, полагая, что это любовь, — совершенно другая вещь. Это отрешение от любви. Всякая дорога, которая приводит к какой-нибудь комнате, — фальшива; она единственная, по которой никогда не бегают мои ноги.

Я говорю о Вашем соединении с моим внутренним бегом, ибо я и его тоже могу сдерживать. Я уже его сдерживаю. (Уже — больше не сдерживаю!)

Я хочу от Вас моей свободы к Вам. Моей веры в Вас. Я хочу от Вас моей любви к Вам, Вашего приятия. И еще: знать, что это Вас не стесняет.

* * *

Небо светло. Налево, над молодой колокольней — заря. Это невинно и вечно. Я люблю тебя, как могла бы любить твоего сына, которым ты должен бы быть.

Не думай, что я презираю твое простое земное существо. Я люблю тебя всего целиком, с твоим взглядом, твоей улыбкой, твоей походкой, твоей ленью — врожденной, родной, естественной, — со всем этим твоим смутным (для тебя, не для меня) началом души: доброты, сострадания, самоотречения. Пусть всего этого не будет ни для меня, ни через меня — неважно! Я столько хочу для тебя — что просто ничего не хочу. (Лучше не начинать!)

Но знай, мой повелитель на час, что никогда никто тебя... (не столько, но так. Самое-пресамое так, мое так). И даже оставив тебя, уступив тебя, как я уступаю любому любую вещь, я никогда не уйду из твоей жизни.

Рассвет. Я спокойна, словно умерла, и в этой абсолютной ясности неба и головы говорю себе: «Мне нужны с тобой вся берложность берлог и весь простор ночи. Вся ночь снаружи и вся ночь внутри».

Какое убожество земная жизнь. Какая покинутость.

Я прижимаю к губам твою руку. Пиши мне, пиши же мне. Я буду спать с твоим письмом. Мне нужно от тебя что-нибудь живое.

Все небо в розовых раковинах. (Если небо — только пляж, то что тогда море?) Наиболее чуткий час. Спи в мире. Первые шаги на улице, прошел рабочий. И птицы.

* * *

Рассвет июньского дня, суббота.

Письмо четвертое

Еще несколько слов в Ваш утренний сон — только что рука, от переполняющей меня нежности, не смогла удержать перо.

Два камня, две несущих блаженство горы на моем сердце — от меня к Вам — я колеблюсь: нужно, чтобы Вы знали об этом, но если

у Вас есть душа, Вы будете страдать от этого. Лучше подождать. Не два камня: две жесткие мечты, невозможные в этой жизни, невообразимые в другой, врожденная жажда, рожденная прежде меня, жажда, во всем моем существе наиболее скрытая, запечатанная, как вода в колодце камнем Рёнштаттена, чтобы Ундина не смогла вернуться к себе: обрести се бя. (Всякая врожденная вещь — рожденная до нас. Наша врожденная жажда — это наше родное море.)

Эти две жажды — не что иное, как одна, одной нет без другой. То, для чего я пришла, чтобы жить, то, без чего должна буду уйти.

Кто знает? Однажды Вы произнесли при мне (я видела Вас только мельком) слово, уже тогда ожегшее меня болью. (Не забывайте: я живу вперед, я обгоняю жизнь!)

Настанет день, когда это письмо станет для Вас таким же ясным, как все письма, написанные моим почерком. Но этот день придет слишком поздно.

* * *

Утро того же июньского восхода.

(Только у истинно великого человека это письмо не вызовет тщеславной улыбки. Великого во всем или великого в любви. Казанова плакал из-за меньшего!)

Посмертная ремарка.

Письмо пятое

25 июня, воскресенье.

Друг! Меня терзают сейчас два искушения: Вы и солнце. Две поверхности: одна — песчаная, моего листка, другая — каменная, моего балкона. Обе чистые, обе жесткие, обе усыпляют. Пусть будет песчаная!

Вчера вечером не было света, и я локти себе кусала от желания писать Вам (от ярости, что не могу этого делать). У меня были для Вас, к Вам, слова такие истинные, такие яркие. Это накатывало, накатывало, как поток. Это был м о й час с Вами, час, который у меня похитили, украли, вырвали. Я легла на пол и рычала, как собака.

Я поняла одну вещь: с другим у меня было «р», буква, которую я предпочитала, — самая моя из всего алфавита, самая мужественная: мороз, гора, герой, Спарта, зверь — все, что во мне есть прямого, строгого, сурового.

С Вами: шелест, шепот, шелковый, тишина — и особенно: chéri!

Мой милый, я знаю, что это неправильно: с утра любить вместо того, чтобы писать. Но это случается со мной так редко, так н и к о г д а! Я все время боюсь, что я грежу, что вот сейчас проснусь — и снова гора, герой...

Письмо шестое

26 июня, ночь.

Мой родной, то, что так мгновенно исчезло, чего Вы даже мельком не увидели, настолько быстро я завладела им, было письмо к Б.

В то время как я пишу об этом, Вы спите. Все Ваше непостоянное существо вызывает во мне нежность! Ваша усталость (откровенная зевота хищника), Ваша дрожь от холода («Не знаю, почему у меня стучат зубы») у входной двери, — я-то хорошо знаю почему: потому что пришлось три часа шагать по пустынным улицам столицы и не менее пустынным просторам моей мысли. (Без единой чашечки «черного кофе», что касается Вашего тела, и без единой улыбки, что касается Вашего сердца.)

Сколько нежности вызывает во мне Ваш ночной голод, внезапный, но неутомимый. Ваше...

— Но Вы делаете из меня какое-то животное!

Я ничего не знаю. Я люблю Вас таким. И вот что еще я поняла. Вы добры: есть вещи, которые Вас **огорчают**, причем необязательно

те, что касаются Вас. И еще Вы чувствительны: есть вещи, которые причиняют Вам боль, притом необязательно те, что относятся к Вашей физике. (Мне больно. Что болит? Палец? Нет. Голова? Нет. Зубы? Нет. Болит не тело. Душа, вот что болит.)

Дорогое мое дитя, я беру в руки Вашу дорогую голову — какое странное ощущение: вечность черепа под бренностью волос, вечность скалы — бренность травы на ней... Теперь слушайте: это настоящая жизнь. Вы спите, я вхожу. Я сажусь на край этой большой кровати — реки, которая есть наш сон, реки, которая есть наша мечта, беру руку, свешивающуюся с кровати, завладеваю ею (не совсем мое слово), подношу ее к своим губам (действие типично мое!)... И вот Вы открываете глаза.

Я говорю всякие глупости. Вы смеетесь, я смеюсь, мы смеемся. Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей. И по мере того, как я делаюсь счастливой — счастливой, потому что не влюблена, оттого, что могу говорить, а не обнимать, исполненная ничем не омраченной благодарности, — я обнимаю Вас.

Вы так мило, так человечно обнимаете меня (уничтожьте мои письма!). Ваша душа являет себя здесь наиболее полно. Но как я не поняла раньше: зверь, может ли быть что-нибудь одушевленное зверя? 1) потому что достаточно убрать одну букву «l» и получается «душа»; 2) потому что у него на одну букву больше. И если говорить серьезно: зверь (animal) — существо в высшей степени одушевленное (animé). Почти имеющее душу (âme).

С Вами никакой тяжести, никакой глухоты, никакой двусмысленности. Мы в знакомой стране. Хорошо, очень хорошо, больше, чем очень хорошо, чем очень-очень хорошо, если это возможно... И все время остаюсь сама собой. Это не злодеяние, это ублаговорение, и прежде всего — творение добра. Да. Вы добрый. Вы ни враг, ни соучастник. Товарищ. В Вас — ничего сумеречного. Всё — тьма.

Как бы я хотела — как хотела бы — самое умиленное, что может быть, — как я хотела бы, чтобы Вы начали засыпать и бормотали бы какие-нибудь слова, которые тонули бы во сне, — всей этой нежности, что являет собой преддверие сна. Чтобы лучше любить Вас. Ведь в таком состоянии души наименее вооружены, а значит, больше располагают к любви.

(«Преддверие сна... обезоруживание душ...»)

Дорогой друг, я лишь начинаю Вас любить, еще ничего нет (все будет!). Я еще только делаю первые шаги. Вслушивание.

Я так хотела бы — слов, которых никогда не назову. Чувство: ничего не опережать, обострить внимание (собрать все силы), замереть, чтобы услышать Вашу жизнь (рождение?). Любовь — это всего лишь большое ухо (мне хочется сказать — слух рыбы), потому-то она и слепа: ничего не видеть (знать), чтобы все слышать (понимать). («Бабушка, почему у вас такие большие уши?» «Чтобы лучше тебя слышать, малышка». Длинные, длинные, длинные уши любви!)

Но оставим уши — все действительно может стать большим, но каждую вещь мы можем исказить нашим вмешательством. Не будем торопиться.

Настанет час, когда я больше не буду смеяться — о, я знаю, но это не будет ни сегодня, ни завтра, и никто в мире, даже Вы, Вы сами, не сможет его ни отдалить, ни приблизить.

Это будет лишь ступенька в бесконечной лестнице: ночи.

Друг, говорю Вам наперед, не позволяйте приметам обмануть себя: руки и губы — нетерпеливы, это дети, надо, чтобы они знали свое место (чтобы они не расслабляли нас), ведь не они (губы и руки) важны, не они берут верх. Это будет лишь переход.

Доброй ночи. Прочтите это письмо, прежде чем уснуть, и бы-

стро, карандашом, который уже падает из рук,— несколько слов, не думая.

Сегодня вечером в кафе на секунду мне стало очень плохо. Вы тут ни при чем, все дело в моей безмерности,— Вы не должны об этом знать.

Спите. Я не хочу пронзать Вас собой, не хочу ничего преодолевать, не хочу ничего навязывать. Если все это судьба, а не случай, не будет ни Вашей воли, ни моей, не будет, не должно быть, ни Вас, ни меня. Иначе — все это не имеет никакой цены, никакого смысла. «Милые» мужчины исчисляются сотнями, «милые» женщины — тысячами.

Письмо седьмое

28 июня, ночь.

Друг мой! Ибо я произношу эти слова с бесстрашием расположения. Хотите услышать правду, правду, которую Вы никогда не услышите от того, кто Вас любит, и еще меньше от того, кто не любит Вас.

Вы недавно сидели за столиком. Вы слушали музыку, стихи, меня. Сейчас я у себя одна — и я думаю. И первая мысль: прежде всего это человек наслаждений. О, не возражайте: я знаю вес этого слова и самого понятия, и именно потому, что знаю, прихожу в отчаяние, ибо эта болезнь неизлечима. Наслаждение — не: женщины, лошади и другие общие места (плоть), но: растение, звук, свет. Все постигается Вами, но постигается единственно кожей, которая у Вас бесконечно пронизательна и которая, боюсь, заменяет Вам душу. Все ласкает Вас, гладит, словно ладонью.

Мне было бы интересно знать: чем Вы слушаете Бетховена? Не внушайте мне, будто Вы его не любите. Я боюсь слишком окончательной трещины, ибо бетховенское «через страдания — к радости» — мое первое и последнее слово на земле — и не на земле!

Я люблю ладонь, вся жизнь заключена в ладони, но послушайте: нельзя так — ничего, кроме ладони! И есть лучше, чем «жизнь»! А что Вы делаете с твердой открытой верхней частью кисти, с напряженностью пальцев, с упругостью запястья? Любить то, что тепло, гладко и мягко, — невелика заслуга! Лучше уж было бы оставаться в утробе матери.

Вы любите стихи — даже не как цветы, Вы их любите, как духи: наслаждение, без которого можно обойтись. Но расширяют ли они Вашу душу? А боль, что она в Вашей жизни? (В моей — все.) Мой любимый! Если бы это было в Вашей жизни наоборот, я бы Вам сегодня ничего не говорила, как ничего не говорят поэту, у которого все стихи ничтожны. Но я еще верю в Вас! То, чего я хочу для Вас, — это боль. Не эта грубая боль, что сваливает нас, как удар дубины, и делает нас ослами или мертвецами, а другая: та, что превращает наши жилы в струны скрипки под смычком! И чтобы Вы подчинились ей всем Вашим существом. Чтобы Вы жили в ней, поселились в ней со всей свободой, чтобы Вы отдали ей всю свободу и все наслаждения, которые несете в себе, чтобы Вы не сводили с нею счеты словами (вечно мужскими): «больно, я не хочу». Чтобы Вы, который весь — только кожа (а Ваша кожа — глубокая поверхность), в некоторые часы оставались без кожи. С содранной кожей, с незащищенной плотью.

Я не хочу, чтобы Вы, такой... такой... такой... (все прилагательные восхищения, которые Вы отыщете) в искусстве отталкивали от себя что бы то ни было, «потому что это больно». Это должно причинять боль, иначе «оно» — чем бы оно ни было — не есть, не имеет права называться «этим», и оно меньше, чем ничто. Вы не любите (не хотите) Бетховена и отступаете перед Микеланджело — пусть это будет Вашей силой, а не слабостью, отрицание знанием, а не обоими закрытыми глазами и закуоренными ушами — **бедный страус в сей**

пустыне, именуемой — наслаждение! (Ничто мне так не напоминает о наслаждении, как песок, и об ощущении песка, как наслаждение. Сколько бы Вы ни погружались в это море, в целое море, Вы все равно начнете задыхаться среди бесчисленных песчинок суши, которые никогда не станут целым!)

Ах, мой маленький! Перечисляя Ваши звериные добродетели («Вы умеете чувствовать голод, тепло...»), я забыла одну существенность: чувство страха. Ибо Вы от страха не любите Бетховена, от того же страха, который заставляет волка выть в полнолуние, собаку под звуки рояля.

Я не могу, чтобы Вы были слабым, — потому что я не смогла бы Вас любить. (Любить, презирая, — это для других!)

Будьте слабым в обстоятельствах так называемой частной жизни, но есть жизнь вне обстоятельств, и она не выносит ни слабости, ни частностей. Вспомните, что эпикурейцы из всех искусств жизни лучше всего практиковали искусство умирать. Эпикур обязывает. Будьте...

* * *

Это слово случайно оказалось последним. Оно не случайно оказалось последним.

* * *

Бесконечно (не по времени, но внутри того, что не имеет времени, того, что не-время) — бесконечно! Вы дали мне все: все мои возможности человеческой нежности, столько печали, столько желаний... Сделайте же так, чтобы Ваша грудь — эта клетка с прутьями — нашими ребрами — заключила в себя и меня, нет, чтобы я там была свободна, нет, — чтобы я потерялась там; расширьте ее, расширьте себя, не для меня: я ничто, но для всего того, что через меня хочет проникнуть в Вас.

Возьми меня с собой в твой глубокий сон, я буду спокойна, возьми только мое сердце. Как я хотела бы однажды («было однажды» — вся моя жизнь была не чем иным, как ожиданием того, что «однажды будет»; то, что «будет», так же маловероятно, как то, чего не было совсем...). Итак, я непременно хочу — понимаешь? — (я — нет: глагол, время, наклонение — так мало мои!) я непременно хочу однажды увидеть тебя спящим — день, который был бы ночью, — иначе это (жажда тебя, спящего, Принца в спящем лесу) будет меня преследовать до самого моего последнего часа.

Обними за меня мою вторую жажду.

* * *

Заметка на полях:

(«Надежда крылата». Мои надежды — камни на сердце: желания, у которых не было времени стать надеждами, тотчас, наперед, стали безнадежностями, тяжестью, тяжчайшей тяжестью!

Дай мне, Бог, никогда больше не надеяться для себя!)

Письмо восьмое

2 июля, ночь.

Дорогой друг! Ваше письмо похоже на Вас (я читала его более осмысленно, чем Вы его написали). Это по-прежнему — линия наименьшего сопротивления.

Ваше письмо мне понравилось: за два дня я перечитала его четырежды. Я только хотела узнать одну вещь: Вы писали его для меня или для себя?

...Бросив весла, плывя по течению, на спине, Вашей и волны. Откуда у Вас еще взялись силы держать перо? (Не силы, а побуждение!)

Все места, которые мне не удалось расшифровать с первого взгляда, остались и останутся для меня темными. Утешаю себя тем,

что он, вероятно, были наиболее нежными. Напрасно Вы говорите, что «запинались» в Вашем письме. Все вполне гладко, текуще, бегуще. Кто не хочет, тот не запинается. Ничего темного, исключая по черк. И Вы считаете, что Вас уже захлестнула лирическая волна?

Вы любите слова, Вы вкладываете в них нежность, Ваша нежность, предназначенная мне, не что иное, как она же, предназначенная им. Не знаю, любите ли Вы глагол, требующий большего, требующий — всего. Но вот в чем я уверена: если Вы меня и любите, то через мои стихи. Другие любили через меня мои стихи. В обоих случаях меня скорее терпели, чем любили. Чтобы быть ясной до конца: во мне всегда было нечто чрезмерное для тех, кто ко мне приближался: «нечто» читайте: огромная половина, вся безмерная я, или, что то же: живая я или живое я моих стихов. Никто не догадывался, что это два лика одной и той же силы, силы, которая могла бы быть тысячеликкой, но оставалась бы тем не менее единым целым. Но Ваш лоб хмурится — в благородном усилии понять, — и Ваши челюсти сжимаются в том же похвальном усилии подавить неумолимую зевоту.

Впрочем, как говорят немцы, «ich schenke es Ihnen» (по-французски: я Вам это прощаю). Подарите мне в награду мундштук, но чтобы это был ни янтарь, ни серебро, ни игральная, ни слоновая кость — ничто, что пахло бы вещественностью. Я потеряла свой вчера во время долгой прогулки с Б. Перечень моих просьб удлиняется. (Слово женщины-поэта: «Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает...» На этот раз «столько просьб» — у любящей!)

А вчера я весь вечер защищала Вас, с рыцарским пылом, над которым смеялась сама. Все, в чем Вас обвиняют, верно, но это моя забота, не других — ни у кого, кроме меня, не хватит духа (простодушия!) страдать из-за Вас. «Он заставляет нас попусту терять время!» Меня «он» заставляет терять лучшее.

В Вашем письме есть слова нежности, которые ласкают мое сердце: слова — ладони. Как приятно засыпать с таким письмом. Спасибо.

И слова правоты — в моем: они должны распрямить Ваше сердце: слова — пальмовые ветви. Хорошо бодрствовать с таким письмом. Благодарите же.

Пока еще мне Вас не недостает, но я знаю, еще три дня — и мне Вас будет недоставать. (У меня свой хронометр отсутствий.) И потом Вы у себя дома, слишком думать о Вас означало бы заставить и Вас подумать обо мне, то есть вдохнуть свежего воздуха, дать Вам свободу. А я против всякого насилия, даже освободительного.

Но если Вы все-таки думаете обо мне, знайте, что Вы меня ниоткуда не уводите, что я уже уведена отовсюду и от самой себя — к единственному, к чему не дойду никогда. (Какое малодушие говорить Вам об этом!) И, чтобы быть совсем точной, чтобы не обременять Вас даже тенью ответственности: я рождена уведенной!

Продолжайте писать мне. Второе письмо — испытание. Докажите!

Предел нежности (расточаемой силы). Это глубоко и точно, но это не все. Ибо, видите ли, лишь когда достигаешь предела (нежности ли, другой ли силы), познаешь ее неисчерпаемость. Чем больше мы даем, тем больше нам остается; как только мы начинаем расточать — оно прибывает! Вскрываем жилы — и вот мы — живой источник.

...Я хотела бы прочитать Ваши стихи. Вы мне дадите их? Я прочту их внимательно и скажу Вам правду. («Правда! Великолепная приманка для любителя и любимого, которые только и делают что прячут ее от себя. Вот почему он никогда не дал их мне». Заметка на полях.)

Вы, конечно, больше не будете мне писать — ведь у Вас они есть, мои стихи. Вы как ребенок, которого заставляют идти, показывая

ему яблоко,— все время показывая, никогда не давая,— как только он его получит, он остановится. У Вас оно есть, яблоко.

Вы больше не будете мне писать: днем — море, а ночью спят.

Когда я уеду — вот и не знаю, что сказать. Я оборачиваюсь на Вас через плечо (жест, который Вы мне приписываете, быть может, он и в самом деле мой) — не на Вас, а на самое себя, на такую себя, на себя, которую я вот-вот опережу.

* * *

Мой любимый! Завтра или послезавтра я спрошу у Вас, что Вам, в точности, приснилось в четверть второго ночи сегодня, в воскресенье. Мне приснилось, что Вы умерли.

Вспоминаю Вашу голову: по утрам — вьющуюся барашком, днем — укрощенную, перечеркнутую пробором; по вечерам — растрепанную, молодую. И всю Вашу небрежную нежность. Но не должно слишком думать о Вас.

Спокойной ночи. Если Вы спите спокойно, Вы обязаны этим мне. Я могла бы быть злой, как другие, но тогда это была бы не я, и если бы Вы любили меня за мою злость, то Вы любили бы не меня. (Смогла ли бы я быть злой, как другие?)

Я всегда предпочитала заставлять спать, а не лишать сна, заставлять есть, а не лишать аппетита, заставлять мыслить, а не лишать рассудка. Я всегда предпочитала давать — избавлять, давать — получать, давать — иметь.

PS. (Попутная мысль.) Истинный палач, палач средневековья, — тот, кто имел право обнять свою жертву, тот, кто дарует смерть, а не тот, кто лишает жизни. Это не одно и то же. Подумайте над этим.

Письмо девятое

9 июля, полночь.

От усердия (напряжения) я внезапно и беспробудно заснула. Я подстерегала Ваши шаги, я не хотела бы когда-нибудь признаться себе, что проглядела Вас, — в разных печальных значениях этого слова: проглядеть свое счастье, проглядеть знаки внимания высочайшей особы, проглядеть, как нуждается в матери ребенок, пусть это было бы всего однажды — по моей вине. Я растянулась на полу, положив голову на порог балкона, — распласталась на жестком, чтобы не уснуть. Подымаю глаза: две створки двери и все небо. Было много шагов, я вскоре перестала слушать, где-то что-то играло, я почувствовала всю свою низость (низость этих последних дней с Вами — о, без обиды! — я была слаба, Вы были Вы). Знаю, что я не такая, я просто пыталась жить.

Жить — это неудачно кроить и беспрестанно латать, — и ничто не держится (ничто не держит меня, не за что держаться, — простите мне эту печальную, суровую игру слов).

Когда я пытаюсь жить, я чувствую себя бедной маленькой швейкой, которая никогда не сможет сделать красивую вещь оттого, что все валится из рук, и которая, отбросив все: лоскутья, ножницы, нитки, — принимается петь. А за окном идет вечный дождь.

Я все еще полна этим пустым небом. Оно проходило, я оставалась, я знала, что я, прикованная, пройду, что оно, проходящее, будет существовать, упорствовать. Небо проходит — вечное, непрерывное — надо мной, проходящей мгновенно, навсегда. Я — это все те, кто пребыл и увидел так, кто пребудет и увидит так же. Видите, я тоже «вечная».

Я в это утро?.. Я ее даже не знаю. Разве я могу лукавить, хитрить? Я могу лишь кричать: да! — как кричит ребенок: «К тебе!» — раскинув руки — одну на запад, другую — на восток, ни больше, ни меньше... Жизнь, эта насильница душ, заставляет меня играть сей фарс.

Подбирать, ползая на коленках, щепки, оставшиеся после рубки?.. Нет, нет и нет. Руки за спину и спина — прямая.

Разве могла бы я — даже ценою царствия небесного — пойти на это? Друг, должно существовать небо и для любви. Другое небо, не постельное. Радужное.

Мой друг, нынче вечером Вы не пришли, потому что Вам нужно было писать письма (Вашим). Это уже не причиняет мне боли, Вы меня к этому приучили, Вы и все, ибо Вы тоже вечны: неисчислимы (как другая я, на земле и на небесах). Тот самый Вы, который никогда не приходит к той самой мне, вечно ждущей его.

Когда-нибудь, когда у Вас будет время, перечтите мои записи — не только ради их формул и афоризмов, — когда Вы перечтете их, чтобы найти там живую меня, наша встреча предстанет перед Вами в новом свете.

Люди смотрели на меня со своей колокольни, в то время как я ощущала себя на своей. Вот почему я никого не сужу.

Вы как близкий мне человек заставили меня очень страдать, но как человек посторонний принесли мне только добро. Я никогда не чувствовала Вас ни таким, ни другим, я сражалась в себе за каждого, то есть против каждого.

Все это скоро кончится, я уже чувствую, как оно уходит, чувствую под ресницами, внутри губ. Вы ничего не потеряете, останутся стихи. Жизнь наполнится устройством дел, Вам не придется больше раздираться между Вашими и «другой» (да простят мне Бог и Ваше чувство меры — от которого я так страдала! — чрезмерность образа).

Милый! В сторону всякие ласковости, любезности, нежности, уменьшительности, уничижительности, — Вы дороги мне. Но — мне нечем больше дышать с Вами.

Знаю, что в подобный час Вашей жизни (когда Вам нечем будет дышать, как зверю, задыхающемуся в собственной шкуре), — презрев все мужские дружбы, женские любви, семейные святыни, — Вы придете ко мне — за своей бессмертной душой.

А теперь — спокойной ночи. Обнимаю Вашу темноволосую голову.

Письмо десятое и последнее, неотправленное

.....

Письмо одиннадцатое, полученное

29 октября 19...

Вы поймите, дорогая, как мне трудно писать вам, я чувствую себя таким виноватым перед вами, виноватым особенно оттого, что мне не хватает воспитанности, как внутренней, так и обиходной, которую вы так цените. Но что мы — против болезни? Смотрите на меня как на больного, который в течение многих месяцев был погружен в состояние охватившей все его существо прострации и полной глухоты и немоты.

Все оставляло меня безразличным, и никакая сила на свете не могла бы заставить меня сделать то, что я считал обязательным для себя. В час, когда я вам это пишу, все это уже позади, и я чувствую в себе прилив необычайной энергии, какой случается после болезни. Я был бы огорчен, если бы мое молчание вызвало у вас ошибочные предположения. Когда спишь, на почту не ходишь. (Заметка на полях: «Зато в ресторан — сколько угодно!») Прошу вас мне верить.

* * *

Я возвращаю вам ваши письма, чтобы вы были абсолютно уверены, что у меня их нет. Я оставил себе лишь одно — последнее, то, которое вы передали мне, когда уезжали. Оно дорого мне как знак, что окончен определенный отрезок пути; как последний звук уда-

ляющегося голоса. Но если почувствуете беспокойство, в моих ли руках этот листок, скажите мне, и я вам тотчас же верну его.

Посылаю вам (заказными):

- 1) два пакета писем
- 2) толстую синюю тетрадь
- 3) стихи 19... года
- 4) стихи 19... года
- 5) две записные книжки с записями
- 6) автографы X.
- 7) Buch der Lieder ³.

Себе я оставляю маленькую книжечку цвета замши, где вы мне указали на стихи, посвященные мне. Не как документ или сувенир, а просто как кусок жизни, оплетенный человеческой кожей. Если я не имею на это права, если это один из ваших «законов» — а у вас они есть на все! — скажите мне, я вам ее верну!

Пришлите мне, пожалуйста, и как можно скорее, книгу Б. с посвящением, которую я забыл у вас попросить перед вашим отъездом. Вы знаете, как для меня важны автографы! И, пожалуйста, заказным! Пока ее у меня не будет, я не смогу спать спокойно.

* * *

Если вы мне напишете, я вам незамедлительно отвечу. Я пробудился. У меня не остались в памяти обстоятельства моей частной жизни. Я помню только то, что относится к человеку вообще. Я помню вас на балконе, с лицом, поднятым к черному небу, равно неумолимому ко всем.

* * *

X. посылает вам дружеский привет и просит вас прислать ему какую-нибудь вещь для его журнала. Что вы пишете нового? Переводите ли «Флорентийские ночи»? Думаете ли вы как-то использовать свои записные книжки? Много ли у вас новых стихов? Пришлите их мне, прошу вас, в память о прошлом.

Желаю вам всего самого хорошего.

Заметка на полях:

«Все сохранили мои стихи. Все вернули мне мою душу (вернули меня к моей душе)».

* * *

О коже: «кусок жизни, оплетенный человеческой кожей» — отвлеченно представить себе это. И к тому же плохо сказано: несколько слов вместо одного, имя которому — сердце. (Сердце в коже.) Кроме того — никакого сомнения, что этот мой корреспондент, подобный другим в аналогичных случаях, был в восторге от самой физической сущности «маленькой книжечки» («толстую синюю тетрадь» он мне вернул!), — замша так же приятна глазу, как и руке, и обонянию.

Вот так даже здесь подтвердилось с почти неожиданным простодушием и почти нечаянной очевидностью это суждение относительно «кожи», вынесенное мною о нем.

Последняя из флорентийских ночей

Ужин под рождество. Бал-маскарад. Залы, гостиные. В одном из них при неярком свете, в удушье обстановки — жалкая, взятая напрокат роскошь! — я без маски, с несколькими приятельницами.

Кружащееся вторжение группы костюмированных, один отделяется от группы, приближается, склоняется в поклоне.

³ «Книга песен» Г. Гейне.

Белый бурнус, тюрбан. Открытое лицо.

— Вы не узнаете меня?

— Нет.

— Вглядитесь хорошенько. Возможно ли, чтобы костюм так меня изменил?

(Я «хорошенько вглядываюсь».)

— Неужели вы и впрямь меня не узнаете? (В голосе, сперва радостном, проскальзывают интонации уязвленного самолюбия.)

Лицо молодое, довольно приятное. Темные волосы.

Я, робко:

— Да, да; сейчас мне кажется, что я действительно видела вас, может быть, когда-нибудь где-то встречала... Скорее слышала... мне кажется, что ваш голос мне... (Он все смотрит.) Нет, нет, решительно я вас вижу впервые!

Кругом вспышки смеха, полувосхищенного, полуудивленного, восклицания и за всем этим шумом — четко:

— Такой-то.

— Вы? Боже! Простите меня, ради бога, но я так плохо вижу, и у меня плохая зрительная память, и мы так давно не виделись, и тогда у вас были усы.

— Усы, у меня? Да я никогда в жизни не носил усов!

— Быть того не может. Я очень хорошо помню: маленькие, щеточкой усики.

— Но уверяю вас, клянусь, что никогда в жизни...

Вмешиваются другие:

— Мадам, вы ошибаетесь, вы его путаете с кем-то другим, это и впрямь так: он никогда не носил усов!

— Странно. Я отлично помню. Маленькие, щеточкой.

Он, в отчаянии:

— Маленькие ли, большие, щеточкой или а-ля Гийом, я никогда не носил усов!

Я, разжалобленная неподдельным горем, причиненным мной, — этому незнакомцу:

— Ах нет! Успокойтесь! Я верю вам! Но — все-таки странно: я отлично помню: маленькие черные усики. А, погодите, погодите, не в очках ли дело? Конечно, была одна вещь, теперь ее нет — очки, а маленькая щеточка усов — это были брови. (Как бы сравнивая.) Большие брови. Да, в этом, конечно, дело. Но все-таки странно — я отлично помню...

— В самом деле, странно.

Удаляется, уязвленный.

Положа руку на сердце: узнала ли я его, да или нет? Действительно ли до такой степени безвозвратности я его не узнала?

В первый миг — да (то есть нет), во второй — что-то пронзило, в третий — я узнала (признала) голос, не лицо, которое я, впрочем, никогда не знала, но, воспользовавшись истинностью моего первого «нет», уже закусив удила, продолжала не узнавать до конца.

С тех пор больше ни одного слова. Время от времени я слышу о нем — все одно и то же: дела идут плохо, сын растет.

А усы? Что касается усов, то я ничуть не лукавила. Я не только о них помнила, но как только он назвал себя, я увидела их и увидела, что их не хватает. И эти «щеточки бровей» тоже не были шутовой выдумкой. Видишь нечто поверх чего-то. Но пара ли это усов над парой губ или пара бровей над парой очков — это деталь, знать которую не мое дело, а его. Пусть удовольствуется «щеточкой».

Надо ли добавлять, что он никогда не носил очков?

Послесловие, или Посмертное лицо вещей

Мое полное забвение и мое абсолютное сегодняшнее неузнавание — не что иное, как твое абсолютное отсутствие и мое полное поглощение вчерашним тобою. Насколько ты был — настолько тебя больше нет. Абсолютное присутствие наизнанку. Абсолютное может быть только абсолютным.

Подобное присутствие может стать лишь таким же отсутствием. Все вчера, ничего — сегодня.

Мое полное забвение и абсолютное неузнавание — только эхо (усиленное) Вашего забвения и Вашего неузнавания независимо от того, узнавали Вы меня на улице или нет, интересовались новостями обо мне или нет.

Если Вы не забыли меня, как я забыла Вас, то лишь оттого, что Вы никогда не были одержимы мною так, как я была одержима Вами. То, что Вы меня не забываете совсем, — это оттого, что Вам не свойственно ничто абсолютное, даже безразличие. Я кончила тем, что не узнаю Вас, Вы же никогда и не начинали узнавать меня. Если я кончила тем, что предала Вас забвению, то в Вас никогда не было меня настолько, чтобы Вы могли забыть меня. Что значит забыть существо? Это значит забыть, что мы из-за него страдали.

Для того чтобы я, еще вчера не знавшая ничего другого, кроме Вас, могла сегодня не узнать Вас, нужно было именно, чтобы вчера я не знала ничего другого, кроме Вас. Мое забвение Вас — не что иное, как еще один титул благородства. Удостоверение Вашей прошлой цены.

Посмертная месть? Нет. В любом случае — не моя. Что-то (очень значительное!) мстит за меня и через меня. Вы хотите знать этому имя, но я пока еще и сама не знаю. Любовь? Нет. Дружба? Тоже нет, но близко: душа. Раненная во мне и во всех других женщинах душа. Раненная Вами и всеми другими мужчинами, вечно раненная, вечно возрождающаяся и в конце концов — неуязвимая.

Неизлечимая неуязвимость.

Это она мстит, спасаясь от Вас, в ком она жила и кого обнимала собою, как море объемлет берег, — и вот вы нагой, как пляж после прилива, со всем, что на нем оставлено: сабо, доски, пробки, обломки, ракушки — мои стихи, с которыми Вы играли, как ребенок, — а Вы и есть ребенок, — этот мой прилив мстит, ослепляя меня до такой степени, что я забываю Ваши черты, и показывая мне подлинные, которые я никогда не любила.

Перевод сделан Р. РОДИНОЙ по тексту французской машинописи с авторской правкой, хранящемуся в ЦГАЛИ.



ПЕТРУСЬ БРОВКА



Комсомольцам Белоруссии

Всецело вы Родине-матери преданы,
Геройством отмечены ваши пути —
В боях и труде отличаясь победами,
Вы в трудном походе всегда впереди.

В себе вы несете закал большевистский,
Вы вместе с отцами шли в яростный бой.
И мы не забудем, как Миша Сильницкий¹
Прикрыл нашу землю бесстрашно собой.

В ненастье, не ведая мира и крова,
В боях комсомольская слава росла.
Народ не забудет, как Римма Шершнева²
За край наш родной свою жизнь отдала.

О вас будут песни слагать и былины
В спасенном от гибели отчем краю.
Собой от гибели, как исполины,
Живых заслоняли вы в лавском бою³.

Когда же знамена побед осенили
Своим кумачом даль победной весны —
Мы видим вас снова, красивых и сильных,
На всех новостройках Советской страны.

До цели желанной сегодня нам близко —
Трудитесь, друзья, и настанет пора:
Воскреснут из пепла все улицы Минска
И вновь загудят на полях трактора.

Работайте так, чтобы жито прибоем,
Упруго звеня, заливало поля,
Чтоб лилось в сусеки зерно золотое,
Чтоб в яркой красе воскресала земля.

¹ Партизан, Герой Советского Союза. Погиб в бою с карателями, прикрывая отход отряда.

² Народная героиня, юная подпольщица-партизанка. Погибла, спасая раненого командира

³ 3 декабря 1942 года 18 партизан-комсомольцев партизанской бригады № 300 имени К. Е. Ворошилова приняли бой с немецкими карателями в Лавском лесу Копыльского района Минской области. За четыре часа боя отбили 8 вражеских атак, уничтожили 85 карателей. Это дало возможность эвакуировать партизанский госпиталь и развернуть силы бригады к бою. Все 18 героев погибли смертью храбрых.

Трудитесь, товарищи, в полную силу.
Вам быть в авангарде во все времена!..
Такими вас партия наша взрастила,
Взрастила Советская наша страна.

1947.

..*

Зачем природе нужно это —
Я не могу уразуметь.
Но только делится планета
На воду и земную твердь.
На день и ночь — хоть круг единый.
И я, людей всех не деля,
Сам тоже на две половины
Разъят, как небо и земля.
И не считайте это чушью,
Так было, видимо, всегда:
Одна — искусству верно служит,
Другая — бытом занята.
Наверно, есть еще такое,
Чему ответа нет сейчас.
И нас с тобою — разных двое,
Хоть путь один вел в жизни нас.

1979.

Публикация и перевод с белорусского ИВАНА БУРЦОВА.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН



ЭКСПЕРИМЕНТ

С тех пор как поэт неосторожно пожаловался: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», ситуация существенно переменялась. Лирики, положим, и прежде в загоне не были, и сегодня грех им жаловаться. А вот таинственных физиков, похоже, потеснили в нашем сознании практичные экономисты. В дружеском кругу и то, заменяю, дельному экономисту по силам затмить не то что физика, а при удаче даже хоккеиста команды мастеров. О печати и говорить нечего — какая уважающая себя газета выйдет ныне без деловой статьи?

На то есть основательные причины.

Простая вещь: все мы стали менее терпимы к нехваткам товаров. Собственно, дело даже не в дефиците — полки магазинов ломятся от всякого добра. Обуви, скажем, выпускается почти по три пары на душу населения. На душу-то ее хватает, а вот на ноги... Отчего же фабрика шьет не то, за что покупатель готов выложить кровные? Магнитофоны отечественного производства в несколько раз дешевле «Сони» или «Грундига». Прекрасно, только почему наши качеством хуже? У них там безработица, в полном смысле слова лишние люди, а с другой стороны — выжимание пота из тех, кто работу имеет. Мы о безработице забыли, но хорошо ли, что трудимся иной раз вполсилы? Уже сама постановка этих вопросов означает экономическое мышление. Оно требует определенной культуры, и где экономисты устранились от поисков ответов, там витийствуют доморощенные Мараты, готовые единым махом зачеркнуть прошлое и настоящее.

Читатель сегодня осмотрителен. Ему много раз обещаны специалистами неисчислимы блага, которые принесут научная организация труда, вычислительная техника, сетевые графики, знак качества, да мало ли какие чудодейственные новинки. И если надежды сбываются не вполне, то каждый из нас начинает сознавать: не учтены в расчетах какие-то интересы, чьи-то побудительные мотивы к новациям. А экономика — это и есть наука об интересах в хозяйствовании.

Внимание публики к экономике подогрето крупномасштабным экспериментом, который вот уже второй год проходит в 5 отраслях промышленности. С января к ним присоединились еще 26 отраслей. Определенно можно сказать, что это самая серьезная за последние полтора десятилетия попытка совершенствования хозяйственного механизма. Попытка во многом успешная. Но, само собой, оценка эксперимента предполагает не одни восторги — он для того и поставлен, чтобы выявить и по возможности устранить те негативные явления в хозяйстве, которые не удастся упредить известными нам способами.

Как всякое значимое дело, эксперимент не только дает ответы на запросы жизни, но и ставит новые проблемы. Их не надо бояться. Новые проблемы появляются по мере решения старых и ни минутой раньше. Ничего не поделаешь — диалектика. Наилучший хозяйственный механизм не вечен, со временем в нем накапливаются противоречия. Это показатель динамизма социалистического хозяйствования.

Экспериментом поставлены две капитальные цели: во-первых, каждое предприятие обязано пунктуальнейшим образом выполнять заказы партнеров; во-вторых, любой коллектив должен без понуканий увеличивать объемы производства, выкладывать резервы на стол, а не прятать их в заглазничник, как пока водится. Сначала о первой из них.

1

За тридцать лет поездок на заводы и стройки не помню случая, чтобы производственники не жаловались на плохое снабжение. Проверять претензии бессмысленно — они заведомо справедливы. Хотя мелочишку, а смежники в срок не поставили. Дальше цепная реакция срывов. Было дело, когда могучий Горьковский автозавод не сумел продать партию машин «Волга» оттого, что партнер не отгрузил ему механизм подъема ветрового стекла. А отгрузить и не мог: ему в свой черед задолжали резиновые прокладки, красная цена которым — горсть семечек в базарный день. Впрочем, о таких казусах пишет уже не одно поколение журналистов, и толковать о том еще раз — все равно что носить воду в море ведрами.

Экономический эксперимент решительно пресекает неряшество поставщика. Условия теперь суровы: сорвал коллектив процент поставок — 3 процента из премиального фонда долой. Если учесть, что тяжелое машиностроение, к примеру, до сих пор недодавало потребителям около 6 процентов заказанной продукции, значимость кары будет очевидна. С другой стороны, вознаграждается аккуратность: за неукоснительное исполнение заказов фонд поощрения увеличится сразу на 15 процентов, а директору — до трех окладов премии.

Результат отрадный. В 5 отраслях, начинавших эксперимент в прошлом году, срывы поставок исчисляются долями процента, а большинство предприятий полностью и в срок рассчитались с клиентами. Такого еще не бывало. С января нынешнего года 31 отрасль работает на этих условиях, и можно ожидать сходного результата.

Таким образом, решается самая большая проблема индустрии — снабженческая?

Это требуется проверить анализом. Цепочка наших рассуждений держится на постулате достаточно смелом: если предприятие получит в срок все, что оно заказало под план производства, то материально-техническое обеспечение станет нормальным, а при таком обеспечении нет иных причин для сбоев в работе, кроме собственной нераспорядительности. Речь идет о слишком важных вещах, чтобы принять такое допущение на веру. Понимающим людям известно: в экономике труднее всего выявить связь явлений, казалось бы, очевидную. С формулами, расчетами и прочими премудростями легче, а уж где простота, там жди подвоха. И если в аксиомах непорядок, при решении практических задач мы все время будем наталкиваться на препятствия, не понимая, откуда они выскочили. Так что не след пренебрегать постулативным хозяйством, на котором покоится экономика с ее немислимой сложностью и призрачной простотой.

Для начала одна свеженькая история, которой занимались пять министров. Лично.

Честно говоря, с некоторым трепетом брал я только что подписанные ими бумаги. В правом углу каждой — виза бывшего министра энергетики и электрификации П. Непорожного, в левом — роспись руководителя отрасли, задержавшей оборудование для пусковых атомных станций. Не сказать, что долги велики. Оно вроде бы и не министерская забота — дюжина фланцев или пяток термометров. Но без них нет блока мощностью в миллион киловатт.

Кто виноват? На первый взгляд вопрос неуместный — вот же они, заводы-должники, поименно названы. Повременим, однако, с гневными речами. Выясним раньше, чем были так уж заняты поставщики, что позволили себе сорвать атомный заказ. Быть может, еще более неотложным делом? Коль скоро разговор о поставках для строек, ответ удобнее всего поискать в Стройбанке СССР. Это учреждение финансирует строительство. Значит, ему известна и судьба оборудования для крупных объектов. Здесь учитывают спрос на него, следят, насколько обоснован этот спрос, не запрашивают ли заказчики лишнего. По классическому определению, финансы не деньги, а экономические отношения. Разумеете тут раньше всего отношение к государственной копейке, ошибки не будет. И оно отлично просматривается из монументального банковского здания на Тверском бульваре.

Кому-кому, а энергетикам стыдно сетовать на то, что им чего-то там недодают. За последние восемь лет запасы неустановленного оборудования возросли на стройках Минэнерго в три с лишним раза и достигли по стоимости 1,5 миллиарда рублей, в том числе сверхнормативные, то есть определенно лишние ценности умножились с 71 до 488 миллионов. Ввод мощностей за тот же период упал, и если в 1976 году в расчете на один установленный киловатт лежало на складах на 39 рублей техники,

то в 1983-м уже на 154 рубля. За эти деньги можно бы ввести как минимум еще киловатт — запасы омертвленного добра много больше годового расхода оборудования.

Сочтем потери. Рубль, вложенный в хозяйство, приносит 15 копеек прибыли в год. Пролетела техника стоимостью 1,5 миллиарда этот самый год — 225 миллионов потеряно. Деньги растворились в воздухе вместе с невыработанной электроэнергией. На деле потери больше, поскольку драгоценные агрегаты лежат нераспакованными и по пять и по десять лет. По данным Стройбанка, оборудование атомных станций поступает в монтаж в среднем через три-четыре года после завоза на площадку. 69 процентов полученной техники энергостроители сдают в монтаж с опозданием. Чтобы узнать первоначальные плановые сроки по некоторым объектам, мне пришлось поднимать архивы позапрошлой пятилетки.

Тут нужно еще пояснить, что означает сдать в монтаж. На сей счет есть особая инструкция Министерства финансов и ЦСУ СССР: «Оборудование, требующее монтажа, включается в выполнение объема капитальных вложений после того, как фактически начата установка его на постоянном месте эксплуатации, т. е. прикрепление к фундаменту, полу, междуэтажному перекрытию или другим несущим конструкциям здания (сооружения), или начата укрупнительная сборка оборудования...» С безнадежной добросовестностью авторы тщатся втиснуть в инструкцию все нюансы жизни: будешь привинчивать оборудование к облакам — это тебе в план отнюдь не зачтется. А вот если хоть одну гайку привернул где положено, вся партия оборудования попадет в отчет об освоении капиталовложений. Признаться, не без смущения разъясняя этот порядок — пишу все же деловую статью, а не пособие для начинающих очковтирателей. С учетом числящегося в монтаже стоимость омертвленного добра придется едва ли не удвоить.

В Минэнерго я взял ведомость оборудования, недопоставленного для атомных электростанций еще в 1983 году. Около половины долгов — для тех энергоблоков, которые в нынешней пятилетке к строительству не намечены, и неизвестно, когда будут включены в план. Тем не менее заказы были аккуратно перенесены в план 1984 года, при малейшей задержке поставок энергетики учиняли форменные скандалы (для чего — это я еще объясню). И что любопытно: исполнять преждевременные заказы обязаны те самые заводы, кои не справились с поставками для пусковых атомных энергоблоков. Вот теперь и судите, откуда выскочили долги, потребовавшие личного вмешательства пяти министров: мощности машиностроения под завязку забиты лишними заказами энергетиков.

Не одни энергетики такие запасливые. Стремительно растут горы омертвленной техники на объектах металлургии, химии, нефтехимии. Специалист Госснаба СССР Т. Абрамова поделилась со мной тревожными расчетами: некоторых видов дорогого электрооборудования на стройках скопилось в 5—6 раз больше нормы. Снабженцы попробовали было придержать поставки — и немедленно последовали протесты от руководителей министерств. Начальник крупного подразделения Госснаба доверительно сообщил:

— Мы знаем, конечно, какие объекты наверняка не будут введены, но попробуй не дать туда оборудование. Всю вину за срыв строительства заказчик и подрядчик переложат на нас. У нас однозначное указание руководства Госснаба: не ввязывайтесь в споры, отправляйте что положено, а дальше не наша забота.

Экономический эксперимент вынес во главу угла дисциплину поставок. Но вдумайтесь в приведенные факты: беда не столько в недопоставках, сколько в перепоставках (прошу прощения за неуклюжие словечки), долги перед смежниками есть лишь следствие загроуки предпрятий лишними заказами.

Вряд ли можно избавиться от следствия, не устранив причину. Пунктуальное соблюдение договоров, чего доброго, приведет к омертвлению еще больших ценностей, если удовлетворяются ведомственные аппетиты, а не истинные потребности экономики. Такое предположение уже сегодня подтверждено одним неприятным фактом: запасы неустановленного импортного оборудования растут гораздо быстрее, нежели отечественного. Разгадка проста: иностранные фирмы исполняют обязательства в срок, чем наши поставщики пока не блещут.

Из этих рассуждений не следует, разумеется, будто похвально срывать поставки, подводить партнера по договору. Сама по себе экспериментальная отработка надежных производственных связей куда как полезна, это необходимая составная

часть в системе мер, направленных на совершенствование хозяйственного механизма. Я хочу лишь сказать, что эффект новых условий скажется после того, как заказчики до разумных пределов ограничат спрос на продукцию производственного назначения, и в частности на оборудование. Все, что не используется, — лишнее, хотя бы оно и было изготовлено в срок. Рубль, вложенный в оборудование, должен крутиться, обрывать копейками прибыли. А такая задача потруднее, чем вести санкции против срыва поставок. Здесь надобна перестройка устоявшегося порядка финансирования. Сейчас предприятия и отрасли сдают основную часть прибыли, необходимой для расширенного воспроизводства, в казну и получают из казны деньги на строительство независимо от своего взноса в общий котел. Наивно ждать, что в этих условиях какое-то ведомство ограничит запросы к бюджету. Делят-то не деньги, а ресурсы страны, которые отпускаются под исхлопотанные миллионы рублей, — материалы, оборудование, мощности строительных организаций.

— Я отвечаю за свою отрасль, а не за все народное хозяйство и всегда буду отталкивать локтями иных-прочих, когда делят казенный пирог, — признался в беседе со мной весьма ответственный руководитель одного из министерств. В словах его чувствовалась боль человека государственного — равнодушные так делают, но так не говорят.

Ведомственные распри не заканчиваются после раздела пирога — в сущности, они идут круглый год. Мы уже говорили, сколько ненужного добра нахватали энергетика на минувший год. Вы думаете, они успокоились на достигнутом в ожидании очередной дележки ресурсов? Как бы не так! Летом прошлого года начальник планово-экономического управления Минэнерго В. Панфилов прислал в Стройбанк нечто вроде ультиматума: «Для выполнения плана 1984 г. необходимо увеличить лимит для оплаты оборудования на 300 млн. руб. До решения этого вопроса правительством просим продолжить финансирование этого оборудования...» Вы что-нибудь поняли, читатель? Нет? Поясняю. Сверх тех астрономических сумм, которые государство выделило отрасли и которые используются из рук вон скверно, министерство самовольно заказало еще на 300 миллионов рублей техники. Расчет прост: главное — выколотить оборудование из поставщика. В конце года бессмысленно разбираться, какие деньги отпустились энергетикам, какие сталеварам, а какие пивоварам. За готовое казна денежки выложит — куда ей деться? А оплаченная техника станет весомым, буквально многотонным аргументом в очередной ведомственной игре: давайте нам денег на строительство больше — у нас и оборудование для новостроек припасено, не солить же его впрок. Вот почему ведомства учиняют вселенский шум при задержках язя лишних поставок.

В точности таким манером металлурги ежегодно заказывают сверх выделенных лимитов на 200—300 миллионов рублей техники. В прошлой пятилетке, помню, брал в Стройбанке сведения о неустановленном оборудовании на объектах Минчермета СССР. Тогда, грешным делом, подумалось: если так и дальше пойдет, стоимость омертвленного добра достигнет миллиарда. Теперь этот рубеж далеко позади — 1,7 миллиарда, причем 56 процентов этого богатства лежит без движения от двух до десяти лет.

Эту технику изготовляют заводы тяжелого машиностроения. Руководители Минтяжмаша в беседах со мной возмущались: пока дело дойдет до монтажа, техника устаревает, а нередко просто приходит в негодность. Ее списывают, а нужное изготовляют по второму заходу. Анекдотичный случай рассказал директор ВНИИметмаша В. Белянинов. Цветной металлургии спешно понадобился специальный прокатный стан. Через высокие инстанции Минцветмет обязал машиностроителей в пожарном порядке спроектировать его и выпустить. Старый работник института, к счастью, вспомнил: вроде бы это уже проектировали лет двенадцать назад. Разобрались — да, стан тогда же и был изготовлен, лежит по сей день. Видно, металлургам легче повторить заказ, чем сыскать готовое в завалах нераспакованной техники. Да какая же экономика выдержит этакое?

Все будет иначе, когда предприятия и отрасли станут жить и развиваться на собственные средства. Желаете строиться — заработай сперва денежки. Или одолжи у государства под процент. Накупил лишнее — ответь рублем. Ведь оборудование, пока оно продукцию не производит, и прибыли не дает. А прибыль-то твоя, не казенная. Идея самофинансирования в общей форме прокламирована условиями экономического эксперимента. Но чтобы провести ее в жизнь, надо четко определить, какая

часть прибыли принадлежит безусловно предприятию. Этого не сделано, и самофинансирование остается пока благим пожеланием.

Предложенное новшество решит, впрочем, лишь половину проблемы: будет ограничен спрос на продукцию до разумных границ. Но где мера разумного? Как исчислить истинные потребности? Эти старые вопросы по-новому поставил опять-таки экономический эксперимент, что свидетельствует о его жизненной силе.

Вопреки надеждам запасы товарно-материальных ценностей продолжают расти и на экспериментирующих предприятиях. Вот объединение «Электростальтяжмаш». Одних лишних подшипников на складах больше 600 тысяч, всего же материалов напасено почти на год работы. Есть и такое, что вряд ли когда понадобится. Для чего это добро покупали?

— А что надо было покупать? — вопросом на вопрос отвечает главный экономист объединения А. Суханов. — На очередной год я получаю план в декабре, а заявки на материалы сдал еще весной. Было бы чудом, если б мои заказы совпали с будущими потребностями. Разве не ясно, что лишние запасы еще вырастут?

Куда яснее. В апреле—июне плановики требуют от предприятий заказ на все виды материалов на будущий год. Заводской экономист резонно возражает: а подо что, собственно, делать заявки? вы дайте сперва план производства, укажите, какие изделия я должен изготовить, тогда я точно скажу, какие конкретно материалы понадобятся. Плановик в свой черед еще резоннее растолковывает: да откуда я тебе возьму план в натуре, пока заявок нет? ведь только они и покажут, какая нужна продукция в следующем году и в каком количестве. Собеседники могут препираться сколько угодно, а родят не истину, но протокол разногласий. Спор бессмыслен, как задача о том, что появилось раньше — курица или яйцо. (Любопытная подробность: Ученые из Института экономики АН СССР в отчете о ходе эксперимента обратили внимание на эту коллизию и предложили: надо, мол, издать закон о достоверном планировании да сверх того испечь управленческий орган, отвечающий за сбалансированность производства. Простенько и со вкусом, только увольте, знаете ли, — этого добра и без того в избытке.)

На практике план верстают, конечно, по заявкам, а не наоборот. Будь иначе, производство вовсе оторвалось бы от спроса. Оно уподобилось бы соревнованию по стрельбе, где победу присуждают не за попадание в цель, а за число выстрелов. Однако минусы принятого порядка очевидны: склады ломятся от лишнего добра, а изготавливать продукцию, случается, не из чего — не зная загода программы производства, заводской снабженец некоторых нужных товаров вообще не заказал. Производственника волнует только дефицит, лишние ценности его мало тревожат.

Зато они не безразличны обществу. Попробуем оценить масштабы потерь. О запасах неустановленного оборудования разговор у нас уже состоялся. Там ситуация, в общем-то, понятна любому: вот прокатный стан или атомный реактор — сделан тогда-то, валяется без толку столько-то лет. Сложнее проследить судьбу двадцати с лишним миллионов видов серийной продукции, рассредоточенной по заводским и иным кладовкам. Все же некоторые расчеты удалось провести по статистическим справочникам.

В последнее десятилетие прибавки национального дохода едва покрывали прирост запасов товарно-материальных ценностей в народном хозяйстве. В отдельные годы запасы увеличивались даже быстрее, чем национальный доход. Так, в 1981 году доход возрос на 24,5 миллиарда, а запасы — на 29,3 миллиарда рублей. Иначе говоря, уже длительный период наращенная часть национального дохода обществу не служит — равное количество продукции оседает в запасах. Это по всему народному хозяйству. Промышленность тоже все в большей степени работает на склады, а не на потребление. Начиная с 1975 года запасы в индустрии стали увеличиваться относительно быстрее, нежели объем производства. Разрыв в темпах углубляется, и теперь запасы растут вторые быстрее, чем товарная продукция. Если в восьмой пятилетке (1966—1970 годы, когда проходила хозяйственная реформа) из каждого приращенного рубля продукции промышленности оседало в запасах чуть больше 13 копеек, то в 1981-м — более 77 копеек. При такой раскладке польза от увеличения производства не просматривается — индустрия наращивает выпуск не столько товаров, сколько будущих неликвидов, как изящно именуются ненужные ценности.

Здесь экономическая природа дефицита видна отчетливо: тех или иных изделий недостает отнюдь не оттого, что их нельзя было изготовить; ресурсы израсходовали на

выпуск лишней продукции, и, естественно, не хватило сил на производство нужного. Связь же дефицита со срывами поставок прослеживается с трудом. Да и вообще задержки с поставками не стоило бы драматизировать — по большей части это лишь удобный способ оправдать собственную нераспорядительность («Вот кто мне всю обедню испортил» — и классический жест большим пальцем куда-то за спину). Помните случай с долгами по оборудованию для атомных станций? Энергетики притянули к ответу первых руководителей четырех отраслей, потребовали свое до винтика. Спрашиваю знающих людей (а дело было в октябре): ну хорошо, отдадут вам все сполна, а объекты-то вы действительно введете? Нет, объясняют, из четырех пусковых блоков сдадим один, при удаче — два, «но уттите, мы вам этого не говорили». Ладно, это уж, как водится, храните свой секрет до 32 декабря. Из годовой сводки ЦСУ СССР мы теперь и без вас знаем: введено два блока.

Пока не найдено достоверного измерения потребностей, соблюдение договоров будет означать точное исполнение неточных заказов. Вот здесь-то экономическому эксперименту и грозит немалая опасность. В его условиях есть одна тонкость: предприятия первых 5 экспериментирующих отраслей обеспечивались материально-техническими ресурсами в приоритетном порядке, даже в ущерб всем остальным. Скептики высказывали сомнение: этак-то и без эксперимента жить можно; да и как потом определяешь, из-за чего достигнуты успехи — то ли из-за новых условий хозяйствования, то ли благодаря первоочередному обеспечению ресурсами? Сторонники новой модели возражали: мы гарантируем экспериментаторам нормальное материально-техническое обеспечение, а его пока только и можно обеспечить в тепличных условиях; когда поставки будут неукоснительно исполняться, снабжение у всех станет нормальным.

Надо признать, логика тут есть. Но, как мы выяснили, дефицит порожден не срывами поставок, а более глубокими причинами. Следовательно, он сохранится и впредь, ибо этих фундаментальных причин эксперимент вообще не касается. А одно дело обеспечить ресурсами в приоритетном порядке 5 ведомств и совсем другое — 31 отрасль, которая работает на новых условиях в нынешнем году. Волей-неволей их придется переводить на общий кошт. Тогда вряд ли эти отрасли достигнут тех успехов, которые добились первые экспериментаторы, обеспеченные ресурсами вволю. Прав ли я, покажут итоги года.

Как же поправить дело?

2

Раз задача о курице и яйце в принципе не имеет решения, ее надо просто снять. Иначе говоря, найти такую хозяйственную модель, в которой эта задачка не существует. Весь спор о том, что чему должно предшествовать — заявки плану производства или наоборот, — сохраняет свою актуальность до тех пор, пока плат в натуральных показателях утверждается раз в году к определенному сроку — к 1 января. А надо бы иначе. Возникла у завода потребность — ищи поставщика, договаривайся о сроках и санкциях. Партнером по договору может быть и посредник — скажем, снабженческая организация, которая за плату помогает одним продать, другим купить продукцию. Сумма договоров и станет программой производства в натуре, никакого иного номенклатурного плана не надо.

В замысле эксперимент предполагает самостоятельное планирование ассортимента по заказам покупателей. Однако почти всю продукцию по-прежнему делают между потребителями планирующие органы, заказчику назначают поставщика и только после этого партнерам разрешают заключать договоры строго в пределах выделенных лимитов. Этот порядок схож с карточной системой, памятной по военным годам: человек мог купить товар в количестве, означенном в карточке, и лишь в том магазине, к которому прикреплен.

Прав у заказчика нет никаких. И если, скажем, в нынешнем августе понадобится ему нечто, он только в апреле 1986 года может подать заявку с просьбой отгрузить это нечто в 1987 году. Причем нет гарантии, что заявка будет учтена при очередной дележке ресурсов. Отправляя ее, заказчик словно бы посылает сигнал в иные миры — кто знает, вернется ли он, отраженный и ослабленный, еще через год. Эта система убивает смелый хозяйственный замысел, подрезает крылья предприимчивым. Недавно я присутствовал на встрече с генеральными директорами наших лучших ва-

учно-производственных объединений. Речь шла о том, как ускорить освоение производства новой техники. В идеале желательно, чтобы от первой линии, проведенной конструктором на ватмане, до выпуска опытного образца уходило не больше года. В очень многих случаях пионеры технического прогресса способны уложиться в такой срок. Однако генералы в один голос утверждали: новинку обычно не из чего делать — ведь заявку надо подавать за два года до получения материалов. При передаче опытного образца в серийное производство будет потеряно еще два года по той же причине. В наш-то динамичный век!

Верстка плана по договорам выгодна как заказчику, так и изготовителю продукции: первый получает без задержек необходимое ему, второй имеет возможность составить достоверную программу производства в натуре. Народное хозяйство в целом обретает гарантию того, что изготовлена и потреблена действительно нужная продукция.

То, что я предлагаю, на экономическом жаргоне называется переходом от распределения к оптовой торговле средствами производства. Сведущий читатель вспомнит, вероятно, что вопрос этот обсуждается давно. На сей счет были даже директивные указания — например, в решениях XXIII съезда партии. Но каждый раз верх брало одно опасение: вдруг расторопные заказчики подсуетятся с заказами, а другие потребители, быть может, более важные, замешкаются и останутся ни с чем, поскольку возможности производства любой продукции все же не безграничны.

Довод серьезный. Но решение давно найдено. Здесь надо помянуть добрым словом одного выдающегося человека. Мне доставляет удовольствие написать его имя — Моисей Ефимович Кобрин. Не смею сказать, что он был моим другом. Учителем — да. Теперь вот, когда я доверяю бумаге память о нем, спрашиваю себя: встречался ли мне в жизни еще кто-то, кто оказал бы на меня столь мощное влияние? Пожалуй, нет. Впрочем, это могут сказать о себе многие — Кобрин оставил школу экономистов. В экономике он знал все и сверх того еще что-то. Моисей Ефимович прожил невероятную жизнь, бывал и на коне и под конем. Мы встретились, когда он был уже глубоким стариком. Это случилось в 1964 году в редакции «Экономической газеты». В ту пору шла предреформенная экономическая дискуссия. Больше половины пухлого еженедельника занимали дискуссионные статьи. Критического запала хватало — недостатки тогдашнего хозяйственного механизма все понимали. Сложнее обстояли дела с позитивной программой, с ответом на извечный вопрос «что делать?». Одна статья побивала другую, и трудно было понять, за что же, собственно, газета сражается. Вот тогда-то Кобрин и выдал нам свое кредо — рукопись объемом больше ста страниц. Это была работа. Еще и сегодня, когда мы, его ученики, окончательно запутаемся в спорах, самый рассудительный спросит: «Погодите, а как это дело решено у Кобрина?» И ответ обычно приходит.

Фундаментальную идею об оптовой торговле средствами производства мы обсуждали тогда с особым пристрастием. Действительно, легко ли будет школе, больнице и иному заказчику, которому отпускают из бюджета лимитированные средства, тягаться с хозрасчетным предприятием? Завод набавит цену и перехватит товар. Как тогда, Моисей Ефимович? Оказывается, все достаточно просто: давайте на первых порах выделим некоторую долю ресурсов для обеспечения предпочтительных заказчиков, остальное — в вольную продажу. Иными словами, часть договоров должна быть обязательной к заключению. Партнеры и тут могут рядиться, обговаривать условия — бюджетный заказчик все равно может искать более удобного поставщика. А уж не найдет — тогда договор в приказном порядке.

Обладая колоссальной интуицией, Кобрин тут же назвал примерную долю ресурсов, изымаемых из вольной продажи, — четвертая часть.

Наша практика планирования рассуждают иначе. Они готовы, впрочем, рискнуть, однако в определенных границах: для начала, мол, можно пустить в свободную продажу ту продукцию, которая сегодня в избытке; по мере того как станет возникать недостаток других изделий, их тоже удастся исключить из сферы распределения. Затем, считаю, нереальная, так достатка никогда не наступит. Дефицит сохранится навечно. Он порожден, как уже сказано, растратой ресурсов на выпуск лишней продукции.

Немного поразмыслив, мы убедимся: если не планировать и не утверждать ассортимент продукции сверху, то сразу теряют смысл многие стоимостные и трудовые показатели, ныне обязательные. Выручку, прибыль, производительность труда, расход материалов легко вывести из суммы принятых заказов. Значит, здесь тоже возможна

и желательна самостоятельность предприятий. Остается одно обязательное задание — взносы в бюджет. В остальном коллектив волен. При таких и только при таких условиях выпуск продукции будет соответствовать потребностям, соблюдение договоров станет гарантией нормального материально-технического обеспечения производства.

Тогда отпадет нужда в жестком контроле сверху за поставками. Сегодня он все равно приводит не к тому результату, на который мы рассчитываем. Да, дисциплина улучшилась, срывы исчисляются лишь долями процента. Но чем, так сказать, начислены исполненные проценты поставок? Получил ли заказчик действительно нужную продукцию? Если завод «Атоммаш» на месяц задержит отгрузку атомного реактора, коллектив будет наказан. А потом агрегат годами лежит нераспакованным. Крановое оборудование считается дефицитным, плановики и снабженцы поштучно делят его между потребителями. Попробовал бы изготовитель отгрузить с опозданием хоть один мостовой кран — санкции неминуемы. А к концу года высчитается: 37 процентов этого оборудования просто лишние, добро не понадобилось. Зато отгружено оно заказчикам точно в срок.

В масштабах нашей экономики ежегодно устанавливается свыше миллиарда хозяйственных связей. Контролировать их из центра по единому шаблону так же немислимо, как планировать сверху безбрежный ассортимент продукции. Сроки поставок, изменения связей, взаимные штрафные санкции — обо всем этом с успехом полагают партнеры по договорам.

Вторая генеральная идея эксперимента — побудить предприятия к тому, чтобы они с охотой принимали напряженные планы. Рассмотрим теперь этот замысел и его исполнение.

3

Вспоминаю беседу с первым заместителем председателя Госплана СССР А. Гореглядом. На такой должности человек вправе воспринимать любое выступление в печати с серьезной критикой дел в промышленности на свой счет. Обязанность, согласитесь, нелегкая, но я ни разу не заметил в нем раздражения против журналистов. У него была привычка вызывать (приглашать, если хотите) автора и расспрашивать о том, что в статью почему-либо не вошло. Алексей Адамович умел слушать не одного себя. Насколько я понял, ему нужна была, как модно теперь говорить, обратная связь. Он прошел по всем ступенькам управленческой лестницы и на высотах власти продолжал держаться того понятия, что если решения государственного масштаба исполняются не вполне так, как задумано, то причина необязательно в нерадении низов. Разговоры с нашим братом были для него, видимо, подспорьем в проверке этих решений на прочность.

В тот раз я поинтересовался: как так выходит — специалисты министерств готовят проекты годовых планов, а Госплан, как правило, не соглашается с расчетами и чисто волевым порядком ужесточает задания?

— А планы-то выносятся. Так кто же точнее взвесил возможности — мы или руководители отраслей? — возразил Алексей Адамович и тяжело пошутил: — Случайно, не заметили у меня в приемной очереди за напряженным планом?

Разговор давний (Горегляда уже нет в живых). Но ситуация мало изменилась. Совсем недавно ответственный работник Госплана О. Юнь огоршил нас, экономистов: «Все ли мы за умножение богатства страны?» И пояснил: вопрос не риторический. Да, на словах каждый из нас, разумеется, за. Но начинается верстка плана — на год ли, на пятилетку ли — и всякий раз одна и та же история: директора предприятий убедительно доказывают своему начальству нереальность заданий, министры в свой черед излагают эту идею применительно ко всей отрасли.

— На поверку в сфере хозяйственного управления один Госплан выступает за высокие темпы развития, за напряженные задания, — закруглил свою мысль оратор.

Что ж, с ним трудно спорить. Много было попыток подогреть интерес к напряженным заданиям, однако нынешний экономический эксперимент, пожалуй, впервые за последние десятилетия ставит это дело на солидную основу. Принят вариант предельно простой, равно понятный и директору и вахтеру: впредь коллектив будет опираться за приросты, за прибавки производства. Важнейший для любого предприятия показатель — конечно же, фонд заработной платы. По условиям эксперимента

его сохраняют в точности таким, каким он был в предыдущем году, плюс добавка за каждый процент прироста объемов производства. Людям как бы подсказано: меньше прошлогоднего не получите, а желаете больше — давайте и продукции больше либо численность сокращайте. Примерно так же обстоит дело и с премиальной частью заработка.

Замысел удался.

— Впервые на моей памяти министерства не вступили с нами в конфликт по поводу того, что задания нереальны, — рассказывает начальник госплановского отдела совершенствования планирования Д. Украинский. — Более того. План, предложенный отраслями, оказался на два процента выше наших первоначальных наметок.

Любопытная беседа состоялась у меня с начальником планово-экономического управления Министерства электротехнической промышленности В. Астафьевым. Владимир Егорович был в некоторой растерянности: конец квартала, а никто к нему не идет с просьбой уменьшить план. Вещь прежде неслыханная. Директор может теперь и сам скостить себе задание, но опять охотников нет — ведь тогда и фонд зарплаты автоматически уменьшится. Словом, экспериментирующие отрасли и план взяли напряженнее, и выполняют его лучше, нежели промышленность в целом.

Так что же, полный успех? Пожалуй. А впрочем, с одной оговоркой. Темпы развития ускорились, это несомненно. Однако все ли решают темпы? И за счет чего, прибавками какой продукции они обеспечены? Мы уже убедились, что мало пользы наращивать производство, если продукция оседает на складах, вместо того чтобы удовлетворять потребности общества. Но это лишь один изъян, который экспериментом не устраняется. Есть вещи и поважнее. Мы обнаружим их, рассмотрим одну в высшей степени типичную коллизия.

Конструктор провел ладошкой по корпусу мотора, словно приласкал живое существо (ребристым своим статором машина и впрямь напоминала ежика). Перехватив мой взгляд, Евгений Иванович отдернул руку, забавно смутился, а потом преувеличенно деловым тоном стал рассказывать о новинке.

Полуторакиловаттник — первенец нового поколения электродвигателей. Моторы предназначены для всех стран СЭВ. Предполагается, что машина будет конкурентоспособной на мировом рынке до 2000 года. В новой конструкции резко снижен уровень шума, что по нынешним временам особо ценится, мотор безотказен в работе, не требует смазки, много легче отечественных и зарубежных аналогов, дешев в производстве.

Так когда же?.. Мой собеседник, начальник одного из харьковских КБ Е. Малихин, и тут на высоте:

— Мы примерно на год опережаем заданный срок. К смежникам особых претензий пока нет, хотя в программе участвуют семь отраслей. В восемьдесят четвертом году ХЭЛЗ, то есть наш Харьковский электротехнический, сделает сто двадцать тысяч новых двигателей. К исходу двенадцатой пятилетки во всей отрасли выпуск достигнет девяти миллионов штук в год.

Итак, еще пять-шесть лет электротехническая отрасль будет гнать потребителям мотор прежнего поколения. Вот он, на столике перед нами — на него теперь и смотреть-то неохота. Время — деньги не в каком-то там переносном смысле. Спор о том, какой эффект получат потребители от новинки, пока не завершен, но в любом случае речь идет о десятках миллионов рублей выигрыша в год. Здесь не учтена еще экономия материалов, а она немалая. Медного провода на годовую программу пойдет на 2,3 тысячи тонн меньше, а там еще алюминий, прокат, которые тоже на дороге не валяются.

Специалисты до недавних пор по две смены не вылезали из цехов, налаживая выпуск более совершенных двигателей. Сегодня самый трудный период освоения позади, есть все условия для того, чтобы быстро, максимум в течение года, вытеснить устаревшую модель.

Возникли, однако, препятствия чисто экономического свойства. Представьте себе поточное производство. Тут все отлажено, труд механизирован, рабочие знают свои операции в совершенстве. И вдруг в тех же цехах начинают осваивать новую продукцию. Ясно, что выпуск изделий упадет, затраты труда на каждое изделие непременно возрастут. Когда в конце 1983 года ХЭЛЗ выпускал первую партию двигателей,

расход зарплаты в расчете на один мотор увеличился в 1,7 раза. Вместе с заводскими экономистами И. Андросовым и М. Подольной мы подсчитали: в ту пору коллектив терял на каждом изготовленном двигателе 23 рубля товарной продукции, 8 рублей прибыли.

Все это совершенно нормально, иначе и не бывает. И случись эта история год-два назад, потери оказались бы менее огорчительными для коллектива: скорее всего заводу на период перестройки уменьшили бы план по объему производства, скорректировали другие задания. Сегодня ситуация иная: в электротехнической отрасли по условиям эксперимента благополучие заводских коллективов зависит от прибавок производства.

Всячески стимулируются приросты, а их-то как раз и нет в период освоения новой продукции. Всю нынешнюю пятилетку ХЭЛЗ увеличивал объемы производства примерно на 10 процентов ежегодно. Сейчас темп упал вдвое. Не вяжись коллектив в освоение выпуска новых моторов, он без лишних хлопот получил бы вдвое большую прибавку фонда зарплаты.

Поощрение за приросты побуждает предприятие сугубо осторожно переключать мощности на новую продукцию. Вот почему завод растянул освоение новой серии моторов до 1987 года. В целом отрасль снимет с конвейеров устаревший двигатель лишь в 1990 году. Между тем ситуация в электротехнической промышленности весьма благоприятна для быстрой смены продукции. Да, выпуск моторов в штучках временно упадет, но ведь производство их избыточно. Денег на перестройку производства нужно относительно немного — новых корпусов строить не придется, достаточно заменить часть оборудования. Причина задержки одна: желательно подольше сохранить в программе устаревший, но чрезвычайно выгодный для изготовителей двигатель.

На этом парадоксы не кончаются. Вникнем, за счет чего ХЭЛЗ обеспечивает хоть и вдвое меньший, чем прежде, но все-таки значительный прирост — 5 процентов в год. Объем производства исчисляю в рублях чистой продукции. Каждый такой рубль состоит из двух далеко не равноценных частей — из зарплаты и прибыли. По заводским отчетам удалось установить: при выпуске одних изделий достаточно истратить гривенник на зарплату, чтобы получить на рубль продукции (стало быть, 90 копеек приплюсовывается в виде прибыли). С другой стороны, есть в программе изделия вовсе не рентабельные — в их стоимости весь рубль уходит на зарплату. И что всего неприятнее, просматривается закономерность: чем больше выпускается продукция, тем ниже расход зарплаты на рубль ее стоимости. Возместить потери темпов неизбежные при освоении новинки, можно только одним способом: одновременно увеличивать производство устаревших, но менее трудоемких изделий. Занятно выходит: желаешь осваивать новое — одновременно увеличивай выпуск старья. Оно выручит, обеспечив лакомые приросты.

Между тем умножать выпуск двигателей вообще не надо. Я имел уже случай заметить, что скопились громадные запасы лишних моторов. Но суть дела не только в прямом омертвлении ценностей. Создавая технику нового поколения, конструкторы изучили, разумеется, мировые тенденции в этой отрасли. Как выяснилось, в Западной Европе и США потребители особенно ценят экономичность двигателя в смысле расхода электроэнергии. Производство немедленно отреагировало на такое требование — на рынок поступили моторы более тяжелые, подороже, но с повышенным коэффициентом полезного действия. Дополнительные затраты заказчик окупает за год экономией электричества. Так, может быть, и нам пойти по этой дорожке? Посчитали — нет, невыгодно. Дело в том, что там мотор эксплуатируется в среднем более 3 тысяч часов в год, у нас — 1250 часов. При такой раскладке на сбережении электричества много мы не выигрываем — разумнее делать двигатель более легкий и дешевый.

Решение правильное, но меня смущает, отчего это наши моторы так мало времени находятся в работе. Не имеем ли мы здесь дело со скрытым их избытком, который означает еще большее расточительство, нежели явное омертвление техники в запасах? А учетом: электродвигатель действует не сам по себе — он ведь что-то такое крутит. Стало быть, и крутимое работает не более 1250 часов в году, или значительно меньше одной смены в сутки. Очевидно, наблюдается скрытый избыток всей техники, укомплектованной моторами.

Рассмотрим ситуацию в станкостроительной индустрии, которая является самым крупным заказчиком электродвигателей.

Выпуск станков, то есть машин для производства машин, начинался в первые пятилетки практически с нуля. Светлой мечтой периода ускоренной индустриализации было догнать и перегнать в этой ключевой отрасли развитые страны. Один из первых наших станков так и назывался — «ДИП» (сокращение от «догнать и перегнать»). Сегодня наш парк металлообрабатывающего оборудования превышает парк трех самых развитых стран мира — США, Япония и ФРГ, вместе взятых. Есть чеканная формула: лучше — это значит и больше. Обратной силы такое правило не имеет: больше — далеко не всегда лучше. Количественный, экстенсивный рост привел к достаточно тяжелой ситуации: станки просто некому обслуживать. Остановитесь у проходной любого завода — и вы непременно увидите объявление: требуются, требуются, требуются... Как же может не быть дефицита станочников, когда только за 1965—1980 годы станочный парк возрос в 2,5 раза, а приток рабочих рук сильно сократился! Если в прошлой пятилетке в народное хозяйство пришло 11 миллионов новых работников, то в нынешней прирост составит 3 миллиона, а в 1986—1990 годах и того меньше.

На специализированных машиностроительных заводах металлообрабатывающее оборудование действует в среднем менее десяти часов в сутки. В механических цехах немашиностроительных предприятий, где сосредоточено (лучше бы сказать — рассредоточено) около 44 процентов всего парка станков, техника используется еще хуже. Когда работник простаивает без дела, все понимают: непорядок. Когда металл, электричество, топливо и прочие материалы используются расточительно, потери опять-таки очевидны. А вот если оборудование бездействует, то вроде бы так и надо — деньги за него давно уплачены, стоит себе, есть не просит. Просит!

За год народное хозяйство получает без малого на 200 миллиардов рублей машиностроительной продукции. Это при том условии, что техника действует около десяти часов в сутки. А представьте себе, что она будет работать по пятнадцать часов. Требование, согласитесь, не чрезмерное — это меньше двух полноценных смен. Тогда прибавка продукции составила бы почти 100 миллиардов рублей в год. По осторожному подсчету, одной прибылью страна получила бы миллиардов на 15 больше.

Увеличивать и дальше выпуск станков значит множить потери, недобор готовых изделий и прибыли. Это тем более справедливо, что на приток новых работников (станочников в том числе) рассчитывать не приходится. Да и не нужны они!

Экстенсивный способ развития машиностроения вообще и станкостроения в частности исчерпал свои возможности, каждый следующий шаг по этому пути ведет к расточению труда. Тут нужны крутые перемены: производить меньше техники, но такой, которая сберегает труд, позволяет обойтись с минимальным обслуживающим персоналом. Она есть уже не только в чертежах — талантами земля наша не оскудевает. Расскажу об одном замечательном коллективе — об Ивановском станкостроительном объединении.

Здесьний головной завод был построен в 60-х годах как дублер знаменитого Ленинградского объединения имени Свердлова. Едва предприятие вышло на выпуск тысяч расточных станков в год, как выяснилось, что продукция эта не нужна. В ту пору я работал в «Экономической газете» и отлично помню, как мы печатали объявления: «Продаются без фондов и нарядов универсальные расточные станки 2620». Ленинградские станки качеством получше — и те трудно было продать, а уж ивановские... Снабженцы уверяли, что легче сбить двухпудовую гирию одинокому путнику.

Тогда-то и пришел на завод новый директор Владимир Павлович Кабаидзе. Этот человек поначалу показался фантазером — он выступил с идеей сделать провинциальный завод-дублер законодателем технического прогресса в машиностроении. Много позднее он так объяснил свою дерзость: мол, если обрести какое-то минимальное благополучие, утрясти дело с планом и сбытом, то потом труднее будет начинать коренную перестройку — от добра добра не ищут. Короче, коллектив решил осваивать производство обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ). Пусть читателя не пугают термины, сейчас все будет ясно. Обрабатывающий центр — это целый набор станков, совмещенных в одной машине. В приемный магазин загружают заготовки. Проворные механизмы ставят их на стол, достают нужный инструмент, обтачивают, строгают, сверлят все что надо и отправляют готовые детали на склад. Если зарядить станок заготовками в конце второй смены, то всю ночь он будет действовать самостоятельно. Сейчас ивановцы научи-

лись связывать обрабатывающие центры в автоматические линии, причем, что особенно важно, такие линии можно быстро переналадить на выпуск нужной продукции — достаточно изменить программу. Дело идет к безлюдной технологии.

Станки охотно покупают в Японии, США, ФРГ, Швеции, портфель заказов переполнен. Можно бы ожидать, что энтузиастов на руках носят, достойно вознаградили морально и материально. Послушаем, однако, директора: «Экономических выгод мы не имеем никаких. Не случайно ни один завод не последовал нашему примеру, хотя наш опыт создания новой техники был одобрен. Зачем новая техника, зачем экспорт, когда при выполнении обычных плановых показателей предприятие сможет выплатить своим ИТР 30—40 процентов прогрессивки? А при выполнении заданий по новой технике если не будет выполнен производственный план, то не будет и фондов стимулирования... Что выгоднее предприятию — очевидно. И каждый директор предпочитает синицу в руках журавлю в небе... Нам из года в год планировали изготовление универсальных расточных и устаревших радиально-сверлильных станков. Когда мы говорили, что нужно снять с производства «радиалку», уменьшить выпуск универсальных машин и тогда мы можем увеличивать производство обрабатывающих центров, нам в Госплане возражали: «Хотите больше изготовлять обрабатывающих центров — пожалуйста, но на остальную продукцию тоже есть заявки? Так какова же роль Госплана: планировать перспективу или распределять заявки? Отечественный парк станков неимоверно разросся, остро ощущается недостаток станочников, падает коэффициент сменности оборудования, а нам планировалось увеличение выпуска универсальных станков»¹.

Это опубликовано в наиболее читаемом экономическом журнале в 1982 году, то есть до начала эксперимента в 5 отраслях промышленности. Легко понять, что погоня за прибавками производства сейчас снова подогреет в отрасли интерес к выпуску устаревших станков. Цепочку следствий можно продолжить. При непомерном выпуске традиционной техники металлургии просто обязаны год от году наращивать производство своей продукции. То есть и в этой отрасли произойдет экстенсивное увеличение производства...

Партия и государство настойчиво нацеливают экономику не на количественный рост всего-всего, а на эффективность производства. Она в свой черед означает, что следует тратить меньше живого труда, меньше энергии, сырья, материалов, меньше основных производственных фондов на единицу конечной продукции. Экономический же эксперимент всячески поощряет именно количественные прибавки, то есть, в сущности, экстенсивный путь развития экономики.

Правда, горячие сторонники эксперимента отпираются от такой цели. Член-корреспондент Академии наук СССР П. Бунич, например, публично заявил: «Мы не за всякие приросты, а за увеличение выпуска действительно нужной, действительно прогрессивной продукции». Однако похвальные намерения не совпадают с объективной логикой испытываемого хозяйственного механизма: прибавок производства на каждом предприятии легче всего достичь за счет выпуска устаревшей продукции, или, что то же самое, ценою замедления технического прогресса. Ход эксперимента подтверждает такой вывод.

Как это ни парадоксально, стимулирование за приросты не способно обеспечить и хороших постоянных приростов. Оно исходит из предположения: если каждое предприятие год от году будет давать больше продукции, то и вся промышленность в целом станет развиваться быстрее. На первый взгляд идея неуязвима. Но как из тысячи кроликов нельзя составить одного слона, так и из тысячи предприятий еще не складывается индустрия. Лучшие темпы наша промышленность показывала как раз в периоды научно-технических переворотов, значимых структурных сдвигов — таких, как химизация народного хозяйства, развитие приборостроения, точного машиностроения. Теперь на очереди робототехника, автоматизация, гибкие производства, что сулит экономике новый взлет. И чем больше предприятий начинают выпускать новейшую продукцию, чем быстрее они проходят неприятный период освоения пусть даже с временным снижением объемных показателей, тем выше общий темп развития промышленности. Временные спады темпов на отдельных заводах-изготовителях оборачиваются скачкообразным ростом всей индустрии — такова диалектика.

¹ «Экономика и организация промышленного производства», 1982, № 1, стр. 104—105.

Мировой опыт учит, что темпы вообще не самоцель. Буквально на наших глазах, при жизни одного поколения, Япония совершила три основательных сдвига в экономике. Помню, в конце 50-х годов японцы покупали у нас лицензии на новинки металлургии. В считанные годы они создали лучшую в зарубежном мире черную металлургию и переключили ресурсы на развитие более выгодных отраслей — химии и нефтехимии. Затем новый поворот — к производству электронной техники, экологического оборудования, роботов. При каждом структурном сдвиге страна опережала конкурентов. О японском «чуде» много говорят. В чем его суть? В структурных сдвигах в сторону все более наукоемкой продукции? Ясное дело. В научно-техническом прогрессе? Опять верно. В высоких темпах? Да, но с одной поправкой: темпы пришли как приятный побочный результат — исчисляют их по прибавкам стоимости, а новейшая продукция и ценится дороже, и в условиях стремительного научно-технического прогресса производство ее обходится относительно дешевле.

Лишь для удобства анализа принято рассматривать по отдельности структуру производства, технический прогресс и темпы развития. В действительности перед нами одно явление, охарактеризованное с разных сторон, причем темпы занимают в этой триаде подчиненное положение — они производны от первых двух составляющих.

4

Видные экономисты, разрабатывавшие опытную хозяйственную модель, честно признают: да, технический прогресс в новых условиях, по существу, не стимулируется, это надо поправлять; возбудив интерес к напряженным планам, мы должны теперь ввести стимулы и к новациям.

Если приросты производства достигаются через экономические интересы, то осваивать выпуск более совершенной продукции теперь предлагается посредством прямых директив. Однако направления технического прогресса многочисленны и разнообразны, их нельзя выразить каким-то одним плановым показателем. Волей-неволей приходится доводить задания по каждой новинке в отдельности. В плане на 1985 год использовано 193 показателя по новой технике. Как сказано в писании (канцелярском), министерства обязаны «довести их до предприятий машиностроительных отраслей, обеспечить при этом соответствующую разъяснительную работу и жесткий контроль за отчетностью». Еще более объемистый перечень показателей предложен в макет плана на очередную пятилетку. Я узнал о нем при забавных обстоятельствах. Меня принимала Л. Бусяцкая, начальник планово-экономического управления Минтяжмаша. Речь шла о расширении прав предприятий в условиях эксперимента. В кабинет заглянул подчиненный Любови Анатольевны, положил на стол как ядовитое примечание к нашему разговору толстенную папку госплановских форм к плану по новой технике и поинтересовался, что же с ними делать.

— Напишите им, что мы не можем заполнить таблицы. Откуда нам сегодня знать, какое изделие в девяностом году будет отнесено к высшей категории качества, какое к первой? И поскорее верните им это, — распорядилась Бусяцкая.

С какой брезгливостью Любовь Анатольевна отодвинула бумаги, сколько великодушного презрения вложила в словечко «это»!

Спускаясь по ступенькам управленческой лестницы, бумага обладает свойством плодиться и множиться, как муха дрозофила. Харьковскому электротехническому заводу предписано, например, какие изделия осваивать, сколько каких станков установить, какой инструмент применять, сколько каратов синтетических алмазов использовать, сколько бригад создать, кого перевести с ручного труда на машинный. Сотни и сотни заданий в годовом разрезе, в квартальном и еще как-то. Я рассматривал эти диковинные документы на исходе прошлого года, а папка с планами по новой технике пребывала в отличном состоянии. Смахивает на то, что в нее и не заглядывали. Да и что можно сделать с подобными бумагами кроме как подшить их?

Испробован, впрочем, и другой вариант, по видимости создающий экономическую заинтересованность в новациях. Все станет ясно из того же случая с освоением новой серии электродвигателей. Пытаясь сделать новые моторы выгодными в производстве с самого начала, экономисты Министерства электротехнической промышленности предложили поднять на них цены. Однако оптовая цена может расти лишь

в меру экономического эффекта новинки. Если, к примеру, потребительские свойства продукции улучшились в 1,5 раза, то ни при какой погоде цена не должна вырасти в большей степени. Иначе новинка будет убыточной для народного хозяйства.

Стимулирование за приросты, хотим мы того или нет, побуждает предприятия и отрасли взвинчивать оптовые цены. Ведь так легче легкого достичь стоимостных прибавок производства. Вступив однажды на этот путь, с него труднее свернуть. Действительно, сегодня ХЭЛЗ получает в среднем рубль прибыли на рубль зарплаты. Чтобы новый мотор стал выгодным, нужно сразу же заложить в цену хотя бы эту норму прибыли. Но по мере освоения затраты труда резко снизятся и соответственно возрастет прибыль. Тогда в цену очередной новинки пришлось бы закладывать вовсе уж несообразную норму прибыли. И так до бесконечности, что привело бы к галопирующей гонке цен. Предприятия наращивали бы не производство продукции, а отчетную цифру.

По многолетним наблюдениям видного специалиста Госнаба СССР В. Доронина, цены на технику поднимаются примерно на 10 процентов в год, причем этот рост далеко не всегда подкреплен качеством продукции. Знатки экономики называют и другие цифры, кто больше, кто меньше, но в одном все единодушны: отчеты о прибавках производства не отражают истинной картины — в них не учтен скрытый рост оптовых цен.

Упредить эту практику и одновременно ускорить научно-технический прогресс, по глубокому моему убеждению, мыслимо, если условия станут диктовать не изготовитель, а потребитель продукции. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Казус, однако, в том, что покамест за «музыку» заказчик платит деньгами, которые ему не принадлежат. По заведенному порядку экономический эффект новинки и расчет оптовой цены должен непременно подтвердить будущий потребитель. Экономисты Минэлектротехпрома, представляя в Госкомитет цен проект явно завышенной цены на новый мотор, без труда обошли это препятствие. Двигатель станут покупать станкостроители. Ответственные работники этой отрасли Г. Смолко и А. Наумов с легкой душой подтвердили липовые расчеты дружественного ведомства. А чего стесняться? В известном смысле дорогие моторы заказчику даже выгоднее — тогда на законном основании подорожают новые станки и без всяких усилий возрастет стоимостный объем производства в станкостроительной отрасли.

Выход мы уже указали, когда рассматривали обособанность спроса на продукцию: предприятие должно жить и развиваться за счет собственных средств. Тогда потребитель сам разберется, по какой цене ему выгодно приобретать новый мотор. И если изготовитель не способен уложиться в предложенную цену, то и выпускать изделие не надо — новую технику покупают не из-за новизны ее, а ради экономического эффекта.

Более совершенный мотор года через два будет дешевле старого в производстве — стало быть, выгоден изготовителю и по прежней цене. Да и в других случаях новая продукция выгодна в изготовлении, едва пройден неприятный период ее освоения.

Да, сегодня ХЭЛЗ несет урон от выпуска новинки. Что же, пока человек строит себе новый дом, он живет не лучше, а хуже. А все-таки строит, ибо знает, ради чего старается. Так и тут. Минет нелегкий период перестройки производства, предложит завод потребителям новый мотор по приемлемой цене — благополучие коллектива обеспечено, пусть готовится к очередному прорыву в грядущее. Отстал — не взыщи. Ведь если харьковчане выбросят в продажу свою продукцию, остальным изготовителям волей-неволей придется снижать цены на свои устаревшие двигатели. Перестройку производства им предстоит провести в менее благоприятных условиях, нежели пионерам технического прогресса (прибыли-то будет меньше, а из нее перестройка и оплачивается). Тут научно-технический прогресс становится жизненно необходимым для коллектива. А уж какие конкретно новации использовать — люди решат без пудовых заданий извне. Новую технику более не придется внедрять. Ведь словечко это означает, что новшества силой втискивают, впихивают в некую среду, которая отчаянно тому сопротивляется.

В нашем варианте управление техническим прогрессом происходит не посредством обособленных приемов, отличных от управления другими экономическими процессами, — напротив, сам хозяйственный механизм побуждает к новациям.

При всем своем значении научно-технический прогресс не единственная забота народного хозяйства. Почти три четверти всех затрат в производстве промышленной продукции падает на сырье, материалы, топливо и энергию. Мы, люди пожилые, помним захватывающие лозунги времен нашей юности: догнать и перегнать переловые в техническом отношении страны по производству чугуна, стали, цемента, по добыче угля, нефти... Тогда нам представлялось: вот достигнем этого и будем всех богаче, всех сильнее — уж распорядиться-то немереными ресурсами дело нехитрое.

По расчетам академика Н. Федоренко на единицу конечного продукта в СССР гратится стали в 1,75, цемента — в 2,3, минеральных удобрений — в 1,6 раза больше, чем в США². «За последние 20 лет (1960—1980 гг.) экономические результаты производства, отражающие эффективность использования ресурсов, имели нежелательную динамику... — пишет академик. — Материалоемкость продукции выросла на 3,4 процента... Каждый процент прироста национального дохода в девятой и десятой пятилетках требовал увеличения... материальных затрат на 1,2 процента... Доля интенсивных факторов в общем приросте национального дохода составляет 25 процентов против 40 в 1960 г.»³.

Как видно из отчетов за 1983 год, на сопоставимую единицу национального дохода наша страна добывала или производила нефти — в 2,2, чугуна — в 3,7, стали — в 3, цемента — в 2,9 раза больше, нежели США⁴. Поворот к эффективности в том, в частности, и состоит. что надо тратить меньше сырья на единицу продукции. С этим придем сверстаны все наши планы. Так, в нынешнем году дополнительная потребность народного хозяйства в топливе, энергии, прокате черных металлов почти на 60 процентов должна быть удовлетворена за счет экономии. Не будет экономии — не удастся исполнить и задания по выпуску продукции, ее не из чего будет делать.

Эти жизненно важные задачи эксперимент оставляет в стороне.

Мы с вами разбирались с причинами роста запасов в новых условиях. Но что такое запасы? Это сырье и материалы, выключенные из хозяйственного оборота или просто ненужные. Упор на количественные приросты, как мы опять же выяснили, стимулирует избыточное производство моторов, станков и прочего добра, на которое уходит продукция сырьевых отраслей.

Но если даже отвлечься от этих глобальных вопросов и предположить на минутку, будто любая продукция нужна, то все равно экспериментирующим коллективам сейчас нет резона снижать расход материалов на изделие. Скорее наоборот. Мне не раз доводилось бывать на ярмарках отходов (их проводят снабженческие организации). Сюда поступают с предприятий, например, обрезки листа по квадратному метру и больше. Из них можно выкраивать либо штамповать полноценные детали, однако покупателей негусто. Ясно, что утилизация отходов требует добавочного труда. Зачем спасать, когда можно списать? Приростов производства легче достичь при расточительном расходе материалов.

Народное хозяйство пойти на это не может. Вот почему рядом с экспериментом пришлось задействовать особое управление материалоемкостью продукции. Словом, повторяется история с техническим прогрессом: раз эксперимент к нему не побуждает, давайте управлять им посредством отдельной системы мер.

И снова все надежды на силу директивы. По принятому порядку предприятиям ежегодно утверждаются нормы расхода основных материалов на одно изделие. Но, как уже сказано, видов изделий — 24 миллиона и на каждое идет обязательно один материал. Стало быть, надо пересматривать сотни и сотни миллионов норм ежегодно. Немыслимо представить себе сверхорган, способный исполнить эту работу. Подготовку норм приходится доверять предприятиям.

Что из этого выходит, рассказал как-то на коллегии Госснаба один из руководителей Красноярского управления снабжения:

— В строительных организациях, которые сооружают Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс, примерно две тысячи специалистов готовят заявки на материалы. И все хотят нас обмануть — завышают нормы расхода, чтобы потом

² «Вопросы философии», 1981, № 10, стр. 12.

³ Там же, стр. 6.

⁴ См. статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1983 году», стр. 58, 68—70.

не бедствовать. Чтобы уличить их, контролер должен заново повторить все расчеты. Где же взять штаты? Принимаем заявки на веру.

Несколько лет назад у меня произошел спор в печати с отдельными руководителями из Кемеровской области как раз о достоверности норм. Многие, возможно, помнят, что кемеровцы выступили тогда с инициативой: всемерно экономить топливо и энергию. В шахтерском краю знают, легко ли эти богатства достаются. Почин одобрили, а вскоре область отрапортовала и об успехах. Но как измерили успех? Да очень просто: сперва инициаторы выхлопотали явно завышенные нормы, а затем начали лихо отсчитывать от них экономию. В действительности же в тот год расход электричества, тепла, топлива на единицу продукции даже возрос. После публикации расчетов мне ответили в том смысле, что перерасход не считается перерасходом, если норма утверждена где надо.

В любом случае управление материалоемкостью — проблема не чисто экономическая, а еще и нравственная, даже в первую очередь нравственная. Расскажу опять обыденную историю. Не так давно мне поручили разобраться с приписками на автотранспорте. Шоферы — одна из самых массовых профессий, и едва ли не большинство их вынуждено ловчить. Платят им с тонно-километра. Перевез, допустим, водитель за день сто тонн на расстояние десять километров — он исполнил тысячу тонно-километров, за что и получит. Представьте, работает бригада шоферов на одинаковых машинах, и нашелся среди них один, кто взял да и приписал себе лишние ездки. Он по бумагам передовик, у него высокий заработок. Соблазн для других? Конечно. Минувший месяц. Плановики с нормировщиками подбивают итоги и видят: вот хорошо-то — на этих машинах можно два задания выполнить. А коли так, пора пересматривать нормы труда. Сказано — сделано. Теперь если приписок больше не делать, заработок упадет, поскольку тонно-километр ценится дешевле. Чтобы не потерять в зарплате, в мифических ездах надо отчитываться или тому, кто отродясь ловкачеством не занимался. Расхождение между отчетами и реальными перевозками растет год за годом и достигло фантастических высот. В некоторых транспортных организациях на исполненный тонно-километр приходится три липовых.

Приписать лишние тонны и километры нетрудно — клиент подмахнет путевой лист не глядя. А как быть с горючим? Не истратишь его — тут и дураку понятно, что перевозок не было. От этой улики надо избавиться. Подвернулся частник — прекрасно. А нет, так можно и в канаву слить. Расходную норму уменьшают, а горючее опять лишнее.

Когда вся эта механика была опубликована, я получил множество писем — в основном от шоферов. В почте содержались факты убийственные. Не все шоферы получают с тонно-километра. Некоторым платят за часы труда. Расход горючего, казалось бы, не может зависеть от того, действует сдельная или повременная оплата. Между тем, как сообщил читатель из Минска, в Министерстве автомобильного транспорта Белоруссии одинаковые машины на одинаковую работу при почасовой оплате водителей сжигают в 3 раза больше горючего. Секрет раскрыл читатель из Баку: «Я сам шофер. Лет пятнадцать назад на машину «ЗИЛ» планировали расход 120 граммов горючего на километр. Теперь норма уменьшилась наполовину, а водители не стеснены нехваткой топлива. Сократите норму хоть до 30 граммов — шофер и в нее уложится. Выгучит приписка. У нас как-то подсчитали: по документам выходит, что каждый ботинок, вывезенный с обувной фабрики, весит 12 килограммов». Шоферам же на почасовой оплате приписки ничего не дают, поэтому отчитываются они в истинном расходе горючего.

Да ведь это растление душ! Вчерашний десятиклассник поступил на автобазу — а ему горючее по такой норме. Вины за ним никакой — он еще в детсад ходил, когда норма утвердилась. Как он в нее уложится? С первого рейса ловчить? Чего ради? Не гребут шоферы деньги лопатой, уверяю вас. Рабочий человек за свои кровные, заработанные нелегким и небезопасным трудом, обязан еще и химичить с путевыми листами.

Глянем на дело и с другой стороны. По оценкам экспертов, не менее 4 миллионов тонн казенного топлива переключивается за год в баки частных легковушек. Например, в Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Лабитнанги и Надыме зарегистрировано больше 10 тысяч частных машин, около 3 тысяч мотоциклов, в тех краях повальное увлечение моторными лодками... и нет ни единой заправочной колонки. На чем-то эти моторы крутятся. А что? Лучше частнику, чем в канаву.

Это ли не нравственный конфликт? Иной теоретик по полочкам разложит стимулы к труду — справа материальные, слева моральные. Любо-дорого посмотреть. Между тем граница-то между ними зыбкая, прозрачная. Честно заработанный, законно потраченный рубль должен приносить человеку, быть может, не меньше самоуважения и почета, чем награда. У рубля две стороны. На одной номинал, на другой герб отечества — символ всего, что нам дорого и свято. На оборотную сторону почтаще бы надо заглядывать экономистам, когда они проектируют хозяйственные модели — хоть ту же систему управления материалоемкостью.

История с шоферами, конечно, редкостная, можно сказать, исключительная: с одной стороны, действуют нереально жесткие нормы, а с другой — миллионы тонн бензина утекают неведомо куда. Но и в иных не столь прозрачных ситуациях сколько угодно расточительства по нормам. Расскажу об одном нашумевшем деле. В подмосковном городе Подольске действовала преступная шайка во главе с неким Ивановым, человеком без определенных занятий. Агенты подпольной фирмы разъезжали по стране и заключали договоры с текстильными предприятиями на поставку запасных частей к оборудованию от имени колхозных подсобных цехов. Половину выручки организаторы аферы сдавали в колхозные кассы, другую половину присваивали. Только за три года они получили наличными больше миллиона рублей. В ходе следствия было выявлено свыше 500 подставных лиц, которые за мизерную мзду расписывались в платежных ведомостях. Главарь фирмы построил себе два особняка, купил четыре легковых машины, завел личного шофера, телохранителей.

В действительности никаких подсобных цехов не существовало — жулики лишь обговорили право пользоваться колхозными печатями и бланками. Откуда же бралась продукция? Теперь это не секрет. Запчасти изготовлялись в цехах подольских предприятий.

Из показаний У. Абдульманова, слесаря Подольского механического завода имени Калинина:

— Иванов давал мне образец изделия и указывал, сколько штук ему надо. Тут же мы обговаривали и плату. Всего я получил от него шесть тысяч рублей. Детали мы делали в цехе. Материалы я доставал на складе. Однажды Иванов заказал мне пружины. Я платил по три рубля за бухту проволоки весом сто двадцать килограммов с условием, что кладовщик сам и привезет проволоку. Готовые пружины я упаковывал в ящики. С завода ящики вывозил на машинах — нанимал наших шоферов. Платил им по десять рублей за езду. Сам в кабину садился уже за проходной.

Из показаний Г. Чижиковой, бывшей руководительницы диспетчерского бюро цеха:

— Слесаря часто оставались работать вечерами и ночью — якобы им это разрешил заместитель начальника цеха Дедов. Как объяснил мне мастер Баженин, они выполняли заказы другого участка.

Как видите, на глазах честного народа растаскивали завод, а обнаружили это лишь следователи по особо важным делам Прокуратуры СССР. И что интересно: предприятие из года в год отчитывалось в экономии материалов.

Два года шло следствие по этому делу, еще два года продолжался уголовный процесс. После приговора я решил побывать на заводах, где клепали левую продукцию, и попросил участвовать в проверке специалиста Мосглавснаба А. Осипова. Надо же случиться такому: за два-три дня до нашего приезда на этом же заводе опять произошло ЧП — несколько должностных лиц были арестованы в тот момент, когда они, сорвав пломбу, вытаскивали из кузова вывезенные с завода швейные машинки. Как установил мой спутник, в заводской отчетности машинки не значились, и если бы вору не схватили за руку в городе, пропаша сошла бы незамеченной. По моей просьбе А. Осипов попытался изучить систему учета материальных ценностей, но к концу второго дня работы в отчаянии опустил руки — одни и те же ценности значатся в неодинаковых количествах в разных документах.

— У нас массовое производство, проследить за каждым изделием невозможно, — объяснил главбух завода Э. Урбанский. — Воров надо ловить вне завода. Ведь где-то они сбывают товар.

Что называется, полная капитуляция. Впрочем, кое-что выяснить удалось, когда мы проанализировали расходные нормы. Попрошу читателя вникнуть в скучные цифры. В предыдущем году на каждый миллион рублей стоимости швейных машинок по

норме полагалось тратить 3,5 тонны полистирола, а фактически расходовали 2,1 тонны. Спрашивается, какую норму следовало утвердить на очередной год? Как будто ясно, не выше фактического расхода, иначе норма толкала бы на расточительство, не так ли? Не так. Ее по настоянию завода установили на уровне 3,6 тонны. На деле израсходовано 2,4 тонны. Теперь глядите, что выходит: удельный расход полистирола возрос за год с 2,1 до 2,4 тонны, а сравнительно с нормой образовалась экономия. Обеспечен красивый рапорт, обеспечены премии за бережливость. Та же картина с расходными нормами на полиэтилен, прокат черных металлов, медь и многое другое. Завод бойко торгует дефицитными материалами, их по-прежнему растаскивают — охрана редкий день не задерживает «несунов». Сходные факты мы обнаружили на заводе «Аккумулятор», где также в свое время орудовали деятели, пребывающие сейчас в местах не столь отдаленных.

Как ни крути, а рановато сдавать в архив скандальное подольское дело. Из него надо еще сделать выводы. Разумеется, по большому счету все мы совладельцы общего богатства страны. Расточители в конечном счете обкрадывают каждого из нас. Однако «общий котел» слишком велик, чтобы работник повседневно ощущал связь между личной выгодой и бережливостью в масштабах народного хозяйства. Порок обособленной системы управления материалоемкостью я вижу именно в этом — расходуется добро казенное, вроде как ничье. Сумма, проставленная в ведомости на зарплату, мало зависит от того, насколько рачительно хозяйствовал данный коллектив и конкретный работник.

Раз экономический эксперимент этой задачи не решает, нужен иной хозяйственный механизм: бережливость должна умножать тот конечный результат, за счет которого живет и благоденствует каждый член производственного коллектива.

Можно продолжать перечень частных задач, кои без видимого успеха решаются сегодня по отдельности, вне связи с общей системой управления производством. Вот, скажем, на заводах, которые проводят эксперимент, я задавал десяткам работников одинаковый вопрос: какие права предприятию недоданы? И знаете, в чем руководители больше всего ущемлены? Не дано им право по своему усмотрению определять численность управленческого аппарата, вот ведь горе. Тут же вам представляют расчеты: когда бы ежегодные задания Министерства финансов касательно сокращения штатов исполнялись, сегодня в заводоуправлении работал бы один директор. Это бесконечно остроумно, и все же симпатии мои на стороне Минфина, который многие годы в одиночку сражался с разбуханием штатов. Вернее, если употребить щедринское выражение, не столько сражался, сколько был сражаем — в чем нет дефицита, так это в администрациях.

Штатное расписание мыслимо доверить дирекции опять же только хозрасчетного коллектива. Держать на хлебников кому охота. А главное, и незачем. Мы с вами убедились: немыслимо сочинить достоверные заявки на материалы до того, как получен план производства; немыслимо составить сотни миллионов расходных норм и проконтролировать их, немыслимо втиснуть в план каждое телодвижение творцов технического прогресса. Но ведь всю эту работу управленцы совершают, посрамляя трудолюбием самого Сизифа. Если же отобрать у Сизифа камень, он, вероятно, делом займется.

6

В замысле эксперимент предполагает расширение самостоятельности предприятий, отказ от планирования промежуточных результатов хозяйствования. Ожидалось, что достаточно задать сверху конечный итог, тогда частности можно доверить низам. На деле этого пока не вышло. И потому, на мой взгляд, не вышло, что показатели, нареченные конечными, в действительности таковыми не являются: соблюдение договоров и прибавки производства при всей их значимости еще не определяют лица ответственной экономики.

Что же тогда служит конечным критерием, который и предприятие побуждал бы действовать эффективно, и всему народному хозяйству обеспечивал бы непрерывный и быстрый прогресс? Попробуем обрисовать искомый идеал. Из всей выручки за продукцию предприятие сразу вычитает стоимость материалов и изношенного оборудования. Эти средства (так называемый фонд возмещения) необходимы для продолжения производства в прежних объемах. Затем из выручки же идут расчеты с казной.

Предприятие, будь то Магнитка или самый скромный по масштабам завод, принадлежит не обслуживающему персоналу, а всему обществу. Естественно, за пользование производственными фондами положены взносы в бюджет. Наконец, завод рассчитывается с банками за кредиты. Остаток есть достояние коллектива. Он и является целью всех стараний работников.

Чувствую, как насторожился искушенный читатель: это что же, еще один чудодейственный показатель? мало ли их было? Десятки лет экономисты изобретают показатели плана, из коих один обязан якобы главенствовать. Эту роль долгое время исполняла валовая продукция. Исполняла дурно: достаточно, например, разрезать металл автогеном — и стоимость его зачтется в вал. (Пример, кстати, не выдуманный. Так и поступили лет сорок назад в одном министерстве — у них план горел, вот они и приказали изрезать эшелоны только что доставленного проката. Металл понадобился другой отрасли для исключительно важной цели. Хватились — а его уж нет. Гнев начальства был ужасен.) Позднее стали любить коллективы за товарную, то есть готовую, продукцию. Снова прокол — готовое месяцами лежало на складах. Ввели оценку по реализации: мало изготовить, надо еще продать. И тут заковыка: в 1980 году промышленность увеличила реализацию на 22 миллиарда рублей, а по договорам было недопоставлено товаров на 17 миллиардов. Значит, можно продать не то, что нужно потребителю. Сегодня в зачет идут только поставки по договорам. Результат известен из статистики, которую я приводил: горы лишних изделий перемещаются со складов поставщиков на склады потребителей.

В поисках показателей, которые работали бы за нас, доходит до курьезов. Один из участников экономической дискуссии 60-х годов, помнится, рекламировал невероятную «человекофондопродукцию»... Теперь вот автор выдумал нечто новенькое — остаточный доход. Неужто чудо все-таки состоится?

Понимаю, ох как понимаю гипотетического скептика. Но предлагаемый измеритель успеха уже потому не является очередным показателем в общепринятом смысле, что его не надо ни планировать сверху, ни контролировать исполнение. В сущности, остаточный доход — главный источник самого существования коллектива и каждого его члена. В нем, как легко понять, содержится все составные части — зарплата и прибыль. Граница между ними подвижна. Можно уредить зарплату, но тогда уменьшится прибыль, а стало быть, мало будет средств для строительства детских садиков, жилья, спортивных баз и прочих социальных нужд, для обновления и расширения производства. Можно, напротив, удовлетвориться пока скромными прибавками зарплаты в предвкушении будущих благ.

По-умному так и должны бы рассудить на заводах, выпускающих, к примеру, электромоторы. Ведь завтра устаревшие двигатели сбыта не найдут. Упустишь момент для перестройки производства — не окажется средств для зарплаток даже в прежних размерах. Не исключено, что придется вообще закрыть производство. И пожалуйста, без паники. Я не сказал: закрыть завод. Только производство. А это вещи разные — на тех же площадях можно делать другую продукцию, если прежнюю больше не покупают.

Эта система проста и логична. Место частных показателей плана занимает экономический интерес, отпадает нужда в обособленном управлении отдельными сторонами производственной жизни Или вспомните ситуацию с неустановленным оборудованием. Никто не посмеет сказать, будто управленческие инстанции смирились с омертвлением этого богатства. Постоянно издаются постановления и директивы, работники Стройбанка центнерами рассылают указания на места. А эффект? В минувшем году сравнительно с 1976-м запасы оборудования возросли примерно в 3 раза, тогда как ввод в действие новых производственных мощностей увеличился довольно скромно, чтобы не сказать больше. Экономическая ответственность работает четче, нежели директива. Заводской коллектив может быстро пустить в дело и окупить оборудование, а пожелает — пусть любителю нераспакованными ящиками. Плата за пользование одинакова — общество должно получить свой пай за вложенные средства в любом случае.

Покамест принято считать, что если мощности введены, если оборудование сдано в эксплуатацию, то все в порядке. Но вот журнал «Коммунист» сообщает: общая стоимость не используемых основных фондов составляет в промышленности ни много ни мало, а около 80 миллиардов рублей⁵. Давайте немножко посчитаем. За год

⁵ См. «Коммунист», 1984, № 5, стр. 122.

промышленность получает около 50 миллиардов рублей новых фондов. Значит, без малого два года строители, поставщики оборудования и строительных материалов трудились вхолостую — ввели объекты просто лишние. А ведь руководители отраслей, выколачивая у казны деньги на строительство, доказывали, что без этих объектов жить невозможно. Беда тут не только в прямых потерях — незримо приторможен опять-таки технический прогресс в народном хозяйстве. Экстенсивное строительство поглощает основную долю ресурсов, их не остается для обновления действующих производств. Ситуация парадоксальная: новенькие, с иголочки цехи бездействуют, потому что нет рабочих, а нет их оттого, что на старых заводах техника обветшала, производительность труда растет там медленно, людей высвобождается мало.

Хозрасчетный коллектив поступит иначе. Ему не по карману роскошествовать. Новый цех он станет строить, будучи уверенным, что сыщутся и рабочие руки. А поскольку с этим туго, технику будут заказывать чаще для обновления производства, что и означает технический прогресс.

А что с расходом материалов? При ориентации на конечный результат расточители станут наказывать сами себя. Тогда для чего диктовать, допустим, автозаводу, сколько никеля надо тратить на один бампер? Да хоть платину используй, только вот покупатель не признает рублем разумность этих расходов — и завод прогорит.

На создание такой универсальной модели нацеливает партия. Политбюро ЦК КПСС обязало совершенствовать условия экономического эксперимента, «имея в виду последовательное укрепление хозяйственного расчета, усиление воздействия экономического механизма на ускорение научно-технического прогресса, лучшее использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов»⁶. Как видим, дано прямое указание: надо управлять важнейшими хозяйственными процессами не по отдельности, а посредством целостной системы, сердцевина которой — «последовательное укрепление хозяйственного расчета».

Тогда не нужны будут частные регламентации сверху. Более того, не потребуются и единый директивный показатель, по которому кто-то со стороны оценивал бы работу коллектива. В принципе такой универсальный измеритель существует — это прибыль. В ней действительно отражаются все стороны деятельности коллектива. Но что с того? При оценке по прибыли, как, впрочем, по любому иному измерителю, остается открытым главный вопрос: какой интерес увеличивать прибыль, когда ею распоряжается не заводской коллектив, а кто-то другой? Правда, введены материальные стимулы за улучшение облюбленных показателей, но распространяются они лишь на премиальную часть заработка, которая занимает едва гривенник в рубле зарплаты. Да и гривенник не вдруг получишь — требуется соблюдение десятки условий премирования. Основная же зарплата назначается заранее. В сущности, работник вступает пока в договорные отношения не с предприятием, а непосредственно с государством, которое устанавливает тарифные ставки и оклады. Заработок мало зависит от результатов деятельности данного коллектива.

Успехи завода способны доставить работнику лишь моральное удовлетворение, к грандиозным замыслам дирекции он, в общем-то, равнодушен. Отдельные горячие головы задумались до того, что не худо бы выбирать директоров на собраниях. Зачем, однако? Нормальному человеку это без надобности, пока на отстающем предприятии он может получать не меньше, чем на передовом, а зачастую больше.

Вся моя мысль об оплате труда из остаточного дохода заключается в том, чтобы установить прямую связь между зарплатой и конечным итогом деятельности заводского коллектива. Виде тут мне, работнику, не все равно, кто руководит заводом. Мой интерес — сегодня, сейчас получить больше. В сущности, увеличить долю зарплаты в остаточном доходе за счет прибыли. Директор, который видит дальше меня, предостережет: не вложили средства в развитие производства — останемся на бобах. Чтоб упредить близорукое потребительство, на первых порах можно ввести прогрессивный налог на прирост зарплаты. Скажем, на 5 процентов в год среднюю зарплату по заводу разрешалось бы поднимать безвозмездно, если, конечно, позволяет доход. Желаете получить еще на 5 процентов больше — будьте любезны внести в казну из остаточного дохода рубль налога за каждый добавочный рубль, выданный на руки. Каждый следующий рубль облагается уже двойной или тройной данью в пользу общества.

С удовольствием отмечаю, что эти идеи, еще недавно вызывавшие суеверный

⁶ «Правда», 24 августа 1984 года.

ужас, по-деловому обсуждаются в печати⁷. Да ведь и первый опыт есть. На одном из золотых приисков проходит экономический эксперимент именно в этом духе. Прежде здесь каждый получал за свою индивидуальную работу: бульдозерист — за кубометры добытого песка, гидромойщик — за количество промытой породы, инженеры и техники — за часы работы, проще сказать, уже за одно то, что почтили своим присутствием прииск. Заработок исчислялся по расценкам и окладам. Он не зависел от общего числа работников. На пробу ввели новые правила. Прииск стал работать с выручки: за грамм сданного государству золота. Добыли тонну — извольте получить столько-то миллионов рублей. Из них возместите стоимость материалов, аренду техники, отчислите положенное в казну и в общие фонды предприятия. Остаток делите между работниками как сами сочтете нужным. Результат ошеломительный: раньше на приiske было без малого 1200 работников, теперь с тем же объемом добычи справляются менее 300 человек. Стало быть, производительность труда подскочила в 4 раза. В опытным порядке подобную систему применили на строительстве газопроводов — темп прокладки газовых магистралей удвоился, производительность труда возросла в 1,5 раза.

Мощный пусковой импульс перестройке хозяйственного механизма придали решения апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС, совещание в Центральном Комитете партии по вопросам ускорения научно-технического прогресса. Об интенсивных факторах нашего развития и прежде говорилось достаточно. Трудности в народном хозяйстве, возникшие с начала 70-х годов, осознаны не сегодня. Однако принимавшиеся меры были половинчатыми, непоследовательными, да и робко они проводились в жизнь. Принципиальная новизна сегодняшних решений видится в том, что не просто изложены цели, но указаны способы их достижения. Повышать эффективность централизованного начала в управлении и планировании мыслится через расширение хозяйственной самостоятельности и ответственности предприятий и объединений, через хозрасчет и товарно-денежные отношения, с использованием всего арсенала экономических рычагов и стимулов.

Коллективы предприятий должны будут сами зарабатывать средства для повышения технического уровня и эффективности производства, самостоятельно распоряжаться ими. Особые преимущества в оплате труда получают те, кто производит лучшую продукцию, успешно соперничает на мировом рынке с ведущими фирмами. Речь фактически идет о распространении испытанного коллективного подряда на деятельность объединений и предприятий.

В согласии с этими идеями намечено перестроить структуру управления. Полностью хозрасчетное основное звено, то есть предприятие либо производственное объединение, как правило, будет подчиняться непосредственно министерству. Суть этого новшества не только в том, что отсекаются лишние управленческие инстанции, удешевляется руководство экономикой. Главное в другом. В любой управленческой системе сумма прав — величина постоянная. Полномочия можно поделить так или этак, но, предоставив какое-то право, допустим, главку, вы тем самым лишаете этого права предприятие. И наоборот. Иначе возникнет так называемая коллизия прав, а попросту неразбериха и безответственность. Вполне очевидно, что на практике полномочия в этом случае окажутся у той инстанции, которая стоит выше на иерархической лестнице. Упразднение промежуточных звеньев с известным автоматизмом повлечет за собой реальное расширение прав предприятия, что как раз и согласуется с идеями перестройки. Новый хозяйственный механизм получит адекватную организационную структуру.

Концепция перестройки теперь вообще-то ясна. Дело за тем, чтобы не мешкая претворить ее в конкретный хозяйственный механизм. На недавнем совещании по вопросам ускорения научно-технического прогресса со всей определенностью прозвучало предостережение: министерства и ведомства способны так «запленать» самостоятельность предприятий, так интерпретировать решения ЦК и правительства, что после всех ведомственных рекомендаций и инструкций от этих принципов остаются рожки да ножки.

Такое не раз бывало. Приведу один пример громадной значимости. Давно и справедливо толкуют о недостатках в организации капитального строительства — о распылении ресурсов по непомерному числу строек, о росте «незавершенки». Действительно, сегодня у нас насчитывается примерно 350 тысяч строек, на один объект

⁷ См. А. Аганбегян, «Эксперимент и хозрасчет» («Труд», 28 и 29 августа 1984 года).

приходится в среднем что-то около 12 строителей. Во многом этот нонсенс объясняется оценкой деятельности строительных организаций. Историки экономики предприняли разыскание и обнаружили поразительный факт: действующий критерий оценки (объем строительно-монтажных работ) введен в начале первой пятилетки, причем введен временно, «до нахождения лучшего показателя». Проще сказать, строителей ценят и любят за то, что они освоили, израсходовали много денег, а закопаны ли средства в землю, в фундаменты или вернулись в виде готовых объектов — этого оценка не улавливает. В 1969 году вышло авторитетнейшее постановление. В нем самым обстоятельным образом было растолковано: отныне строителей будут уважать за сдачу готовых объектов и только за это. Однако в рабочих инструкциях, сочиненных экономическими ведомствами, содержался один на первый взгляд малоприметный пункт: фонд зарплаты начисляется в зависимости от денежного объема исполненных работ. Что же выходит? Установили тресту норматив — предположим, 40 копеек с каждого освоенного рубля идет на зарплату. Приближается время получки. Склады повременщиков известны, наряды сдельщиков подбиты. Общая сумма выплат по тресту, к примеру, составит 400 тысяч рублей. Банк выдаст эти деньги лишь при том условии, что работа выполнена за месяц на миллион рублей. Если этот миллион не вырисовывается, управляющий трестом вынужден будет снять строителей с пусковых строек и перебросить их на денежные работы хотя бы и на заведомо провальных объектах. Маленький пункт хозяйственных правил напрочь отменил основополагающую директиву. Спустя десять лет, в июне 1979 года, вышло новое постановление, где, в частности, повторялось требование об оценке труда строителей по сдаче готовых объектов. А фонд зарплаты по-прежнему начисляли в доле от освоенных денег. Что из этого вышло, вряд ли надо повторять.

Вот почему с такой остротой партия ставит сейчас вопрос о психологической перестройке кадров. Время требует не только одобрения партийных решений, а действия, претворения их в жизнь — каждым на каждом рабочем месте. Поручкой успеха служит стиль деловитости и ответственности, который утверждается ныне в хозяйственной, да и не только в хозяйственной деятельности.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОБРАТИТЬ В ПОЛЬЗУ ДЛЯ ПОТОМКОВ...

ОТ РЕДАКЦИИ

Авторитетная экспертиза дала заключение: перед нами подлинный документ. Но оставался нерешенным еще один важный вопрос. Акт представляет собой опись рукописей, хранившихся в семейном архиве Раменских. В основном это дневниковые записи и письма — письма не только самих Раменских друг другу, а и знаменитых людей, чья жизнь, судя по Акту, сталкивала с этими учителями: Радищева, Карамзина, Пушкина, декабристов, народолюбцев, революционеров-большевиков... Некоторые, до сих пор не известные науке, представляют — при условии их подлинности — огромный общественный интерес. Но можно ли гарантировать их подлинность? Авторы Акта добросовестно переписали в документ то, что нашли в доме Раменских. По их утверждению, переписывали они с подлинников. Так ли это? Всегда ли с подлинников? Как это можно проверить, если то, что служило материалом для Акта, до войны было передано в Ржевский краеведческий музей, а в сорок первом бесследно исчезло в огне войны? Остается один путь проверки подлинности копий, представленных в документе. — путь научного анализа. Но для этого документ должен стать известным общественности.

В Акте читатель встретит десятки имен — людей знаменитых и малоизвестных. Но главными героями этого необычного повествования, охватывающего пятьсот лет, являются представители нескольких поколений семьи Раменских. Думается, что сейчас, накануне нового учебного года, когда в стране осуществляется школьная реформа — идет большая работа по улучшению воспитания подрастающего поколения, — документ этот будет прочитан с особым интересом: Раменские были талантливыми педагогами, а их подвижнический труд на ниве народного просвещения и в наши дни может служить образцом.

9 декабря 1961 года автор этих строк, тогда специальный корреспондент «Красной звезды», опубликовал в газете очерк «200 лет они сеяли вечное» — об учительской династии Раменских. История необычной семьи привлекла внимание и ряда других периодических изданий — появились материалы в «Правде», «Советской России», «Комсомольской правде», «Учительской газете».

В то время история Раменских была известна в пределах двухсотлетнего периода, мы знали жизнь и деятельность только ее мологинской ветви. В 1763 году в селе Мологино Тверской губернии, под Ржевом, в имении помещика Юрьева открылась первая на Верхневолжье «цифирная школа для народу». Единственным ее учителем стал только что приехавший тогда из Москвы семнадцатилетний Алексей Данилович Раменский, выходец яко бы из семьи древних московских книгописцев и учителей... Действительно ли первый мологинский учитель происходил из семьи древних московских книгописцев? Что представляла собой эта семья?

Пробудившийся интерес к жизни династии Раменских привел к ряду драгоценных находок. Например, в руинах разрушенного гитлеровскими оккупантами села Мологино были найдены Программа и Устав РСДРП, принятые Вторым съездом партии и сохранившие на своих страницах собственноручные пометки В. И. Ленина. С этого экземпляра разноможались оба эти документа в местной подпольной типографии — она работала в канун революции 1905 года в усадьбе учителей Раменских и под их присмотром. В 60-е годы отыскалась и брошюра «Н. Ленин Борьба за хлеб» (Москва. 1918) с автографом автора: «Предст. Тверск. губ. тов. Раменскому». Под развалинами взорванной в 1941 году немцами мологинской церкви была обнаружена книга Вальтера Скотта «Айвенго» с автографами на ней А. С. Пушкина. Первый — «Ал. Ал. Раменскому». Под гарственной надписью — незаконченная строфа одного из первых вариантов «Русалки»:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора.
Уйти опять в пустынные дубровы,
На берега снх молчаливых вол

Публикация, предисловие и примечания МИХАИЛА МАКОВЕЕВА.

На следующей странице — пушкинский рисунок виселицы с пятью повешенными декабристами. Рукой Пушкина написано: «1829 год, Грузины». Как же хорошо должен был знать великий поэт мологинского учителя Алексея Алексеевича Раменского, чтобы поделиться с ним столь сокровенным! В тот же экземпляр «Айвенго» была вписана Пушкиным и одна из строф сожженной им десятой главы «Онегина»:

Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

В мологинском доме Раменских, как оказалось, в разное время побывали Андрей Болотов, Александр Разищев, Николай Карамзин, Иван Лажечников, Орест Кипренский, Алексей Венецианов, Михаил Бакунин, Исаак Левитан, нелегально — Сергей Кравчинский, Софья Перовская, Андрей Желябов и близкий друг Кравчинского Лилиан Войнич, как раз писавшая в то время своего «Овода». По делам подпольной типографии РСДРП к Раменским тайно приезжали Николай Бауман, Михаил Фрунзе, Дмитрий Ульянов. В 1910 году Мологино посетили вместе Дмитрий и Мария Ульяновы... Мною названа лишь малая часть из тех выдающихся людей, что так или иначе соприкоснулись с домом старшего учительского рода.

Глубочайший драматизм судьбы учителей Раменских состоял в том, что их служение святому делу народного просвещения почти непрерывно сопровождалось преследованиями со стороны официальных властей. Раменские сидели в острогах, были в ссылках, многие из них лишались званий, состояний, должностей. За ними следили штатные и добровольные доносчики, в их мологинскую усадьбу засылались провокаторы... Трудно представить себе другой внешне самый обыкновенный сельский дом, который на протяжении полутора веков хранил бы под своей крышей столько государственной важности тайн, секретных писем, исторических документов. Его архив и библиотека насчитывали до десяти тысяч единиц конфиденциальной переписки с известными людьми и сотни древних (рукописных и старопечатных) книг... Публикуемый ниже Акт, рассказывающий о жизни шестнадцати поколений необыкновенной династии, подтверждает все это.

Судьба документа необычна. В начале 30-х годов группа преподавателей, работавших в ржевских средних школах и педагогическом техникуме, написала коллективное письмо в «Правду» о житейских трудностях своего восьмидесятилетнего коллеги Николая Пахомовича Раменского. Письмо попало в руки Марии Ильиничны Ульяновой, которая работала в то время в Комиссии советского контроля. Она немедленно связалась с наркомом просвещения РСФСР А. С. Бубновым, и тот сразу же принял по письму ряд мер. Н. П. Раменскому была установлена персональная пенсия. Была создана официальная комиссия для изучения семейного архива и библиотеки Раменских, комиссии было поручено составить по этому поводу и представить в Наркомат просвещения специальный документ. По совету А. С. Бубнова тогда же была организована и запись воспоминаний живых Раменских и тех, кто хорошо знал их семью.

Выполняя указание Наркомпроса, Калининский облоно образовал комиссию во главе с директором Ржевского краеведческого музея. В комиссию вошли преподаватели ржевских средних школ и педтехникума, а также зять Николай Пахомович Раменского, учитель, бывший революционер-подпольщик Николай Яковлевич Смольков. Комиссия три года изучала и описывала историю Раменских, их архив. В конце лета 1938 года всеми членами комиссии был подписан Акт.

К сожалению, по не зависящим от комиссии причинам документ в Москву отослан не был, все экземпляры его были отданы Ржевскому краеведческому музею. По воле Антонина Аркадьевича Раменского — внука умершего в 1937 году Николая Пахомовича — сюда же были переданы архив и библиотека Раменских, которые (непоправимая потеря!) погибли во время войны.

Среди нескольких экземпляров Акта один был предназначен для семьи Раменских. Некоторое время он хранился в Мологине у жены умершего Смолькова. Потом Нина Николаевна отвезла документ к своей родной сестре, работавшей учительницей в Вологде. Незадолго перед войной сестра отсюда переехала жить в Павловский Посад. Документ она спрятала на чердаке нового дома и... забыла о нем. Лишь в 1968 году во время ремонта дома был обнаружен сверток...

Акт наркомпросовской комиссии напечатан на машинке через один интервал. В нем 73 страницы. Они вложены в тонкий картон, суперобложкой служит полуистлевшая газета «Известия» от 16 июля 1935 года. Документ подвергся технической экспертизе, которая подтвердила его подлинность.

По взаимному согласию редакции и автора публикации в Акте сделаны небольшие сокращения (они везде помечены многоточиями — <...>). Сократились встречающиеся в документе повторы, библиографический список печатных трудов, принадлежавших перу Раменских, перечень событий, происходивших в селе Мологино на протяжении всей его истории, два приложения к Акту, на одном из которых дана схема пятивекового генеалогического древа Раменских, и землеустроительные справки по бывшему мологинскому поместью. Некоторые места Акта подверглись незначительным стилистическим исправлениям.

АКТ

Материалы о педагогической и общественной деятельности семьи учителей Раменских из села Мологино Калининской области

В связи с запросом Народного Комиссариата Просвещения РСФСР комиссия Ржевского краеведческого музея и горно г. Ржева, Ржевского педтехникума в составе: Н. Р. Бойкова — директора музея, председателя комиссии; членов Л. В. Михайловой, А. Ф. Дружиловского, И. А. Воскресенского, Н. А. Золотовского, И. Г. Гаврилова, Н. Я. Смолькова, ознакомившись с материалами обследования... архива семьи и библиотеки Раменских в селе Мологино, отмечает следующее.

1. Семья учителей Раменских, поселившаяся в 1763 году в селе Мологино (бывш. Тверской губернии. Старицкого уезда, а ныне Луковниковского района Калининской области), главой которой является учитель-пенсционер, 82-летний Николай Пахомович Раменский, прослуживший учителем 50 лет, является исторически сложившейся педагогической семьей, от которой образовался на протяжении почти двух веков целый ряд педагогических семей, работающих в различных районах области, а также в других краях и республиках Советского Союза.

2. Семья учителей Раменских является хранительницей громадного семейного архива, охватывающего более 4 веков истории семьи и общественной жизни России.

3. Документальными источниками по истории семьи, с которыми детально ознакомилась комиссия, являются:

а) различные архивные документы начиная с XV века, количество которых определяется в несколько сот листов;

б) библиотека, насчитывающая до 5 тысяч томов и состоящая из рукописных книг XV, XVI, XVII веков, старопечатных книг XVII—XVIII веков и книг и журналов XVIII и XIX веков. Многие книги имеют авторские автографы, а также записи о принадлежности указанных книг и сведения об их владельцах;

в) большое количество различных воспоминаний, среди которых особое внимание заслуживают воспоминания Пафнутия Раменского из Старицы, Максима Раменского из Москвы, Симона и Герасима из Новгорода и Твери. Михайлы и Якова — московских книгописцев, Георгия Раменского о Болгарии и Украине, Степана Раменского о Запорожской Сечи, Даниила Раменского о Москве XVIII века, учителей Тверской губернии, Алексея Раменского о Радичеве, его сыновей Алексея и Александра о Пушкине, Гоголе, Лажечникове, художниках первой половины XIX века, воспоминания Федора, Пахома и Пафнутия об общественной жизни России середины XIX века, а также воспоминания многих Раменских из Петербурга, Новгорода, Воронежа, Одессы, Болгарии, Украины и воспоминания их друзей о многих Раменских¹.

Чрезвычайную ценность представляют воспоминания Анны Александровны Раменской—Вознесенской, участницы Парижской коммуны,— о Марксе, Бакуanine, Лаврове, Софье Перовской, Желябове, Кибальчиче, а также о Ленине;

г) громадную ценность представляют письма к разным Раменским, количество которых достигает 10 тысяч. Все они требуют особого изучения, но даже только перечисление авторов писем говорит о многом. Это письма, относящиеся к XVII—

¹ Наиболее древние рукописи и воспоминания на древнеславянском, греческом и латинском языках переведены в 90-х годах прошлого столетия на русский язык Алексеем Пахомовичем Раменским.

XVIII—XIX века. Письма от Болотова, А. Радищева, Петрова, Попугаева, Карамзина, Е. А. Карамзиной, сенатора Козодавлева, Муравьевых, Вульфов, Степняка-Кравчинского, Паниных, Тимирязева, Попова, Комарова, Жуковского, Яковлева, Перовской, Вознесенской, Пухальского, Вревских и др. Имеются письма от болгарских революционеров — Благоева, Ботева, от автора книги «Овод» Войнич, Павла Роговского, историка Карманова, Берви-Флеровского, Черткова, Озерова, Второва, Обручева, Сеченовых, Шишмарева, ученых Гирогова, Погодина, Беллюстина, Измайлова, Д. И. Ульянова, Лажечникова, Писемского, Рачинского, Бакунина, Пассек, Радищевых, Пушкиных, переписка с Потемкиным;

д) исключительный интерес представляет собою рукописная книга-дневник большого формата, в которую Раменские записывали не только семейные события, но и политические новости в стране, об урожае, погоде, стихийных событиях. Книга заведена в январе 1775 года и состоит из двух частей. Первая часть — с 1775 по 1812 год — в основном написана Алексием Раменским и, как он пишет на первой странице, по совету Болотова. Вторая книга — о событиях с 1812 года до настоящего времени. Книга эта называется «Хроника» и является фактически живой документальной историей семьи и всех событий, происходивших в России за последние два века: войн, воспоминаний о предках, приездах в Мологино многих людей — Радищева, Карамзина, Пушкина, Ульяновых, Левитана, художников Кипренского, Венецианова, записи о войне 1812 года и приезде в Мологино Дениса Давыдова, Сеславина, о крымской войне, освобождении крестьян, о земской реформе, приездах народолюбцев к Раменским, о местных революционных событиях, о германской войне, свержении Николая II, Временном правительстве, Октябрьской революции ликвидации неграмотности, в которой все Раменские принимали самое активное участие, об организации колхоза в Мологине, торжествах, связанных с открытием школы-десятилетки в Мологине.

В книге записаны состояние погоды в том или ином году, урожай и цены на продукты, об эпидемиях, пожарах, смерти отдельных людей. Эта поистине живая история дает обилие данных, представляющих не только исторический, но и научный интерес.

Авторами этих записей, как правило, были старейшие в семье Раменских. <...>

Кроме этих материалов, в библиотеке Раменских имеется большое количество нелегальной литературы начиная с Манифеста Пугачева, народолюбцев 70-х годов XIX века вплоть до 1917 года. Это комплекты «Колокола», «Искры», «Северной звезды», газет и журналов «Народной воли», а позанее листовки, прокламации РСДРП. Имеются Программа и Устав РСДРП, а также листовки, отпечатанные в тайной типографии Н. П. Раменского в селе Мологино, и дореволюционные номера «Правды».

С ДРЕВНИХ ЛЕТ...

Многочисленные документы, древние летописи, воспоминания XV, XVI, XVII веков, записи в книге «Хроника», где материалы по истории семьи систематизированы в I томе еще Алексием Раменским в 1812 году, документально подтверждают, что семья книгописцев, переводчиков (толмачей), учителей Раменских своими корнями глубоко уходит в древние времена Московской Руси.

<...> На протяжении не менее пяти веков Раменские жили в Москве в районе Никольской улицы и были книгописцами, толмачами и прежде всего народными учителями в Москве и во многих других городах страны, в монастырских, сиротских, церковноприходских, в солдатских детях училищах, а в XVIII—XIX веках преимущественно в домашних школах прогрессивных людей и земских школах, что способствовало сближению многих Раменских с передовыми людьми, причем со многими они были в родственных отношениях. Эти же исторические документы и летописи, хранящиеся в архиве семьи Раменских в Мологине, свидетельствуют о том, что предки нынешних Раменских были болгары. В XIV и XV веках болгары, получившие образование в Греции, приглашались в Москву для исправления и переписки церковных книг, переводчиками и учителями. Первым, поселившимся в Москве, был учитель Андриан Раменский, которого учителя Раменские знут как первого учителя и книгописца, основателя династии Раменских. В летописи за 1530 год, как и в поздних хрониках, записано: «И зажег Андриан, сын Раменский из болгар, светильник грамоты

на Москве-граде, в школярне своей, что у Никольских ворот, а было сие в день седьмого сентября, лета 1478...»².

Дело Андриана продолжали учитель Илларион, а за ним учитель Сафроний. Обрусевшие болгарские деятели культуры дали народному образованию таких, как Матвей, Михайло, Яков Раменские, а позднее Георгий, Данило, Алексей— первый мологинский учитель. Были и другие члены этой семьи, служившие учителями в Петербурге, Новгороде, Киеве. Такова когорта славных предков учителей Раменских на ниве народного просвещения Руси.

Обозрение всех хранящихся в Мологине исторических документов, книг, воспоминаний, переписка с сотнями людей и в России, и за границей дают основание полагать, что эта многовековая семья, посвятившая себя культурному развитию России, просвещению и распространению грамотности, в последние два века превратила село Мологино в архивный центр семьи, куда стекались указанные материалы и откуда шли прямые связи со всеми Раменскими, жившими в различных районах России, для которых собрание воспоминаний о родне за последние два века стало семейной традицией.

Содержание даже некоторых писем этой обширной переписки (начиная от Пошкова, Новикова, Болотова до переписки с Лавровым, Бакуниным, народовольцами, Ульяновыми) свидетельствует о существовавших связях и общении многих Раменских с авторами этих писем и общности их интересов. Создается впечатление, что Раменские в глухом селе Мологино являлись в этот период в какой-то степени связующим звеном между представителями многих семей, объединенных общностью взглядов и идеалами лучшего будущего нашего народа <!...>.

«Из Дворянинова 1798 года.

Любезнейший Алексей Данилович.

Недавно просматривая записи протекших времен своих, обнаружил, к горечи своей, что уже порядком лет не обменивался с Вами дружеской перепиской и что особо прискорбно то, что виновником сего оказываюсь я сам.

Прошу принять, любезнейший Алексей Данилович, мои глубокие извинения. В какой-то мере мое нерадивое поведение полагает объяснить некоторыми изменениями в фортунах моей, в результате коих я снова водворился в свое любимое Дворяниново и с большим удовлетворением пребываю в сих родных для меня с детства местах.

После многолетних трудов, которые я нес в Богородицке, здесь, на родине, обрел душевную тишину и посвящаю себя любимому делу, живу без всяких излишностей, много читаю, много пишу по агрономическим вопросам, ибо жизнь моя влила в меня вкус к сочинениям сего рода Много произвожу опытов в саду и огороде, и многое мне удастся, что наполняет душу мою удовлетворением, ибо ко всему любознательному был склонен всегда.

Многое я пережил за эти годы и особенно в тот день, когда узнал о гонении, воздвигнутом на друга и знакомого моего Николая Ивановича Новикова, всегда благоприветствовавшего к моим трудам. 24 апреля того года он, совсем больной, был арестован в своем имении Авдотьино, ведь его приговорили без суда и смысла к 15 годам в Шлиссельбурге.

Славного Новикова дом, имение и книги продавались в Москве в Магистрате с аукциона. Такова судьба этого достопочтеннейшего человека, великого восстановителя русской литературы.

Еще после трагедии с нашим великим гражданином Александром Николаевичем Радищевым, во время посещения меня Новиковым в 1791 году, я имел смелость предупредить этого именитого мужа, моего друга и приятеля Николая Ивановича о том, что недруги и ненавистники его готовят посягание на него и, как мне передал Хрущов, даже императрица обронила фразу, что, мол, Новиков печатает книги, известным расколом наполненные. Все почти почитали его уже в числе мертвых, однако оказалось, что он жив, хотя имел несчастье несколько повредиться в разуме. Наш друг Шварц скончался в 1784 году, Петров находится в Германии Александра Николаевича я навещал в прошедшем годе в его Немцове. Николай Михайлович больше,

² Позднее сами Раменские уточнили эту дату. Андриан начал педагогическую деятельность «седьмого сентября лета 1479...».

как я слышал, находится в Петербурге, и если Вы будете его видеть или писать ему, прошу передать ему мой сердечный привет. Я с удовольствием вспоминаю свою поездку к Вам, в Мологино, и часто мне приходит на ум Ваш рассказ о том юноше, которого продали только за то, что он ходил с Вами в Тверь к императрице, ведь это поступок постыдный, на то ли даны нам подданные, чтобы поступать с ними так бесчеловечно.

Как служит Вам мой барометр, советую Вам следить за уровнем ртути, дабы не образовалось в трубке пустот, и он будет служить Вам верно. Ведете ли Вы дневниковые записи, я одобряю название этого рукописного дневника, как Вы нарекли «Хроникой», ибо в нее должны записываться все события, имеющие как отношение к Вам и Вашей семье, друзьям и все другие новости, достойные запоминания, а Ваши потомки скажут Вам за это великое спасибо. Надо пометить состояние погоды и барометра, чтобы потом Вы смогли легко собрать воедино сведения о погоде за месяц, за годы, и у Вас будет основание определять погоду заранее и давать советы крестьянам, а сие не только похвально, но и полезно для сельских хозяев.

Из агрономических советов хочу Вам сказать несколько слов о картофеле: я писал об этом в «Экономическом магазине» и «Сельском жителе», которые я Вам выслал. Обратите внимание на удобрение земли, ибо от этого происходит большое прибавление урожая, а особенно картофеля, если под каждую посадку положить по 2—3 ложки печной золы. Это мною проверено на своих посадках, и можете смело мой совет давать и другим. Что же касается картофеля, то надо всемерно рекомендовать и учить даже детей распространению этого продукта, ибо это второй хлеб в деревне, а то ведь до сих пор у нас в России сажают его из-под палки, да и то не везде. Смешно и грустно узнавать, что с этим делом в иных деревнях доходит дело до бунтов, и это в то время, когда наша империя часто испытывает недостаток в хлебе. Все сие происходит от незнания и невежества. Я пишу Вам много о картофеле потому, что слышал я о том, что Вы протезируете сеяние картофеля у себя в Мологине, за это Вам честь.

Многие боятся картофеля из-за того, что на нем после цветения образуются зеленые яблоки, негодные в пищу, а крестьяне из-за незнания думают, что это и есть картофель, забывая о корнях. Указывайте своим поселянам, что эти яблоки и есть яд, и в пищу не годятся, и их надо обрывать после цветения. Вообще приходит на мысль множество экономических вещей, о которых бесполезно сообщить своим согражданам. Рекомендую Вам своим ученикам читать из «Экон. магаз.» эти статьи, как это делается в землях чуждых, сим я был бы доволен. Я уверен, что таким образом эти полезные сведения для селян будут доходить до родителей Ваших учеников.

Мне очень понравилась Ваша школа, это редкое явление на нашей Руси, где ограничивают знания детей наших часословом да псалтырью. Ваша методика обучения очень привлекательна и позволяет превращать уроки в дружеское собеседование, и Ваше ласковое обращение к детям, но без дальнего чадолюбия и неги, принесет хорошие плоды и избавит их от пороков и лени.

Как я уже соизволил Вам написать я теперь избавлен от казенной службы и у себя в Дворянине предаю чтению писанию и опытам на природе, где провожу целый день. Но не могу не вспомнить тот достопамятный день, когда я закончил последний том этого грандиозного издания «Экон. магазина», которому я отдал десять лет жизни и который хотя и не принес мне никакой дальнейшей пользы, разве я только приобрел известность в отечестве. Жаль, что наша публика наполнена еще невежеством. А лучшей наградой для меня за столь великий труд было сознание того, что я трудился в полезном деле, которое не только сынам, внукам и дальнейшим потомкам обратится в пользу, и что я был полезен для своего отечества.

Любезнейший Алексей Данилович, передайте, пожалуйста, привет всем Вашим, а также владельцу села Мологино, глубокоуважаемому Алексею Михайловичу Юрьеву, с кем имел честь быть знаком по Петербургу.

С глубочайшим уважением к вам Андрей Тимофеевич Болотов»³.

Наибольший интерес представляют воспоминания трех видных представителей этой многочисленной семьи, написанные в разное время, живших в разных условиях и занимавших различное положение. Все воспоминания, которые мы даем в изложе-

³ Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833) — ученый и писатель, один из основоположников русской агрономической науки.

нии, переведены с древнеславянского языка на современный русский язык Алексеем Пахомовичем Раменским в 90-х годах прошлого столетия.

Пафнутий Раменский — известный книгописец в Москве и Старице. О Пафнутии Раменском писалось в Успенских летописях⁴ так: «Велико на Москве грамоте научен бысть». Описывает свой труд в книгописной палате Старицкого Успенского монастыря второй половины XVI века. Описывает жизнь Московского, Тверского, Старицкого княжеств, их взаимоотношения, междоусобицы и войны с Новгородом и иноземными захватчиками (Литвой, Польшей, татарами). Много уделяет внимания Ивану Грозному в борьбе за объединение Руси, Ливонским войнам и, в частности, приводит такой факт, что Иван IV в целях подготовки разгрома Ливонского ордена совершил в 1556 году обмен города Дмитрова на торговое село Мологино, сделав его своей ставкой, откуда вел наступления на Ливонию. <...>

Пафнутий прожил долгую жизнь, книга, написанная им в 1576 году и находящаяся в библиотеке Раменских в Мологине, была создана в Старице и называлась «Канон».

Пафнутий Раменский пользовался громадным авторитетом не только среди книгописцев и бояр, заказывавших ему книги, но и среди простого народа личными качествами, о которых повествуют многие, знавшие Пафнутия и оставившие о нем свои воспоминания. Широкое общение с простым народом, составление различных челобитных, за которыми обращались к нему обиженные и бедные люди, помощь бедным и заступничество его за холопов в то тяжелое время, видимо, привели к тому, что Пафнутий Раменский, как это видно из его незаконченных воспоминаний, сочувственно относился к нуждам простых людей, которых поднял на восстание уроженец Зубцовского уезда Иван Болотников против бояр и князей. <...>

«И объявлено было Старицкого Успенского монастыря книгописца Пафнутия сына Раменского, что подметные грамоты от вора и холопа Ивана Болотникова писал, и хулу в оных на великого князя возводил, и зывал побивати бояр своих, и приказано оного изловить и как злодея казнить».

И еще запись: «А того Пафнутия сына Раменского, что холопу и вору Ивашке Болотникова прелестные грамотки писал и хулу на бояр возводил, дружина воеводы Кольчева поймала и жизни лишила» (Успенские летописи).

Царь Шуйский расправился с Пафнутием Раменским. Осталось лишь незаконченное воспоминание Пафнутия о бедах народных, которым он сочувствовал. <...> Один из соратников Пафнутия, монах Кирилл, сохранивший его записи, поведавший о судьбе Пафнутия и переправивший в Москву эти воспоминания, сделал на незаконченной рукописи Пафнутия запись о том, что во время приезда в Старицу римского посла Антония Пасевича и его встречи с царем Иваном Грозным в Старице одним из переводчиков с латинского при беседах Ивана Грозного с папским послом служил и Пафнутий Раменский. <...>

Среди древних воспоминаний особую ценность представляет рукопись Максима Раменского, служившего переводчиком в Посольском приказе Москвы.

В своих воспоминаниях Максим рассказывает, что служил он в Посольском приказе более сорока лет. Был толмачом при думном дьяке Украинцеве, стоявшем во главе Посольского приказа много лет. Он рассказывает, что ему приходилось переводить с украинского, польского и турецкого языков.

Максим Раменский рассказывает о поездках с посольствами в другие страны, и в частности о поездке в Турцию с думным дьяком Украинцевым, во время которой из Турции вместе с ними приехали в Россию сыны абиссинского князя. Есть предположение, что один из африканцев стал впоследствии предком А. С. Пушкина <...>.

И наконец, о третьем представителе необычной семьи Раменских, жившем вначале в Новгородской пятине, а потом в Тверском княжестве. <...> Первое воспоминание, написанное в 1591 году подьячим Симоном Раменским, рассказывает о том, что в период покорения Новгорода два брата Раменских, Андриан и Фома, имевшие родственников в Москве-граде, были книгописцами и одновременно лопманами на реке Мсте, соединяющей город Вышний Волочок с Великим Новгородом. В зимнее время они занимались книгописным мастерством, в основном для новгородских заказчиков, а в летний период были известными лопманами на Мсте. Жили они, как и их

⁴ Летописи Старицкого Успенского монастыря были в распоряжении комиссии, составившей Акт.

предки, в древнем селе Млёво, расположенном на берегу Мсты. Эта семья состояла из нескольких поколений и имела прямое отношение к событиям в Новгороде. Из записей Симона Раменского явствует, что оба брата Раменских сочувственно относились к свободному Новгороду.

В период падения Новгорода московские власти поручили братьям Раменским как известным книгописцам и опытным лоцманам выполнить некоторые задания московского правительства. Во-первых, братья Раменские, как пишет Симон Раменский, должны были доставить на барже задержанную Марфу Посадницу в Вышний Волочек, откуда она была отправлена в Нижний Новгород. Во-вторых, братьям Раменским было поручено отвести до Вышнего Волочка баржу с медными деньгами из Новгорода. И в-третьих, вывезти библиотеку новгородского посадника для отправки ее в Москву.

Описывая эти события, Симон Раменский говорит, что настроенные в пользу Новгорода и недовольные действиями московских властей братья Андриан и Фома оставались преданными Новгороду. После того как Марфа Посадница была вывезена из Новгорода и отправлена в Нижний Новгород, она вновь вернулась и некоторое время жила в селе Млёво у братьев Раменских, где при странных обстоятельствах умерла и была похоронена во Млёве. Далее в рукописи рассказывается, что при перевозке баржи с медными новгородскими деньгами во время сильного ветра и волнения на Мсте баржа перевернулась и затонула на глубоком месте в десяти верстах от Волочка. Наконец, библиотека новгородского посадника вывезенная из Новгорода, в Москву не попала. При невыясненных обстоятельствах, якобы при перегрузках на волоках, эти книги утонули.

Все вышесказанное заставило московские власти произвести дознание, для чего из Москвы во Млёво выезжала комиссия во главе с дьяком Московским, которая установила следующее:

1. Марфа Посадница, вернувшаяся во Млёво к братьям Раменским, не умерла, а при содействии Раменских и белозерских раскольников бежала из Млёва в лесные скиты <...>;
2. баржа с медными деньгами, как было установлено расследованием, была умышленно затоплена братьями Раменскими в реке;
3. книги из библиотеки новгородского посадника были отправлены из села Млёво в село Черные Ручьи, недалеко от Млёва, где их зарыли под церковью.

В результате всего Андриана и Фому арестовали, доставили в Москву и казнили отсечением головы на Лобном месте.

Из книги Княжнина «Вадим Новгородский», хранящейся в мологинской библиотеке, воспроизведена запись о судьбе братьев Раменских: «А за тайное укрытие и пособление в побеге к расстригам в белозерские леса той вдовы Новгородского посадника Марфы Боренкой и за утопление расшивы с казной новгородской и книг из дому посадника и другие злодеяния противу великого князя Московского оных Андриана и Фому сынов Раменских четвертовать во граде Москве на лобном месте».

После гибели братьев их лоцманское дело в селе Млёво на реке Мсте продолжали младшие братья и потомки их вплоть до 1703 года, когда началось строительство Вышневолоцкого водного пути до Новгорода, а затем и до Петербурга. До нас дошли обширные воспоминания, хранящиеся в библиотеке Раменских в Мологине, Михаила Раменского, учителя в сельце Боровно в имении Льва Александровича Манзее, смотрителя вышневолоцких каналов в конце XVIII века. Эти воспоминания написаны в 1787 году и полностью, но более подробно повторяют записи Симона Раменского о событиях в селе Млёво в период покорения Новгорода и, кроме того, описывают роль Раменских в период строительства каналов в Волочке <...>

Михаил Раменский пишет, что, прежде чем описать трагедию братьев Раменских из Млёва во время покорения Новгорода, он сам лично беседовал со многими старейшими жителями, «которым уже за 90 лет», и все они подтвердили историю братьев Раменских, слышанную ими от своих дедов и прадедов Михаил Раменский побывал во Млеве и своими глазами видел плиту на могиле Марфы Посадницы, отлитую братьями Раменскими. Ездил в села Котлованово и Черные Ручьи, где также слышал от многих стариков рассказы о зарытой библиотеке новгородского посадника, а также ездил по Мсте до того места, где, по преданию, затоплена баржа с деньгами. Он пишет, что в тихую погоду он сам видел в глубине реки затопленную баржу.

Вторая часть воспоминаний Михаила Раменского относится к периоду строительства Вышневолоцкой водной системы. Он пишет, что его записи сделаны со слов живых свидетелей и участников грандиозного строительства шлюзов и каналов в Волочке при Петре I. <...>

Михаил еще застал в живых сына одного из строителей канала, лоцмана и плотника Герасима Раменского, от которого знал все подробности и от которого получил некоторые документы Петра I, хранившиеся в их семье во Млэве и перевезенные затем в Мологино.

Из этих рассказов сына Герасима Михаил Раменский записал, что, начав строительство каналов и шлюзов в Волочке, Петр I мобилизовал тысячи людей у местных помещиков. Среди работавших на каналах был и Герасим Раменский, сначала как лоцман по проводке барж со строительными материалами, а затем артельный старшина плотницкой ватаги по строительству новых барж для нового водного пути.

Обстоятельства сложились так, что Петр I приметил грамотного, сметливого и расторопного мастера, хорошего плотника и опытного лоцмана Герасима и поручал ему наиболее ответственную работу. И вот, как рассказывал Герасим, однажды, приехав в Волочек, Петр I вызвал к себе Герасима Раменского и спросил его, сможет ли он строить хорошие дома. Герасим ответил, что сумеет, если в помощь дадут умельцев. «А целую деревню сумеешь построить по моему плану?» — спросил Петр. Герасим дал согласие, и на месте, указанном Петром I, на берегу Мсты за полтора года была по плану Петра I построена деревня с барским домом. Как гласит предание, Петр I приказал Герасиму Раменскому построить и для себя дом. Далее предание со слов сына Герасима рассказывает, что, когда деревня была построена, в дом Герасима Раменского приехал Петр I со свитой. Осмотрев выстроенную деревню на берегу красивой реки, Петр I остался очень доволен работой и в благодарность вместе со своими приближенными отпраздновал строительство деревни и дома Герасима Раменского, провозгласив тост за название деревни — Царево.

В записках говорится, что сведущие люди еще в то время знали, что Петр I задумал построить отдельную деревню на берегу тихой речки Мсты, для того чтобы поселить там, вдали от Петербурга и Москвы, своего сына Алексея, не согласного с делами отца, и таким образом изолировать Алексея от его единомышленников, особенно Вяземского, Кукина и Досифея.

Герасим Раменский передал Михаилу Раменскому петровские реликвии, хранившиеся от его отца, и привезены они были в Мологино. Эти вещи представляли собою, как рассказывал Николай Пахомович Раменский, железный сундучок, в котором лежали план постройки деревни, карта местности, где строилась деревня Царево, куски бумаги с какими-то чертежами шлюзов. Все это было написано рукою Петра I. Кроме того, было несколько порванных писем сыну Алексею, где упоминались имена Вяземского, Досифея, Кукина: в сундучке хранился гвоздь, выкованный Петром I в Волочке для первой строящейся баржи, и его палка, с которой он ходил по строительству каналов. <...>

Когда мы беседовали с Николаем Пахомовичем об этих воспоминаниях петровской эпохи, о жизни Раменских, он нам рассказал следующее, все, что мы написали в своем изложении об участии Раменских в новгородских и петровских событиях, соответствует истине и что имеется еще много материалов, подтверждающих изложенное комиссией. «В отношении петровских вещей в железном сундучке, то они хранились в Мологине как семейные реликвии до 1929 года. Но в связи с тем, что в Мологино проникли слухи о том, что за хранение царских документов моей семье грозят неприятности, я принял решение их уничтожить, и все петровские бумаги, чертежи и письма я сжег, осталась лишь палка Петра I и железный гвоздь, сделанный Петром I, которые я подарил своему внуку Антонину, любителю старины, в память о прошлом наших предков <...>».

РАМЕНСКИЕ НА УКРАИНЕ

С Украиной (Малороссией) Раменские связаны с начала XVIII века. Как известно, Георгий Раменский, вернувшийся из Болгарии после турецкого плена, поселился в городе Бахмуте и стал одним из родоначальников многочисленных украинских семей Раменских. Его брат Михайло Раменский, также учитель в Москве, был послан со стрельцами на подавление восстания Булавица в 1707 году. Как расска-

зывает в своих воспоминаниях его внук Никифор Раменский, Михайло Раменский, прибыв в Бахмут, не пожелал участвовать в войне и перешел на сторону Булавина, «записавшись в украинцы, ушел в Сечь». От него также пошло большое потомство, ныне живущее во многих городах Украины, причем в отличие от московских Раменских некоторые семьи пишут свою фамилию Роменские или Роменьски. Михайло Раменский участвовал вместе с казаками в Полтавской битве, где познакомился с денщиком Петра I Афанасием Радищевым, дедом великого Радищева.

Сын Михайлы Степан Раменский воспитывался и служил в Запорожской Сечи, был выдающимся военным деятелем, участником многих сражений с турками, поляками, был командиром сторожевого полка, а затем полковником, в последнее время фактически одним из руководителей Запорожской Сечи. Степан Раменский вел переговоры с Турцией и Польшей, неоднократно выезжал за рубеж. В последний период существования Сечи вел переговоры с князем Потемкиным и дважды выезжал в Петербург для переговоров с Екатериной II о судьбе Сечи. После расформирования Сечи Степан был взят на службу в российскую армию в звании капитана. В Мологине хранятся письма Степана к Раменским из Петербурга в Мологино, а также два письма Потемкина Степану Раменскому, патент на звание капитана и его оружие. Сохранились копии некоторых документов⁵.

В XIX и начале XX века большинство украинских Раменских служили учителями в Бахмуте (Григорий Раменский), Одессе (Иосиф Раменский), Киеве, Полтаве и других городах и местечках Украины, также и под другими фамилиями. <...>

УЧИТЕЛЯ РАМЕНСКИЕ В XVII И XVIII ВЕКАХ

Уже в середине XVII века в Москве, да и в других городах появляются книгописцы Раменские, которые занимаются также и обучением грамоте людей. Со второй половины XVII века педагогическая деятельность Раменских является уже основной.

В Москве книгописцы Раменские, видимо, столетиями жили на Никольской улице, книжном центре Москвы.

«Место возле Никольской улицы длиннику двенадцать сажен с полусаженью, поперек — девять сажен, владеет Яков Михайлов сын Раменский, книгописец, велико на Москве грамоте научен бысть, а писано то место за ним, Яковом, по променной грамоте Никиты Петрова, сына Левашова, что променял отца его Михайле Раменскому по данной из приказной избы воеводы Сухова-Вельяминова» (из писцовой книги Сухова-Кобылина).

В конце XVII века известен учитель Георгий Раменский в Стрелецкой слободе на Лубянах, мобилизованный в армию. Участник азовских походов, попавший в плен к туркам, где два года провел в заключении в крепости Сухум-Кале, а затем проданный в рабство.

Оказавшись на свободе в Болгарии, он в течение двадцати лет был учителем в городе Стара-Загора, а затем, вернувшись на родину, был учителем в городе Бахмуте Малороссийской провинции.

«И был Георгий, сын Раменский, сын книгописца Якова Раменского, учителем в граде Москве, в Стрелецкой слободе, что на Лубянах, в 1684 г., и в бусурманском плену в Болгарии, в граде Стара-Загора, а из плена придя в Бахмут-городок Малороссийской провинции. И преставился в 1731 г. мая 2 дня. Записал Данило Раменский, сын».

Еще раньше книгописцем и учителем в Москве был учитель Михайло Раменский. На грамматике Смотрицкого сохранилась запись от 1645 года: «И обучив многих в школе своей, что около Никольской башни, и память по себе добрую оставив, преставился учитель Михайло сын Раменский 20 января 1645 г. во граде Москве». <...>

Видимо, возвращение Георгия Раменского из Болгарии с семьей стало возможным только после Полтавской битвы, после разгрома шведов и турок. Он вернулся в Россию с женой и двумя сыновьями, а двое других остались в Болгарии, став предками ныне живущих там потомков Раменских.

⁵ Далее в Акте приводятся копия аттестации бывшему запорожскому старшине Степану Раменскому от Василия Пишмича, рапорт князя Потемкина, касающийся Раменского. Эти документы говорят о том, что в учительской династии были не только выдающиеся педагоги, но и видные военные.

Как рассказывают летописи, в Бахмуте оказался и младший брат Георгия Михайло, учитель из Москвы, мобилизованный в армию и посланный на подавление восстания Булавина. Перейдя на сторону восставших казаков и записавшись в украинское казачество, Михайло Раменский стал родоначальником учителей Раменских в Малороссии, Георгий же Раменский, вернувшись в Россию, послал своего младшего сына Данила Раменского в Москву, где с помощью родных и друзей он поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию на Никольской улице. Данило Раменский был известен как опытный педагог и служил «в солдатских детей училище, что под Новинках, а также в школе Разумовского на Гороховом поле, в школе Паниных и сиротском училище Зачатьевского монастыря в Москве».

В 1763 году Данило Раменский и его жена умерли от чумы. Их сын Петр вернулся в Малороссию. Георгий, воспитывавшийся в семье Радищевых-Аргамаковых, уехал в Саровский монастырь, где ведал рукописной мастерской и школой сирот. Третий сын Алексей с помощью учителя Паниных Попугаева и по рекомендации Паниных уехал в село Мологино Тверской губернии, где организовал школу в имении Юрьевых⁶.

Во второй половине XVIII века в Москве, Новгороде, Киеве, Бахмуте, Петербурге, а также в имениях дворян Яковлевых, Мусиных-Пушкиных, Полторацких, Муравьевых, Паниных служили многие Раменские домашними учителями. <...>

В конце XVIII и начале XIX века открываются училища в губернских и уездных городах. Для подготовки учителей в Петербурге открывается в 1803 году училище, где обучается сын Владимира Раменского Юрий Раменский, которому помогал при поступлении в училище Н. М. Карамзин. В 1813 году Владимир погиб в парижском походе.

Первый мологинский учитель Алексей Раменский получил при отъезде из Москвы от Радищева «Месяцеслов» на 1763 год с надписью: «Паче старайся ты хранить родительску славу», который ныне хранится в Мологине у Николая Пахомовича Раменского.

Книгописцы Яков и Михайло Раменские, жившие в середине XVII века в Москве на Никольской улице, как явствует из записей на старинных книгах, учили не только переписчиков книг, но и имели учеников, обучавшихся грамоте. Сохранилось письмо стольника Григория Титова Михайле Раменскому с просьбой взять в обучение грамоте его сына Ефимку.

Таким образом, уже в XVII веке многие Раменские совмещали обязанности книгописцев и учителей, отбирая затем лучших учеников для дальнейшего обучения их переписке книг.

В 1763 году 7 сентября в Мологине была открыта школа. «В лето 1763 г., сентября 7 дня, в селе Мологино, иждивением господ Юрьевых была открыта школа цифирная народная и была радость великая. И первым учителем был Алексей Раменский» («Хроника» семьи Раменских). <...>

ДРУЖБА С РАДИЩЕВЫМ

Воспоминания Петра и Владимира Раменских, хранящиеся в Мологине, повествуют о знакомстве и дружбе Раменских и Радищевых <...>

Многие Раменские были знакомы с семьями Радищевых и их родственников Аргамаковых и Амосовых. Георгий Раменский, младший сын Данила Раменского, после смерти отца воспитывался в семье Аргамаковых, посещал занятия в гимназии при Московском университете и вместе с Александром Радищевым имел возможность учиться у домашних учителей. После смерти Данила Раменского и его жены от чумы в 1763 году их дети разъехались. Петр Раменский вернулся в Бахмут в Малороссию, Георгий поехал в Саровский монастырь, где жил отец Радищева Николай Афанасьевич Радищев. Здесь, в монастыре, Георгий Раменский ведал перепиской книг, а в зимнее время преподавал в школе при монастыре.

Именно к нему, Георгию, после ареста Радищева в Петербурге и ссылки его в Сибирь все бумаги Радищева и архив, находившийся в Петербурге у верных лю-

⁶ Далее в Акте приводятся выдержки из семейной книги Раменских «Хроника»: сведения о селе Мологино и некоторых исторических событиях, записи на книгах, подаренных видными людьми в разное время представителям династии. Сокращения сделаны по той причине, что об этом либо частично уже говорилось, либо еще будет сказано.

дей, были перевезены в Саровский монастырь на хранение. Эту перевозку осуществляли Владимир и Михаил Раменские вместе с сыном Радищева. <...>

Как явствует из сохранившихся писем Радищева в Мологину, Радищев в конце декабря 1785 года приехал в Мологину навестить своего друга Алексея Раменского. Вот запись, какую оставил Алексей Раменский в книге «Хроника» на странице 88 28 декабря 1785 года: «...нежданно приехал ко мне в Мологину друг моей юности Александр Радищев из Петербурга проездом на родину и прожил у меня два дня и подарил мне книгу «История» с его начертанием».

Еще раньше — весной 1785 года — положение со школой в Мологине осложнилось из-за болезни помещика Юрьева и пьянства его сыновей. Алексей Раменский написал по этому поводу Радищеву, спрашивая совета. В своем письме, которое хранится в Мологине, Радищев, между прочим, сообщает Алексею Раменскому, что он советует ему нынче летом, когда Екатерина II будет объезжать империю и будет в Твери, пойти к ней с учениками и попросить помощи на школу. «Государыня наша очень интересуется образованием, и смело можно к ней обратиться за воспомоществованием, и, думаю, отказа не будет, тем более что она помнит заслуги Степана Раменского в вопросах казачества».

Алексий Раменский послушал совета Радищева и 9 июня 1785 года был в Твери с учениками, где обратился к Екатерине, которая швырнула Алексею кошелек с медными пятаками и отвернулась. Вернувшись в Мологину, он был вызван в Старицу, где за самовольное обращение к императрице был подвергнут гауптвахте на пятнадцать суток, «а Фомку Матюшина да Егорку Страхова продали подрядчику в Питер». Так закончилось хождение учителя Раменского к матушке царице. <...>

О роли Радищева в жизни учителей Раменских свидетельствует автограф на первом томе сочинений Ломоносова, подаренных Варварой Александровной Бакуниной. Тома были присланы 7 сентября 1863 года — в день столетия учительской деятельности Раменских в Тверской губернии. Вот что она писала:

«Глубокоуважаемые Пахомий Федорович и Пафнутий Алексеевич! Поздравляем Вас в день 7 сентября со столетием Вашего учительства в Тверской губернии. Добрый совет Александра Радищева породил беспримерную сподвижническую деятельность семьи Вашей на ниве народного просвещения. Пусть эти книги Михайлы Ломоносова напоминают Вам о нашем весьма высоком к Вам уважении. Варвара Бакунина. 7 сентября 1863 г., с. Прямухино».

После ссылки в Сибирь Радищева друзья начинают массовую переписку и распространение его крамольной книги «Путешествие из Петербурга в Москву», за которую Радищев был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь.

Хранитель архива и рукописи крамольной книги Радищева Георгий Раменский организует переписку этой книги у своих родных в Бахмуте, думая, что в маленьком городе далеко от столицы не будет большого риска с перепиской. Но как Екатерина II, так и ее сын Павел I ненавидел Радищева, называя его «злодеем хуже Пугачева». В 1800 году жандармы Павла I напали на след переписки книги Радищева в Бахмуте.

Георгий Раменский поручил организацию этой переписки своему племяннику Никифору Роменскому. Выследив и установив, что автором переписки является Никифор Роменский, жандармы схватили его, хотя прямых улик им найти не удалось. Жители Бахмута под присягой подтвердили невиновность Никифора Роменского, но власти <...> на суде умолчали о том, что обвиняемый осуждается за переписку книги Радищева, — его обвиняли в оскорблении его величества. Суд (7 июля 1800 года) приговорил Никифора Роменского к смертной казни, замененной потом каторжными работами в Нерчинских рудниках в Сибири. <...>

«Паче же всего, что осмелился Никифор Роменский, содержась уже на гауптвахте, произнести дерзкие слова, относящиеся к особе Его Императорского Величества, в чем указанным числом свидетелей, утверждающих свои показания, единогласно и действительно изобличен, и для того по виновности таковых преступлений онного Роменского, в силу законов воинских артикулов 20, 44, п. 45 и Указа 1727 г. января 30 дня, яко подлежащего смертной казни, которую до указа чинить не велено, лиша чинов, наказать в городе Бахмуте кнутом двадцатью пятью ударами, а потом, вырезав ему ноздри и поставя на лице указанные знаки, сослать на каторгу в Нерчинск».

В Бахмут тайно приезжал Радищев, чтобы подписать прошение на высочайшее имя о помиловании Никифора.

Сохранившиеся письма брата Никифора Роменского о жене Никифора, отказавшейся подписать прошение на высочайшее имя о помиловании ее мужа, письма Петра и Георгия Раменских по этому вопросу, хранящиеся в настоящее время в Мологине, подробно рассказывают об этой зверской расправе царя Павла I.

Отец Никифора Петр Роменский и мологинский учитель, его дядя Алексей Раменский поехали летом 1801 года в Петербург хлопотать об освобождении Никифора. К этому времени друг семьи Раменских Н. М. Карамзин поместил в своем журнале «Вестник Европы» за 1802 год статью о невинно осужденном Никифоре.

Александр Радищев, недавно вернувшийся из Сибири, через некоторое время был возвращен в сенат, где служил его товарищ по Лейпцигу сенатор Козодавлев. Они несколько раз тоже ставили вопрос о помиловании Никифора Роменского и возвращении его из каторги. Император Александр I помиловал Никифора Роменского, назначил ему пенсию и выслал даже деньги на проезд из Сибири.

Во время поездки Петра и Алексея Раменских в Петербург они встречались с Радищевым, Карамзиным, Козодавлевым и способствовали ускорению дела Никифора.

В этот приезд к Радищеву Алексей Раменский получил в подарок от него книгу «Приятное препровождение времени» с автографом Радищева, который гласил: «Товарищу юности моей Алексею Раменскому. Посвяти себя делу своему. Александр Радищев. 1801 года, Санкт-Петербург».

В «Хронике» Алексей Раменский записал, что настроение у Радищева плохое, ему грозят Сибирью, плохи материальные дела. Собирается продать имение в Старицком уезде.

Через некоторое время Никифор Роменский вернулся из Нерчинска. С изуродованным лицом он не захотел жить на родине и с помощью Радищева и Козодавлева уехал в Германию.

Вскоре стало известно, что там вышла книга на немецком языке, где рассказываются ужасы сибирских тюрем, рудников и каторги, о произволе царских чиновников. По распоряжению императора Александра I эта книга была переведена и переделана в пьесу под названием «Возвращение Роменского».

В этой пьесе утверждалось, что в России царь заботится о бедных, невинно осужденных, помогает материально, и на примере Никифора Роменского показана забота и любовь царя к простому народу. Эта лицемерная пьеса была торжественно поставлена в Большом театре в день коронации Александра I, 15 сентября 1803 года.

Трагедия Радищева продолжалась, он сообщал Раменским о своем беспокойстве за рукописи и новую книгу. <...> В августе 1802 года он прислал в Мологину Алексею Раменскому письмо, в котором прямо говорил о невозможности дальше жить.

12 сентября 1802 года Радищева не стало, он отравился. Раменские потеряли самого близкого друга, но никогда его не забывали. Как рассказывал нам Николай Пахомович Раменский, каждый год 12 сентября Раменские собираются в Мологине, читают предсмертное письмо Радищева и посвящают молодых Раменских в учителя. Перед бюстом Радищева, который изготовили мологинские каменщики по эскизам художника Венецианова и подаренным Раменским, ставится большой букет цветов — ромашек, васильков, — и старейший Раменский читает письмо Радищева. Эта семейная традиция существует более ста лет. <...>

Письмо А. Радищева А. Раменскому из Петербурга в село Мологину:

«Любезный друг мой Алексей Данилович!

Рукою верного друга пишу к тебе сие письмо. Наконец я вступаю в чертог вечности. Не умирать, но жить страшиться должно. Совесть управляла всеми моими действиями, но жизнь бедственная сто крат несноснее самой смерти. Она стала чрезмерным чумением, и каждый шаг ее — преддверие к смерти. Нет, никакие сокровища, кроме добродетели, не сильны установить душевной тишины.

Деньги, род, чин — все это пустяки.

Подло думать, что хлебопашца поощрять к трудолюбию надобно больше нужд и каждый год надбавлять оброк и отбирать у него все лишнее.

Все это я видел от Петербурга до Илимского острога, а теперь липезрею вельмож, устрояющих свои дворцы на развалинах честности, судей, продающих правосудие, богачей, покупающих уважение. Чувствую, друг мой, что судьба готовит мне новые испытания и бедствия. Твой друг жить более не может.

Прощай и продолжай свое благородное дело. Передай брату своему Георгию в Сарово мою душевную благодарность за его великие труды и заботу о моих де-тищах и что наказ мой остается навечно.

О юношество, залог благоденствия Отечества, бегите от короков, трудолюбие прилепит Вас к Истине.

Привычки и лень порождают испорченные нравы, берегитесь последовать сим примерам. Облегчайте горести и основанием дел своих полагайте помогать бедным. Не теряйте драгоценного времени, служите обществу и ради просвещения народа учреждайте всенародные училища, чтобы всех детей в малолетстве учить в них и воспитывать достойных граждан.

Вот правила честных людей.

Получа сие письмо, не будет уже меня больше на свете, яд пресечет дни мои. Прощай.

Твой вечный друг Александр Радищев.

1802 г. С. П. Б.».

О РУКОПИСЯХ РАДИЩЕВА

Хотя, как рассказывал Николай Пахомович, книга «История», подаренная Радищевым в 1785 году, уже отсутствует более ста лет, так же как и подлинник его письма, все Раменские знают и помнят текст автографа на книге и содержание письма наизусть.

Текст автографа на книге «История»:

«Кто имеет на руках Законы
Да правит народом, должен всегда
И сам поступать по Закону верно,
Ибо Закон, а не человек в нас
Царствовать должен.
Главное дело есть утверждать
Всенародны училища те и размножать.

(Телемахига)

1785 г.

Ал. Радищев
в Мологине».

После смерти Радищева, как известно из писем и воспоминаний, архив и рукописи его продолжали оставаться в Саровском монастыре у Георгия Раменского. Незадолго до смерти Георгий вызвал из Мологина Федора Раменского и Матвея Раменского из Москвы и передал им все материалы Радищева и рукопись его новой книги о Сибири⁷. Георгий Раменский строго предупредил, что эти рукописи должны храниться пуще глаза и отдать их можно только тогда, когда придет за ними верный человек. Таков был наказ Радищева, переданный Раменскому. Было решено перевезти архив в Москву и хранить его у Матвея Раменского, где он и был до середины XIX века. В 50-х годах XIX века, после смерти Матвея, материалы хранились у его сына, учителя Поливановской гимназии Александра. Потом Пахом Раменский из Мологина и Пафнутий Раменский из Старицы, учитель сиротской школы, вывезли все материалы Радищева из Москвы в Мологино. Пахом Раменский совмещал обязанности учителя церковноприходской школы со службой пономаря, и, пользуясь этим, они вшили все материалы Радищева в одну из церковных книг и поместили их в мологинскую церковь, где они хранились пятьдесят лет. В 1895 году новый мологинский поп Шахов, узнав о хранении рукописей в церкви и воспользовавшись смертью Пахома Раменского, вызвал к себе его сына учителя села Мологино Николая Пахомовича Раменского и приказал забрать из церкви крамольные бумаги Радищева. После этого все материалы Радищева до 1905 года хранились в доме у Раменских в селе Мологино.

С начала века (1901—1903) Мологино стало центром Ржевской социал-демократической организации. Вокруг Николая Пахомовича группировались молодые студен-

⁷ Речь идет о книге Радищева «Путешествие в Сибирь».

ты: три брата Комаровых, два брата Разумихиных, двое братьев Воскресенских — это все студенты МГУ; Анатолий и Аркадий Раменские — племянники, молодые учителя Гаврилов, Петров. Все они составляли ядро организации РСДРП в Мологине. Племянник Н. П. Раменского Евгений Комаров, исключенный из МГУ, руководитель Ржевской и член Тверской и Московской организаций РСДРП, возглавлял это дело. Было решено создать в этом лесном углу тайную типографию РСДРП Ржевского и Тверского комитетов РСДРП. Это дело было поручено Н. П. Раменскому, в помощь которому были найдены двое крестьян — Королев и Кривошеин. В Мологину из Твери привозились готовые наборы, из Ржева бумага. В типографии, расположенной на отлете от Мологина, среди пчелиной пасеки, шла работа. За три года было отпечатано 5 тысяч экземпляров Программы и Устава РСДРП, принятых Вторым съездом РСДРП, перепечатывалась газета «Искра», десятки листовок, манифестов. Была четко организована доставка материалов на станцию Панино, лесами всю продукцию отвозил Михаил Королев, житель деревни Аполево, где на хуторе Орадынка владелец хозяйства по оптовой закупке сена Антонов запрессовывал отпечатанные материалы в тюки сена и отправлял их по указанным адресам. За Раменскими зорко следил и шпионил волостной старшина села Мологину Золотов. <...>

В течение трех лет каждое лето вместе с Евгением Комаровым приезжала в Мологину некая курсистка, девушка, которая считалась его невестой. Комаров ей доверял, за свою считали ее и Раменские. Она была в курсе всех дел и знала об архивах Радищева.

В начале 1905 года в связи с исключением Комарова из МГУ как политически неблагонадежного его призвали на год в армию. Летом 1905 года его невеста приехала одна и вела себя странно. Как потом выяснилось, она имела связь с волостным старшиной Золотовым.

В декабре 1905 года в Мологину к Раменским нагрянула жандармерия. Накануне этого один из работников ржевской полиции, бывший ученик Николая Пахомовича, прискакал ночью в Мологину и предупредил об обыске. Были приняты меры, типография была утоплена в омуте в речке Итомле, вся литература сожжена, оружие закопано в снег. Казалось, все в порядке, но жандармерия искала другое. Посмотрев для блезире библиотеку, жандармы подошли к гардеробу и сняли толстые книги с церковными названиями, в которых были зашиты рукописи Радищева. Забрав их и книги Льва Толстого, его дарственные фотографии и арестовав двух учителей, жандармы уехали, увезя все, что завещал беречь Радищев. Все это дело было организовано и передано приезжавшей курсисткой, которая, как потом стало известно, была тайным агентом по фамилии Пузыто. Через два года она предала и Комарова <...>. После обыска в Мологине состоялись аресты. <...>

Надо сказать, что Раменские в начале 1905 года, задумав издать рукопись Радищева о Сибири, произвели ее фотосъемку в Ржеве у фотографа Малькова. Не сумев найти издателя в России, Раменские послали ссылным поляком Пухальским эти снимки в Варшаву, где жил их родственник. Но, как и рукопись, снимки затерялись.

Раменские, однако, не теряли надежды и после Февральской революции обратились к Керенскому с письмом о принятии мер к спасению исторических рукописей. Ответа не получили. Н. П. Раменский, зная в молодости некую Панину, которая в правительстве Керенского занимала пост министра общественного призрения, летом 1917 года написал ей в Петроград с просьбой о спасении рукописей Радищева. В сентябре 1917 года Панина ответила, что по ее заданию член Чрезвычайной комиссии писатель А. Блок изучал этот вопрос и установил, что действительно в фондах жандармского корпуса имеются материалы архива Радищева, изъятые в 1905 году у Раменских, и что она приняла меры к сохранению этих материалов. Дальнейшие события в России решение этого вопроса приостановили, хотя есть предположение, что Панина, убегая за границу, увезла с собой материалы Радищева <...>.

Вот некоторые письма о радишевских архивах

Письмо И. А. Нечаева из Варшавы Н. П. Раменскому в Мологину от 2 марта 1906 года:

«Дорогой Николай Пахомович, получил сегодня письмо из Перьми от А. П. и страшно огорчился. Переживаю вместе с вами горе утраты. Произошло то, чего больше всего боялся автор. В начале мая я еду в Париж и постараюсь что-либо

сделать. Если вы сумеете в Ржеве сделать еще один экземпляр всех наших фотокарточек, то черкните мне. Деньги я вышлю. Тогда к вам постом заедет Пухальский, и передайте их ему, если ему можно доверять».

Ответ В. Е. Воскресенского, старого революционера из города Волочка, на запрос члена комиссии Михайловой, 1936 год:

«Уважаемая т. Михайлова!

Отвечаю на ваше письмо. С родственной мне семьей Раменских я связан на протяжении всей жизни. Будучи студентом Московского университета, я часто бывал в Мологине и входил в социал-демократическую группу, которая базировалась в доме Николая Пахомовича Раменского. Это была боевая организация, имевшая типографию, оружие, литературу. Работала она под руководством Ржевского комитета РСДРП, выполняла важные поручения партии. В нее входили в основном студенты — братья Раменские, Смольковы, Разумихины, Комаровы и четыре брата Воскресенских и другие товарищи из Ржева. В 1905 г. мы принимали участие в боях на Красной Пресне. После разгрома я был сослан в Сибирь, а за мной был сослан Евгений Комаров, Смольков заключен в тюрьму, Анатолий Раменский был тяжело ранен, Аркадий Раменский был вынужден долго скрываться.

В отношении радищевских материалов, то, бывая в Мологине, я, как студент-филолог, знакомился с ними. Из воспоминаний многих Раменских известно об их связях с Радищевым еще в XVIII веке. Рукописи Радищева первоначально хранились в монастыре у одного из Раменских, а потом в Мологине, пока не были конфискованы в 1905 г. Они состояли из трех частей: 1. Список «Путешествия из Петербурга в Москву» с дополнениями и примечаниями. 2. Рукопись о Сибири из сорока пяти глав, представляющих собою страстную обличительную книгу царского режима и доброжелательное отношение к работным людям Урала и Сибири. Поистине это было гениальное произведение революционера Радищева. 3. Рукопись «Размышления», в которой автор размышляет над судьбами России и ее народа. Глава эта, видимо, написана под впечатлением революций во Франции и Америке и проникнута революционным духом. В. Воскресенский. Волочек. 1936 г. <...>

О Н. И. НОВИКОВЕ⁸

Новиков высоко ценил заслуги учителей Раменских. Алексей Данилович был другом юности великого Николая Ивановича Новикова. <...>

В 1816 году родственник Раменских доктор Мудров навестил в Авдотьино больного Новикова и привез в Мологину письмо от него и в подарок книгу «Первое обучение отроков». Эта книга долго считалась подарком Радищева, но в связи с письмом, которое обнаружила комиссия, стало ясно, что эту книгу Радищев в свое время подарил Новикову, а тот в свою очередь подарил ее много лет спустя Алексию. В Мологине хранятся 5 писем Новикова раннего периода, но это письмо, которое комиссия не включает в Акт, я считаю необходимым внести в воспоминания, ибо оно много дает познавательного. <...>

Письмо Н. И. Новикова из Авдотьино в село Мологину А. Д. Раменскому:

«Любезный Алексей Данилович!

Памятуя о наших давнишних встречах в далекой юности, я не преминул воспользоваться любезностью Вашего родственника Матвея Яковлевича Мудрова, посетившего меня, старого страдальца и отшельника, в Авдотьино, и просил его передать Вам мой презент.

Книга сия — это дар незабвенного Александра Николаевича Радищева, такого же безвинного страдальца, как и я, коей одарил он меня, навестив в Авдотьино уже после моего выхода из крепости.

Насышан я о Ваших великих трудах на ниве просвещения сынов Отечества, а посему полагаю, что книга сия «Воспитание отроков» будет для Вас бесполезна.

Ведь, к великому стыду, в Отечестве нашем у большинства помещиков, да и в столицах, есть такие учителя, что и учить не могут, и которые до этого лакеями

⁸ К Акту были приложены воспоминания близкого родственника Раменских — бывшего преподавателя школы имени Пушкина и педтехникума Ржева Николая Яковлевича Смолькова, имя его как члена комиссии много раз упоминается в документе. Глава «О Н. И. Новикове» — из этих воспоминаний.

да брадобреями свою жизнь препровождали. Я уверен, что существующие системы устоят недолго, ибо нам любезнее всего все новое, даже и в школах.

И надо, чтобы не только у господ, но и в простом народе суеверия, раскол и всякая другая ересь как можно скорее истреблялись.

Полезно знать нравы чужеземных народов, но гораздо полезнее иметь сведения о своих пращурах, хотя они и были простыми россиянами.

Жизнь моя подходит к концу, стал я стар и немощен, а сколько трудов мною положено, а теперь в великой скорби вижу, передать сие некому.

Этот год для меня особенно тяжелый, мучительный, даже это письмо к Вам пишет моя дочь Вера.

Дай бог доброго Вам здоровья, мой любезный друг, и сил в Вашем служении Отчизне.

Ваш Николай Новиков.

Авдотьино, 1816 год».

СОТРУДНИЧЕСТВО С Н. М. КАРАМЗИНЫМ

Знакомство Раменских с Н. М. Карамзиным произошло в последней четверти XVIII века в Москве через Владимира Раменского, учившегося в педагогической семинарии Шварца и служившего в издательстве Новикова и Петрова в качестве переводчика западноевропейской литературы. Позднее Карамзин, работая над «Историей государства Российского», сблизился с Алексеем Алексеевичем Раменским, учителем в Бернове, Грузинах, Торжке, Твери.

Карамзин увлек Алексея Алексеевича работой над историей, в результате чего Раменский стал трудиться в архивах старицких, новоторжских, осташковских, тверских, ржевских монастырей и городских архивах. В результате этих розысков Алексей Алексеевич собрал и передал Карамзину на протяжении ряда лет много материалов по истории, и в частности по истории Тверского края. До сих пор в Мологине хранится сундук с выписками Алексея Алексеевича из архивов, письменных книг и <...> материалов по истории России и особенно истории Старицкого и Тверского княжеств.

Из писем Карамзина А. А. Раменскому следует, что они неоднократно встречались в Твери, Торжке, а также в Мологине. В одну из таких встреч в 1821 году в Торжке у Олениных Н. М. Карамзин подарил Раменскому полное собрание своих сочинений, вышедшее в 1820 году, с дарственной надписью: «Старейшему учителю Тверской губернии Алексею Алексеевичу Раменскому в память о нашей встрече в Торжке. Благодарный автор Николай Карамзин».

Интересна дальнейшая история этого подарка. Племянник А. А. Раменского Федор Раменский, служа учителем в имении Игнатьевых в Чертолине, полюбил там крепостную девушку Марию Соколову. Чтобы выкупить невесту, в семье Раменских денег не было. Тогда Игнатьевы предложили обменять их крепостную девушку на собрание сочинений Карамзина с автографом, о котором они знали. После долгих колебаний Раменские согласились на такой обмен, и девушка стала женой Федора Раменского.

При передаче книг Игнатьевым Раменские оставили у себя последний том сочинений Карамзина, переписав на него текст автографа Карамзина и сделав памятную запись. Эта книга и сейчас украшает мологинскую библиотеку.

Незадолго до смерти Н. М. Карамзин познакомил Раменских с А. С. Пушкиным.

В свое время Н. М. Карамзин завещал своей жене Екатерине Андреевне Карамзиной передать в дар Алексею Алексеевичу Раменскому последнее полное издание «Истории государства Российского» в двенадцати томах в благодарность за сотрудничество в сборе материалов для «Истории...». Этот подарок был вручен по просьбе вдовы историка Александром Сергеевичем Пушкиным 22 августа 1833 года. А. С. Пушкин передал первые тома нового издания «Истории...» с дарственным письмом Е. А. Карамзиной. Остальные тома «Истории...» по просьбе Карамзиной выслал Алексею Алексеевичу в Мологину издатель А. Ф. Смирдин. <...>

В настоящее время все двенадцать томов «Истории...» Карамзина и письмо вдовы историка на первом томе находятся в мологинской библиотеке, равно как и письма Карамзина.

Раменские состояли в родстве с Карамзиными — сестра Алексея Алексеевича Елена Алексеевна была замужем за племянником Карамзина. <...>

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ У РАМЕНСКИХ

Раменских в Мологине посещали многие художники. Из записей в «Хронике» видно, что в начале XIX века неоднократно там бывал Боровиковский, работавший по росписи церкви в Прямухине, а после войны с Наполеоном, когда вновь возобновились работы по отделке церкви в Мологине, им было написано для этой церкви несколько икон.

В 1812 году во время войны художник Кипренский жил в Твери и неоднократно бывал в Бернове, где рисовал портрет одного из Вульфов и других помещиков, а затем, познакомившись с Алексеем Алексеевичем Раменским, посещал Мологино.

В 1815 году в Мологино приезжал друг Михаила Раменского художник из села Сафонково Вышневолоцкого уезда Венецианов, который бывал и еще несколько раз у Раменских, которые сосватали ему девушку из знакомой семьи бедных дворян Азаровых из-под Ржева. Художник Венецианов, знакомясь с работой мологинских мастеров по камню (старичий мрамор), заказал им бюст Радищева и подарил его семье Раменских. <...>

В 1892 году в деревне Затишье (недалеко от Мологина) жил великий художник И. И. Левитан, писавший тогда картины с пушкинских мест в Бернове (картина «У омута»), Левитан был знаком со многими Раменскими. Побывав в Мологине, он написал картину «Осенний лес» и подарил ее А. П. Раменскому.

Впоследствии Левитан сблизился с Раменскими, которые в одну из своих семей взяли на воспитание родственницу Левитана Анну Бирчанскую, сироту, ставшую затем женой сына Н. П. Раменского А. Н. Раменского.

Из переписки и воспоминаний известно, что Алексей Пахомович и Василий Васильевич Раменские неоднократно встречались с художником Левитаном в Вышневолоцком уезде на станции Удомля, где бывали и ученый Попов, Чехов, а также на даче Академии художеств и в доме Кутузовых под Волочком.

В Мологине не раз бывал проездом из Торжка художник В. Д. Поленов.

В начале XX века сын Н. П. Раменского Аркадий Раменский дружил с художниками Бродским, Нестеровым, Кустодиевым, скульптором Беклемишевым, приезжавшими в Тверскую губернию⁹.

Запись на первом томе тринадцатитомного «Историко-статистического описания Тверской губернии» В. И. Покровского:

«Глубокоуважаемый Николай Пахомович,

в день Вашего 25-летия педагогической деятельности на ниве народного просвещения примите от меня мой скромный дар — «Историко-статистическое описание Тверской губернии» в 13 томах. Труд сей был задуман мною еще в молодые годы, в весьма удобном для размышления месте — в казематах Петропавловской крепости, где я привлекался по делу Каракозова. Насколько удался мой труд, судить не мне, но я надеюсь, что он не будет лишним для Вас, людей, любящих отчий край.

С глуб. уваж. В. Покровский. 1900 г. Итомя».

Надпись на тетради, в которую была переписана книга В. В. Попугаева «О рабстве в России»:

«Село Мологино, Федору Алексеевичу Раменскому.

Мне доставляет большое удовольствие преподнести Вашей семье в дни Вашего юбилея эту рукопись, которая найдет достойное место в Вашей библиотеке и будет напоминать Вам о ее дарителе. Уваж. Вас Федор Глинка. Тверь, 1863 г.».

⁹ Вероятно, чтобы подчеркнуть связи Раменских с видными людьми России, авторы Акта приводят далее копии автографов на книгах, подаренных Раменским в разное время.

(Окончание следует)

К. М. АЗАДОВСКИЙ

★

ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОКОВ

По материалам дневников Ф. Ф. Фидлера

Петербургская литературная жизнь на рубеже веков была интенсивной и достаточно пестрой. Наряду с теми, чьи имена получили впоследствии громкую известность, в столице работало также немало писателей, которые затем — подчас незаслуженно — остались в тени. К последним принадлежит Федор Федорович Фидлер, своеобразный и незаурядный человек, способный и плодовитый поэт-переводчик и создатель уникального литературного музея.

Немец по происхождению, Федор (Фридрих) Фидлер родился в Петербурге в 1859 году и всю жизнь провел в России. Окончив курс наук в Петербургском университете, где он обучался на историко-филологическом факультете, Фидлер с 1884 года преподавал немецкий язык в различных учебных заведениях Петербурга. Одновременно он занимался и литературной деятельностью: писал оригинальные стихи (по-немецки) переводил русских классиков на немецкий язык. Три с лишним десятилетия Фидлер знакомил немецкую публику с творчеством Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета, Кольцова, Майкова, Надсона и других русских поэтов, причем некоторых из них он впервые открыл для Германии. Выполненные тщательно и любовно, эти переводы принесли Фидлеру известность в литературных кругах России и Германии.

«Как по количеству собранных предметов, так и по их разнообразию литературный музей Ф. Ф. Фидлера, по мнению специалистов-коллекционеров, является единственным в своем роде в мире. Но он представляет интерес не только в смысле хорошо подобранной коллекции, но и как богатый источник для историко-литературных трудов», — сообщалось в одной из самых известных в то время столичных газет¹.

Поэт Сергей Городецкий, лично знавший Фидлера и не раз бывавший в его «музее», рассказывал после смерти коллекционера: «Жил он (Фидлер.— К. А.) в обычной квартирке на Николаевской улице и всю жизнь боялся пожара, который мог уничтожить его сокровища. Все стены четырех комнат сплошь заставлены книгами и завешаны фотографиями с автографами. Всюду приложено бесконечное количество витрин, ящиков, полок для хранения писем, рукописей и фотографий... Я не помню каталога, но не было, кажется, ни одного крупного писателя, который так или иначе не был бы представлен у Фидлера. Изобретательность его по изысканию материалов была изумительна. Он выискивал, запрашивал, выменивал, покупал, можно сказать, охотился за рукописями. Литературных партий, течений, кружков для него не существовало, он любил литературу и очень чутко умел нащупать ее основное русло»².

Собрание Фидлера, достигшее к 1917 году значительных размеров, включало в себя также его библиотеку (редкие в библиографическом отношении книги русских и иностранных писателей с автографами и др.) и огромную коллекцию вырезок из газет и журналов, касающихся русской и иностранной литературы. Интересней-

шая часть фидлеровского музея — альбомы с автографами. Эти альбомы назывались «У меня», «В гостях», «Е пути», «В ресторане», «4.XI» (день рождения Фидлера, когда у него ежегодно собиралось множество гостей), «Поминки» и другие. «Маленькая фигурка его в аккуратном старом сюртучке,— вспоминает Н. Н. Ходотов,— постоянно присутствовала на всех литературных юбилейных чествованиях, обедах и ужинах с неизменным альбомом в кармане для автографов, зарисовок... И кто только не писал ему в них из лиц, причастных к литературе, науке и искусству. Там были стихи, изречения, сатиры, карикатуры, ноты, рисунки, ему все было ценно, все на руку»³.

Настало время с благодарностью вспомнить о том, кто посвятил всю свою жизнь беззаветному и страстному служению Литературе, кто, не щадя своих сил и средств, по крупицам собирал свой удивительный «музей». История русской культуры знает немало таких преданных ей, бескорыстных рыцарей. Фидлер — один из них.

Фидлер умер в конце февраля 1917 года. Его дневники оказались в Рукописном отделе Института русской литературы в Ленинграде (перевод с немецкого выполнен автором статьи).

Достоевский не относился к числу любимых писателей Фидлера. Приверженец русской и западноевропейской классики, Фидлер настороженно относился к Достоевскому, романы которого казались ему (как, впрочем, многим читателям в России и на Западе) сумбурными, бесформенными, художественно неполноценными. Некоторые из записей Фидлера передают его весьма скептическое восприятие Достоевского. Но с другой стороны, в отношении Фидлера к Достоевскому было немало уважения, восхищения и даже благоговения.

Запись о «знакомстве» Фидлера с Достоевским относится к 1903 году. Она была сделана в связи с появлением книги А. А. Измайлова «Рыбье слово», где, в частности, излагались подробности случайной встречи репортера Сапожкова — героя повести «Вампир» — с Достоевским. «Рассказ этот,— отметил Фидлер,— поконится на моем «знакомстве» с Достоевским. Я не раз рассказывал эту историю то одному, то другому писателю, так что, вероятно, Измайлов тоже слышал ее». Далее Фидлер вспоминает: «Я учился тогда в последнем классе гимназии либо уже на первом курсе. Во всяком случае это происходило зимой, поскольку Достоевский был одет в меховое пальто⁴. В то время я уже фанатически поклонялся любому писателю. И вот я встретил Достоевского на Невском, перед костелом св. Екатерины, рядом с часовым магазином Винтерхальтера. Он стоял, выгнув свои золотые часы и сверяя их с круглыми часами на витрине магазина. Я застыл как вкопанный в двух-трех шагах от него и впился в него взглядом. Он бегло оглядел меня, затем снова посмотрел на часы и на витрину магазина. Я продолжал стоять, растопырив руки. Он спрятал часы и вновь глянул на меня. Я стоял, пожирая его глазами. Он вздрогнул, снова вынул часы и сделал вид, что смотрит на них. На самом деле это был жест смущения. Я стоял перед ним как перед божеством. Наконец, он бросил на меня гневный взгляд, сплюнул, после чего повернулся в другую сторону. Я же поспешил прочь».

Таким же благоговейным чувством проникнуты и записи, сделанные Фидлером 30 и 31 января 1881 года — через несколько дней после смерти писателя. В ту пору Фидлер еще не вел дневники, а делал своего рода ежедневные пометы, многие из которых перешли впоследствии в его дневники. В познавательном отношении пометы от 30 и 31 января дают нам как будто бы не столь и много; о том, как протекало прощание с телом Достоевского, сохранилось немало свидетельств и воспоминаний. И все же обе эти записи, сделанные совсем еще молодым человеком, весьма примечательны: они как нельзя лучше передают авторскую манеру Фидлера, в которой главное место всегда принадлежало «жанру» — остро схваченной бытовой детали, выразительной реплике, живому и тонкому наблюдению.

Запись от 30 января: «В час дня я зашел на квартиру Достоевского, скончавшегося в среду (28-го). На лестнице я долгое время стоял рядом с романистом Гончаровым, изучая его благородные черты. Я даже прикоснулся к его шубе в суеверной надежде, что частица его творческой силы перейдет ко мне. В кабинете Достоевского я благоговейно отломал кусочек дерева от стола, за которым покойный писал свои бессмертные романы. Потом через толпу людей я протиснулся к гробу. Достоевский лежал, утопая в цветах, и только лицо его было открытым. Я погрузился в созерцание его мирно дремлющих черт, упокоенных поцелуем смерти, облагороженных музами. И я сделал то, чего никогда не делаю: поцеловал его ледяное чело. Дочь писателя, вылитый портрет

своего отца, стояла у изголовья; она взяла из гроба несколько цветов и протянула их мне: ими одаривали почти всех присутствующих. Я видел также Григоровича⁵.

Запись от 31 января: «Сегодня в 11 часов тело Достоевского перенесли в Александров-Невский монастырь. Представители и представительницы всех учебных заведений и ученых обществ несли на шестах шестьдесят огромных венков из живых цветов. Студенты образовали сплошную живую цепь, сдерживая натиск стекавшейся публики, тогда как целый легион полицейских мешал шествию. Гроб был обвит длинной благоухающей гирляндой в форме квадрата. Эти толпы людей собрались сюда не из любопытства, а для того, чтобы отдать великому писателю дань глубокого уважения и любви. Особенно много было наших профессоров. Главным оратором был Орест Миллер⁶, раздававший студентам факсимиле подписи писателя⁷; мне тоже достался один листок. Григорович остановился возле меня, похлопал меня по плечу и сказал несколько слов по поводу живой цепи. Я проводил тело до самого монастыря, но в церковь не вошел, опасаясь, что меня раздавят. Газеты выражали глубокую скорбь».

В середине 80-х годов Фидлер часто встречался с известным русским поэтом Я. П. Полонским, стихи которого переводил на немецкий язык (в 1904 году в издательстве «Реклам» вышла небольшая книжечка стихотворений Полонского в переводе Фидлера; открывалась она кратким биографическим очерком, который также написал Фидлер). В беседах Фидлера с Полонским не раз упоминалось имя Достоевского, с которым в 60—70-х годах поэт был связан дружественными отношениями и переписывался. К Достоевскому обращено, например, неоконченное стихотворение Полонского «Смятенный я тебе внимал...», написанное в июне 1880 года.

10 марта 1884 года Фидлер был у Полонского, где среди других гостей находился композитор Николай Филиппович Христианович (1828—1890). В тот же день Фидлер записал свой разговор с ним, который позднее (в 1888 году) внес в дневник: «Очень приятной оказалась беседа с Христиановичем, который знал и знает русских писателей последнего времени. С чрезвычайной любезностью он охарактеризовал мне каждого из них. <...> Достоевский, по его словам, всегда проповедовал терпимость, но был самым нетерпимым и завистливым человеком на свете, не терпевшим возле себя никаких других богов».

Вторая запись, от 17 апреля 1886 года (воспроизведена в более поздней дневниковой записи от 29 сентября 1888 года), примечательна тем, что сообщает о раннем знакомстве Достоевского со стихами Полонского и об его отношении к ним: «Вчера у меня был Я. П. Полонский; он подарил мне второй том своих сочинений. <...> Он рассказывал, что Достоевский был глубоко тронут, когда, возвращаясь из Сибири, впервые прочитал его стихотворение «Зимний путь»⁸.

Долголетняя и прочная дружба соединяла Фидлера и с Семеном Афанасьевичем Венгеровым (1855—1920), известным русским историком литературы и библиографом, составителем и издателем «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых». Они были сверстниками и во многом единомышленниками. Их сближали также свойственные им обоим дух собирательства, стремление к систематизации, универсальный подход к литературе. Фидлер часто встречался с Венгеровым и в своих дневниках подробно записывал его рассказы о других русских писателях, как умерших, так и современных. Запись в дневниковой тетради Фидлера от 2 августа 1907 года воспроизводит воспоминания Венгерова о Достоевском:

«С Достоевским [енгеров] был знаком лично. Начиная с 1875 года они оба жили на Греческом проспекте, в доме, расположенном между церковью и нынешним детским садом⁹. В[енгеров] жил на четвертом этаже, а Д[остоевский] — на 2-м. В[енгеров] однажды навесил его и завел речь о Свидригайлове (из «Преступления и наказания»), на что Д[остоевский] удивленно спросил: «А кто это, Свидригайлов?» Оказывается, он часто забывал фамилии своих основных персонажей. Венгеров заметил ему, что он (Достоевский) совсем не признает церковных обрядов. Но Достоевский ответил: «Нет, признаю! Даже для самого драгоценного вина требуется чаша; а для религии такой чашей является обряд...»

В 1879 году состоялся обед в честь Тургенева. Все были удивлены, когда Достоевский появился во фраке. Бесконечные речи в честь Т[ургенева]. Наконец выступил сам Тургенев с ответной речью, которую он закончил пожеланием «увенчать здание реформ». Под этим выражением подразумевалось тогда введение конституции. Нежи-

данно поднялся Д[остоевский] и спросил Т[ургенева]: «Что Вы имеете в виду? Не могли бы Вы выразиться яснее?» Наступило всеобщее ошеломленное молчание; все знали о ненависти Д[остоевского] к Т[ургеневу], и в воздухе с самого начала пахло скандалом. Спустя несколько минут Д[остоевский] начал оправдываться и, обращаясь к разным лицам, утверждал, что этим вопросом он не хотел сказать ничего особенного, ведь он очень любит Тургенева и ради него даже нарядился во фрак. Последний аргумент еще больше расстроил присутствующих, ибо все почувствовали в этом ложь. На следующий день газеты обвинили Д[остоевского] в ретроградстве.

Никто, по его (Венгерова.— К. А.) словам, не читал так прекрасно вслух, как Д[остоевский]; даже мужчины плакали. (Это факт: я сам, будучи студентом, присутствовал на чтении им рассказа «Мальчик у Христа на елке» и видел, как мужчины плакали¹⁰).

К числу малоизученных эпизодов биографии Достоевского принадлежит история его взаимоотношений с братьями Ламанскими. Известно, что со старшими братьями Порфирием Ивановичем (1824—1875) и Евгением Ивановичем (1825—1902) Достоевский познакомился еще в 40-е годы в кружке Петрашевского. Позднее, в 60—70-е годы, П. И. Ламанский был видным общественным деятелем, а Е. И. Ламанский — управляющим государственным банком, крупным экономистом. Их младший брат Владимир Иванович Ламанский (1833—1914) получил известность как историк-славист. В течение многих лет В. И. Ламанский преподавал на историко-филологическом факультете Петербургского университета (Фидлер, будучи студентом, слушал его курсы по славянским диалектам и польской литературе); в 1900 году он был избран академиком. Личное знакомство Достоевского с В. И. Ламанским состоялось, как принято считать, в начале 70-х годов, однако если признать достоверным рассказ Ламанского о Достоевском, записанный Фидлером 23 июня 1902 года, то их знакомство следует безусловно отнести к более раннему периоду:

«Гулял с Ламанским и узнал от него следующее. <...> Однажды незадолго до своего брака с Анной Григорьевной¹¹ к нему пришел Достоевский и сказал, что собирается совершить «преступление», за которым непременно последует «наказание». Он мучился в то время от припадков. Как-то раз, когда Ламанский был у него в гостях, он начал описывать ему один из своих припадков, и притом с такими физиологически-ми и психологическими подробностями, что Ламанскому стало не по себе. Заметив это, Достоевский принялся еще более стучать краски; он повел его в коридор и уборную и показал то место, где лежал на полу. Он видел, что рассказ его мучителен для Ламанского, и это доставляло ему, казалось, сатанинское наслаждение¹². В разговоре он бывал очень нетерпим. Однажды покойный брат Ламанского, управляющий императорского банка, устроил у себя бал. Достоевский и Ламанский находились в зале для курящих, где шла игра в карты; а из соседнего зала к ним доносились танцевальная музыка. Достоевский долго распространялся насчет Апокалипсиса, утверждая, что седьмой зверь — это Америка¹³. До того как они поженились, Анна Григорьевна была его секретаршей; она писала под его диктовку. А писал он очень много, потому что ему надо было среди прочего оплачивать долги своего брата Михаила. Однажды, связавшись со Стелловским, издателем-кровопийцей, он чуть было не попал впросак. Этот издатель заключил с Достоевским следующий контракт: если роман, который должен представить ему Достоевский, не будет готов к определенному часу определенного дня, то к нему навечно переходят права на издание этого произведения. Закончив роман за день до истечения срока, Достоевский отправился к Стелловскому. Однако тот уехал и не оставил своего адреса. Тогда Достоевский пошел к нотариусу, чтобы засвидетельствовать день и час, когда он представил готовый роман. И только так он спас себя от издателя¹⁴».

Из воспоминаний о Достоевском, слышанных Фидлером от других лиц, известный интерес представляет рассказ драматурга и режиссера Евтихия Павловича Карпова (1857—1926), с которым в начале века Фидлер нередко виделся и общался. Запись от 11 сентября 1905 года:

«Карпов <...> рассказывал о похоронах Некрасова, где не обошлось без комических моментов. Достоевский сказал: «Н[екрасов] стоял ниже Пушкина...» Из толпы его прервали, там были главным образом студенты: «Выше!»—«Ниже!»—«Выше!»—Пауза. Д[остоевский] начал снова: «Н[екрасов], хотя он и стоял ниже...»—«Выше!»

Д[остоевский], иронически кланяясь направо и налево: «Ниже П[ушкина], однако...» и т. п.».

Эпизод, о котором сообщает Карпов, действительно имел место, хотя свидетельства современников о нем весьма различны. Сам Достоевский, видимо оправдываясь и защищаясь от упреков по поводу его речи, счел нужным уточнить ее смысл в статье «Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле». Достоевский утверждает, будто он говорил лишь о том, что Некрасов «должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то... один голос из толпы крикнул, что Некрасов был выше Пушкина и Лермонтова и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «Да, выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться»¹⁵. Далее Достоевский опровергает утверждение критика Скабичевского, высказанное им в печати, о том, что Достоевскому ответили не несколько голосов, а «тысячный хор».

Объяснение Достоевского весьма существенно; если даже Карпов как очевидец изложил этот малозначительный инцидент с большей точностью, чем сам «виновник», то во всяком случае ясно, что, поставив Некрасова ниже Пушкина, Достоевский несколько не пытался принизить значение покойного. «Комический момент», засвидетельствованный Карповым, возник скорее всего из-за неудачной и слишком резкой устной формулировки Достоевского, которую он заметно смягчил затем в своей статье.

Наряду с воспоминаниями о Достоевском и различными мелкими фактами его биографии в дневниках Фидлера встречаются и суждения о нем как о художнике. Некоторые из них весьма выразительны и имеют несомненную ценность для истории литературы.

Одним из наиболее близких Фидлеру людей был писатель Казимир Станиславович Баранцевич (1851—1927), автор многочисленных повестей, рассказов и романов (в том числе для детей и юношества). В молодости Баранцевич принимал участие в народническом движении, что, видимо, и сблизило его в свое время с Фидлером, который, как и многие либерально настроенные интеллигенты, с симпатией и живым интересом относился к народу. Баранцевич дружил с Фидлером до самых последних дней его жизни, и имя его встречается на страницах дневников достаточно часто.

Баранцевич был восторженным литератором: почти все им написанное не выдержало испытания временем. Однако при жизни он пользовался в России немалой известностью, а некоторые крупные писатели, например А. П. Чехов, высоко ценили его талант (в 1900 году Чехов даже поднимал вопрос об избрании Баранцевича в академики). Влияние больших русских писателей явственно ощущается в творчестве Баранцевича, который был, между прочим, поклонником Достоевского. Его разговор с Фидлером, записанный последним,— яркое свидетельство литературных симпатий как одного, так и другого. Запись от 24 мая 1893 года:

«Гулял с Баранцевичем. «Я скоро заканчиваю свой «Семейный очаг»¹⁶. Пишу одну главу за другой».—«Это очень удобно для читателя — ему ведь нужны паузы для отдыха и передышки».—«А уже написанная глава растянулась на целый печатный лист».—«Ну, для меня такие длинноты невыносимы; мне стоило величайших усилий прочитать «Братьев Карамазовых», где подчас несколько больших страниц не имеют ни единого абзаца».—«А вот я часами с упоением читал Достоевского, пока голова не начинала болеть!»—«Ничего себе наслаждение!»—«Литература должна не только давать наслаждение, но и...»—«Ты ведь имеешь в виду художественную литературу?»—«Да... ибо она создается тяжелым трудом, ибо она—наука».—«Литература—наука?»—«Да, ибо она должна нас просвещать и обогащать наши познания. Например, в романах различные персонажи побуждают нас к размышлениям и раскрывают нам, что такое человеческая душа...»

Во время летнего отпуска Фидлер нередко уезжал в Западную Европу, чаще всего в Германию. Здесь он продолжал свою собирательскую деятельность: заводил знакомства в литературном мире, встречался с писателями, охотился за автографами. В беседах с иностранцами речь неизменно заходила о русской литературе, о таких авторах, как Достоевский, Толстой, Чехов.

Имя Достоевского становится на Западе широко известным приблизительно с середины 80-х годов. Его сочинения, переведенные на основные европейские языки, попадают в поле зрения критиков и историков литературы. Особенно велика была по-

пулярность Достоевского в Германии: наряду с Ибсенем и Золя русский писатель становится союзником молодых немецких литераторов (прежде всего натуралистов), ведущих решительную борьбу за новое современное искусство. В начале 90-х годов Достоевский общепризнан в Германии как один из корифеев психологического романа, как выдающийся писатель-реалист. Не случайно оба видных, но весьма далеких друг от друга немецких писателя Эберс и Крецер в беседе с Фидлером восхищенно отзывались о Достоевском.

Георг Мориц Эберс (1837—1898) был не только писателем, но и крупным ученым-египтологом, сумевшим объединить свои научные и литературные интересы: действие некоторых его романов происходит на египетской земле во времена фараонов. В свое время Эберс был хорошо известен в России; его произведения одно за другим переводились на русский язык, а в 1896—1899 годах в России было издано собрание его сочинений в тринадцати томах. Отсюда вполне естественный интерес Фидлера к этому писателю, популярному не только в Германии, но и в России¹⁷.

Запись от 18 июля 1891 года:

«Прибыв в Тутцинг, я отправился к Георгу Эберсу <...>. Он стал расхваливать мои переводы, а потом сказал о Достоевском: «Его Раскольников просто великолепен и в высшей степени оригинален. Достоевский вовсе не устанавливает окончательных законов психологии; я не могу разделить и вашего мнения о том, что его психология часто переходит в антипсихологию. По крайней мере, каждое движение души его героев захватывает меня и не кажется мне неестественным или неверным. Как великолепен, несмотря на длинноты, «Братья Карамазовы»! Как прекрасно обрисована безнравственная женщина!..»

В отличие от Эберса, стоявшего особняком в современной ему немецкой литературе, Макс Крецер (1854—1941) принадлежал к лагерю немецких натуралистов; его романы 80-х годов (например, «Обманутые», «Обездоленные») проникнуты глубоким социальным состраданием.

Позднее, в 90-е годы, отражая общую эволюцию натурализма в Германии, Крецер становится выразителем христианской морали (роман «Лик Христа» и др.). Однако и в 80-е и в 90-е годы Крецер оставался поклонником Достоевского; влияние русского писателя ощутимо проявляется в его романах. Запись в дневнике Фидлера от 4 июня 1894 года воспроизводит его беседу с Крецером (первая фраза принадлежит Крецеру):

«...«Раскольников» Достоевского и «Мадам Бовари» Флобера — во всей мировой литературе нет ничего лучше». — «Да, жаль только, что Дост[оевский] совсем не умеет соблюдать художественную меру». — «Вы имеете в виду форму? А для меня форма безразлична! Главное — это содержание, психологическое решение...»

Помимо этих сохранных Фидлером сведений и мнений о Достоевском в его записях встречается еще ряд упоминаний о великом писателе; все они носят, однако, более случайный или менее достоверный характер и поэтому в настоящую публикацию не вошли.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Фидлеровский музей русских литераторов» (без подписи). — «Виржевые ведомости» (вечерний выпуск), 12 октября 1916 года, стр. 4.

² Сергей Городецкий. «Три венка». — «Кавказское слово», 2 июля 1917 года, стр. 3.

³ Н. Н. Ходотов. Близкое — далекое. Л. — М. 1962, стр. 207.

⁴ Эта встреча Фидлера с Достоевским имела место скорее всего зимой 1877/78 года.

⁵ Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900) — известный русский писатель; был распорядителем на траурной церемонии 31 января 1881 года.

⁶ Миллер Орест Федорович (1833—1889) — русский фольклорист и историк литературы.

⁷ Имеется в виду траурный листок с воспроизведением подписи Ф. М. Достоевского, который был напечатан на средства его почитателей и раздавался публике 31 января 1881 года перед выносом тела.

⁸ О том, что стихотворение «Зимний путь» было одним из любимых стихотворений Достоевского, упоминается и в опубликованных воспоминаниях Фидлера о Полонском («Новое слово», 1915, № 5, стр. 33).

⁹ Имеется в виду дом купца А. П. Струбинского на углу Греческого проспекта и 5-й Рождественской улицы (ныне 5-я Советская), где Достоевский жил с сентября 1875 до мая 1878 года. Нынешний адрес: Греческий проспект, 6.

¹⁶ Фидлер слышал чтение Достоевского на литературном вечере в петербургском Благородном собрании 16 декабря 1879 года. Запись об этом событии, сделанная им тогда же в ежедневных пометах, воспроизведена в его дневнике 23 ноября 1896 года.

¹⁷ В конце 1866 или в самом начале 1867 года (свадьба состоялась 15 февраля 1867 года)

¹⁸ Вероятно, Ламанский рассказывал Фидлеру о своем визите к Достоевскому, состоявшемся 12 февраля 1875 года. В письме жене, написанном в тот же день, Достоевский рассказывал: «...я съездил к Некрасову, взял сегодня у него деньги, заезжаю домой, чтоб положить их в чемодан, и вдруг входит Владимир Ламанский, сам услышавший от кого-то, что я в Петербурге. Неужто мне прогнать его? Вот я с ним и остаюсь. И так каждый час. Притом же я все не могу выспаться, а у меня расстроены нервы до муки, до ада» (Ф. М. Достоевский, А. Г. Достоевская. Переписка. М. 1971, стр. 155—156).

¹⁹ Отношение Достоевского к Америке было действительно критическим: эта страна всегда представлялась ему воплощением рационально-прагматического бездуховного бытия. См., например, рассказ Шатова о своем пребывании в Америке («Бесы», глава «Хромоножка»). Апокалипсис («Откровение св. Иоанна Богослова») был одной из наиболее любимых Достоевским евангельских книг; упоминания об Апокалипсисе можно встретить почти во всех поздних романах писателя.

²⁰ Речь идет о романе Достоевского «Игрок», который писатель должен был представить Ф. Т. Стелловскому к 1 ноября 1866 года. Договор с книгоиздателем был выполнен в срок благодаря помощи А. Г. Сниткиной. Об этом эпизоде см. подробнее в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской (М., 1971, стр. 57—60, 70—71 и др.), где эта история воспроизводится более полно и точно, нежели в рассказе В. И. Ламанского.

²¹ Цит. по кн.: «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников». М. 1971, стр. 484.

²² Имеется в виду роман Баранцевича «Две жены». Первое издание — СПб. 1894 (четырежды переиздавался).

²³ Вскоре после личной встречи с Эберсом Фидлер перевел на русский язык его историческую повесть «Гостиница Голубой Щуки». Опубликована в приложении к журналу «Нива» в 1895 году.

Ленинград.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИГОРЬ ДЕДКОВ

★

ВЕРТИКАЛИ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

Сейчас ему было бы шестьдесят лет. Были бы приветствия, речи, статья и фотография в «Литературной газете»...

Юрий Трифонов не испытывал особых иллюзий насчет обыденных человеческих связей и отношений: их противоречивость, запутанность и переменчивость были ему очевидны. Даже в «Студентах» таких иллюзий немного. Но с «Обмена», с истории семьи Дмитриевых, трифоновский анализ явно беспощаднее.

Дед Дмитриев, старомодный старичок, не вызывал у родни большого интереса, но был занят своей старомодностью. Жена внука смеялась: «Федор Николаевич, вы монстр!.. хорошо сохранившийся монстр!»

Он и в самом деле был «монстр»: семьдесят девять лет, жизнь, теряющаяся в плотном историческом тумане, — Петербургский университет, крепость, ссылка, побег, Швейцария, Бельгия, Вера Засулич...

Теперь он доживал, добирал свое, оставшееся, не участвовал, а присутствовал; он пребывал в этой чрезвычайно занятой собой жизни на правах нетипичного эпизода, издержки исторического процесса. Он был «из той породы полувывмерших обалдуев, кому ничего не надо, кроме воспоминаний, принципов и уважения...». Но это уже о другом старике, о Летунове, из размышлений о нем энергичного, уверенно восходящего, современного человека Кандаурова...

В той давней повести Дмитриев-дед прочертил серый житейский небосвод, подобно странному, нездешнему телу, и канул.

Через много лет он воскрес в «Старике». Разумеется, Летунов П. Е. — это другое поколение, помоложе. Без подпольного стажа, и смотрит Павел Евграфович больше назад, чем по-дмитриевски вперед, но родство тут несомненное, глубокое: он тоже из тех. В глазах кандауровых и лукьяновых поколения Летунова и Дмитриева сравнялись и срослись.

Из письма, которым начат роман «Старик», до нас доносится взволнованный, суховатый старческий голос. Жизнь, разлука, незнание друг о друге были долгими, и надо хоть что-то из бывшего пересказать, но главное, главное, то, что бережит, соединяет, заставляет писать, вспоминать, случилось в самом начале всего: на заре туманной юности, на заре новой, неслыханной жизни. Тогда-то и произошла трагедия, нам не ясно еще какая и с кем, но все еще живая, неотгоревшая, и отдающаяся в самом тоне письма и в твердости этого голоса, и зовущая, призывающая углубиться в ту даль, понять, взять чью-то сторону...

Но письмо Аси Игумновой спрятано стариком Летуновым в ящик стола; вокруг мир, чья топография читателям Трифопова знакома: дача, улицы дачного поселка, выросшего в 30-е годы, река или озеро, санаторий, где можно брать обеды домой. Старик спускается на веранду, погружаясь в привычное жужжание привычных голосов. Близкие, дальние, бывшие родственники, их друзья и приятели — знакомый круг! — и знакомый дух неутомимой житейской междоусобицы царит здесь бессрочно. Их немало, близких и дальних: сын Руслан, Руська, его жена Валентина, его первая жена Мюда с сыном Виктором, дочь Вера со своим Николаем Эрастовичем, свояченица Люба и т. д. Да еще по соседству Полина Карловна, старый друг семейства, с дочкой и зятем Кандауровым. Обо всех о них написано — «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной». То есть с ними все это или очень похожее могло быть, или что-нибудь в таком же роде уже было, или вот-вот, стоит немного подождать, начнется, уже начинается новая история — тяжба о даче... Только в «Старике» — иной поворот: тяжба с ее сюжетными возможностями обречена на недостаточное авторское внимание, да и остальным пришлось потесниться. Вроде бы все они остались на своих местах,

на привычном переднем плане и снова пили чай на веранде, болтали, слонялись, выясняли отношения, уезжали, приезжали, страдали, вели дачную интригу... Но весь этот мир преобразился, представ под углом зрения старика, Павла Евграфовича Летунова. Теперь это прежде всего его мир: так он видит, чувствует, понимает, оценивает окружающую его жизнь и людей. Топография не изменилась, народонаселение — тоже, но, кажется, яснее стала ориентировка по сторонам света.

Пределы духовного бытия Павла Евграфовича и есть главные пределы романа.

Невидимо для Руськи и всех остальных в этом «беспольном» старике происходит тяжелая работа памяти и совести, самосуд, самоказнь, мучительное и отрадное возвращение в прошлое. Это та работа памяти, о которой говорят — очистительная. Старик надеется, что жизнь нуждается в знании своей истории, в его, легуновском, саморасчете, в его подведении итогов. В конце концов эти итоги важны для него и Аси, и это искупает все. Теперь он живет и дышит прошлым.

Отблеск возвращаемого прошлого, первых лет революции — «отблеск костра» неизбежно падает на все лица романа, хотя они о том и не подозревают.

Ни Руська не подозревает, ни Кандауров, ни все другие из того жаркого и душевного лета, когда горели леса... Прошлое возвращается только для Павла Евграфовича, оно заполняет его собою до краев, а вовне — почти ничего, какое-то старческое бормотание, оно кажется навязчивым и ничемным. Но это прошлое открыто читателю, и сопоставление совершается невольно. Руська или Кандауров по отдельности — это одно, но в соединенном времени романа, рядом с Шурой Даниловым или Мигулиным, они — уже другое. Тут даже не отблеск падает на них, а беспощадный свет.

Сопоставление не сводится к тому, кто лучше, кто хуже... Через прошлое, через память и мысль Павла Евграфовича в романе нащупывается, отыскивается некий исторический масштаб; будничная, житейская, каждодневная мера всему оказывается недостаточной. Обнаружение и присутствие этого масштаба делает ответ на вопрос «кто есть кто и чему служит?» более жестким, нелюбимым и определенным.

Если долго наблюдать теплевых и смоляных («Долгое прощание»), то может показаться, что это и есть нормальная, естественно текущая, ниспосланная нам жизнь. То одних поднимет и обласкает, то других... Далеко не добродетельная, конеч-

но, с некоторым будничным поправлением всякой там евангельской морали, но зато такая понятная, что и пожалеешь всех, и простишь... Что же касается какой-то другой, возвышенной или даже героической жизни, то ее, можно подумать, просто не бывает. Вот перед вами обычные грешные люди, вертко снующие по грешной земле, и пока она из-под их ног поползет — а такое вовсе не обязательно, — они успеют взять и отжить свое, торжествуя над наивными чистюлями, скромными тружениками, рохлями и фантазерами. Над «неуправляемыми замухрышками», «над вздорными, завистливыми головками», как выразился бы Кандауров, мощный современный отпрыск все той же бессмертной породы.

Опровержение людей этого активного, наступательного типа, их образа жизни, основанного на приспособлении и сделке, исходит у Ю. Трифонова чаще всего от тех, кто так или иначе наделен исторической памятью, связан с прошлым, с тем, что предшествовало и теперь их как бы обязывает... Или просто напоминает, что возможны многие другие пути, другие судьбы и жизни.

Так было в «Обмене», в «Долгом прощании», в «Другой жизни», в «Старике»... Это дали о себе знать «Отблеск костра» и «Нетерпение», где оказались стронутыми, потревоженными такие пласты прошлого, что, придя в движение, они не могли не отозваться во всем, что писалось.

Доброе и злое, благодетельное и преступное, геройское и злодейское порой бывает трудно рассоединить, представить в чистом виде; для трифоновской прозы характерно изображение переходных состояний меж тем и другим, происходящей непрерывной борьбы, в которой все-таки необходимо — для блага жизни! — разобраться.

Герои «Нетерпения» начинали с того, что хотели «учиться у народа», а кончили тем, что взялись «учить историю». Трифонов не сомневался, что эти люди верно чувствовали необходимость социальных перемен в российской жизни и не были авантюристами. Но историческая необходимость вызывает и реализуется медленно, и не хватает жизни, чтобы дождаться ее торжества.

Ю. Трифоновым было найдено ключевое слово — нетерпение. Весь роман — образ человеческого нетерпения, дерзнувшего топтать и обучать историю, чтобы скорее сбылись золотые сны.

В романе ожили люди, по сей день поражающие нас безжалостной тратой своих

жизней во имя общественного блага, самоотрешенным героическим действием, значительностью принятой на себя исторической ответственности.

В героях трагического нетерпения многое может отшатнуть. Но автора не может оставить в равнодушии заветное убеждение его героев, что человек рожден участвовать в истории, в определении настоящего и будущего своей страны, рожден сознательным деятелем истории, а не ее послушным, податливым материалом.

Возвращение в прошлое было не напрасным. Если «нить, соединяющая поколения», похожа на сосуд, «по которому переливаются исчезающие элементы», то обнаружить эту нить и эти элементы необходимо. Если уходить «все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед». Это обдумывалось в «Другой жизни», но было связано со всем предыдущим и с тем, что должно было последовать дальше. Исчезающие элементы — это то, что заложено в генетическом створе поколений. Это то, что, по мысли автора, сохраняется и передается, сказываясь на характерах, образе жизни и размышлениях героев, на течении их судьбы.

Судьба Гриши Реброва из «Долгого прощания» складывалась как судьба неудачника. Он слыл талантливым, что-то сочинял, но брали плохо. Пьесы о корейской войне, о строительстве университета он написал с «прозрачным расчетом», но пробить их не смог. В этом была даже какая-то странность: он приноравливался, прилаживался, лепился, не упорствовал в принципах, даже к презираемому им драматургу Смолянову попал просителем, и вообще суетился, сновал, но что-то все-таки держало его, не отпускало в ту сторону до конца, и жалкая вынужденность замечалась в нем, вымученность, неловкость в поклонах, и удивительно ли, что очередной отказ, огорчая, приносил в то же время какое-то слабое, но облегчение.

Трифонов не очень-то щадил своих героев, даже тех, кого любил больше других. Что было, то было, все в счет, жизнь не пленка, не засветишь. Больней не придумать, чем смоляновскими глазами «с каким-то даже печальным изумлением» смотреть, как Гриша, камененно напрягаясь, показывал свою хурду-мурду в обтрепанных папках с тесемками, повторяя то и дело не к месту: «Да ведь вся штука в том...» Легче было бы поверить Гришиным глазам, Гришиному самоощущению, чтобы еще больше презирать смоляновых и всех тех, кто вверг в это унижение. Но тогда все

было бы проще и дальше от правды. Правда же в том, что человек позволил себя унижить и никак не может выпрямиться. Но скорая гримаса презрения пусть подождет другого случая: автор жалеет этого слабого человека и хорошо понимает, как простительно то, что происходит с Гришей Ребровым. Может, автор чересчур терпим, беспринципен, обвыкся, свыкся, не видит, что его герои всего лишь «интеллектуальное мещанство», как пишут иные критики?

Гриша Ребров и правда слабый человек. «Неисчезающие элементы», вероятно, в значительной своей части иногда исчезают, утрачиваются. Грише объясняют, что его дела идут плохо, потому что у него нет почвы. «Какая почва? О чем речь? Черноземы? Подзолы? Фекалии? — взрывается он. — Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!»

Насчет чернозема и фекалий Гриша, наверное, кричит лишку, отзываясь на споры-разговоры, до которых из пятидесяти второго года еще далеко, но все остальное способно в нем многое прояснить. Гриша принимается рассказывать, что бабушка его из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь и т. д. Так вот почему, догадывается читатель, нет для Гриши Реброва ничего слаще, чем рыться в старых газетах и журналах, увлекаться каким-то Иваном Гавриловичем Прыжковым, «незачливым бунтовщиком», историком российских кабаков и нищих, обдумывать нечаевскую историю... И еще потом откроется, что Гриша пишет пьесу о народолюбцах, восхищен Клеточниковым, а прежде сочинял что-то о декабристах, о восстании ссыльных поляков...

Родословная родословной, но все дело в том, что Прыжов был Грише зачем-то нужен, хотя он и не знал твердо зачем. Все это мятежное прошлое, затаившееся в старых книгах и журналах, источало «какой-то неизбывный дурман» и тоже было зачем-то нужно. Оно словно бы вступало с ним в некое соединение, и в нем, слабом, мягком человеке, образовывалось и жило что-то устойчивое; удача, успех были желанны, он даже старался, но никогда в полную силу, будто что-то другое, поважнее, не отпускало его, не позволяло заходить далеко. Да и просто слаб он был к тому же, чтобы платить за успех любую назначенную цену; для такой платы тоже сила, твердость нужны!

Исторические обстоятельства могущественны, изощренны, человеческая природа податлива и послушна, духовная и нравь-

венная стойкость редки... Слабость человека понималась лучше, чем сила, неуступчивость, стойкость.

Сергей из «Другой жизни» тоже неудачник и тоже слаб для больших успехов и научной карьеры. История — его профессия, и это он придумал насчет исчезающих элементов. От начала и до конца повести Сергея нет, он уже в мертвых, и о нем вспоминает жена, Ольга Васильевна. Он умер, так и не сменив ампула неудачника на что-нибудь поприличнее. Реброву повезло больше, он вознагражден за мытарства и превращен автором в процветающего киносценариста, ездит по границам, живет на Юго-Западе, имеет машину, был дважды женат и т. д. В оправдание героя, видимо, успешного подзабыть свою почву и поднакопить силы, автор пишет, что Ребров часто вспоминает, «особенно в путешествиях», где-нибудь в Бразилии-Аргентине, свои бедные годы и называет их лучшими годами своей жизни. Это написано вроде бы сочувственно, но сантименты такого рода широко распространены и сильного впечатления не производят. Автор, думаю, не очень-то и надеялся на такое впечатление, к оправданию и сочувствию примешана горькая ирония, процветание Гриши Реброва кажется каким-то подозрительным... К счастью или к несчастью, но подобные превращения и вознаграждения Сергею из «Другой жизни» не угрожают. Его понимание исторической науки напрямую сказывается на его судьбе, отношениях с друзьями и женой; в какой-то мере оно отражает взгляд на историю, на ее предмет самого писателя.

Ольге Васильевне история представлялась «бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера: следить за тем, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди...»

Как и многим другим несведущим людям, Ольге Васильевне казалось, что главное для ее мужа как историка — поддержание в той очереди порядка, кем-то уже установленного и требующего лишь подтверждения и объяснения его несомненной правильности и целесообразности.

Выражение «историческая целесообразность» очень нравилось Климуку; в отличие от Сергея его одноклассник Климук преуспевал и потому, во взгляд Ольги Васильевны, что-то в своей науке понимал очень

правильно, так, как нужно, а вот ее упрямый Сергей понять этого то ли не мог, то ли не желал.

Климук объяснял «историческую целесообразность» популярно, на простых примерах. «Откуда у вас эти часы?» — спрашивал он некую тетю Пашу, деревенскую жительницу. Та принималась что-то припоминать, рассказывать... «Наменял, приволок — все едино, — кричал ей в ответ Климук. — И все не важно, а важно лишь то, что время показывает верно и каждые полчаса играют Штрауса!..» Неважно, кричал Климук, что там было с моим братом в допотопные времена, какие там хищения, какие суды? Зачем все это помнить — «мне, вам, кому бы то ни было»? И хохоча, хвастаясь: «Вы знаете, кто сейчас мой брат?»

Вроде бы странноватая, неподходящая для историка методология. Не важно, откуда, почему, каким путем и какой ценой, важно, что тикают-играют, а брат — в фаворе. Тут результат ценен, итог, играюще-тиканье, и все слагаемые того результата через играюще-тиканье только и могут быть теперь поняты-осмыслены, если кому-нибудь вдруг захочется их понимать-осмысливать. Играют-тикают — вот и славно, время показывают, не врут — вот и будьте довольны...

Климука не интересует история часов или история брата. Он спрашивает о часах, чтобы показать: такие вопросы нецелесообразны, они не приносят пользы, запутывают дело, прожить можно без них.

Сергею не понять, кто же это определяет «историческую целесообразность». Ученый совет большинством голосов? Сергея интересует история, ее внутренняя связность. Ему нужно исследовать, доискиваться, рыть, докапываться...

В «Доме на набережной» память и мысль некоего преуспевающего человека по имени Вадим Глебов внезапно растревожены и отброшены к решающим событиям его судьбы. Историческая правда — как рос, воспитывался, выходил в люди, что творилось и творится в его душе. Но как воссоздать историю души, если все наши истории — душ, мыслей, карьер, трудов праведных, всякой хурды-мурды в потрепанных палках — неотделимы, неотторжимы от самого воздуха, температуры, от каждодневного давления всей окружающей нас общей жизни! В авторском ли голосе, в авторском ли видении эволюция от «Студентов» к «Дому на набережной» глубока и подлинна: восстановлено ощущение жестокого контекста истории, ее обстоятельств. Чаще всего это контекст исторически достоверно быта: домашнего, школьного, уличного,

институтского; быт плотен, словно сгущен или сдавлен, сплюснен массой миновавшего навалившегося времени. Кажется, герои сжало, подхватило и тащит; мало воли, какого-то нейтрального простора, где просто живут, едят, пьют, смеются; нет почти ничего ни в лицах, ни в словах свободного, освобожденного от помет исторической минуты, незримой и всеильной. Память трифоновского героя да и память повествователя, отдельно входящая в текст как свидетельство современника, жившего неподалеку и как бы параллельно, равным образом чужаются нарочитой изобразительности и хронологического порядка, основываясь на ассоциативном сплетении эпизодов, фактов, переживаний. Это характерно для всего московского цеха: стиль воспоминаний такого рода преобладает и лишь совершенствуется, усложняется, плотнее и достигая в «Старике», в лучших главах «Времени и места» наибольшей живой слитности и наполненности жизнью, болью, историей, — в воспоминаниях Глебова заключено все его личное самооправдание и все действительное оправдание, какое только можно сыскать.

Так же обосновывается и художественное существование Геннадия Сергеевича («Предварительные итоги»), Ольги Васильевны («Другая жизнь»), Павла Евграфовича Летунова («Старик»). Здесь все внутренне рассчитано на понимание и сочувствие, другое дело, как далеко простирается авторское понимание-сочувствие... В какой-то момент вместе с автором мы перестаем понимать и сочувствовать по-прежнему, по-заведенному, то есть переживаем, страдаем, как можем, но все сильнее в нас досада, отталкивание, неприязнь...

Сколько же в глебовской жизни всего скопилось, напластовалось, умялось с годами, сколько смыто, погребено, — «никто этим адским раскопом заниматься не будет!» Так нет же, память шалит, подводит, подсовывает свои злополучные «драгоценности», тащит из темных углов, копает свою дурацкую, бессмысленную яму! И никто, заметьте, не винит Глебова ни в чем, никаких записных моралистов вокруг и около, никаких прокуроров-любителей — за что же винить, помилуйте: жил как мог, хотел как лучше! — а вот волнуется отчего-то, хлопчет, опровергает, доказывает...

Художественный мир Юрия Трифонова 70-х годов — это такое средоточие памяти, идей, настроений, вымышленных и воскрешенных людей, их терзаний, страхов, героических и низких деяний, их высоких и будничных страстей, где все крепчайшим

образом переплетено, социально и психологически связано, исторически сближено, сращено до прорастания одного в другое, до упорных повторов и переключек и где ничто теперь, кажется, не существует и не может быть понято в совершенной отдельности от целого. Это жизнь наша, взятая по вертикали. Это дорога, ведущая не назад, но вглубь. В глубь нашей судьбы и надежды, личной и общей. Исторической.

Недра, раскоп, раскопки, глубочайшие глубины, обвал руды... Почти физическое ощущение прошлого как образовавшейся толщи. Ее нужно пробить, пробуровать, раскопать...

Сама работа памяти кажется Павлу Евграфовичу Летунову похожей на то, как снимают кровяные бинты с раны: они зачехлели, превратились в каменный уголь, в пору вырубать отбойным молотком, добываясь до истины. Время разматывания, нет, отдиранья бинтов. Время других дел для Павла Евграфовича прошло. Вообще всякое другое время для него прошло. Ни на что больше нет сил. Он — полутотсутствующий человек. Голоса детей доходят до его сознания «глухо, будто сквозь слой воды». Его глуховатость кстати, она помогает ему отсутствовать. Опять затеян «гнусный практический разговор», это невыносимо; спасенье в том, что когда-то были Ася, Володя, Шура, Мигулин, и если несильно бояться боли, то можно туда вернуться, отлепить бинты, пробиться в ту живую глубину молодости, революции, страсти.

Этот роман почти не дает ощущения места действия как пространства, где есть близь, даль и оно чем-то заполнено, мебелировано, что-то само по себе значит; комната над верандой, сама веранда, дача, еще дачи; ходить, бродить, просить, сносить, терпеть, обедать, чай пить с вареньем, а помимо всего, сквозь все — пространство времени и, значит, глубина, погружение, преодоление пластов, вертикаль прожитого. Это и есть главное пространство романа и всего позднего Трифонова. Ощущение ушедшей жизни как глубины, видимо, естественно; Томас Манн сравнивал прошлое с колодезем «глубины несказанной».

...Мучительный раскоп, разбор завалов, кровяные бинты... Не избыточен ли драматизм? Но думаю, что драматизм наших выражений обычно уступает драматизму жизни, и потому лучше сетовать на этот исходный, провоцирующий драматизм. Павел Евграфович действительно переживает сильно; его можно понять: он стар, чувствителен, одинок, откуда взять бодрость и оптимизм? Это на самом деле поздний, ве-

черный, но раскол, а не копание. Это добывание не пустяков, не мелкого и вздорного, а крупного, серьезного, годного повины, достойного труда человеческого ума и последних усилий сердца.

Если припомнить Ольгу Васильевну, то ее раздраженное, обиженное копание потому и тягостно, что не знает она ничего более или менее крупного или главного, ради чего можно было бы пренебречь мелким и проходным; нет в ней ни любви к близким, ни дорогих идей, ни веры в ее Сергея, ни гордости тем стальным тоненьким прутом, что пружинил в нем, но не ломался...

Кто-то писал, что у Ольги Васильевны теперь-то начнется другая жизнь. Какая другая жизнь? Человек тот же, а жизнь будет другой?

Жизнь одна от начала и до конца. Чтобы она стала другой, нужно, наверное, самому попробовать быть другим. Павел Евграфович хотел, чтобы жизнь его хоть немного была другой, и к новому ее образу постепенно привыкал. Но в неожиданном Асином письме — не с того ли света?! — были странные, отрезвляющие вопросы: «Не понимаю, почему написал именно ты. Неужели никого нет?»

Она благодарила за статьи Павла Евграфовича о Мигулине и все-таки спрашивала: почему именно ты?

Павел Евграфович вспоминает, как старался объяснить Асе, что «люди в этих условиях — смертной битвы — действуют не под влиянием чувств, симпатий или антипатий, а под воздействием мощных и высших сил, можно назвать их историческими, можно роковыми».

Ася этого объяснения не принимала, не понимала. И через пятьдесят пять лет понимает не лучше. Он, как помешанный, ищет истину, хочет знать, что крылось за мигулинским самовольным выступлением на фронте, а она твердит свое: «...никого я так не любила в своей долгой, утомительной жизни...»

При чем тут ее любовь? Он твердо знает: там сработали роковые силы — зло недоверия, подозрительность. Но в его-то, летуновском, случае, в Балашове, когда судили Мигулина, что сработало, какая историческая воля распоряжалась?

«Она не понимала, — успокаивает Летунов себя, — что я всегда делал то, что мог. Я делал лучшее из того, что мог. Я делал самое лучшее из того, что было в моих силах».

Все, что мог. Лучшее из того, что мог. Вечное оправдание человека. Даже если сделано лучшее и самое лучшее, то это не

значит, что сделано достаточно и что вообще будет заметно, что ты что-то сделал, и чувство вины остается и не проходит. Главная же мука Павла Евграфовича иная: а сделал ли он тогда все, что мог?

Какое кощунство! Там, в Балашове, после судебного заседания юный Павел Евграфович. Паша, отправился в театр, а после вынесения Мигулину смертного приговора вместе со всеми судейскими (он — секретарь суда) — на охоту!

А никакого кощунства: ему восемнадцать, он многого не понимает, как подхватило, так и несет, наконец, он среди тех, кто уверен в себе, энергичен, полон сил, кому отныне и навсегда подчинена вся жизнь!

Неприятней вспоминать, как в тот вечер, после «Дамы из Торжка», его отыскала Ася и в безумии лепетала, что готова на все, а он спрашивал: «Навсегда? Или только сегодня?» Она умоляла устроить свидание с Мигулиным, надеялась, что Павлик — свой, друг детства, любящий ее человек — поможет. Она не понимала, что он там мелкая сошка. А потом она смотрела на него с ужасом: «Ты ходил на охоту?!»

Ужасен был тот вопрос насчет «навсегда» и «сегодня», и — «не мой, не мой!.. Но ведь и я в угаре...» А что касается охоты, то она была «как глоток воды, я бы умер от нервного истощения».

Это он, старый, жалеет себя, молодого, и выговаривает жалостливые, какие-то немужские слова: «глоток воды», «я бы умер»... Так Гриша Ребров в минуты крайней печали и даже если верить, отчаяния непременно шел посидеть в «Метрополь» — не куда-нибудь брел, куда глаза глядят, куда попало, а туда, где и страдать-то, отчаиваться приятнее. Страдаешь и в то же время получаешь некоторое удовольствие. Ресторан, театр, охота — испытанный способ...

В объяснениях Павла Евграфовича существенно слово «угар». Оно же попадает в втором письме Аси: «Люди находились в угаре войны, многое видели совсем не так, как теперь, когда можно все спокойно оценить».

Угар — это нечто общее, повальное, охватывающее, поражающее всех подряд, что-то от мощных и роковых сил, а не от частных, путаных чувств и воли.

Припоминая свой революционный выбор, сделанный в семнадцатом, Павел Евграфович признается: «...не хочу врать, как другие старики, путь подсказан потоком — радостно быть в потоке, — и случаем, и чутьем, но вовсе не суровой математической волей. Пусть не врут!

С каждым могло быть иначе...» (разрядка моря.— И. Д.).

Трифонову было свойственно сомневаться в безукоризненно сознательных, как бы загодя исчисленных, безошибочных человеческих решениях. О том, что с каждым могло быть иначе, рассуждает Павел Евграфович, а не автор, но есть авторское постоянство в пробивающемся повсюду неприятию всякого упрощения природы человеческих действий и предпочтений. Люди у Трифонова часто руководимы случаем, чутьем, какими-то внутренними, не вполне осознанными регуляторами, но более всего — могучими внешними силами. Им они подвластны и подчинены. Иногда радостно. Кляло-72 в «Нетерпении» говорила о «моем потоке». Поток — образ у Трифонова излюбленный: в нем ощущение истории, но истории живой, сегодняшней, несущейся и влекущей, еще не застывшей, не окаменевшей... Поток — это что-то неудержимое, необратимое, всезахватное... Это то, что неизмеримо могущественнее человека. Трифонова привлекало все, что могло как-то выразить превосходящие человека силы, и он писал: быстрое течение, круговорот, общий хмель, угар. Он не то чтобы объяснял, что и почему с людьми происходит, а передавал их ощущение этого происходящего; он говорил о том, как чувствовали ход жизни его герои и как чувствовал он сам...

Это из «Дома на набережной»: «Испытания... повалили на нас густым, тяжелым дождем, одних прибило к земле, других вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке».

Это из романа «Время и место»: «Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой...»

Это из «Старика»: «Обвалилась и рухнула прежняя жизнь, как обваливается песчаный берег — с тихим шумом и вдруг... Все полетело вниз под напором воды».

Нет ничего любезнее для трифоновского стиля, чем безличный глагол в прошедшем времени, говорящий о стихийности, анонимном могуществе, непостижимости, непредсказуемости налетающих, наступающих, все переиначивающих сил.

Череда этих глаголов бесконечна: смыло, унесло, утопило, угрохало; отрезалось навсегда; пронеслось мимо, провалилось; все иссохло, исчахло, перетлело; все уладило, устроилось, перемешалось, упрочилось; понеслось, завертелось; томилось в воздухе; клокотало и пенилось; все купно, сплавом давило монолитной вальгой; все лишь завин-

чилось и ничего не развинчивалось; что-то дыбило, корчило, сползло куда-то, как ледник; дул ветер, что-то менялось и т. д.

Так что же может, что значит в этом мире человек, если и в самом деле — непреклонный поток, быстрый водоворот, обвал пород, сдвиг пластов, разгул исторических, почти геологических сил и стихий? Кто он — щепка, песчинка, вырванная с корнем прасоловская травинка, что так долго держалась «в живом потоке напряженным стеблем»? И возможен ли берег, который выдержит, не обвалится, не рухнет? И из чего тогда образована мощь потока, обвала, водоворота, если не из тех же человеческих сил и воли? Вот поток: одних приговаривают к смерти, и они поют в камере, другие в это время бьются в отчаянии от невозможности помочь, а третьи идут на охоту. И все это вместе куда-то влечется...

Все-таки Павел Евграфович преувеличивал могущество роковых сил; когда привыкают рассуждать о таких силах, то возрастает употребление безличных глаголов, а ответственность и возможности отдельного человека оцениваются все ниже и ниже.

Тогда в Балашове сам обвинитель ходатайствовал о помиловании Мигулина, и Мигулин был спасен; чуждый произволу и политическому интриганству, комиссар Шура Данилов вообще отказался участвовать в процессе; ну а Павел Евграфович, Павлик, мог бы не сбежать от Асиных просьб на охоту и наверняка не умер бы от нервного истощения. Выходит, что течение событий не было столь уж неумолимым.

Мигулин, как и его прототип, командир Донского казачьего кавалерийского корпуса Красной Армии Ф. К. Миронов, погиб позже, в двадцать первом году. Это прискорбное событие обдуманно Павлом Евграфовичем эпически внушительно и описано как примечательное и даже эффектное явление природы: «Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент — веры и неверия...»

Спасти ли человеку, если его настагает разряд колоссальной мощи, да еще в роковую пору, а это все равно что в чистом поле?! Это выше нас, хочет сказать Павел Евграфович, сильнее нас. Эти столкнувшиеся облака — испарения самой Истории! Это сама неизбежность!

Вольно или невольно Павел Евграфович предпочитал истине словесный дым. Сочиняя, вынашивая в себе все эти облака и потоки, он незаметно скрадывал, облагора-

живал реальные черты событий, реальные поступки людей. Он словно воспарял над черной дырой своего раскола, оставляя там истину человеческих дел и борьбы — жесткую конкретность лиц, судеб, интересов, страстей, подвигов и преступлений, безумия и ума.

Когда Шигонцев, человек с голым и каким-то мятым черепом, фанатик с именем Дантона на устах («Кровь есть пища для детей свободы!»), мститель из каторжной преисподней, призывает к отказу от чувств во имя спасения революции и блага человечества, то он имеет в виду далеко не все чувства, а только «человеческую требуху». Судя по всему, в требуху входят чувства доброты, жалости, стыда, совести. Шигонцев знает, что эти слабые чувства способны создавать сильных людей с какими-то туманными, но твердыми идеалами. Такие люди, вроде Шуры Данилова, этого собрата по камере, ненормального, чувствительного умника, мешают ему развернуться.

Когда Павел Евграфович раздраженно думает о своих детях, что они избавились от эмоций, то он тоже имеет в виду не все эмоции. Избавляются, ему кажется, от высоких чувств; остальные чувства благополучно здравствуют. К тому же когда тебе говорят: «Надоело наше вечное блаженное нищенство» — и дальше в том духе, что нужно жить лучше и всего иметь больше, то неизбежно появляются печальные мысли. Вот Руську, «бузотера, гуляку, шатуна», он почему-то жалеет больше, чем других. Или замечает в нем стыд, или это странно прорезавшееся желание риска, опасности, даже жертвенность какую-то на страшном лесном пожаре? Надо же, именно в Руське пусть ослабленно, вяло, едва различимо, но живет что-то похожее на «неисчезающие элементы»...

«Счастье — это то, что было у нас», — думает Павел Евграфович о себе и Гале, верной спутнице своей малоблагополучной, тревожной жизни. Он вспоминает «запах юности — полынь», эту глубоко проникающую, какую-то отрадную горечь... Почти по Б. Пильняку: «Горечь полыни — дней наших горечь». И все-таки даже после отдиранья бинтов, после испытанной боли и жалких оправданий он решает сказать: счастье.

Слова Павла Евграфовича о счастье можно понять: он стар, одинок, позади жизнь, и хотя она казалась иногда «жизне-смертью» — так много было в ней утрат и смертей, — она долго оставалась для него и для Галя благом, радостью, исповеданием идеалов далекой молодости.

Эта жизнь — теперь-то ясно — имела се-

рьезное содержание, в ней были события, и человек принадлежал им порою больше, чем себе.

Счастливые, довольные собой люди, вероятно, не должны вспоминать ни миг страха, ни миг уступки, ни миг помрачения ума, а старик вспоминает, словно горечь тоже входит в состав его счастья. Оказывается, его счастье не имеет ничего общего ни с успехом, ни с благополучием, ни даже с исполнением заветных желаний...

Когда миг уступки становится мигом самопознания, то это не пропаший, а едва ли не несчастливый миг, если «после этого человек говорит: один раз я был слаб перед вами, но больше не уступлю никогда». «В двадцать восьмом году. Нет, в тридцать пятом. Галя сказала: «Я тебя бесконечно жалею. Это не ты сказал, это я сказала, наши дети сказали»». Павел Евграфович не уверен, что все было именно так, что помрачение ума ради детей. Оно само по себе. И все-таки Галя и дети стояли за его спиной, а он не из породы Желябых. Павел Евграфович вспоминает, что Петр, который отрекся в Гефсиманском саду, не имел детей, зато потом заслужил свое имя Петрос, что значит камень, то есть твердый. Петр спасал себя — помрачение ума? — но прослыл твердым не потому ли, что больше никогда не уступил? Павел Евграфович спасал не только себя, и в герои мифа ему не попасть, но, может быть, потому он тоже старался не уступать?

Он чувствует себя счастливым оттого, что это все у него было: тяжелое, мучительное, преодоленное. Но возможен и другой отенок: счастье Павла Евграфовича — это счастье тех, кто, говоря его словами, в роковую пору разминутся с роком, счастье выживших.

Неизвестно, что сказали бы насчет счастья не разминувшиеся с роком Мигуайны и другие, если б могли сейчас что-нибудь сказать...

«Неповторимые люди! Похожих на земле нет, время пережгло их дотла», — думает о них Павел Евграфович.

«Неповторимые люди!» С его стороны это, пожалуй, восторженная уступка; ему ближе другое, фатально уравнивающее всех понимание человека: «...черные да белые, мракобесы да ангелы. И никого посередке. А посередке-то все. И от мрака, и от бесов, и от ангелов в каждом...»

Павел Евграфович, к примеру, убежден, что помрачение разума, страх, миг уступки — это то, что у каждого было. Не у него одного, а у многих, у каждого! Кого бы ни оклякнула служанка в Гефсиманском са-

ду, все повторяют: «Не знаю, что ты говоришь».

И Павел Евграфович и многие другие персонажи московского цикла с колебаниями то в сторону мрака, то в сторону света воспринимают жизнь, свое состояние и возможности, ход вещей, историческое движение сходно, иногда одинаково.

Писатель Антипов («Время и место») обдумывает переживания своего героя Никифорова, его страх потерять жену Гогу в таких выражениях: «Это могло случиться по воле рока, тут Никифоров бессилен, ни предвидеть, ни защитить, но — молния могла ударить по воле самой Гоги, ибо неподвластно понимаю, настоящее или нет соединяет людей, вдруг раскалываются небеса и наступает гибель».

Неподвластно пониманию... Когда что-то неподвластно, то являются воля рока, молния (помните: «разряд колоссальной мощи?»), раскалывающиеся небеса...

Виктор Шкловский объяснял прием острашения у Л. Н. Толстого так: Толстой «не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз произошедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах»¹.

Толстой делал вид, что не знает принятых и затверженных названий вещей и действий, не улавливает внутренних законов происходящего. Среди примеров Шкловского из Толстого описание театрального спектакля из «Войны и мира»: «Во втором акте были картины, изображающие монументы, и были дыры в полотне, изображающие луну, а абажуры на рамке подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы. и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили»².

В театре — Наташа Ростова, это ее глаза смотрят на сцену, все видя и ничего не понимая, ее существо захвачено переживанием первой любви, то есть высоким и серьезным. Привычное зрение нарушено, во всем проступают фальшь и ненатуральность, мнимая красота распалась, остались ложь и притворство.

¹ Виктор Шкловский. О теории прозы. М. 1983, стр. 15—16.

² Там же, стр. 18.

Если же отвлечься от контекста, можно подумать: простак, простолоудин какой-то смотрит, нет, глазееет, хотя, разумеется, монументы и контрабасы — не его лексикон. С опорой на здравый смысл и чистый взгляд переименовано почти все общепринятое, привычное, должное. Стал виден остов, каркас, иллюзии рассеялись, повеяло чем-то искусственным, бессмысленным...

У Трифонова иное, ничего общего с острашением, но что-то похожее на переименование, недоименование каких-то явлений жизни совершается и у него.

Но — ради прояснения этого обстоятельства и сопоставляю! — толстовский прием вел к обнаружению, обнажению сущностей жизни, ее скрытой механики, ее законов, подлинных первопринципов поступков и событий.

Трифоновский прием, который пытаюсь описать, строится на том, что сущности недоступны, что сфера неподвластного понимания велика. Раскоп раскопом, вертикаль вертикалью («...меня интересуют не горизонты прозы, а ее вертикали»), но и на глубине, под плитами и пластами, та же жизнь, а не первопринципы.

Не достаточно ли с нас видеть, что с людьми происходило или происходит то-то и то-то, а мы все норовим спросить: почему? Почему? Вы же не сильно допытываетесь, почему вода подмывает и обрушивает берег, почему содрожаются недра или сползают ледники, дуют северные ветры или падает мокрый снег?

Если б это ощущение хода истории как чего-то природного, стихийного, внезапного было присуще только Павлу Евграфовичу и еще каким-нибудь немногим персонажам, то это было бы одно дело. Но такое мироощущение в московском цикле повсюду; оно в авторской речи, в тоне, во всей образной системе повествования; оно охватывает все единым глубоким настроением.

В этом утверждении нет преувеличения; в автобиографических рассказах из цикла «Опрокинутый дом» мироощущение и настроение те же и выражены в знакомой поэтической форме: «Летающие любовники Шагала — это мы все, кто плавает в синем небе судьбы»; «...прежние враги сгнули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость»; люди исчезают (см. также употребление этого глагола в книге В. Катаева «Алмазный мой венец») или выпадают из жизни подобно болту из паза... Знакомы и эти небеса судьбы, и снегопады, и исчезновения... Только печали больше, горечи. Прощальной, как понимаешь теперь, искренности...

Охотно допускаю, что неподвластность пониманию тех или иных вещей преувеличена Трифоновым нарочно; понимание как бы отложено и заменено поэтическими метафорами. Поэтический такой камуфляж — то ли переименование, то ли недоименование, то ли приближаешься к истине, то ли топчешься у входа... Как что серьезное, трудно сносимое, мучительное для ума и совести — так роковые силы, роковые удары, несущиеся потоки, оползни...

Возможно, в этом есть что-то игровое... Такое отрешенное, стоическое отношение ко всему. Человек вовлечен в забавы мировых стихий. Даже интересно, куда потащит тебя завтра этот шальной быстроток...

Но есть в этих поэтических метафорах, вырастающих на пути к сущности и первопричинам, к небесной и земной механике, своя обдуманная и, наверное, выстраданная правда.

«Все имеет свое время и свое место», — услышит как-то раз писатель Антипов. Он запомнит эти слова и об одном своем умершем приятеле подумает, что «бедняга не понимал своего места и отпущенного ему времени». И еще подумает, что люди «мечутся потому, что не понимают».

В словах насчет времени и места, в которых Антипов находил какое-то утешение, пробивалась жесткая детерминированность всей жизни и судьбы.

«Как же объяснить, — ломал голову Павел Евграфович, — что люди в этих условиях — смертной битвы — действуют не под влиянием чувств, симпатий или антипатий, а под воздействием мощных и высших сил, можно назвать их историческими, можно роковыми».

Кажется, что это почти что по Л. Толстому, считавшему, что историей управляет закон предопределения. Но вспомним одно из его пояснений: «...я не мог приписывать значения деятельности тех людей, которым казалось, что они управляют событиями, но которые менее всех других участников событий вносили в него свободную человеческую деятельность»³. В рамках закона, но — «свободную человеческую деятельность»...

Жизнь толстовских героев. их свободная деятельность заставляла забывать, что поставлены и препятствуют рамки; предопределенное, фатальное словно бы теснилось человеком и тоже знало свое место... А сама свободная деятельность с ее самознанием, результатами, ритуалами и амби-

циями исследовалась до первооснов, до остова и соответственно истинному содержанию остранения переименовывалась (суд в «Воскресении» и т. п.).

Закон предопределения по своему воздействию на частную мирскую жизнь трифоновских героев более заметен и более могуществен.

Проскальзывающий у героев Трифонова лирический фатализм связан с разочарованиями и обыкновенной человеческой слабостью. Однако когда он распространяется, оболочивает сознание и становится едва ли не конечным мироощущением, то с этим не хочется соглашаться. Не хочется, даже если отчетливо сознаешь, что это всего лишь некая опытная модель мира, и право автора попытаться и через такое выйти к истинным человеческому существованию в нашу историческую пору.

Доля иных в этом мире принимать удары судьбы и по мере сил приспособляться к течению, которое тащит и тащит по мелям, по перекатам, по быстрине. Но заметим: доля не всех.

Когда действуют неповторимые люди, всякий фатализм отступает. Пока они действуют и воспроизводится конкретность их жизни и борьбы, роковым стихиям делать нечего. Эти люди твердо знают, что у стихий — человеческая природа, а в поэтических иносказаниях им нет нужды.

Один из неповторимых, из тех, кого дотла пережгло время, — Сергей Кириллович Мигулин возникал в «Старике» как личность незаурядной нравственной силы, умственной самобытности и крутого характера. Мигулин оказывается человеком, органически неспособным поддаваться общему оглушающему потоку и нестись с ним, потеряв себя и свое. Этот бывший казачий войсковой старшина, продираясь сквозь страшное, смертельно опасное недоверие, честно служит революции, командует корпусом, армией, назначается главным инспектором кавалерии Красной Армии. Но вся особая, привлекательная стать этой личности связана в романе не с его умением воевать и командовать, а с его пониманием происходящих вокруг событий, то есть осуществляющейся истории и своего человеческого и революционного долга.

Надо хоть немного почувствовать, пережить превращения мигулинской судьбы, и Павел Евграфович ведет нас по ее кругам, не скрывая, что тоже не верил и сомневался... Станный был человек, всякого понаmeshано в его речах; знал, что невозможно, но призывал: поставим винтовки в козлы и побеседуем «не языком этих винтовок, а человеческим языком». А может, в самом

³ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 12 тт. М. 1974. Т. 7, стр. 359—360.

деле надеялся, что возможно, и видел какой-то другой путь, узкий, ускользающий, к замирению Дона на советской основе, но без участия шигонцевых, бычиных, браславских? А может, этому казачьему социалисту-утописту удавалось иногда, как Шуре Давилову, хотя бы ненадолго, но взглянуть на свое время «издали, умом и глазами другого времени»? И он, взглянув, пытался, как мог, выразить переполнявшие его чувства?

Тяжелая судьба, упорный, упрямый характер, собственный, «самодельный», независимый ум... Павлик Летунов был слишком молод, чтобы думать тогда о Мигулине отдельно от мнения большинства, от недоверия, которое нарастало. Павел Евграфович напрасно беспокоится: его вина в трагическом обороте событий слишком мала. Но чувство вины не оставляет его.

На последней странице «Старика» явится юноша-аспирант, чтобы дополнить и прояснить всю правду о Летунове. Оказывается, в двадцать первом году на допросе, чувствуя за спиной жену и детей (помрачение ума?), Павел Евграфович сказал: «Допускаю». Он допускал, что Мигулин мог решиться на контрреволюционные действия.

Что же хотел сказать автор напоследок? Что Павел Евграфович не столь безгрешен, как надеется показаться? Что нет мракобесов, нет ангелов, а все пребывают и теснятся посередке и Павел Евграфович там же? Но Павел Евграфович вовсе не старался выглядеть героем, да и к середке жался не сильно. Середка вообще никакой правды не раскапывает. Летунов не зря был «толковым мужиком» в глазах Изварина, и были же люди на свете, которым он помог в трудный час, и даже энтузиаста кровопускания Браславского он пытался уговорить силой оружия. Когда Павел Евграфович кричит: «Я никому не служил и не ждал никакой благодарности», то это тоже не относишь к желанию казаться выше и чище, чем был, а просто веришь, что это так. Павел Евграфович, как мы помним, не скрыл, что ему хорошо известен миг уступки, и даже утешение своей Гали — о ней думал, о детях! — не принял как оправдание... Но самое главное, может быть, в том, что в голосе Павла Евграфовича в блужданиях его памяти и совести нет корыстной расчётливой лжи, нет фальши.

Верно, он далеко не лучший из «монстров», и Дмитриев-дед мог бы поведать о себе что-нибудь более героическое. Но и Павел Евграфович странным образом предполагает к себе; он живет чем-то большим,

чем все его сегодняшнее: здоровье, достаток и еще какая-нибудь отвлекающая ерунда; слушать его неизмеримо интереснее, чем обсуждать борьбу за расширение дачных пределов... Старик хорош уже тем, что этот верандный треп ему осточертел.

Итак, все-таки — через все, поверх всего, несмотря ни на что — противостояние, противопоставление революционного и обывательского начал жизни? Укор тем, кто измелчал, погряз в житейской борьбе за увеличение, расширение, повышение, приобретение? Кто утратил высокие, бескорыстные стремления?

Есть противостояние и есть укор. Но нет упрощенного противопоставления каких-то химически чистых начал. Разнородностью состава, противоречивостью отмечено в мире Трифонова все; никто и ничто ни в прошлом, ни в настоящем без этой меты не обходится. Едва ли не всякое категорическое утверждение подвергается в тексте сомнению или ограничению. Никакими оговорками не сопровождаются только человечность и самоотверженность как трата себя во имя блага других.

Проза Трифонова последних лет несет в себе пафос непреходящей, глубочайшей, неисправимой противоречивости жизни: человек разбирается в той противоречивости неважно и поздно спохватывается, что так и не разобрался как следует...

А может быть, вспоминаю я того аспиранта, автор явил нам его на последней странице, чтобы подумалось вдруг, как легко далась этому юноше правда и как он доволен, что она такова и можно опять уличить человека? Но поймет ли уличающий юноша правду?

Картина современного мира воспринималась в «Старике» как знакомо неполная... От одной московской повести к другой это ощущение неполноты, видимо, скапливалось. И не потому мир неполный, что опять узок круг лиц, опять быт, дача и прочее. В этом мире все вроде бы есть, жизнь как жизнь, но кого-то все-таки не хватает. Всегда есть кого жалеть, кого презирать, но некого любить и не на кого особенно надеяться. Этот мир сохранял свою художественную оправданность, но казался тесным. Это, конечно, не обязательно, чтобы было кого любить, на кого надеяться и т. п., но когда место героя пусто, жизнь предстает немощнее, чем она на самом деле есть. Опровержение кандауровых или глебовых исходит в трифоновском мире от автора. Это его рук дело. Но в жизни опровержение кандауровых, глебовых, любой

аморальной, наглой силы тоже существует всегда, во все времена — опровержение другим способом жить, думать, действовать. Возможно, оно совершается непрерывно, стоит только присмотреться... Как присмотрелась, к примеру, деревенская проза, пусть совсем к иной, более глубокой горизонтали жизни, но присмотрелась, приметив и Федора Кузькина, и Михаила Пряслина, и Олешу Смолина, и старуху Анну...

Для Трифонова не были случайностью ни интерес Гриши Реброва к личности И. Г. Прыжова, осужденного по делу нечаевцев, ни занятия Сергея из «Другой жизни» историей царской охранки, ни круг чтения героев «Старика», хотя бы только намеченный... В этот круг, к примеру, входят: А. Олар. Политическая история Французской революции. Москва, 1918 год; В. Брок. Французская революция в показаниях современников; статья без подписи «Охота за масонами, Или похождения ассессора Алексеева» в четвертой книжке «Былого» за 1917 год. Возможно, эти книги тоже были случайно куплены у букинистов, но за всеми случайностями и совпадениями этого рода то, что точнее всего назвать творческой и нравственной доминантой Юрия Трифонова 70-х годов: его тяга к историческим вертикалям, раскопу, к постижению человеческих возможностей и судьбы в пределах выпавшего времени и места, в потоке Истории.

Когда Юрий Трифонов героем романа «Время и место» сделал писателя, то вывел он его в конце концов опять-таки к занятиям историей.

Поначалу эти занятия были какими-то облегченными, книги о «путешественниках, вольнодумцах, художниках, чудаках прошлого века» выходили одна за другой, и можно было безбедно жить. Обо всем этом Трифонов говорил глухо, наскоро, словно Антипову не хотелось свои сочинения обсуждать, словно была в нем какая-то неловкость и неутоленность... от этих своих ходких книг...

И Трифонов приберег для своего героя шанс воспрянуть. Он посадил его за писание романа под названием «Синдром Никифорова», где герой сочиняет роман о писателе, пишущем роман о писателе, который в свою очередь тоже пишет роман о писателе, пишущем нечто...

Эта цепь или система зеркал, выдуманная Никифоровым, должна была протянуться почти через два столетия. Иными словами, этот роман был как спуск в колодезь, в шахту, как доставание проб с разных горизон-

тальных уровней одной и той же породы — писательства.

Среди нарастающего ныне числа романов, повестей, рассказов о писателях, журналистах и вообще о пишущих и печатающихся роман Трифонова «Время и место» стоит особняком. Хотя бы уже потому, что его герой пишет роман, который не получился. И все романы, которые внутри романа героя, тоже не получились.

«Не получилось, наверное, потому, — объяснял Антипов матери, — что затеял непосильное. Не по моим силам, понимаешь? Я не могу дочерпывать... Нужно дочерпывать последнее, доходить до дна, я понял это к концу, когда было поздно...» (разрядка моя.— И. Д.). Мать как-то жалко, просительно взглянет на сына: «Мы так устали, ты знаешь. Зачем дочерпывать?»

Трифонов скажет об Антипове: он писал «Синдром...», будто оперировал на себе.

Можно предположить, что в системе зеркал первое, ближе к нам, антиповское отражает в себе немало авторского; говоря это, думаю не только о биографических деталях, напоминающих об «Отблеске костра».

Никифоровское зеркало, как ясно из текста, несло в себе кое-что из судьбы старого писателя Киянова (учителя Антипова), а также, конечно, много антиповского — из секундного, повседневного, то есть из сора жизни.

Этот сор не воспламеняется и не прорастает; пламень Антипова — холодноватый анализ, исследование. Сор исследуется как часть содержания жизни.

Но в самом ли деле холодноват анализ? Да и анализ ли сора обещан, если роман начат мучительным, горьким вопросом: «Надо ли вспоминать?..» «Надо ли?..» «Надо ли?..» О «людях, испарившихся, как облака», «о когда-то мелькнувших слезах»? О мальчишке, который так и не дождался отца с маневров, вырос и давно состарился?

Если Антипов чувствовал себя так, словно оперировал на себе, то это похоже на анализ, но еще не анализ, это боль и попытка удалить ее источник.

В романе «Синдром Никифорова» Антипов надеялся рассказать о странной болезни: о страхе человека и писателя перед жизнью, «точнее, перед реальностью жизни».

В романе «Время и место», желая того или нет, Трифонов рассказал о не менее странной болезни — синдроме Антипова.

Где-то вскоре после войны, прослушав антиповский рассказ, Киянов сказал: надо

писать о страданиях. Антипов отправился домой, горестно сожалея, что жизнь и судьба оберегают его от страданий.

А чуть ли не накануне, поздним вечером, открыв на звонок дверь, Антипов увидел перед собой «маленькую женщину в ватнике, в платке, с чемоданчиком, сиротливо обшитом холстом»... То была его мать, вернувшаяся издалека после восьмилетнего отсутствия. От матери пахло паровой гарью, ватник был «несуразен, велик с чужого плеча». Под утро Антипов занесет эти детали в записную книжечку — так их учили в Литературном институте.

Когда мать поцеловала Антипова перед сном, как прежде, от ее лица «пахло простым мылом и чем-то еще, от чего у Антипова жглось сердце» Засыпая, он думал: «...написать рассказ «Поцелуй». Но «Поцелуй» был у Чехова. Тогда, может быть, так: «На сон грядущий». Но и «На сон грядущий» было у кого-то. Кажется, у Хемингуэя. Сквозь сон томило — все уже написано».

Антипов вообще часто думал: из этого можно сделать рассказ. Но он знал, что не все годилось для воплощения, и в его сознании все подвергалось моментальной проверке: он «тотчас почти бессознательно принимался отгадывать и примерять», годится ли?

«Литература — это страдание. Вам не приходилось страдать, Антипов? — спрашивал Борис Георгиевич Киянов. — Нет? И слава богу. Но, значит, пока вам вечного сказать людям».

И верно — что сказать, если страдать не приходилось? «Правда, лет десять назад он лишился отца пришлось уехать из Москвы, был голод, работа в цехе злобность старика Герентьича придирки начальника, однажды избил ребята из литейного, однажды чуть не отдали под суд, женщины не замечают его, он некрасив неловок неудачлив, но все это были настоящие страдания. А когда будут настоящие?»

Он пришел домой в отчаянии и сжег свои сочинения. На запах дыма явилась сестра ничему не удивилась и вдруг зарыдала: «Не могу я с ней... Просто не в силах... Она мне как чужая... Ведь так ждала маму все годы! И вот она вернулась...»

Антипов стоял рядом не зная что сказать.

Это и есть синдром Антипова странная болезнь «недочувствия», описанная Грифоновым с гонимым знанием всех ее проявлений, ее отложенной боли и гяжкого, долгого ее излечения.

Антипову кажется, что все, происходя-

щее с нам и его близкими, в порядке вещей; у всего этого какое-то свое неприкосновенное, неоспоримое содержание; оно вне обычных мер — жалости, сострадания, страдания... Оно как бы само по себе и для воплощения не годится.

Все поцелуй на сон грядущий уже написаны и этот, надо понимать, тоже, не то Чеховым, не то Хемингуэем... И рыдания сестры не узнающей в матери свою мать далеких безоблачных лет, тоже написаны?

Или те рыдания — пустая женская блажь, и за ними нет ничего? Прекрасно. Антипов напишет о реке и лодке, рассказ ни о чем, — тонко как Паустовский, со смыслом, как опять же у Хемингуэя... Он не станет его жечь, а поборется, чтобы напечатать, походит, похлопочет заручится поддержкой, затеет интригу, он-таки прорвется...

Далее Грифонов на многих страницах воспроизвел то, что вероятно и было названо им сором жизни. Эти фрагменты антиповской жизнедеятельности дают понять, как он, Антипов, стал занимать прочное место в молодежной литературе и привыкнуть безбедно. Как происходило восхождение, написано было наскоро и невнятно, как про что-то не очень существенное или скучное. Вынесло его и все тут. Главное что дар божий в нем был. Значит, должно было вынести.

Не буду вдаваться в подробности; это все то, что остается от литераторской жизни за вычетом собственно литературы как труда и как формы принятой на себя ответственности. Эти подробности секунды и повседневны искренни и правдивы, но они и есть сор.

Вроде бы жизнь как жизнь: земные люди, никаких небожителей, безобидные пьяньки беседы при свечах они же не транслируются на весь свет! При чем тут сор?

Но словцо антиповское, не мое ему лучше знать, так тому и быть — сор обыденности.

«...мы лучшее что сейчас есть...» Обречено между прочим а какая согревающая привлекательная мысль для всего изображаемого литературного круга! То ли в своем кругу они лучшее то ли во всех мыслимых кругах отечества. И никто не удивляется не спорит: это все изображено как привычное хорошо знакомое, как принятая норма поведения и самооценки. Они — лучшее книги — изумительные, а Антипову становится скучно.

По мере движения романа сор накапливается и действует угнетающе. Представим

себе возможный оборот дела: текст, воспроизводящий литературный быт, заполняет собою сотни страниц, а где-то в самом начале всего затеряна, засыпана сором та маленькая женщина в ватнике с чужого плеча...

К счастью, в романе не все так печально, как могло бы быть. Сор накапливается и угнетает не только читателя, но и Антипова. Антипов берется писать о синдроме Никифорова, о страхе перед реальностью о писателе, не преуспевшем и разочарованном... Литература входит в роман как нечто серьезное, связанное с действительными заботами и страданиями человека, с его историческим самоощущением.

Это должно было произойти: то что не осознавалось Антиповым как страдание — не те поцелуи, слезы, не те разлуки, — и вообще не годилось для литературы, продолжало жить и участвовать в романе как самая значительная часть антиповского существа, его памяти, он мог не понимать этой значительности, не обдумывать эту тему специально, но это ничего не меняло в нашем читательском восприятии: это было с ним и его близкими, это было с друзьями и со страной...

Роман «Время и место» хорош изображением исторического времени, исторического места. Без глав «Пляжи тридцатых годов» «Центральный парк», «Якиманка», «Переулочек за Белорусским вокзалом», «Конец зимы...» этот роман как мост без свай, а сваи забиваются глубоко. Это не похоже на раскоп, конец 30-х — самая большая даль, все остальное ближе, но все равно спуск, вертикаль, возвращение к началу. Без вертикалей Трифонов уже не мог: чистое настоящее переставало для него существовать, для Антипова к концу романа — тоже. Без упомянутых глав сор не был бы столь заметен: возможно, он казался бы истинной полноценной, завидной жизнью. Без тех глав мы бы, пожалуй, поверили что Антипов счастливчик, баловень судьбы и страданий на его долю просто не хватило. Мы вообще бы не ощутили той всегда волновавшей и возбуждавшей Трифонову связи каждого человеческого существования с историческими условиями, с их мощным и непредвиденным воздействием. И мы бы не поняли как это можно смотреть широко раскрытыми глазами, содрогаться от жалости, боли, страха, а расступком гасить свои мучения и полагать, что они неприличны, не подобают, что их вообще не было и нет и что все идет правильно, по порядку, как в природе. И

потому страдания широко раскрытых глаз ненастоящие. Не в счет.

Есть в романе четыре главы, записанные от первого лица: «Центральный парк», «Якиманка», «Переулочек за Белорусским вокзалом», «Пережить эту зиму». Поначалу думалось: голос и взгляд автора не тот ли самый, что в «Доме на набережной»? Оказалось, еще один персонаж, будущий доктор математики, но персонаж особенный — без малого антиповский двойник! И сходство подчеркнуто: «...он (Антипов.— И. Д.) был слишком похож на меня. Даже внешне...» И судьбы были «горько близки»: с конца 30-х жили без родителей. Оба имели склонность к литературе и плохое зрение, во время войны работали на одном заводе в одном цехе... И наконец: «Я чуял в нем (Антипове.— И. Д.) свое плохое».

Итак, чего проще, целое расщеплено надвое, плохое отчуждено, его можно наблюдать; образуются два варианта судьбы: один — почище и правильнее, другой — сумбурнее и неудачливее...

Но не тут-то было: Трифонов не верил в правильные варианты, да и антиповский вариант не был для него каким-то дурным, пошлым или порочным; если Андрей (так зовут будущего математика) кажется чуть-чуть достойнее и благополучнее, то не потому ли, что путь его от заводского рабочего до доктора наук в романе опущен; значит, подробности математического варианта лишние, и никакого противопоставления не задумано.

В сущности, у них было общее прошлое: одно и то же время и место. Память одного восполняет память другого; кажется, у них общие бабушки, тетки, мама. Центральный парк Андрея вполне мог быть в жизни Антипова, а пляжи Серебряного бора — в жизни Андрея. Или рассказ на два голоса просто богаче и выразительнее? Особенно, если учесть, что один из голосов (от первого лица) звучит с редкой проникающей искренностью и печалью. Недаром Трифонов неохотно (раз два-три) называет своего математика по имени и столь же неохотно упоминает о его научных заслугах и т. п. Словно эта привязка к персонажу — формальность, и хочется о ней не думать или поскорее освободиться, и говорить за этого антиповского двойника, и за самого Антипова, и за себя тогдашнего и теперешнего, за всех наконец, знавших это время и это место! Хочется говорить все честнее и свободнее, беспощаднее к себе самому и справедливее ко всем!

Если был Центральный парк с шаркающей толпой на знойном асфальте, с тихой

поднебесной жизнью гигантского колеса, с охотничьим бегом милиционера, ныряющего в толпе, если был больничный флигель с Левкой Гордеевым, его матерью, отчимом и красавицей Миньоной, то, значит, была и какая-то истина этого парка и его веселого люда, какая-то истина этого больничного флигеля с его стойким привкусом несчастья...

Отчего плакала Левкина мать, вечная труженица, больничная медсестра? Не о таких ли — «смола кругового терпенья», «совестный деготь труда»? Отчего плакала? «Забыл, не помню, не догадался, не знал никогда. Теперь правды не откопать».

Вот он опять, тот же образ — раскоп. Правда скрыта, плохо дается...

Дочерпывать до дна — об этом, о подобном и о том, что стократ запутаннее и невероятнее. И конечно же, не о соре.

Рассказывая о больничном флигеле и авиационном заводе («Переулочек за Белорусским вокзалом»), Трифонов касался жизни, которую обычно называют народной. Верный себе, он ее не идеализировал, как и любую другую. В ней было намешано всякого, и, как всегда и везде, все туго сплелось: «доброта и безвыходность, ликование и печаль, сладчайшая радость и смерть, и прочее, прочее...» Но в этой безупречной жизни Трифонов явно выделил то, чего потом ему будет странно не хватать и что было неоспоримо серьезным и настоящим, без подделки, фальши, игры: бескрайнюю доброту и трогательную беззаветность Левкиной матери Агнии Васильевны, внутреннее достоинство и рабочую сплоченность антиповских товарищей по цеху, их не вымученную, а естественную человечность. И еще, опять-таки верный себе, он снова дал почувствовать нравственную силу и надежность людей старого, революционного зачала. Старуха Елизавета Гавриловна, может быть, и похожа на Асю Игумнову («Старик»), но о том, как вели себя, что думали и чувствовали Аси Игумновы в октябре сорок первого в Москве, рассказано, кажется, еще не было. И он включил этот эпизод в роман, возможно, для того, чтобы в прошлом его героя было побольше светлого и надежного.

Это неверно, что Трифонов влекла человеческая неопределенность, неустойчивость — теперь бы сказали: амбивалентность — как противовес догматическим, романтично-героическим концепциям человека.

Место героя в книгах Трифонова могло пустовать, но все равно писатель знал, с какой стороны можно ждать претендента.

Он верил в исчезающие элементы. С амбивалентностью, с выдумыванием новой морали это не совмещается.

Трифонов знал, что синдром Антипова излечивается только прозрением и высвобождением чувств, только работой совести и памяти. Избавиться от недочувствия, от страха видеть и знать значило сделать новый, твердый выбор и не изменить ему до последнего дыхания.

В осенней вечерней тьме сорок первого Андрей увидит колонну ополченцев: «...от черной, беспорядочно топающей толпы невоенных людей шла какая-то ветровая, надземная сила, которой я тогда не почувствовал. Она долетела до меня теперь, спустя почти сорок лет».

Через сорок лет... Что ж, пока живы, еще многое не поздно.

В рассказе «Серое небо, матчи и рыжая лошадь» старушка финка рассказывает, как девчонкой записалась в красногвардейский отряд: «У меня был поклонник, русский солдат, артиллерист, мы обменялись адресами, он разговаривал со словарем. Когда начался бой, мы потеряли друг друга. Я очень жалела. Он тоже удивлялся, какая я смелая. Мы качались с ним в саду на качелях...»

Это тоже была история, ее далекий отблеск... «Чувства давно исчезли,— писал Трифонов дальше, — сметены ветром, как сор, зато, выкованная из стали, сверкает подробность: качались в саду на качелях. И я ощущаю дрожь юности, надежду, страх, неведомые зимы восемнадцатого...»

Неведомое, надземные, подземные силы и ветра, потоки и ледники — его ощущение истории не изменилось.

Шел трагический сентябрь тридцать девятого, а в парке «все было, как всегда,— медленно вращалось колесо, шумели деревья, утинными голосами кричали речные трамвайчики, люди в белых рубашках толпились возле силомеров и, хохоча, лупили кулаками что есть мочи по черной блестящей бабке...»

«Трагический»? Люди не знали, не ведали. Но сколько можно не знать, не ведасть? Или так будет всегда? Согласен ли человек, чтобы так было всегда?

Для себя он решил: горизонталям предпочел вертикали. Шурфы. Скважины. Колодцы. Земляные работы. Так что-то ведаешь, отыскиваешь утраченное, докапываешься до правды, до истины... Он изощрял свое художественное зрение, добираясь до тех самых сверкающих, бесценных подробностей обыденной истории, он достигал все большей и большей социально-психологи-

ческой сложности и плотности текста, оставив далеко позади тот стилистический, интонационный прототип, который я нахожу в эренбургской прозе...

Без вертикалей было не обойтись. «Надо ли вспоминать? — спрашивал. — Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».

Среди воспоминаний Андрея одно прекрасное, почти лучезарное: «...фестиваль, пятьдесят седьмой год, мы с Сашкой столкнулись на стадионе, оба в безумном возбуждении, что-то прокричали друг другу и разбежались, уверенные, что ненадолго, что вскоре, что непременно и навсегда...»

Ни вскоре, ни навсегда... На страницах романа часто падает сырой или мокрый снег, то к весне ближе, то к зиме; страсти остывают, герои не видятся, стареют, и вот уже Антипова несут на носилках к машине «скорой помощи», и он думает, что «не было времени лучше, чем то, которое он прожил», и «нет места лучше, чем эта лестница с растрескавшейся краской на стенах...».

Когда бывшие друзья встретятся на Тверском, присядут на бульваре, Антипов почувствует, что Москва окружает их, как лес. И прозвучат последние слова романа:

«Мы пересекли его (лес.— И. Д.). Все остальное не имеет значения».

Слова о том, что все остальное не имеет значения, написаны Трифоновым, наверное, не в лучшую минуту жизни. Пересекли, прожили, настрадались, выжили, кое-что успели сделать, наше время — лучшее, и дороже, лучше нашего места нет...

Острейшее ощущение уходящей жизни живет на последних страницах романа. Оно не может не быть печальным. Сопряженное с чувством одиночества, оно еще печальнее.

Не поверим, что для Антипова и для автора «все остальное не имеет значения». Поставим точку на другом. Вспомним навязчивый сон писателя Киянова: куда-то идут люди с завязанными глазами. Должно быть, это означало страх жизни, страх видеть и чувствовать...

Многие герои Юрия Трифонова — люди, преодолевающие этот страх. Лучшие герои Юрия Трифонова — люди, не знающие этого страха, люди с неисчезающими элементами: духовной стойкостью, нравственной силой, преданностью идеалам революции.

Они пересекли отведенное пространство, время исчерпано, место переменялось, но навсегда сохраняет значение, как они это пространство пересекли.

Всегда, наверное, сохраняет значение, как мы пересекаем свое пространство.

Кострома.

Л. АННИНСКИЙ



ПРИЖИЗНЕННЫЕ И ПОСМЕРТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО МЕХАНИКА ГУГО ПЕКТОРАЛИСА В РОССИИ

Из истории лесковских текстов

Повесть о железном немце, сгинувшем в наших болотах, записана Лесковым к осени 1876 года и тогда же помещена в малоизвестном полудамском журнальчике «Кругозор». Так что формально «Железная воля» существует сто девять лет.

Фактически ее жизнь в нашей культуре начинается три четверти века спустя. Начинается осенью 1942 года в Ленинграде, на тринадцатый месяц немецкой блокады. Извлеченная из небытия, повесть как бы в первые публикуется в журнале «Звезда». Солдаты фон Лееба держат Урицк и Стрельну, Манштейн вцепился в болотную Мгу и не дает прорвать кольцо, немецкие артбатареи гремят в пятнадцать километров от печатных машин,— а тут печатают Лескова.

Что же происходит с «Железной волей» предыдущие шестьдесят шесть лет?

Ничего. Полное небытие. Тьма.

Молчит об этом сам Лесков. Ни звука о «Железной воле» во всей опубликованной его переписке. Это значит, что мы не знаем: как он писал эту повесть? как публиковал? как оценивал?

Как писал — это, впрочем, можно реконструировать. До поры до времени дремлет в памяти Лескова эпизод его «коммерческой» молодости (служба у Шкотта — поездки «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру»); в 1876 году что-то вытягивает этот эпизод на поверхность. Что? Недавнее путешествие по Европе, живо помнящей Седан? Речь Гамбетты, выслушанная в Версале? Железные каски, за-

полнившие Берлин и Дрезден? Вообще — нарастание пангерманизма после разгрома Франции Бисмарком, и ответный взрыв панславистских настроений в России, и иронические статьи о «железной воле прусского канцлера» в петербургской печати? В 1876 году хватает поводов, чтобы вытянуть из памяти давнюю историю о том, как когда-то в молодости Лесков купил для Шкотта в Петербурге мельницу и привез в Пензу немца-механика. А чтобы рассказать нечто «к случаю» — за тем у Лескова дело никогда не вставало. Он и рассказал.

Как печатал? Почему загнал повесть в смехотворный еженедельник, где она потерялась между портретами их высочеств и дамскими модами? И это можно понять. Податься ж некуда! Середина 70-х годов — еще одна мертвая точка во взаимоотношениях Лескова с печатью: уход от Каткова сказался тяжело; в каких только отстойниках Лесков не пробует печататься в эту пору... «Кругозор» не хуже «Яхты» или «Странника» тем более что редактор — старинный знакомый.

Редактор «Кругозора» — Виктор Ключников. Это о нем сказано несколько лет назад, в разгар свары из-за «Соборян»: «Прохитное дрянцо».. Недурное, кстати, свидетельство о стиле отношений между литераторами славного XIX века. Читаешь, что пишут друг о друге, думаешь: ну все, это уж насмерть! Разрыв, дуэль, убийство! А потом, глядишь, Лесков и с Бурениным преспокойно переписывается после всех его издевательств, и с Сувориним сотрудничает после личных взаимных обид, и о

Писареве, бойкот ему объявлявшем, отзывается с полным уважением, и вот, стало быть, Ключникову, пренебрежительно обруганному, отдает в журнал повесть. Ключников же... он скоро разорится с этим своим «Кругозором»... Ключников «Железную волю» немедленно печатает.

Публикация в таком нелитературном журнале, конечно, отсекает текст от внимания критиков. Критики в те времена что попало не читают. Они следят за книжными новинками (все выходящие в 70-е годы брошюры Лескова рецензируются с пристрастием), следят за серьезными литературными журналами, обозрения коих печатаются регулярно (по иронии судьбы почти вся великая русская проза идет в свет со страниц реакционного «Русского вестника»; мы здесь не будем разгадывать смысл этой иронии; нам важно, что «Железная воля» печатается не в журнале, а в журнальчике).

В журнальчике, между всякой всячиной лесковское повествование не имеет шансов быть литературно замеченным: оно там даже и не выглядит художественным; оно похоже на злободневную публицистику, на отклик дня; «железная воля канцлера» перстрит в умах тогдашних читателей, Лесков и таких злободневных откликов выдает предостаточно.

Относится ли он сам к своей повести как к однодневке, не заслуживающей переиздания?

А вот на этот вопрос ответа не угадаешь. Ибо самооенок, как я уже сказал, нет. Случай нечастый в лесковской практике. Хотя и не исключительный: такую же немотой окружен в переписке Лескова «Тупейный художник». Но там все-таки есть косвенный признак, что тексту отдано должное: в собрание сочинений он включен. С «Железной волей» нечто беспрецедентное: текст не только ни разу не переиздан при жизни автора отдельной книжкой — он не попадает и в собрание сочинений!

Андрей Николаевич Лесков, сын писателя, объясняя этот казус, говорит, что при разнокалиберности и разбросанности отцовского литературного хозяйства тот много чего был вынужден оставить за бортом собрания. Мог, наверное, и запомнить...

Мог, разумеется. Но почему же Суворин, готовивший собрание, упустил такую вещь? Как же Петр Быков, составлявший для собрания библиографию и наверняка знавший текст, не надоумил, не положил на стол, не заставил прочесть? Что же Адольф Маркс, полные(!) собрания дважды(!) выпускавший, «Железной волей» не заинтере-

совался? А Андрей Николаевич — он-то знал? Он — читал? Ценил?

Вот тут-то и встает самый хитрый вопрос.

В знаменитой книжке А. Н. Лескова о жизни его отца есть глава «Коммерческая деятельность» и там — две ссылки на «Железную волю». Из повести процитированы отрывки в качестве автобиографических. То есть Андрей Николаевич Лесков рассматривает отцовскую повесть как вариант дневника: из повести можно узнать, на каком тарантасе поехал Лесков в 1859 году из Питера в Пензу и какого рода службу нес у Шкотта — текст повести подтирает биографию автора.

Впоследствии, готовя повесть к публикациям военного времени, Андрей Николаевич проделает операцию противоположного направления: он найдет в бумагах отца дневниковые записи 1859 года, чтобы биографией автора подпереть художественный текст. Он выяснит, что немецкий инженер, привезенный Лесковым к Шкотту, существовал в реальности и звался Крюгером. Так обнаружится прототип Пекторалиса: с тех пор г-н Крюгер станет исправно переходить у комментаторов «Железной воли» из издания в издание, удостоверяя реальность описанных там событий и, однако, никак не помогая нам их осмыслить, ибо мы ведь ровнехонько ничего не знаем об этом Крюгере кроме того, что он отныне и навсегда входит в мировую литературу как бессмертный Гуго Пекторалис. А Пекторалиса мы и без него знаем

Итак, Андрей Николаевич решает предложить повесть отца журналу «Звезда». Момент драматичный: шедевр русской классики получает шанс выйти из забвения.

Что же Андрей Николаевич несет в редакцию? Пачку журналов «Кругозор» из отцовской библиотеки? Вырезки? Машинописную копию? И когда именно, в какой момент он принимает решение? Весной 1942-го? Или раньше — в первую блокадную зиму? Или еще раньше — летом 1941-го, едва началась война? Можем ли мы разгадать это сегодня, сорок с лишним лет спустя? Мемуарных свидетельств нет...

Я только думаю, что зиму 1941/42 года он бы не переждал. Известно, что готовая к тому времени книга Андрея Николаевича об отце — тысячестраничная рукопись — погибла. Как? Один экземпляр, подписанный в набор, сгорел в сентябре 1941 года в разбомбленном немцами издательстве «Советский писатель». Второй, и последний, погиб в марте 1942 года. Скорее все-

го в печь пошел, чтобы обогреть обледенелое жилье. Уже после войны восьмидесятилетний двурукий старик восстановил все заново.

Как бы то ни было, а пережить первую блокадную зиму в Ленинграде ни одна рукопись шансов не имела. Вся бумага: архивы, библиотеки — все сожжено было в печках в первую зиму вслед за мебелью. Вторая зима, с сорок второго на сорок третий, вышла полегче: разбирали и жгли деревянные дома. Ее Андрей Николаевич уже не видел: в августе эвакуировался в Подмоскowie. Надо думать, что успел отнести Андрей Николаевич текст «Железной воли» до первой, страшной зимы.

Но не летом и, пожалуй, не ранней осенью. До сентября в 1941 году журнал еще выходил, причем ежемесячно: это уже с октября, как отсекали немцы город, выпуск прекратился — не стало электроэнергии, чтобы крутить печатные машины. Успей Андрей Николаевич отдать повесть летом — встала бы она в один из номеров еще не прервавшегося журнала: держать бы такую вещь не стали. Я думаю, что понес он ее глубокой осенью или в самом начале зимы. Когда выяснилось, что журнал возобновится. И — психологически — главное, думается мне, что тогда отнес ее Андрей Николаевич, когда понял, что не переживет в его архиве повесть блокадной зимы. Он ее спасал. Может быть, в ноябре понес, в самый ужас голода, когда упала суточная норма хлеба до 125 граммов. Может быть, в декабре понес, когда уже и хлебозаводы прекратили работу, и трамваи встали, и погрузился город во тьму, и трупы неубранные лежали на улицах, заносимые снегом.

«Все для фронта, все для победы» — так в те годы и печать работала. Когда обращались к русской классике, то и классику выдвигали на линию огня.

К июлю 1942 года журнал «Звезда» возобновился: вышла подписанная ответственным секретарем Н. Лесючевским сдвоенная книжка, № 1-2. Три месяца спустя, в октябре 1942 года, удалось выпустить еще одну сдвоенную книжку, № 3-4. Кроме Н. Лесючевского, ее уже подписала редколлегия: В. Мануйлов и Н. Тихонов. Ожил журнал и дрался: стихами дрался, прозой, статьями. Дрался и классикой: в номере открылась рубрика «Классики русской литературы о немцах». Здесь были перепечатаны антигерманские подлисы Маяковского к лубочным издани-

ям 1914 года. Главное же место в разделе занял — Лесков.

«Николай Лесков. Железная воля. Рассказ».

Тут-то и начинается его судьба.

Тираж расходуется в блокадном городе. Мало что из 10 тысяч экземпляров уходит за пределы кольца: и сегодня в некоторых фундаментальных московских библиотеках эти выпуски отсутствуют. Но текст Лескова, возрожденный в смертельных условиях, доходит до читателей. И до дальнейших издателей: издательства наши — если принять во внимание скудность ресурсов военного времени — реагируют и быстро и щедро.

В 1943 году «Железная воля» переиздается в Москве. В маленький, экономно составленный гослитиздатский одотомник Лескова включено пять произведений, наиболее актуальных в тот час: «Железная воля» встает рядом с «Левшой», «Тупейным художником», «Очарованным странником»... Так она впервые появляется в книге.

А далее происходит нечто неслыханное: в победный 1945 год и следующий за ним 1946-й одно за другим выходят пять отдельных изданий «Железной воли»!

Чтобы оценить степень неординарности такого издательского задела, проследим дальнейшее: после 1946 года по 1985-й, то есть почти за сорок лет, — ни одного отдельного издания. Разумеется, «Железная воля» не исчезает с издательского горизонта, она включается в лесковские одотомники и занимает прочное место в лесковском наследии. Однако на титулах лесковских книг ее более нет.

В таком контексте пять отдельных изданий, вышедших подряд одно за другим в 1945—1946 годах, впечатляют.

Я держу в руках эти тоненькие книжки, украшенные картинками.

Вот издание военгизовское: серия «Библиотечка журнала „Красноармеец“», № 1, 1945 год. Собственно, не издание, а нечто вроде монтажа: лесковский текст сокращен более чем наполовину. Тираж не объявлен.

Вот книжечка для моряков: «Библиотека краснофлотца». Военно-морское издательство. Январь 1946-го. Тираж не обозначен. Однако текст не сокращен.

Вот издание для детей: «Библиотека школьника». Детгиз, 1945 год. 50 тысяч.

Вот еще одна детгизовская брошюра, 1946 года — «Дешевая библиотека». 25 тысяч.

И наконец роскошное издание той поры — огизовское: на хорошей бумаге, с

большими полями, с эталонно отпечатанными кузьминскими иллюстрациями. Со статьей Бориса Другова.

Статья эта, выдержанная в боевом духе, с цитатой из книги Верховного Главнокомандующего, содержит вместе с тем мысль для того времени необычную: Другов замечает, что суть «Железной воли» не сводится к разоблачению противника, а говорит кое-что существенное и о соотечественниках... Запомним эту трезвую мысль и не будем ее пока комментировать: статья Б. Другова не становится началом критического обсуждения новооткрытого лесковского шедевра, может быть, оттого, что мало кто в тот момент относится к тексту как к литературному шедевр. Речь идет не об эстетике, а о жизненной необходимости. О том, что именно написал русский классик о немцах.

Людам 1945 года не до текстологии: все тогдашние издания тем или иным образом сокращены. Или поправлены. Причем в каждом случае сокращения и поправки свои. Похоже, что редакторы правят каждый на свой вкус. Флотский редактор меняет «вопиял» на «вопил»; детгизовский вычеркивает фразу о «немецкой воле и нашем безволии»; армейский убирает все сцены с пьянством родного Сафроньча. Изъятия оговариваются; в большинстве брошюр есть предисловие Андрея Николаевича Лескова с фразой «Печатается с небольшим сокращением» — этой общей формулой прикрыты самые разнообразные прорехи. Готовя в 1957 году «Железную волю» для лесковского одиннадцатитомника и возвращая текст к авторскому канону, С. А. Рейсер все эти новые переиздания объединит усталой немногословной формулой: «Публикации неисправны и изобилуют многочисленными искажениями».

Так. Но, знаете, я почему-то к этим неисправностям и искажениям отношусь... спокойно. В принципе-то такое самоуправство меня бесит. Бесит «дисциплинный» в свое время у Суворина «Запечатленный ангел». И варварство с изданиями «Тупейного художника» в 20-е годы. И хохот Феодосия Веселаго, сидящего с цензорскими ножницами над версткой «Некуда» в 1863 году...

Но здесь — нет во мне досады. Особые обстоятельства. В журнале «Звезда» сокращают последнюю фразу (я выделю сокращение): «Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня... даже грустно», — и я понимаю, почему это сделано: не грусть вызывают гитлеровцы, осадившие город, дру-

гие чувства они вызывают. В 1942 году текстология может подождать.

И в 1946-м тоже. Да, чистят, да, усекают. Но вдуматься-то: впервые идет лесковский текст к читателям, идет, минуя литературоведение, идет прямо и сразу на все уровни и во все концы — в армию (военгизовская брошюра), на флот (военморгизовская), в школы (детгизовская), в широкую читающую публику (гослитиздатский том) и даже специально — ценителям прекрасного (огизовское издание). Тут нужно одно: дать людям побыстрее то, в чем есть нужда, в чем есть жгучая злободневность.

По той же причине все те первые брошюры — «с картинками».

В Библиотечках красноармейца и краснофлотца повесть иллюстрируют штатные оформители серий.

Армейский художник награждает лесковского героя длинным носом, под которым чернеют маленькие усики. Глаза посажены глубоко. Вот только волосы, обычно падавшие на лоб, на сей раз подняты хохолком. Но все равно нет сомнений в том, кого именно напоминает данный «фриц» и в каких сюжетах замешан: когда он красуется в смешном цилиндре и клетчатой пелеринке, явно снятой с чужого плеча, когда корчится, обожравшись чужих блинов, и когда вылетает из чужих дверей от удара в зад. Так иллюстрирует «Железную волю» один из ведущих плакатистов военных лет, Виктор Иванов.

Флотскую брошюру оформляет Давид Дубинский, совсем молодой, еще не окончивший Художественный институт. Выразительный «пушистый» штрих напоминает манеру Гюстава Доре в «Мюнхгаузене». Много озорства и веселости по части деталей и поз, но мало психологизма и нет общей концепции. В будущем Дубинскому суждено стать классиком советской книжной графики. Но не на Лескове. Он найдет себя, иллюстрируя Гайдара, Чехова и Куприна. «Железная воля» останется для него проходным эпизодом.

А все-таки знаменательно, что с первых изданий берутся за эту повесть художники крупные. Знак времени: вещь вызывает народный интерес. Положим, в двух случаях мастера срабатывают ненадолго. Но в третьем случае появляется графическая серия, которой предстоит войти в историю советского искусства: для Детгиза «Железную волю» иллюстрирует Николай Кузьмин.

Штрих живой, простой, точный и экономный — кузьминский. Замечательная ла-

ковичность и выразительность рисунка. И — поразительное психологическое попадание в образ. В интонацию Лескова. Пекторалис тощ, сух, носат, тонкогуб, строг. Он сомнамбулически углублен в себя. Тут даже не то важно, зол он или добр, плох или хорош; важно, что он отчужден, отделен, отрезан наглухо от того мира, в котором оказался. Каким-то эхом только что отгремевшая война погромыхивает и в кузьминских сюжетах: когда длинный немец в охотничьей фуражке, напоминающей военную, и в пальто с меховым воротником, похожем на генеральскую шинель, обзирает с помоста потонувший в сугробах русский городок — уездный, заснеженный, теплый, домашний, «сердобский», — что-то колет вас в сердце: эта фигура отдает войной. Или пленом. Это уже кончившаяся война, отошедшая. Это тишина после боя, тишина раздумья, тишина залечиваемой боли. Но боль, возникающая в вас от соприкосновения фигуры чопорного немца с заснеженным «нерегулярным» русским простором, совсем яная, чем при прямом столкновении. Это не столкновение. Это непоправимое отчуждение. Стена невидимая между силуэтом и пейзажем. Мертвенное одиночество героя на этом фоне, в этом русском городе, в этом русском мире. Замечательно точно анализирует работу Н. Кузьмина А. Пистунова¹: здесь решает полный дисконтакт фигуры и фона. Ледящее чувство гибельности. Аннигиляция. При полном непонимании, сквозящем в гордых пустых глазах героя. Нет, он не зол. Не плох. Он — странен среди смеющихся, обросших бородами, дурашливых, лукавых, хитрых мужиков. И они не злы. Просто чувствуется несходимость начал, каждое из которых знает свои резоны и гнет свое. Мужичков-то у Кузьмина тоже не отнесешь к ангелам... как и у Лескова, само собой.

Н. Кузьмин находит точную интонацию. Это не ненависть, не негодование и не злорадность. Это смесь горькой веселости и горького соболезнования. И это — максимальное приближение к интонации лесковского текста. В интерпретации Н. Кузьмина рассказ... лесковен, если употребить словечко, которое приложил к работам художника Андрей Николаевич Лесков. Н. Кузьмин его в 1945 году разыскал, и они вступили в переписку.

Переписка эта не прерывалась до самой смерти Андрея Николаевича в 1953 году: Н. Кузьмин обращался к помощи Лескова-

¹ А. Пистунова. Прикасаюсь к книге. М. 1973.

младшего, когда после «Железной воли» делал иллюстрации к «Очарованному страннику», и потом, когда приступил к главной своей лесковской работе — «Левше».

«Железная воля» осталась ярчайшей вехой на пути художника. И вехой в истории советской книжной графики. И вехой в истории нашего читательского постижения лесковской повести.

Однако после 1946 года художники не дают ничего заметного. Две-три необязательные заставочки не в счет. То ли кузьминская серия загодя сковывает воображение, то ли слабеет интерес к лесковской повести. Отсутствие театральных и кинематографических интерпретаций говорит о том, что и второе верно. Вспыхнув звездой первой величины в военные годы, «Железная воля» словно бы меркнет в последующие десятилетия. Нет, не гаснет вовсе, не уходит с лесковского небосклона. Но как бы теряет блеск злободневности. Она у нас постоянно переиздается². Но в главный круг лесковских шедевров не входит. Она присутствует в каждом третьем лесковском собрании и в каждом третьем однотомнике. Начиная с 1951 года это соотношение выдерживается довольно точно; когда в 1981 году в связи с юбилеем Лескова общее количество его изданий резко возрастает, для «Железной воли» соотношение публикаций остается неизменным: повесть включена в 11 однотомников из 33, изданных в 1981—1984 годы. И нигде — на титуле. И — ни одного отдельного издания. Ни одного! — после того как в конце войны было подраяд пять.

В какой-то мере и это можно объяснить: лесковская «повесть о немце» подсобила нам в страшный час. Ушла в прошлое война — ушла повесть из непосредственного арсенала.

Пусть так. Смертельное стечение обстоятельств ввело лесковскую повесть в круг нашего активного чтения. Великая народная драма спасла «Железную волю» от затянувшегося забвения. Но обратного хода не будет — этот шедевр теперь уже не уйдет, я думаю, из русской духовной жизни. Потому что он уже прочитан. Потому что из-под злободневного смысла уже дей-

² Не только у нас, но и за рубежом. Переводить «Железную волю» начинают вскоре после войны, сначала в странах, по которым война прокатилась: в Венгрии, Румынии, Чехословакии. Отмечу, что застрельщиками здесь, как и вообще в переводах Лескова, являются немцы: дважды, в 1949 и 1950 годах, «Железная воля» выходит в Потсдаме в переводе И. Коскулл.

ствует смысл глубокий. И чем дальше, тем уверенней будет действовать.

Потому что — теперь я скажу главное — «Железная воля» — повесть не о немце.

То есть номинально о немце, конечно. В том смысле, в каком «Левша» — об англичанине, а «Владычный суд» — о еврее. Лесков обладает замечательной чуткостью к тому, что называется межнациональным взаимодействием, у него всегда рядом с русскими — и поляки, и французы, и чехи и татары и другие нерусские люди, которые (что очень важно) играют роль в русском самосознании. Без понимания этой важнейшей внутренней закономерности интонационные мотивы у Лескова могут показаться странными, а при остроте и безоглядности его суждений иной раз и рискованными. Не имея здесь возможности входить подробнее в варианты этой проблемы, прослежу на «Железной воле» вариант русско-немецкий.

Немцы — предмет постоянных раздумий Лескова. Интересует ли его при этом внутренний мир германской души, ее бездны, ее собственная судьба? Трудно сказать. Но что его бесспорно волнует, так это именно контакт и контраст немецкого и русского начал. Впрочем, там где Лесков входит внутрь собственно немецкой драмы, он проявляет максимум понимания и сочувствия. Когда Герман Верман подмастерье из «Островитян», узнав о несчастье, случившемся с Маничкой Норк: Маничку увлек, соблазнил и обесчестил художник Истомино, милый, душевный непредсказуемо широкий и невменяемо импульсивный наш соотечественник, — узнав это, маленький рыжий Верман ждет красавца художника с поленом в руке и, не дождавшись, в сердцах шарахает поленом по уличной тумбе, раскальная и полено и тумбу... Что по этому поводу думает Лесков? Я вспомнил говорит он, фигуры в венском музее: коренастый, малорослый германский дикарь перед долговязым римлянином — стало понятно, как этот коренастый дикарь смог побить и выгнать высокого, в шлем и латы закованного пришельца.

И все-таки главный аспект немецкой темы лежит для Лескова не здесь. Немец интересен не сам по себе а лишь той стороной, какую он повернут к русскому сознанию. В тех же «Островитянах» осмеянные Лесковым петербургские немцы не как немцы же осмеяны, а именно как люди, карикатурирующие все русское. Василеостровский колбасник Шульц с его напористой поделкой под русскость, с его желанием «русить» во всем, с его оголтелым, поче-

рившим всякую меру русофобством — вот это карикатура. Но не только. Это тревожное свидетельство о состоянии русского духа. Художник Истомино грезит об идеалах, но, не имея возможности достичь их, шатается между европейским модничаньем и отечественной нигилистской дикостью, а лавочник Шульц, хватив водки, шумно обсасывает рот и объявляет: «Наш брат, русский человек, любит почавкать!» Так что ж мучает Лескова? Что немец пьет водку? Нет. Что немец пьет водку в роли образцового русского? Русская печаль мучает Лескова: отчего же это на место русскости с такою легкостью встает чудовищная карикатура и отчего карикатурист-немец так уверен в этой легкости? Отчего в колбаснике Шульце такая искренняя готовность облагодетельствовать своей железной формой русскую бесформенность и откуда уверенность у этого Шульца, что ей, России именно такое оформление срочно необходимо?

С той же программой и Пекторалис является — заполнить воображаемый вакуум. Благодетельствовать русское пространство своею логикой Или как со свойственным ему коварством формулирует Лесков, разрубить топором тесто.

Рыхлое влажное, теплое, мягкое и вязкое в противовес твердому, четкому и холодному (железному) — вот образный код повести. В нем, в этом живом «тесте», — источник и смысл драмы, а вовсе не в железе, пытающемся придать форму текучей массе. Больше того: только в этой текучей массе и оживает художественно лесковский механический немец. Художественный смысл повести — многослойное, многоходовое соотношение главной фигуры и фона, и соотношение это только на первый взгляд кажется простым контрастом, на самом-то деле оно бесконечно сложно и не схватывается планиметрически.

Что такое Гуго Карлович? Это последовательная логичность и дотошная пунктуальность это попытка испытать жизнь чистым теоретическим разумом и голым законом. Дают лошадей — едет, не дают — сидит: пусть будет хуже! Кормят — ест, не кормят — не надо: терпит. Ждет, пока реальность, дойдя до абсурда, сама себя покажет. До абсурда, до глупости до геркулесовых столбов доводит Пекторалис всякую неточность всякую непоследовательность, всякий допуск и люфт... а на этих люфтах, на допусках да на «душе» и держится все вокруг. Отсюда непрерывная взаимпровокация сторон. Он игнорирует

привходящие обстоятельства. А у нас все на обстоятельствах. У него все точно. А у Сафронюча все неточно. У него твердая воля. А у Ерофеича да Сафронюча, стало быть, мягкое безволие. Так безволием же мы его и возьмем! Он скрупулезно, пунктуально честен — так облапошим и надуем, причем вовсе не из корысти, а из чистейшего артистизма! Зачем Ерофеичу барыш, он обманет, да потом из любви и благодарности сам же еще и приплатит! Честный ли человек Ерофеич? Спросите чего полечче... Честный — Гуго Карлович, а Ерофеич — он не честный, он... святой У нас на Руси честных нет, зато у нас все святые. А у них? А у них, говорит Ерофеич, у них «и попов нет, и святых нет»: ну да им их и взять негде, «все святые-то русские».

Тончайшего коварства баланс и по-лесковски обоюдоострый! Пекторалис виноватых ищет, а мы, по логике Ерофеича, все сплошь невиноватые. Он невозмутимый, а мы на каждом шагу возмущаемся. Он все молчком норовит, а мы все криком. Он железный, думает Ерофеич, а мы... а мы — дубовые, мы — стоекосовые; но ничего, мы и так постоим. Он предусмотрителен и расчетлив, а мы беспечны. Он все по науке да по «мачтабу», а мы люди простые, мы в нечистую силу верим, и в оборотней, и в загробную жизнь, и в водосвятие. У него по плану и расчету дело делается, а у нас все само по руслу течет и в свое же русло возвращается. Природа! Так что сколь ни трудись Гуго Карлович, сколь ни дотачивай за Сафронючем халтурно отлитые тем детали и сколь сравнительно с Сафронючем ни богаты — все равно все по-Сафронючеву выйдет и к Сафронючу вернется, и деньги, собранные несчастным Гуго Карловичем, Сафронюч счастливо пропьет и развевает по миру. «Ржа железо точит», — с невозмутимым видом замечает Лесков в эпиграфе.

Пока читаешь — дивисься точности, с какой выточена в повести тонкая скрипучая фигура немца, а как потом начинаешь вдумываться, так и понимаешь, что это вовсе как бы и не немец. Немец — Верман из «Островитян», тот, что с поленом в руке, тот, что цезарей прогнал из Тевтобургского леса. А этот — механический человек, склепанный из железок, — не немец. Это карикатурная комбинация российских черт, гениально вывернутых наизнанку. Это наши комплексы, сцепленные в своеобразное пугало. Это мы в перевернутом зеркале. Немец тут и нас проявил.

И висят в художественном воздухе повести ощущение двух разделенных про-

зрачной стенкой зеркальных половинок, дразнящих друг друга. Обирает хитрый Сафронюч простодушного немца, немец разоряется и гибнет, но спивается с круга и Сафронюч; оба пропадают — глубочайший смысл повести заключается в роковом исходе этой обоюдной карикатурности, а вовсе не в том, что один полюс так уж плох, а другой так уж хорош.

Это ведь и критики первых послевоенных лет почувствовали: вспомните теперь статью Бориса Другова в книге 1946 года — мерзок Пекторалис, но, знаете, и попа Флавиана, обжору и хитреца, к приятным людям не отнесешь. Больше в 1946 году сказать было нельзя: вся ненависть еще в одну сторону жгла. Но сам-то Лесков, когда писал свою повесть, понимал же, из какого теста он лепит своего Пекторалиса! «Ну, железные они... а мы... — процитирую лесковское рассуждение полностью, — а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное... а вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь».

Далее Лесков иронически подсказывает своим возможным оппонентам напрашивающийся контрдовод:

— Вы, однако, престранно хвалите своих земляков... — И тут же отвечает: — Извините... Я не хвалю моих земляков и не порицаю, а только говорю вам, что они себя отстоят, — и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся...

До чего характерный для Лескова поворот мысли! Не будем же и мы так наивны, чтобы поверить в эту выставленную напоказ наивность. Во-первых, в литературе ничего не выплещишь, не хваля и не порицая. И во-вторых, уж кто-кто, а Лесков без страсти слова не напишет. Тем более он не умеет касаться русской темы, не сжигая себя на ней без остатка.

И он сжигает себя! Он терзает себя и нас Пекторалисом. Дума его бесконечно глубже тех естественных чувств и психологических реакций, которые напрашиваются по ситуации. На уровне естественных чувств, на уровне, так сказать, душевном, Лесков относится к Пекторалису... с усмешкой. И эта не чуждая презрительности усмешка откликалась в душах людей 1945 года. Именно 1945-го! В 1942-м было другое: сжигающая ненависть; так, открытая в 1942-м, в народ-то повесть пошла в 1945-м пятью отдельными изданиями!

Духовный же смысл лесковской повести глубже того психологического рисунка, в который он облек свою тревогу. Его тревога того же уровня, что и у Толстого при

описании загадочных левинских мужиков, работающих, так сказать, им одним собственным образом. Она сродни тревоге Достоевского, сиющегося отделить честность Ивана Карамазова от подлости Смердякова. Умеет ли Лесков в своих русских героях отделить черное от белого? Широту от беспечности, непредсказуемую находчивость от непредсказуемой дури? Нет. Он ставит черное зеркало, но понимает, что живое не делится, что это стороны одной духовной реальности. Он ведь уже пробовал в «Запечатленном ангеле» поход за водкой обернуть паломничеством к святыне. Ему еще предстоит взаимообернуть стороны русской души в произведении, которому суждена величайшая в лесковском наследии популярность,— в «Левше».

«Железная воля» — потрясающий образ этой неразделимой гордости-тревоги, образ русской души, разглядывающей себя в «немецком» зеркале. Да, горько было бы потерять этот замечательный текст в заштатном клюшниковском журнальчике, и есть высшая справедливость, что вырвало ее из той заводи военным вихрем.

Судьбы книг накладывают на них отпечаток. Конечно, «Железная воля» так или иначе вышла бы из забвения, но тот факт, что она вышла из забвения в самый тяжелый момент войны, уже неотделим от повести. Она теперь не столько 1876 годом для нас мечена, сколько 1942-м. На истории Гуго Лекторалиса лежит печать ленинградской блокады. Это тоже навсегда.

Хочу представить себе, как получает Андрей Николаевич Лесков номер «Звезды» с повестью своего отца.

17 октября номер подписан в печать.

Сколько нужно времени, чтобы единственная на весь осажденный Ленинград сводная типография отпечатала тираж в 10 тысяч? Две недели? Месяц.

Значит, в ноябре выходит книжка журнала.

В ноябре 1942 года.

Уже сорван намеченный на август немецкий штурм города. Уже дневная норма хлеба не 125, а 400 граммов, и в столовых кое-где добавляют к первому вторю: «шницель» из свекольных листьев к «супу» из свекольных листьев. И за суп уже не вырезают из карточек талон на жиры. Уже Седьмую симфонию Шостаковича исполнили в филармонии под канонаду.

Еще одна жуткая зима впереди — вторая блокадная зима. Но уже чуть полегчало. Уже поменьше обстрелов: не по девять часов в день, а только по два с половиной. Уже трубы чинят водопроводные, и кое-где вода поднимается до третьего этажа. Уже на два праздничных дня — 7 и 8 ноября — дали в дома свет: плитку включить нельзя, и утюг нельзя, и лампу более 25 свечей зажечь нельзя, но — впервые — за год тьмы — на два дня — свет!

Сколько ждал Андрей Николаевич, пока из заблокированного Ленинграда по военным дорогам придет в подмосковное Кратово почта с номером «Звезды»? Сколько раз мысленно переносился он туда, в маленькую комнату редакции на улице Воинова, в Доме писателей, и разворачивал только что вышедший журнал, и нес домой? По Кутузовской набережной, к Кировскому мосту. Мимо зениток на Марсовом поле. Мимо бронзового Суворова, поднявшего тонкий меч в серое небо. Мимо спущенных на день аэроставов. Мимо черных огородов в Летнем саду. Мимо надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Я мысленно вижу, как медленно и осторожно идет по улице этот человек, не потерявший старой офицерской выправки, и несет тощий портфель, а в портфеле — журнал с красным знаменем на бумажной обложке, а в журнале — повесть о несчастном немце, пытавшемся покорить Россию своей железной волей.

КУЛЬТУРА СЛОВА

Актуальный
вопрос

Язык развивается вместе с обществом: обогащается новыми словами, за которыми стоят новые понятия; в свою очередь, слова, которыми обозначаются малоупотребительные ныне понятия, выпадают из основного фонда лексики, становятся специальными терминами. Многие ли из читателей смогут внятно объяснить разницу между столоначальником и правителем канцелярии? У большинства слова эти вызовут лишь туманное представление о чем-то давно прошедшем, хотя они еще принадлежат живому русскому языку и не вышли из обихода. Помнится, несколько лет назад встретила мне статья, автор которой горько плакался, что молодые не знают, что такое прясло, столешница, шкворень. Я подумал: не пришлось бы нашим внукам обращаться к толковым словарям, дабы понять, что такое телега, а не только шкворень — малая деталь телеги.

Не диво, если ушедшие в прошлое слова не ясны широким, как говорится, массам читателей. Худо, если они не понятны даже тем, чья специальность — работа со словом: литературоведам, составителям комментариев к литературным текстам, редакторам...

Раскроем «Войну и мир». Анна Павловна Шерер ждет гостей, приглашенных на вечер записочками, разосланными утром «с красным лакеем». Но почему с красным? С красивым? С парадным?

Еще в школе всем нам объясняли, что в образах гостей Анны Павловны, как и в образе самой хозяйки салона, писатель показал пустоту и ничтожество светской черни. Красный лакей — одно из средств демонстрации Толстым этой пустоты, тщеславия, чванства. Анна Павловна Шерер — фрейлина при вдовствующей императрице. И как придворная дама она имела право пользоваться услугами дворцовых лакеев в красных с золотыми галунами ливреях. Конечно, Анна Павловна имела и своих лакеев в ливреях ее собственных цветов и с

положенным ее званию количеством галунов. Но для рассылки записочек-приглашений она воспользовалась именно лакеем в придворной ливрее, чтобы еще раз подчеркнуть свое положение при дворе. Два слова — «красный лакей», а сколько скрыто за ними. Однако в комментариях к роману «красный лакей» нигде и никогда не объясняется.

Еще пример. «Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский ассессор. Коллежских ассессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими ассессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода... Ковалев был кавказский коллежский ассессор... а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским ассессором, но всегда майором... Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте».

Я прошу прощения у читателя за длинную цитату из много раз читанного им гоголевского «Носа». Но положи руку на сердце, читатель, понимал ли ты, о чем ведет речь Гоголь? Думаю, не вполне. Ведь даже и специалисты, комментируя Гоголя, указывают лишь на то, что кавказский коллежский ассессор — чиновник 8-го класса, равный майору по Табели о рангах, и что приобретение этого чина на Кавказе облегалось произволом и злоупотреблениями местной администрации. Да полно мало ли в России было мест, где царил произвол и злоупотребления? Стоило ли из-за этого выводить Ковалева с Кавказа, да еще и подчеркивать, что кавказский коллежский ассессор — это совсем не то, что ассессор с ученым аттестатом? Что комментаторы! Исследователь, автор весьма интересной кни-

ги «Жизнь Россия и „Мертвые души!“» М. Гус, повторяя за Гоголем слова о претензиях Ковалева на чин майора, ограничился лишь объяснением, что-де «военный чин престижнее на Невском»...

Но дело не в престижности. Дело в том, что в России с 1809 года для получения чина коллежского асессора требовалось иметь университетский диплом. А между тем чин этот давал право на потомственное дворянство, а значит, возможность владеть крепостными. Прием на государственную службу для разночинцев был весьма ограничен, а сроки получения 1-го классного чина и последующих чинов вдвое большими, нежели для дворян. Но на Кавказе, который только еще осваивался административно, как и на других окраинах России для чиновников существовали определенные законом, а вовсе не возможностью злоупотреблений и произволом существенные льготы: здесь принимали на службу всех лиц «свободного состояния», здесь вдвое сокращались сроки производства в 1-й классный чин, а диплом для получения чина 8-го класса не требовался. Что же касается чина майора, то он был не просто престижнее: военные чины официально считались классом выше гражданских, так что майор, переходящий в гражданскую службу, автоматически получал следующий чин — надворного советника. И наконец, следовало бы объяснить злую иронию Гоголя, сказавшего о претензиях Ковалева на должность: между экзекутором и вице-губернатором «дистанция огромного размера», первый — мелкий чиновник, ведавший снабжением учреждений чернилами бумагой, метлами, по-нашему просто завхоз, а второй... Думаю, нет нужды объяснять кто такой вице-губернатор. Отмечу только что должность экзекутора связана была в зависимости от места службы с обладанием невысоким чином, а вице-губернатор находился в 5-м классе, то есть в генеральских чинах. Ковалев же, как мы знаем, имел чин 8-го класса.

В свете этого становится ясно, почему Ковалев с его претензиями оказался кавказским коллежским асессором. Это пuffed ничтожество, выскочка, тень порожденная демоном Невского проспекта. М. Гус, в книге которого тема демона Невского проспекта занимает важное место, напрасно прошел мимо приехавшего с Кавказа «майора» Ковалева, рвача-хищника и выжи- ги.

И Толстой и Гоголь писали для своих современников, людей своего круга, разбиравшихся и в особенностях придворного бы-

та, и в структуре чинов, и в правилах чиновпроизводства. Тогда все это не нуждалось в объяснениях. А сегодня наша задача — помочь выяснить мысль классика, порой скрывающуюся в архаичном слове.

Итак, ясно, что книги наших классиков нуждаются в обширных, подробных комментариях. Увы, они или крайне скупы, или нередко вообще отсутствуют. И уж совсем никуда не годится выпускать без комментариев учебную книгу для детей. В серии «Школьная библиотека» (М. «Правда») вышла в 1979 году книга произведений М. Ю. Лермонтова — без каких-либо примечаний! А ведь в лермонтовских стихотворениях и поэмах, вошедших в сборник, множество слов, непонятных современному школьнику («и вы, мундиры голубые»; «трехнедельный удалец», пришедший «с грозой военной» и упавший «в дальнем море на неведомый гранит», и т. д.). «Герой нашего времени» просто переполнен важными для раскрытия сути отношений в социальных верхах России намеками, заключенными в реалиях быта: «армейские эпюлеты», «нумерованная пуговица» и «нумерованная фуражка» и прочее. Каждый ли учитель сможет объяснить ученикам, что шинель толстого сукна и фуражка с номером на околыше были принадлежностью солдатской формы и что поэтому юнкера Грушницкого могли считать за офицера, разжалованного за романтическое дуэль или за политическое преступление; что на армейских мундирах были пуговицы с номерами полков, а на гвардейских — с двуглавыми орлами и что существовала непроходимая пропасть между аристократами-гвардейцами и бедным армейским офицерством. представителем которого в романе является Максим Максимыч?

Школьная реформа имеет целью повышение уровня образования и воспитания. Сознательное чтение не есть ли одно из важнейших условий для повышения этого уровня? Не пора ли нам перестать скупиться там, где дело касается круга детского, и особенно школьного чтения? А ведь есть у нас пример издания «Евгения Онегина» в той же серии «Школьная библиотека» с обстоятельнейшими комментариями С. Бонди, где рассказ о расшифровке десятой главы читается как увлекательный детектив. Я уж не говорю об уникальном комментарии Ю. Лотмана к «Евгению Онегину» или о комментариях С. Белова к «Преступлению и наказанию». Думается, давно пора снабдить в се школьные тексты подобными обширными пояснениями. Они сделают чтение книги еще более содержательным.

Едва ли не самый популярный жанр в нынешней литературе — исторический. Часто обращается к нему писатель В. Пиккуль. Однако культура слова в его исторических произведениях, без сомнения, могла бы быть существенно выше. В романе «У последней черты» («Наш современник», 1979, № 4) траурная процессия, провожающая гроб с телом Александра III, «превратилась в панургово стадо». Полагаю, нет нужды объяснять, что Ф. Рабле под панурговым стадом имел в виду отнюдь не нестройную, бредущую врозь толпу, а стадо глупцов, очертя голову бросающихся в пучину за вожаком. В романе «Битва железных канцлеров» В. Пиккуля (Лениздат, 1978, редактор Л. А. Плотникова) монахи названы к л е р и к а л а м и, очевидно, по созвучию со словом «клирик», хотя это далеко не одно и то же. В романе «Моонзунд» («Советский писатель», Ленинградское отделение, 1975, редактор Т. Д. Зубкова) некий офицер нахвистывает «разные шансонье», а ведь известно, что шансонье — это певец, нахвистывать же можно шансонетки. В «Миниатюрах» В. Пиккуля («Детская литература», Ленинград, 1983, ответственный редактор Е. В. Туинов, рецензенты — доктора исторических наук В. В. Мавродин, Ю. А. Лимонов и доктор филологических наук В. Я. Гречнев) художник Маковский расписывает потолки увражками; слово, конечно, «изящное», но даже гений не мог бы расписать потолки... роскошными крупноформатными альбомами гравюр (что и означает слово «увраж»). Там же встречаются «шедевральные щедрости в живописи»... Все это примеры весьма приблизительного словоупотребления, напоминающие известную поговорку об услышанном где-то звоне.

Такой же характер имеет и употребление В. Пиккулем исторической лексики. В тех же «Миниатюрах» «городовой сграбастал обоих (персонажей.— Л. Б.) за цугундеры и поволок их в ближайший участок»; в России действительно бытовало выражение «взять на цугундер», то есть на расправу, к ответу, но за цугундер ухватить человека было невозможно. Здесь же бергмейстеры, то есть горные инженеры в чине 8-го класса, говорят «гениусы» (очевидно, гений) и «калагалик» (вероятно, алкоголь). В романе «Пером и шпагой» (Лениздат, 1978, редактор Л. А. Плотникова) русский представитель приезжает к французскому двору «в наемном дилижансе», хотя дилижанс — вид общественного транспорта, регулярно курсировавший по определенным загородным маршрутам, нечто вроде современного междугородного авто-

буса. Здесь не раз говорится об обсервации как военной силе, хотя обсервация — понятие, обозначающее определение географических координат судна либо наблюдение за человеком, бывшим в контакте с заразными больными; очевидно, писатель слышал о существовании в середине XVIII века Обсервационного корпуса, то есть наблюдательного. В этом романе русские патрули «сикурсируют» по улицам Берлина; поясним, что сикурс — это военная поддержка, помощь, резерв. Наконец, В. Пиккуль заставляет престарелого адмирала Мишукова утверждать, что его «на восьмую десть уже кинуло», хотя у В. Даля можно прочесть, что десть — это мера счета писчей бумаги, стопа в 24 листа! Количество примеров можно увеличивать и увеличивать. Разумеется, ведь сказать в простоте «сграбастал за воротник», «приехал в наемном экипаже», «пошел восьмой десяток» — скучно...

Даже такой мастер, как Ю. Нагибин, несомненно писатель большой культуры, в недавно вышедшей повести «Сильнее всех иных велений» («Наш современник», 1984, № 12) не обошелся без греха приблизительного словоупотребления. Он пишет о «патриаршем суде» в середине XIX века, хотя патриаршество в России было упразднено еще в начале XVIII века. Напротив, «старушки из церковной десятки» — явление уже наших времен, а не описываемых в повести. Здесь не единожды приходские священники именуются «благочинными» (то есть приравниваются, таким образом, к лицам, возглавляющим группу приходов). Ярославский купец таскает за волосы «непотрафившего стряпчего», хотя стряпчий в это время был помощником губернского прокурора, значительной персоной, и выволочка стряпчему была хотя и возможным, но слишком дорогим удовольствием.

Недавно мне пришлось работать с проектом программы истории русской культуры, курс которой в течение шести семестров будет читаться студентам-филологам в венгерских университетах. Целых шесть семестров! Такого курса нет ни на наших филологических факультетах, ни даже в Литературном институте (а уж будущим писателям, журналистам, редакторам куда как необходимо тщательное изучение отечественной гражданской истории, истории культуры, общественного быта!).

Кстати, некоторый опыт подобной работы у нас есть: на историческом факультете МГУ в течение ряда лет читается спецкурс по истории атрибутов русского госу-

дарства, созданный покойным профессором П. А. Зайончковским, учеником которого я имею честь быть. Такой синтетический, объединяющий ряд дисциплин курс необходимо на мой взгляд, ввести на филологических факультетах и в Литературном институте. Тогда, может быть, мы не будем в книгах наших писателей сталкиваться со сценами, когда «урядник (в данном случае нижний чин уездной полиции.— Л. Б.) немедленно вызвал роту солдат и велел стрелять» (В. Осокин «Волшебный резец» — «Московский рабочий» 1981 редакторы Г. Егорова Л. Бузина) или читать, как мимо решетки Летнего сада идет «улан в треуголке с кивером» (все равно что в шапке с фуражкой — это два различ-

ных вида головных уборов, а уланы вообще носили специальные шапки), как то пишет А. Пистунова («Прикасаюсь к книге» — «Советская Россия», 1973, редактор А. Д. Сконечная)

Хочу чтобы меня правильно поняли. Речь идет вовсе не о том, чтобы каждый непременно знал, что такое прясло или шкворень, а о том, что литературоведы, писатели редакторы учителя-словесники должны всерьез изучать русскую гражданскую историю и историю русской культуры дополненную историей общественного быта.

Л. БЕЛОВИНСКИЙ,

*кандидат исторических наук,
доцент Московского*

государственного института культуры.

Химки



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Гальяна Иванова. Романтика рабочих строек. — И. Питляр. Достоинство человека. — Павел Сирнес. Путь и итог. — А. Николаевская. Цвета, и вкус, и тоны бытия.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Владимир Николаев. С верой в силу разума. — С. Яковлев. «Посвяти пламень своей правде».

Литература и искусство

РОМАНТИКА РАБОЧИХ СТРОЕК

Гарий Немченко. Возвращение души. Роман, повесть. М. «Современник». 1984. 318 стр.

Гарий Немченко. Избранное. Повести, рассказы. М. «Молодая гвардия». 1984. 542 стр.

«Возвращение души» — это книга из тех, где автор живет на ваших глазах. Он открывает свою душу, воображая нас, читателей, умными, чуткими, сострадательными. «Я с Антоновки, что под Новокузнецком, — представляется он. — Там свой дух. Поверьте, особенный» Если хочется ему шагнуть от повествования в сторону, заговорить о чем-то, к основному сюжету не относящемуся, он спрашивает: «Ничего, что я стал вдруг об этом? Вы поймете?»

Нам предлагают повествование о рабочем классе, гудящее моторами, хлопающее дверьми бытовок на просторных ветрах новостроек. Нас втягивают в раздумья о проблемах тяжелой нашей индустрии. Нам говорят о самоотречении самоотверженности, истовости в рабочей среде. О том, что в этой среде высоки нравственные нормы, крепки устои, что коллизии, возникающие на строительных площадках и в заводских цехах, романны, что рабочий язык отличен от языка деревни и столиц, но в нем своя образность, свои фразеоло-

гизмы, свои интонации — это тоже прекрасный русский язык... Во всем этом мы убедимся, прочитав книгу Гария Немченко «Возвращение души».

На открытой веранде в зимней сырой Гагре... Юрий Павлович, Юра Казаков, говорил, заикаясь больше обычного на чуждом для его чуткого уха слове: «С-старичок!.. Тебе надо забыть, что такое 3-з-зап-сиб (Западно-сибирский металлургический комбинат. — Т. И.). И станешь хорошим русским писателем!»

Ах, как бы хотелось им стать!

Но в силах ли мы приказывать собственной душе? А она летит туда и летит... Значит, что-то влечет ее туда? Что-то долгими часами там держит? Другое дело, и это моя вина, что до сих пор не смог с достаточной ясностью, с полной правдой высказать: что?

А забыть я, признаться, пробовал...» — пишет Немченко в самом начале книги.

«Проникающее ранение» (название романа) — так он определяет след, оставленный

в нем Запсибом И не в нем одном — в сотнях людей, отдавших грандиозной стройке лучшие годы

«И разве я не должен обо всем, чем мы жили тогда, рассказать, если так получилось: стать писателем выпало мне?» Он стремился писать так, чтобы об этой стройке «меньше всего бы пришлось выдумывать, а только рассказывать без прикрас о том, что было на самом деле: это ведь обычно куда интересней и приукрашки, и всякой выдумки».

...Как они хлебнули на втором конверторном! Тогда «большие люди в Госплане вдруг спохватились, что по стране дефицит стали намечается» И на своей Антоновской площадке они должны были срочно штопать эту дыру. По плану отпущено было им три года, но срок сократили вдвое...

«Я тогда, случалось, как звать меня бывал.— Это писатель дал слово старому своему другу, монтажнику.— Казалось, уже повидали всякого, но такой гонки, которая пошла у нас на стане «три тысячи пятьсот», даже наши старые волки не помнили... И такой, добавлю от себя, дерготни. И такой свистопляски Ты ребятам дай где развернуться, они черту рога сломят А какая, к шутам, работа, если бетонщик еще с фундамента своего не ушел, а на плечах у него уже примостился каменщик, раствором за воротник капает, а у него, в свою очередь, уже монтажник на ушах чудом держится, уже варит, уже и того и другого огоньком посыпает».

Способные на самоотречение. влюбленные в работу. сильные ею, в нее верящие люди стали героями этой книги. Иные повороты сюжета в рассказе могут показаться почти неправдоподобными, настолько они приподняты над обычным, над повседневностью настолько романтичны. Ну вот хоть ситуация с одним из тех, кто решил, что на стройке свое отрубил, хватит, и уехал в теплые края жениться Позвонил, чтобы на свадьбу позвать друзей, перечислил, что на столе будет, а потом спросил, как на стройке дела Ему рассказали, что дела неважные. Совсем неважные.. Он все бросил, всю свою затею с праздничным столом, свадьбой и теплыми краями и прилетел обратно И опять дорабатывался до того что стоя засыпал. Да что говорить, вся бригада уснула однажды чуть ли не на лесах, на высоте, на ледяном ветру. Большой начальник и сопровождающие его лица к ним поднимались, чтобы вручить именнные часы бригадиру. А бригадир спит со всем своим замечатель-

ным коллективом, как птицы на проводах. Надо было слышать, как начальник их замечательно распушал, как независим и остроумен был ответ бригадира, как все друг с другом в конце концов примирились.

Все это могло бы, повторяю, показаться неправдоподобным, но не кажется. Наоборот, воспринимается как самая что ни на есть правдивая правда. И одновременно — как романтическая поэзия. Поэзия рабочих городов, огромных заводов, великих строек. Чтобы передать ее, нужен особенный дар. И хорошо, что Гарий Немченко сумел не подчиниться (или не сумел подчиниться?) никаким, самым авторитетным советам, а подчиняется только душе, ее слушает: не бросает Запсиб, живет им...

Я ничего не скажу о повести «Брат, найди брата!..». Она добротна, но для нашей литературы обычна Роман же «Возвращение души» стоит особняком.

Смех — от души. слезы — горькие, дружба — верная, горе — воистину горе, работа — пока с ног не свалишься. Вот так в этом романе. Я бы, правда, вычеркнула из него главу «Сто шагов» — единственную, где как бы нет автора. Без него повествование сразу тускнеет, становится заурядным..

«Избранное» подтверждает: когда Немченко верен себе, он во всей силе. Как только идет от вымысла, а не от жизни — становится в рядок и делается незаметным, обыкновенным.

Повесть «Под вечными звездами» открывается главой «Озябший мальчик». Озябший мальчик, попутчик, говорил автору, как колотит его на боксерских тренировках партнер как не хочется сдаваться, говорил, что мама умирает в больнице, а отец недавно погиб в автомобильной катастрофе И он писатель, стремясь обогреть мальчика и ободрить, вселить в него силу, вспоминал свое и своих... Стояла перед его глазами безвитаминная жизнь в этом поселке. «в котором снег был уже изжелта-серым от заводской копоти». грамвай, в которые лучше все-таки не входить в чистой одежде. «потому что какому-нибудь совсем зеленому, только что из училища рабочему человеку больно уж хочется прокатиться в черной с блесками графита сталеварской куртке, чтобы все видели — парень, понимаешь, не пыль с пряников в гастрономе сдувает...».

Все-таки они чуть-чуть согрелись друг возле друга. И мы согрелись. И это «не сдавайся» остается с нами, придает силы. Потому что звучит из уст человека, умеющего

противостоять ударам судьбы, черпая силы в реальной жизни в обычных людях которые окружают не только его, но и меня, и вас. Может быть, просто писатель яснее видит оптимизм жизни острее чувствует чистоту и верность людей большие доверяет им, полагается на них. Потому и писатель. Недаром же прежде говорили, что писатель — учитель жизни...

Хороша и повесть «Долгая осень» с обаятельными героями интересным сюжетом, богатой фабулой. И все же рядом с повестью «Под вечными звездами» после только прочитанного романа «Проникающее ранение» «Долгая осень» как-то никнет.

Писатель сам настраивает на откровения, думает: пусть и держит этот уровень, достигнутый в романе. Наверное, требование это безжалостно, жестоко. Но ведь литературное дело и вообще безжалостно к тем, кто служит ему. Ибо такая нужна самоотдача, такая способность отдать слову душу, что они под силу немногим.

«Эти маминьы передачи» — вот избранный мною рассказ из «Избранного».

...Они с другом несли по Новокузнецку тюльпаны, присланные мамой, целое ведро тюльпанов по слякотному, покрытому графитно-черным снегом Новокузнецку. За ними шла толпа.

— Куда вам столько?

— А почему не продать? Ради праздника!

— Ну хоть парочку — мне в больницу...

И тогда «из толпы вышел высокий мужчина, полковник милиции... У него были очень густые и черные, с серебристой се-

диною усы и светлые, с юношеским блеском глаза». И этот замечательный полковник обратился с замечательной речью к несущим цветы и жаждущим цветов. И те, кому действительно были необходимы цветы, их получали.

Автор прекрасно понимает, что эта история красива как тюльпан, такой чуть-чуть искусственной, восковой красотой. Слишком яркий это цветок. И потому он, автор, пишет нам: «И пусть тогда на улице, покажется вам, все происходило как в кино, мне ничего не хочется тут менять — раз так оно и было на самом деле, и если кто говорил о маленькой девочке или о дне рождения у жены, значит, сущая правда — не такой это город, Новокузнецк, в котором про это стали бы врать».

Очень хочется верить в существование таких тюльпанов...

Еще выбираю «Тихие зарницы». Потому что и здесь опять вижу собственный, единственно ему, Немченко, принадлежащий опыт. Не сибирский, а кубанский, первой его родины детской и отроческой. Чувствуется крепкое перо и в рассказах «Гостиница в центре», «Красный петух плимутрок», «Хоккей в сибирском городе».

И доставать с полки книги Гария Немченко, чтобы перечитать, я буду прежде всего ради романа «Проникающее ранение», повести «Под вечными звездами», а также именно тех рассказов, которых другой писатель написать не мог бы, просто потому что их не пережил. Вот такое «избранное».

Татьяна ИВАНОВА.



ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

Борис Екимов. Елка для матери. Рассказы. М. «Советская Россия», 1984. 302 стр.

Борис Екимов. Холюшино подворье. Рассказы и повесть. М. «Советский писатель», 1984. 360 стр.

Борис Екимов. Рассказы. «Наш современник», 1984, № 6.

Излюбленный жанр Бориса Екимова — рассказ. Или небольшая повесть. Одна из них, «Холюшино подворье», под разными названиями вошла во все последние книги писателя.

Кто же такой этот Холюша, по паспорту — Варфоломей Вихлянецев? В известном смысле это одна из главных достопримечательностей большого, придонского хутора. Одинокий старик инвалид, он поднимает огромное хозяйство, «цельный колхоз», по выражению одного из соседей. В самом деле, на базах у Холюши «не ветер шумел, а жила и плодилась скотина: добрая ко-

рова-ведерница, от нее же телка-двухлетка, летошний бычок зимовал, нагуливал мяса; на козьем базу хрумтели сенцом десяток коз да козел Ерема, а с ним шесть овечек. Мирно похрюкивали подсвинки. Два десятка гусынь днями вперевалку бродили по двору или серыми валунами лежали на грязном снегу. Распускали жесткие хвосты и крылья, чуфырились два индюка наливались кровью, а временами лениво билась перед добрым табунком сытых, подбористых индюшек. Здесь же галдели утки, греблись куры, которых стерегли два петуха, белый и рыжий.. Ниже

лежал огород, наверное, самый большой в хуторе. За ним, на берегу, старый сад с покосом. Уж ему-то равных не было во всей округе». Вот такое подворье было у Холюши. Спрашивается, может ли один человек, да еще старый и увечный, поднимать такое хозяйство? Конечно же не может! Один строгий критик, все подсчитав, так и заявил: не может, неоткуда Холюше столько фуража напасти, не управится он одновременно и со скотом и с садом-огородом, сказки все это, выдумки! А у Екимова Холюша почему-то все же справлялся со своими действительно неподъемными, непосильными обязанностями, и все у него цвело и хорошело, плодилось и множилось. Может, и впрямь сказки все это?

Бедный Холюша вряд ли мог себе когда-нибудь вообразить, какие бурные баталии вызовет в критике появление на литературной арене его скромной фигуры. Кого только и что не поминали защитники и хулители Холюши в ходе дискуссии на страницах «Литературного обозрения». И «нравственный закон внутри нас», и американскими фермером, и доказанную еще классиками марксизма несостоятельность «теории устойчивости мелкого крестьянского хозяйства», и утверждение некрасовского Дедушки о том, что «воля и труд человека дивные дивы творят», и Холюшину «жадность к труду», и его же «душу собственника», и народнические теории, и героев Глеба Успенского, и, наконец, извечный конфликт литературы о крестьянстве между своим и общим (со ссылаками на богатый опыт советских писателей в этой области и конечным выводом о том, что «Холюша — не колхозник»), и многое другое поминали в споре о «негероическом бытии» (название статьи Б. Анащенкина — «Литературное обозрение», 1980, № 7) екимовского Холюши.

Что ж, если Холюша по своему бытию и нынешнему положению (но отнюдь не по своей психологии) действительно не колхозник, то вот вам другой герой Екимова, с того же хутора, что Холюша, — тракторист Тарасов из одноименного рассказа. Он тоже одна из хуторских достопримечательностей. Об этом богатыре сторонним людям хуторяне тоже рассказывали много и охотно — «о том, как он зараз двадцать вареных яиц съедает, два фунта сала или целого гуся да четвертью молока запивает. А потом сутки напролет может из трактора не вылезать. Пашет и пашет». Этого Тарасов работает на колхозном поле за десятерых, а подворье у него, между прочим, не хуже Холюшиного. И подход у

них к жизни и к своему труду, в общем-то, одинаковый: все, что родится, произрастает и множится, нуждается в твоей заботе, все это для тебя кровное, все требует твоего труда. Но вот парадокс: ворует честнейший Тарасов. Тайком возит на колхозном тракторе колхозную же солому на вихляевский комплекс, куда согнали молодняк из четырех смежных хозяйств, а о кормах не позаботились... И именно Тарасов понял, почувал «тяжкий и долгий голод скотины» (читать об этом горько и страшно) и вот — ворует (свое, общее?), чтобы накормить это голодное стадо молодняка (своего, общего?), и, конечно, должен понести за это положенное наказание.

Герой рассказа «Казенный человек» Трубин не колхозник, а инженер. Ему сорок лет, из них семнадцать он провел на заводе. Он механик цеха по изготовлению тракторных деталей. Совсем другая «среда обитания», другая область деятельности, другой уровень развития человека, а взгляды к нему получше — тот же Тарасов или Холюша (в критике эти персонажи уже сопоставлялись). Спроси у них, любят ли они свою работу. Холюша с Тарасовым, наверное, только пожмут плечами (Холюша, может, даже оправдываться станет: «Нас власть призывают... Разводят... Кормитя города... трудюся»). Трубин же прямо скажет: «Черти пусть ее любят... как собака палку, я ее люблю». В самом деле, завод сжирает этого человека целиком. Для дома, для родных своих — детей, жены — времени и душевных сил не остается вовсе. На заводе тоже сплошь неприятности, одних критических отзывов в печати о работе завода скопились у Трубина целая папка. Совсем уж решил он уйти с завода и даже поссориться «в кровь» с начальником цеха сумел по этому случаю, а чуть только замаячила на горизонте перспектива пуска новой автоматической линии головки — и уже бежит Трубин к тому же только что жестоко оскорбившему его начальнику, и «улыбается во весь рот», и уже забыл начисто о своем здравом решении уйти с завода, сбросить это тяжкое бремя. Позже Холюша у Екимова поступит точно так же: откажется от возможности уйти на покой, оставит свое подворье, когда его корова Звезда принесет ему замечательную перспективную телочку Звездочку.

Вы же «пожизненно заводской», скажет Трубину рабочий-парнишка (один из тех, кому Трубин давал читать свою «папочку» с критическими вырезками), и это очень верные слова. Трубин — «пожизненно завод-

ской», а Тарасов или Холюша — пожизненно сельские. Принцип деятельности у них общий. Кто здесь хозяин, кто кого ведет? Сдается, будто само дело ведет за собой человека, требует от него того или иного поступка, решения. И он должен подчиняться своему делу, понимать его требования и не жалея сил выполнять их. Дело требует хозяина. Такого, как Холюша, Тарасов, Трубин, как баба Поля (рассказ «Последняя хата»), как мать Степана («Переезд») с ее постоянными присловьями в третьем лице — «матаря все возьмет», «матаря все обработает», — как больничная няня Шурочка («Шурочкино племя»), как многие другие любимые люди писателя. Надо ли говорить, как важны они для жизни — сегодняшней и всегдашней!

Приедет такой «екимовский человек», скажем, в Москву, и все ему нейдет: «У вас много места. Я глядел. Все в бурьянах вокруг. А вы насадите везде сады да глядите за ними, чтобы все родило, да чтоб побольше. Вы это бросьте... Я вам работу найду» (рассказ «Старший брат»). Навивно? Наверное. Но не может, никак не может «старший брат» этот смотреть на пустые, захламленные «земли и воды», не прикидывая в уме, как все это «в дело прозвестя»...

Или другой екимовский чудака, Николай из рассказа «Эксперимент». Во время отъезда жена загнала его на крышу конек чинить. И вот сидит он на крыше и видит, как по поселку машины снуют — и все порожняком. И расстроился Николай и подумал о том, сколько люди «земли перерыли» в поисках железа, нефти, сколько машин понастроили. А зачем? Чтобы Павел Коротков испорченный будильник на пяти тонке в мастерскую повез? Этак всю землю перероят, «никаких планет не напаешься!». И вот уже снова сидит Николай на своей крыше — «проводит эксперимент»: разделал лист бумаги пополам, ставит на нем кресты и нолики (крест — груженная машина, ноль — порожняя). О результатах эксперимента он напишет в Москву, прямо в Кремль. Рассказ очень шукшинский, подобных у Бориса Екимова много («Ночные беседы», «Бизнес», «Болезнь», «Обида» и другие). И у того и у другого писателя все очень конкретно, прямо из жизни взято — здесь вот, рядом увидено (но не случайно, конечно, именно это увидено и выбрано). И у обоих в каждом, самом малом рассказе большая, существенная мысль. Только у Екимова мысль, «тенденция» обнаженной, характер менее индивидуализирован, более обобщен, что

ли. И интересует его человек прежде всего тем, каков он в деле и чем оно, это дело, ему отвечает. Существует между ними «взаимная любовь» или нет.

Гражданский интерес толкает Екимова и к другим как бы прогиволожным болезненным точкам. Прежде всего к одной из самых болезненных точек времени — к теме пьянства, безвозвратного саморазрушения личности. Уже было замечено в критике, что у Холюши в рассказе есть свой «антагонист» — запяньцовский колхозный электрик Митька. Происходит между ними такой диалог:

«— Мы с тобой, Халамей Максимыч, одной породы.

— Это какой?

— Алкоголики.

— Эт почему?

— Я на водке помешанный, — объяснил Митька, — а ты на скотине. А? Как? — И победно рассмеялся.

Как мы понимаем, победой здесь и не пахнет, да и смеяться нечему. От рассказа к рассказу усиливаются писательские гнев и горечь при столкновении с этой большой темой. Поначалу, похоже, он склонен был смотреть на своих алкоголиков с большими добродушием и снисходительностью. И были они у него, в общем, люди совестливые, не лишённые внутренней привлекательности (рассказы «Солист какого-то оркестра», «Ночные беседы», прекрасный рассказ «Путевка на юг»). Но чем дальше, тем все сильнее Екимов (и вся наша отзывчивая на общую боль литература) ополчается на это страшное (и, увы, живучее) зло, на этого врага народа номер один, как, наверное, можно было бы сейчас назвать водку.

Екимов — правдивый и зоркий писатель. Чувствуется, что всех своих героев и все происходящее с ними он берет из той жизненной среды, которая ему известна по личному опыту: современная армия, заводской цех, редакция газеты (работе журналиста посвящена повесть «Частное расследование»), поселок или хутор. Выдумывать он не любит — таков характер его дарования. И вот видит он, как много зла несет с собой пресловутый зеленый змий. И все суровой становится тон рассказов Екимова на эту тему, все громче и настойчивей звучит в них вопрос: «Что нам с этим делать?»

«Новый год», «Шурочкино племя», «Чапурин и Сапов», «Мой товарищ Николай», «Человек для Раисы» (последние три рассказа не успели войти в рецензируемые сборники) — это уже художественные свя-

детельства гибели, полного разложения и опустошения сильно и постоянно пьющего человека, полной потери им человеческого облика.

Рассказ «Чапурин и Сапов» очень характерен для писателя. Здесь резко противостоят друг другу управляющий отделением колхоза Чапурин, человек трубинско-холошинского склада, сроднившийся со своим непростым делом, искренне переживающий из-за того, что некому пасти колхозных коров (и потому привесы у них составляют 19 граммов на каждую!), — и колхозный скотник Юрка Сапов, беспробудный пьяница и дурень, заботам которого как раз и вверены те самые несчастные гурты коров, что «нагуливают» по 19 граммов веса. Доверчивому, добросердечному Чапурину показалось было, что Юрку Сапова можно как-то вразумить. Пустые надежды! Юрка не хочет и не умеет работать. Он не хозяин своему хозяйству и не отец своему ребенку. Напившись в очередной раз, Юрка пускается во все тяжкие: продает колхозное имущество, губит лошадь.

Распад личности тут, пожалуй, необратим. И трудно ждать чего-нибудь от разметчика Николая («Новый год»), бывшего таксиста («Мой товарищ Николай»), от мужиков, что приезжают свататься к овдовевшей Раисе («Человек для Раисы»). Получается, что первый враг Трубину, Чапурину, Холюше и вообще людям их склада — именно пьяница, который нередко еще и лодырь, прогульщик, расхититель народного добра и хулиган.

Напрасно мы стали бы спрашивать у Бориса Екимова, как нам бороться с этой бедой. Здесь он знает и может, очевидно, не больше, чем его Чапурин. Но писать и думать об этом необходимо. Может, сообщая до чего-нибудь и додумаемся.

Недавно, перебирая бумаги, я наткнулась на старый листок с чьими-то хорошими словами: «Истину, хотя бы и самую печальную, надо стараться увидеть, и необходимо непрерывно показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не учащей, но наказующей за невнимание к ней». Не помню, из какой книги я выписала эти слова, но, видно, умный и честный человек их сказал, и, главное, очень кстати оказались они сейчас в разговоре о Борисе Екимове.

Писатель любит своих героев. Даже к Юрке Сапову он хотел бы подойти по-чапурински жалостливо, хотя и не заслуживает уже Юрка жалости и снисхождения. За добро и сочувствие он платит бессмыс-

ленной жестокостью. Плохо было Чапурину — так заканчивается этот рассказ. Плохо, тяжело и писателю рассказывать об этом. А надо. «...чтобы не дожить до истины более горькой...»

Вот и кончается уже отведенное рецензии место, а я еще и половины не сказала того, что хотела сказать. И может у читателя вдруг создаться неверное представление о Екимове. О том, что он писатель очерково-публицистического по преимуществу склада, об ограниченности и сиюминутности его проблематики. А это совсем не так. Доброе отношение писателя к человеку и миру, в котором тот живет, угадывается в мягкой пластике описаний, в самой повествовательной интонации.

Екимовский герой твердо стоит на земле, смотрит вначале под ноги, а потом поднимает глаза, видит дальние планы и небо, меняющиеся краски восхода или заката, гонимые ветром облака... Сочетание близкого, неподвижного с далеким, летящим создает особую лирическую наполненность, особую взволнованность и одухотворенность екимовского пейзажа.

Сильная сторона дарования Б. Екимова — юмор, неброский, подчас как бы подспудный. Им неизменно окрашивается все повествование. Мы узнаем, например, что Тарасов умел разговаривать со своими тракторами:

« — Ну, чего тут? — входя под навес, негромко спросил Тарасов. — Живые?»

За этими короткими словами крылось многое и доброе. У трактора это понимали. «Беларусь» знал, что сейчас хозяин сунет ему факел под брюхо, согретья поддон, а потом в радиатор горячей воды зальет — и живительное тепло потечет по жилам. И все остывшее за долгую морозную ночь стальное тело его начнет оживать».

Вроде бы и смешно, а в сущности — недалеко от серьезного.

...Есть некий разрыв между тем, как пишет прозаик, и тем, как пишем мы, критики. Он живописует, мы — формулируем. Он говорит «Тарасов» или «Холюша», мы говорим «герой». Он расскажет нам о прекрасном звездном небе, похожем на цветущий луг, мы скажем — «пейзаж». Там, где он увидит жизненную драму, мы найдем «конфликт». Услышавши «тонкследаю», «тихоломом», «они (грибы.— И. П.) на гóв-нах растут» «вчерасика» и тому подобное, скажем «диалектизмы». «местные обороты». Но ведь это несправедливо, неадекватно писательскому слову. Даже обидно, быть может. А как сказать по-другому?

Увы, не знаю. А так хотелось бы донести до читателя свой непосредственный сердечный отклик на хорошую прозу Бориса Екимова. Прозу, где тема человека и его работы раскрываются так убедительно и серьезно, где объявлен бой тягчайшему из

социальных пороков — пьянству и поэтически возвышен самоотверженный труд, где существеннейшей, насущной является мысль о нераздельности человека и дела его рук и его разума.

И. ПИТЛЯР.



ПУТЬ И ИТОГ

Константин Ваншенкин. Собрание сочинений в трех томах. Том I. Стихотворения. 1945—1967. 623 стр. Том II. Стихотворения. 1967—1983. 783 стр. Том III. Проза. 607 стр. М. «Художественная литература». 1983—1984.

Сергей Залыгин высказал однажды такое соображение: «Я иногда думаю, что собрания сочинений и сборники стихов того или иного поэта вещь обоюдоострая: с одной стороны, они дают об этом поэте наиболее полное представление, с другой же — вносят академизм и определенное однообразие в восприятие его творчества и личности, лишают нас того чувства неожиданности, которое сильнее проявляется при чтении одного или нескольких отдельно взятых стихотворений».

Когда поэт испытывает потребность явиться перед читателем с новой книгой, он обычно подчиняет весь ее состав некоему лирическому сюжету, а не хронологическому принципу — совпадения здесь реалки. Отдельные произведения, циклы стихов, располагаясь не произвольной вереницей, но тематически поддерживая друг друга, взаимодействуя ритмически, ведут рассказ о душевной жизни автора. Композиция оказывается как бы сколком, по старинному выражению, физиогномии стихотворца.

Особое дело — избранное. Подчиняясь значению слова, тут естественно отсеять все, не выдерживающее проверки временем. Однако и в этом случае, должно быть, не лишена смысла попытка сложить издание гармонически целое, наиболее адекватно выражающее движение поэтического чувства.

Ну а как составлять собрания сочинений поэтов? Принятое на практике расположение стихов в той последовательности, в какой они появились на свет, кажется чуть ли не единственно возможным, но создает ряд проблем. Что включить из написанного за всю предшествующую жизнь? Предстать ли в наиболее полном виде или в наиболее выигранном свете? И архитекtonика томов — как их конструировать? Как избежать опасностей, кон проницательно подметил Залыгин? О них наверня-

ка догадывается каждый, кто удостоился чести издать собрание, как бы подводящее предварительные итоги...

Константин Ваншенкин предпочел простое и ясное построение трехтомника: первые два тома отданы стихам, последний — прозе. Эти первые разбиты на разделы — по десять в каждом, соответственно числу охваченных поэтических сборников, а стихотворения в разделах теперь расположены по хронологическому порядку. Прозаические произведения, взятые из прежних шести книг, также даны строго по датам написания. Сорок лет литературной работы!

В заметке «О себе», открывающей первый том, Константин Ваншенкин немногословен: основные вехи жизни и творчества, перечень книжек. Но и здесь он как самые главные обстоятельства собственной биографии отмечает встречу с Михаилом Васильевичем Исаковским в начале пути и влияние Александра Трифоновича Гвардовского, который посоветовал ему обратиться и к прозе. Два эти имени проясняют творческие ориентиры автора.

О Константине Ваншенкине уже с первых его шагов в литературе много и охотно писала критика. Причем по преимуществу благожелательно.

После первых ваншенкинских прозаических опытов А. Урбан, к примеру, высказался так: «Репутация у Ваншенкина сложилась определенная. Поэт хороший, но очень уж подробный. Избыточно описательный... он достиг в своей поэзии уровня, который не позволяет ему больше оступаться в прозу, подменять лирику стихотворным очерком».

Любопытно, что Ваншенкин реагировал на наблюдения ленинградского критика следующим образом: «Возможно, это и верно. И все-таки основное мое было, думаю, со мной с самого начала».

Константин Ваншенкин, готовя трехтомник, представил читателю достаточно полную картину собственного развития.

В ранних разделах выявлены черты творческого облика поэта, которым предстояло окрепнуть, — любовь к выразительной детали, разговорная естественная интонация, склонность к афоризму, яркая образность. В эту пору поэт творит мир простой, непритязательный, сложенный из уклада солдатской службы, реалий окопного или казарменного быта. В его подходе к действительности отражена субординация армейских ценностей. Тут он находит и нравственную опору. В этом мире «луна похожа на луну и ни на что иное». Здесь казенные сапоги могут стать источником лирического одушевления. О ротном писаре сказано: «Все же он был солдатом, — он со степен изрытых письма в родные хаты слал матерям убитых». Неуклюжее «со степен изрытых» тут искупается чисто ваншенкинским строем поэтической речи.

Весьма умозрительными кажутся строчки, подобные этим:

Мосты упали на колени
И воду из Дуная пьют...
Всю ночь идут соединенья,
И каблучки всю ночь куют.

Речь идет о взорванных мостах через Дунай. Увидено, услышано, а вернее, вспомнено, может быть, и верно, но броские метафоры, выросшие из действительных впечатлений, едва ли органичны, скорее всего здесь дань литературности.

А вот не столь уж редкий пример самостоятельной наблюдательности:

Утром, незадолго до привала,
Возле незнакомого села
Пуля парня в лоб поцеловала,
Пуля парню брови обожгла.

.....
Покачнулся парень удивленно
И припал к проталине сырой.

И винтовка, тоже как живая,
Вдруг остановилась на бегу
И упала, ветви задевая.
Притворившись мертвой на снегу...

Смерть товарища становится поводом для изобразительности, здесь, пожалуй, неуместной. Да и конец стихотворения, бодрое его резюме —

Но стоит винтовка боевая
В пирамиде нашего полка —

несколько риторично.

Вообще говоря, в иных ранних стихах Ваншенкин не избежал соблазна сочинительства. Лишь когда автор захвачен истин-

но поэтическим чувством, оно передается читателю через строки, о которых не скажешь, как и из чего они возникли:

Зашел боец в избу напиться
И цедит воду из ковша.
Свежа студеная волида.
Хозяйка очень хороша.

Напился, закурил устало.
Она глядит на синий дым.
Муж у нее чудесный малый.
Ей хорошо, должно быть, с ним.

Бойцу ж ни холодно, ни жарко,
Его-то дело — сторона,
Вот разве что немного жалко
Бойцу, что замужем она.

Удивительно, что Константин Ваншенкин не сразу обратился к обжигающему военному прошлому. Ал. Михайлов, сравнивая два поколения фронтовых поэтов, пишет: «Что же касается младших, то возрастная и интеллектуальная зрелость позволила им с годами найти свои подходы к теме войны, такие подходы, где успех решал не столько конкретный личный опыт, сколько характер дарования, масштаб поэтического мышления, знание истории».

Ваншенкин, которого с первого его появления в литературе зачислили в армейские запевалы младшего призыва, не торопился с освоением темы. Он прорабатывал ее исподволь, сознавая, насколько ответственно каждое обращение к ней, учитывая достижения старших товарищей.

Зато другие его поэтические интересы выявились довольно скоро. Правильно было бы сделать вывод, что он проникся идеей широкого охвата современной жизни. Пожалуй, нет такой сферы человеческого существования, где бы не испробовал себя поэт. Не оставляет его равнодушным и природа с ее летучими настроениями и упорядоченной сменой состояний, дающих импульс и душевному движению и философскому раздумью. Даже беглый список названий стихов Ваншенкина представляет разнообразие, чтобы избежать слова «всеядность», этого творческого кругозора: «Актриса», «Снегопад», «Мальчишка», «Футбол», «Студентка», «Гроза», «Немое кино», «Зимний базар», «Рабочий», «Городские костры», «Соловьи» и т. д.

Лирический герой поэзии Ваншенкина привлекает устойчивостью и постоянством сердечных привязанностей, надежностью и сдержанностью чувств, требовательностью к себе и к другим:

Я ценю свой прочный дом,
Ясность мудрую в народе
И естественность во всем:
В жизни, в женщине, в природе.

Безыскусственности! Сестра
 Высочайшего искусства!
 Что мне громких слов игра,
 Если сердцу с ними пусто!

Обаяние ваншенкинского лирического героя, на мой взгляд, несколько умалется некоторым налетом его самоуспокоенности.

Стихотворения из первых книг порой грешат многозначностью. Поэтическая мысль исчерпана, но слова еще нанизываются. С годами Ваншенкин становится лапидарнее, как в миниатюре, посвященной М. Луконину:

Такая даль прозрачная
 За Волгой,
 Такой покой
 В себе она таит,
 Такая осень
 Долгая стоит,
 Что верится:
 Жизнь тоже будет долгой.

Собственно, версификаторское умение, формальная изощренность мало занимают Ваншенкина. Супероригинальные рифмы, быющие в глаза эпитеты — не это волнует его. Натуральность выражения интонационное разнообразие, мелодика стиха — вот сильные стороны поэта. Потому, наверно, многие ваншенкинские стихи с такой органичностью обратились в песни, хотя, по свидетельству автора, для пения не предназначались. Назову самые популярные: «Я люблю тебя, жизнь», «Я спешу, извините меня», «За окошком свету мало», «Алеша», «Вальс расставанья».

В 1973 году в «Набросках к роману» Константин Ваншенкин обнаружил письмо Твардовского, признав его одним из значительнейших в своей жизни. Александр Трифонович откликнулся на присланную ему книжку стихов «Волны» Твардовский, отмечая талантливость младшего коллеги, воспользовался правом старшего по возрасту и позволил себе ложку дегтя (только в одном предупреждении) (здесь и далее разрядка Твардовского — П. С.). «Вот у Вас такой продуктивный 56 год, которым помечено большинство стихотворений.. но я не нашёл, чтобы эта продуктивность была в плане и духе некоей генеральной думы, одержимости каким-то чувством задачей поиском,— нет всего понемногу но в основном та же очень приятная (покамест!) любовь ко всем житейским цветам и оттенкам, готовность отозваться на все, что идет в душу на снег, на дождь на прочитанную книгу, прослушанную песенку, подмеченную подробность

той или иной картины.— и отозваться хорошо, выразительно, но уже, простите меня, с некоторой набитостью руки и в малых секретах изготовления «вещиц», не плохих, даже хороших, но все уже на одиозной покрове». Предваряя письмо пятнадцатилетней давности, Ваншенкин утверждал: «Полагаю, что оно сыграло немалую роль в моей судьбе. Вероятно, я получил его в самый нужный момент, не позднее, чем следовало. Оно заставило остановиться, задуматься, помогло посмотреть на себя со стороны».

Ваншенкина можно понять. Несомненно, вся дальнейшая — после января 1958 года — работа его шла как бы с учетом этого письма. Поэту и раньше было свойственно время от времени возвращаться на завоеванные плацдармы, искать в освоенном, казалось бы, лирическом пространстве что-то упущенное. Теперь, на новом витке восходящей творческой спирали, такие возвращения знаменуют желание выразить ту генеральную думу, которой не доставало в его поэзии Твардовскому. Опять и опять «воспоминания ощущений», по счастливому выражению Ваншенкина, будоражили сердце, и появлялись лучшие его стихи о войне, такие, как «Проводы», «Сон», «Смерть», «Возвращение», «Первая любовь», «Солдаты», «Зачем, искушая судьбу...», «Давным-давно», «В дни тишины и в годы грозовые...», «Курсанты», «Новое поколение», «Тихо раненый лежит...», «Начало», «Особенное наше поколение», «Солдат-мальчишка летним днем...», «Сидна», «Париж французы не сожгли...».

Между тем непросто было найти собственный взгляд, когда у всех на слуху антологические военные стихотворения Суркова и Симонова, Твардовского и Исаковского, Сергея Орлова и Гудзенко, Наровчатова и Луконина. Ваншенкин нашел его, потому что, как он сам программно и сильно заявил,

Важно быть участником событий!
 Именно из этого потом
 Возникают молнии открытий.
 Дерзкий стих и достоверный том.

Пусть художник тот, для всех безвестный,
 Для себя конечно, в том числе.
 Сам пройдет по снежной и железной,
 Круто перемешанной земле

Может он считать себя счастливым,
 Если задыхался он в дыму.
 Если глина, поднятая взрывом,
 Сыпалась за шиворот ему

Важно быть участником событий!
 А потом, в какой-то новый час,
 Тайна вдохновенья и найтца
 Низойдет при случае на нас.

Да ведь он и прежде был участником событий! Что же изменилось? А то, что заново осмысленная и многократно душевно переживаемая фронтовая молодость стала органичным, глубинным содержанием творчества Общечеловеческое содержание и высокое поэтическое чувство помогали обрести свое, незаемное, как в «Возвращении»:

Вернулся муж с большой войны,
Ушла родня, все гости тоже,
И слушал он шаги жены,
Уже в постели мягкой лежа.

В буфет посуду убрала,
Поднять окурок наклонилась,
Сняла скатерку со стола
И наконец угомонилась.

Шинели тронула рукав,
Щекой припала, вся зарделась,
Потом прошла за старый шкаф,
Свет погасила и разделась.

Все в этой картине возвышенно и психологически достоверно, хотя автору не сравнялось и двадцати в год победы. Такие стихи мог написать только бывший фронтовик.

В тех же «Набросках к роману» Константин Ваншенкин высказал предположение:

«Вероятно, наши старшие коллеги были на войне в более выгодном положении: они вели записи дневники, собирали документы, у них была возможность быстро и широко передвигаться, наблюдать военачальников и порой общаться с ними, но, помимо, и у нас были свои преимущества: мы все-таки многое видели и чувствовали более «изнутри».

Через много лет после войны я испытал потребность написать об этом еще в прозе, ибо не все вместились, да и многое просто по законам жанра не вмещается в стихи, и я написал первую свою прозаическую вещь — «Армейская юность», а следом вторую — «Авдюшин и Егорычев» — о войне, о своих товарищах и о себе».

Здесь четко выявлены как истоки ваншенкинской прозы, так и ее необходимость, неотвратимость для автора. Насколько же отвечала она ожиданию читательской массы, стала ли открытием новых, до того неизвестных подробностей кровавой страды, выпавшей на долю нашего народа?

Надо полагать, подтолкнув Ваншенкина к повествовательному роду творчества, Твардовский хотел не только помочь поэту освободиться от издержек его манеры,

о чем нелестно сказал в том знаменательном письме. Видимо, Александр Грифонович угадывал в Ваншенкине перестраченный запас жизненного, духовного опыта, которому лучше всего отвечает специфика прозаических жанров.

И вправду, «Армейская юность» сразу же привлекает читателя безыскусственной простотой рассказа, остротой коллизий, воспринимаемых как обыкновенные будни войны, повседневным очерком существования простого солдата — молодого человека, только вчера со школьной скамьи. Своеобразная стереоскопичность эпизодов возникает от двойного зрения — тогда и сейчас: «Мы, конечно, были захвачены происходящим на наших глазах событием, но отнеслись к этому без всякого удивления, словно всю жизнь только и смотрели, как болтаются парашютисты, зацепившись куполом за хвостовое оперение. Я не раз замечал потом эту поразительную способность не удивляться попусту, не суетиться, сохраняя полнейшую собранность и спокойствие, — привычку, свойственную русскому человеку».

Мужание юной души в экстремальных обстоятельствах воздушно-десантной службы на фронте прослежено без выспренной героизации, которой грешат иные облегченные книги и о менее опасной воинской работе.

Как убеждает Ваншенкин, у рядового солдата, сержанта (он сам демобилизовался сержантом) действительно есть кровью и потом оплаченное преимущество — знание войны изнутри. Это-то знание, мне кажется, и роднит документальные «Короткие заметки» Константина Ваншенкина (именно такой скромный подзаголовок у повести «Армейская юность») с военной прозой К. Воробьева, В. Кондратьева, К. Колесова.

В критике закрепилось понятие — проза поэта. Отличительными приметами подобной прозы считаются фрагментарность, плотность письма, богатство и разнообразие изобразительных средств. Все названные признаки присущи невыдуманному повествованию Ваншенкина. Вместе с литературными воспоминаниями, очень личными по тону, они, как кто-то точно определил, составляют главы продолжающегося автобиографического романа.

В основу других прозаических ваншенкинских созданий — повести «Авдюшин и Егорычев», рассказов — положен жизненный материал, близкий к тому, что уже

был и до него запечатлен в автобиографическом жанре. Все это вполне добротное. Вещи, написанные в таком ключе, несомненно находят своих ценителей. Но подлинными удачами прозаика Ваншенкина, на мой взгляд, были до сих пор связаны историей его собственной жизни. Константин Ваншенкин однажды написал:

Отгрохотали в небе грозы,
Легко дышу.
К себе в поэзию из прозы
Опять спешу.

Последуем за ним. Ведь в нашем читательском сознании он остается прежде всего поэтом.

Павел СИРКЕС.



ЦВЕТА, И ВКУС, И ТОНЫ БЫТИЯ

Вирджиния Вулф. Миссис Дэллоуэй. Роман. «Иностранная литература», 1984, № 4.

Произведения мастеров английской «новой прозы» («Дублинцы», «Портрет художника в юности» и «Джакомо Джойс» Джеймса Джойса, «Англия, моя Англия...» Дэвида Герберта Лоуренса, «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф) стали достоянием нашей культуры сравнительно недавно, но их публикация, без сомнения, закономерна. Нужны эти книги о прошлом хотя бы потому, что без них эстетическое и этическое настоящее было бы куда беднее. Споры о модернизме, алитературе, антигерое, затянувшиеся на несколько десятилетий, тормозили их приход к нам, тогда как без творчества этих писателей столь же сложно представить картину искусства XX века, как без книг Томаса Манна или Пруста. Споры эти при всей важности и принципиальности как бы заслонили сами книги, а имена авторов превратили в символ некоего пласта художественного наследия, о котором следует помнить, но вовсе не следует торопиться узнать. Д. Затонский в книге «В наше время» (1979), преодолевая инерцию принятого подхода к тому или иному произведению, к тому или иному крупному художнику XX века, заметил, что наше время тоже по-своему нашло отражение в творчестве писателей, стоявших у истоков так называемого модернизма, что писатели эти «субъективно очень искренние, с душевной болью и ненавистью созерцающие подлый мир моральной нищеты, бездушия, чистогана, писатели, исполненные доброй воли и желания помогать людям. А книги этих писателей — часть того самого большого мира, который так ненавидели и так презирали их авторы. Примеры тому — Джойс, Д. Г. Лоуренс, Вирджиния Вулф, Кафка...». Будем надеяться, не за горами тот день, когда кто-нибудь из серьезных критиков рассмотрит мастеров «новой прозы» в контексте культуры последних десятилетий и поможет разобратъ-

ся, в какой степени их творческое наследие, что называется, современно.

«Миссис Дэллоуэй» — одно из самых ярких и значительных произведений Вирджинии Вулф (1882—1941). Е. Суриц перевела этот роман, взяв на себя миссию познакомить читателя с прекрасными страницами английской прозы пусть и с опозданием в полвека. Теперь уже не кажется парадоксальным факт, что наше мироощущение определяет не столько реальное время, сколько то, из которого складывается наше знание о себе и своем прошлом. Вирджиния Вулф стремилась сквозь бурные и тихие потоки времени увидеть прошлое, сравнить былое с настоящим, а в настоящем пробраться к ядру, к сути и постичь «момент бытия». Успех книги у иноязычного читателя зависит от способности переводчика найти неинородную словесную стихию, которая поможет книге стать своей в «чужой» литературе. Как об этом писала Мария Петровых: «Пусть чья-то речь в живом движении вдруг зазвучит без искаженья на чужеродном языке». Задача Е. Суриц была вдвойне трудной: ей предстояло найти способ передачи «новой прозы», которая давно уже стала не новой, освоенной двумя последующими поколениями английских писателей, чье творчество мы относительно хорошо знаем, и при этом вернуть время, сохранив лексическую реальность, не увлекаясь архаикой. Но это только первый пласт — трудности были и при воссоздании эмоционально-психологического, социально-исторического, философского контекстов романа: уже не новое новое, по-прежнему не устаревшее старое... Е. Суриц сохранила тонкую, лирическую, философскую образную ткань прозы Вирджинии Вулф, сохранила пластику повествования.

В короткой журнальной рецензии сложно даже обозначить творческую индивиду-

альность Вирджинии Вулф, столь отличавшую ее от литераторов-современников — Герберта Уэллса, Джона Голсуорси, Редьярда Киплинга, Ричарда Олдингтона; это удивительное своеобразие писательницы отмечала Е. Гениева в послесловии к роману «Миссис Дэллоуэй» и во вступительном очерке к недавно вышедшей в издательстве «Радуга» на английском языке книге Вулф.

Вирджиния Вулф — автор нескольких романов («Путешествие», «Ночь и день», «Комната Джейкоба», «К маяку»), а также эссе и статей, которые говорят о широких литературных интересах писательницы, блестящего знатока отечественной и русской словесности; по ним можно судить о ее поисках новой художественной формы. Переосмысливая концепт времени, стремясь воспроизвести «изменчивое, неизвестное, неопишное», запечатлевая «моменты бытия» в случайном, Вулф сначала опиралась вместе со своими единомышленниками, «блумсберийцами», на идеи Фрейда, Юнга, Бергсона, Фрейдера, но всегда оставалась верна этическим ориентирам, понимала социально-историческую обусловленность личности. И этим во многом объясняется любовь Вулф к русской литературе, възскующей деятельного сострадания.

Так, в эссе «Романы Тургенева» Вулф пишет о «Рудине», о той многозначительной ясности, которой добился Тургенев, пройдя «долгий и трудный путь отбрасывания лишнего»: «Короткая сцена имеет удивительно широкую перспективу. Она как бы раздвигается в сознании и живет самостоятельной жизнью, рождая новые идеи, эмоции и картины. — так реальное мгновение порой открывает свой тайный смысл лишь много времени спустя. Мы замечаем, что люди говорят очень живо и естественно, их речи всегда неожиданны; звук давно замер, а смысл сказанного живет. Часто им даже не надо говорить, чтоб мы уловили их настрой... На одной и той же странице есть ирония и страсть, поэтическое и обыденное, капает кран, и поет соловей. И хотя картина вся из контрастов, она не нарушается, ни одно из впечатлений не заслоняет другие. Ибо Тургенев обладает в огромной степени еще и редким даром пропорции, равновесия. Он дает нам в сравнении с другими романистами обобщенную и гармоничную картину мира».

Эти уроки гармонии для Вулф оказались, на мой взгляд, решающими — они помогли ей в романе «Миссис Дэллоуэй» стать продолжательницей, а не разрушительницей традиции объемного, реалистического отображения мира. Сколь противоположны

ни были бы декларируемые ею творческие принципы, сколь парадоксально ни было бы ее утверждение: «В этом огромном хаосе, который мы называем миром, истина заключена в Гамлете, в квартете Бетховена. Но Шекспира нет, Бетховена нет, без сомнения, нет бога; мы суть слова, без музыка» (эссе «Зарисовки прошлого») — своей творческой практикой Вулф доказывает нам другое: да, слова преобразуют хаос, который мы называем миром, но не расщепляют его на красоту и уродство, не устраняют боль мира, они говорят нам о его потерях и его радостях, о жизни и смерти.

Но если в «Миссис Дэллоуэй» поэтическое видение мира достигло своего апогея, если изобразительная стихия этого романа органична предмету изображения (будь то конкретная деталь, или оstantовленный миг воспоминания, или же в обобщенно-философском плане — жизнелюбие героини, ее любовь «ко всему этому»), то в последующих романах творческий поиск у Вулф превратился в свою противоположность — в формальное использование некоторых технических приемов без учета материала. «Стремление достичь еще большей субъективности в изложении, но при этом сохранить отстраненность, желание обрести еще более емкий, еще более пластичный символ — все это неизбежно вело к тому, что проза, такая крепкая, четкая, звенящая в лучших творениях В. Вулф, становилась вялой, рыхлой; паутина тончайших штрихов, столь четко вырисовывавших характер, рвалась, и глазу открывалась лишь некая мифическая проекция идеи автора», — пишет Е. Гениева.

Роман о Клариссе Дэллоуэй был опубликован в 1925 году, но первые подступы к нему писательница начала еще в 1903-м, едва перешагнув рубеж двадцатилетия. «Я принялась за эту книгу, — писала Вулф, — надеясь, что смогу в ней выразить свое отношение к творчеству... Надо писать из самых глубин чувства, как учит Достоевский. А я? Может быть, я, так любящая слова, лишь играю ими? Нет, не думаю. В этой книге у меня слишком много задач. Я хочу описать жизнь и смерть, здоровье и безумие, я хочу критически изобразить существующую социальную систему, показать ее в действии... Смогу ли я передать реальность?»

Прошло еще двадцать с лишним лет, и после нескольких редакций роман увидел свет. Это книга о жизнелюбии Клариссы, с печалью осознававшей, что «истекает жизнь, что с каждым годом отсекается от нее доля», а она теряет способность «втя-

гивать цвета, и вкус, и тоны бытия, как бывало в юности». Одному июньскому дню и посвящен роман, кульминацией которого должен стать прием — его устраивает миссис Дэллоуэй, супруга Ричарда Дэллоуэя: «В своей гостиной она сводит нужных друг другу людей; тут у нее просто дар какой-то...» Слов нет, Кларисса любит суету праздника, огни, улыбки, восклицания, шелест шелка, запах цветов, но «самое банальное, что можно о ней сказать, — что она светлая».

«Моменты бытия», «moments of being» (так, кстати, названа книга мемуаров Вирджинии Вулф, впервые опубликованных в 1976 году), в отличие от «моментов небытия», когда ты механически совершаешь установленные заведенным ритмом поступки: ешь, пьешь, болтаешь о том о сем, — озарены особым светом, и душа твоя с пронзительной ясностью ощущает каждый миг этого озарения. Для самой Вулф такие мгновения наступали, когда она садилась за письменный стол.

Проза Вулф — это литании слову, музыке, цвету, запахам; стихии воды и стихии земли; Началу и Концу жизни. Роман «Миссис Дэллоуэй» соткан из воспоминаний писательницы о ее детстве в Сент-Иве и из горестных размышлений о судьбе женщины, о несоответствии ее духовных амбиций образу жизни. Недаром феминистская литература последних двух десятилетий опирается на авторитет Вирджинии Вулф, уже в 20-е годы взбунтовавшейся против ханжеской викторианской морали.

Трудно определить жанр «Миссис Дэллоуэй», и это одна из примет «новой прозы». Роман-притча или роман-исповедь? Психологическое повествование или философское? Говорят, что жанр не каноническая структура, а образ мышления, и мы наглядно убеждаемся в этом, читая «Миссис Дэллоуэй». В романе с легкостью и пластичностью зрительный образ переходит в слуховой, бытовой диалог — в ритмическую, поэтизированную прозу; один регистр повествования сменяется другим, а один образ без усилия может быть прочитан в разных регистрах. Образ Лондона, к примеру, и самостоятелен и эмблематичен, он место жизни героев, город, определяющий их характер и судьбы, но и сам по себе — с его улицами и скверами, фонтанчиками и клумбами — герой романа. Подробность и скрупулезность еще не стали утомительными в этой книге, деталь радует глаз, она помогает ощущению сферичности, выпуклости изображения. Главное отличие поэтики Вулф в этом романе — абсо-

лютное чувство меры, которое позволяет ей приживлять друг к другу бытовые сцены и трагические эпизоды, и потому с равной мерой доверия относиться к описаниям того, как Кларисса чинит зеленое праздничное платье, готовясь к приему, как она в цветочном магазине среди шпорника, душистого горошка, сирени, ирисов выбирает гвоздики, и к страшным, горячечным монологам безумного Септимуса.

В одной из первоначальных редакций романа Кларисса кончала с собой, но логика художественного текста оказалась сильнее логики замысла: духовное здоровье героини, неотторжимой от мира реального, и прежде всего от другого героя. Питера Уолша, — залог ее жизнеспособности. Вроде бы судьба давным-давно развела ее с Уолшем, и она предпочла роль благополучной хозяйки большого дома, супруги человека, занимавшего не последнее место в высших кругах, влиятельной светской дамы, тонкой, умудренной опытом, сдержанной женщины, а Уолш мыкает горе где-то в Индии, но он незримо всегда с ней. «Ведь пусть они сто лет как расстались — она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма — сухие, как деревяшки; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого — спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то, тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймский парк в одно прекрасное утро — возьмет и придет». И для Питера Уолша смысл жизни заключен в этой женщине, и потому роман кончается словами, обещающими начало: «Это Кларисса, решил он про себя. И он увидел ее».

Трагическим двойником Клариссы становится Септимус, обреченный на безумие и самоубийство, ибо ему выпал иной жребий — одним из первых он записался добровольцем и отправился «защитать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру». Он не погиб под пулей, но в крови и грязи траншей погибла его душа, его мир Шекспира, Китса и Дарвина. «Прости-прощай всему этому» — дневник-воспоминание прекрасного английского поэта Роберта Грейвза, получившего на войне контузию; «Смерть героя» Ричарда Олдингтона — исповедь потерявших себя в четырнадцатом году. Слабое здоровье не позволило Вулф стать непосредственной участницей первой мировой войны. Она, как ее сверстницы, не пошла на фронт медсестрой, но постигла безжалостную логику «героизма» войны: монологи Септимуса — крайний рубеж аго-

низирующей души. Мудрость художника приводит ее к выводу, который, хотя она и не формулирует его четко, очевиден: жертвенность и самоотдача, если ими расчётливо пользуются сильные мира сего, приводят к глобальному преступлению.

На другом от Септимуса Смита полюсе — леди Брунн, которая славится «увлекательными ленчами», мистер Уитбред, который самозабвенно «драит пряжки на монарших штиблетах», мисс Килман, религиозный экстаз которой превратил ее в «чурбан в зеленом макинтоше», бесконечные Гэрроды, Уилкинсы, Баули, Мэддоксы... С сарказмом постигшей истину, хотя и бесильной что-либо исправить, Вулф рисует торжество этих господ, но вестью о том, что какой-то несчастный Септимус Смит выбросился из окна, напоминает о возмездии. «Когда-то она выбросила шиллинг в Серпантин, — думает Кларисса, — и больше никогда ничего. А он взял и все выбросил. Они продолжают жить (ей придется вернуться к гостям; еще полно народу; еще приезжают). Все они (целый день она думала о Бортоне, о Питере, Салли) будут стареть. Есть одна важная вещь; оплетенная сплетнями, она тускнеет, темнеет в ее собственной жизни, оплывает день ото дня в порче, сплетнях и лжи. А он ее уберег. Смерть его была вызовом. Смерть — попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя,

она ускользает и прячется в тайне; близость расплзается в разлуку; потухает восторг; остается одиночество».

На страницах романа запечатлена жизнь англичан 20-х годов XX века — их быт и нравы, большие и малые события, определившие политический и общественный контекст времени; трагические последствия первой мировой войны, предвестники крушения колониального миссионерства англичан в Индии, светские и дворцовые интриги, парламентская суета. Роман нельзя назвать традиционно социальным, поскольку повествование сосредоточено в основном на внутреннем состоянии героини, но мир Клариссы не интровертен, она открыта людям, открыта происходящему вокруг нее, и благодаря ей мы так много узнаем о ее соотечественниках, о том странном, тягостном состоянии отчужденности, отъединенности, в котором суждено было пребывать столь многим: «...близость расплзается в разлуку; потухает восторг; остается одиночество». И Питера Уолша мучит это: «...вот что странно — и верно: ни с кем ничего не разделишь — все разбивается вдребезги».

Однако не только такой исторической достоверностью ценен роман. Умный и тонкий автор, Вирджиния Вулф выразила в нем свое понимание добра и зла, любви и равнодушия, смысла жизни и слова.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ.



Политика и наука

С ВЕРОЙ В СИЛУ РАЗУМА

Лев Толкунов. Главный урок. М. «Известия». 1984. 271 стр.

Так уж сложилась судьба автора этой книги, что начало его корреспондентской деятельности совпало с началом Великой Отечественной войны. По командировкам газеты «Правда» он побывал на Калининском, Северо-Западном, Сталинградском, Брянском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, стал не просто свидетелем, но и участником памятных событий...

О войне написано немало. И чем дальше от нее, тем дороже становятся живые свидетельства, детали и подробности, отложившиеся на долгие годы в памяти авторов-очевидцев. В записках Л. Толкунова особенно привлекают документальная точность адресов и люди, имена которых принадлежат теперь истории.

В самом начале военных записок мы читаем о встречах с Фадеевым и Полевым, с которыми Толкунов оказался вместе под Великими Луками, когда шли бои за освобождение города от фашистских захватчиков. Затем молодой корреспондент попадает под Сталинград, знакомится с генералом Ротмистровым. Рассказ о его танковом корпусе, участвовавшем в великой битве, дополнен описанием встречи с Главным маршалом бронетанковых войск Ротмистровым много лет спустя после победы.

Война не падала никого. Автор вспоминает, как 9 мая 1944 года при взятии Севастополя был ранен маршал Василевский — его машина подорвалась на mine. Есть в записках и такие строки: «Вадим Кожевников, Иван Золин, Михаил Щур и

я — вот наша бригада военных корреспондентов «Правды», освещавшая освобождение Крыма. Не было с нами пятого товарища, нашего замечательного друга Михаила Калашникова, погибшего на Межензиевых горах. Его заменил Сергей Струнников, только что прилетевший из Москвы. Не знали мы тогда, что через несколько месяцев погибнет и Сергей».

Немало страниц в книге посвящено Курской битве, которая до основания потрясла гитлеровскую армию. За пятьдесят дней боев враг потерял около полумиллиона солдат, полторы тысячи танков, три тысячи орудий и свыше трех тысяч самолетов. Прорыв неприятельской обороны начался с грандиозного огненного шквала. «Я был свидетелем того, как тщательно, кропотливо готовилось это артиллерийское наступление, — вспоминает автор и по своему обыкновению уточняет место действия: — С наблюдательного пункта Героя Советского Союза полковника Богданова был хорошо виден сплошной вал разрывов, за которым шла пехота». Так конкретно с разных участков Великой Отечественной ведет свой рассказ военный корреспондент, и под его скупым, строгим пером вырисовываются ее основные вехи. «Орловско-Курская битва — это вершина войны, ее пик. После нее война пошла под знаком всеобщего советского наступления. События развивались стремительно и неотвратимо, мы побеждали уже не только мужеством, героизмом, но и умением».

Нельзя без волнения читать о том, как много лет спустя Л. Толкунов снова побывал в местах, где гремела Орловско-Курская битва:

«Мне казалось сейчас, что я узнаю эту старую землю из окна вагона во всех страшных подробностях, и ясно вдруг представил, что сейчас, через два-три часа, меня выйдет встретить Любовь Георгиевна Вичальникова и скажет что-то, что не успела дорассказать тогда. Через два-три часа меня встретят фронтовики — генерал-майор Гуртвев, полковник Резниченко, подполковник Базанов, капитан Янин, старший лейтенант Марченко, сержант Салехов. Они встретят меня, улыбающиеся, радостные, прямо на перроне.

— Мы не погибли тогда, — скажут они мне, — мы живы».

На этом фоне с особой силой звучит вопрос, которым автор задается сегодня, размышляя о войне и мире: «Неужели взаимопонимание и доверие приходят лишь в самые тяжелые для человечества дни, не-

ужели только в такие дни обретаются здравый смысл и рассудок?»

Собранные под одним переплетом военные воспоминания и публицистические заметки на злобу дня пронизаны одной мыслью, наполнены тревогой за судьбу человечества в наш ядерный век. «Равноправные переговоры, а не военное противоборство» — так озаглавил Л. Толкунов статью, открывающую сборник. Автор напоминает читателям, как начался тот печальный период в истории международных отношений, который получил название «холодная война». Первым зловецем камнем, положенным в ее основание, была атомная бомбардировка авиацией США Хиросимы и Нагасаки летом 1945 года, которая, по признанию многих американских должностных лиц, мотивировалась не военной необходимостью, а явным желанием продемонстрировать силу. Манифестом «холодной войны» стала речь У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, в которой он призвал к «крестовому походу» против социализма. Именно в тот период Дж. Ф. Даллес апеллировал к формуле «балансирование на грани войны». В апреле 1949 года под эгидой США был создан агрессивный Североатлантический блок, угрожающий Советскому Союзу и другим социалистическим странам. Международная обстановка необычайно накалилась.

Лев Толкунов пишет, как в те же годы нарастало и крепло стремление к мирному сосуществованию разных социальных систем, как в изменившемся мире по-новому встал вопрос о войне и судьбе человечества. К середине 60-х годов был достигнут ракетно-ядерный паритет СССР и США, и невозможность решения спорных вопросов путем военного конфликта стала еще более очевидной. Автор вспоминает о все более уверенных шагах разрядки в 70-е годы, о развитии международного сотрудничества, в том числе между СССР и США. Но такой ход событий устраивал в Америке отнюдь не всех. Особенно это стало заметно в годы правления администрации Рейгана. В книге приводятся «многозначительные» слова американского президента: «...я постоянно возвращаюсь к пророкам Ветхого завета и к признакам, предвещающим Армагеддон. Я ловлю себя на мысли, а не являемся ли мы тем поколением, которому все это предстоит. Я не знаю, почувствовали ли вы в последнее время справедливость какого-либо из этих пророчеств. Но, поверьте мне, в них описывается именно то время, в которое мы живем». Сказано туманно, но устрашающе. Пойдя по сто-

пам Черчилля. Рейган вновь провозгласил «крестовый поход» против социализма.

Книга Л. Толкунова рассказывает о замыслах и делах новоявленных «крестоносцев», разоблачает попытки заокеанских стратегов убедить человечество в возможности и даже неизбежности ядерной войны. Такую политику автор справедливо называет ядерной патологией. Подробно, на многих примерах Л. Толкунов разбирает психологическую войну официального Вашингтона против нашей страны, глубоко анализирует проблемы идеологической борьбы и мирного сосуществования на современном этапе.

Как и военный цикл сборника, международная публицистика его богата непосредственными впечатлениями от событий и встреч. Так, в очерке об Индии мы найдем не только политический портрет Индиры Ганди, но увидим и услышим славную представительницу индийского народа, всей жизнью своей доказавшую верность родной стране и идеалам прогресса. «Год, в который ты родилась, — писал Джавахарлал Неру в письме дочери, — 1917 год, был одним из самых замечательных в истории, когда великий вождь с сердцем, преисполненным любви и сочувствия к страдающим беднякам, побудил свой народ вписать в историю благородные страницы, которые никогда не будут забыты. В тот самый месяц, когда ты родилась, Ленин начал великую революцию, изменившую лицо России».

Большой очерк посвящен Японии, где автор бывал не раз. Л. Толкунов пишет о ней как о стране, живущей «под сенью нависших над нею гигантских вопросительных знаков».

Очерк вводит читателя в своеобразный и сложный мир японской экономики, касается так называемого японского экономического чуда. По мнению автора, вывод бывшего министра иностранных дел Японии С. Окиты, что чуда больше не существует,

грешит категоричностью. Противоречивый путь развития страны дал миру немало уроков, поставил ряд неожиданных вопросов. Вот только один из них, который сегодня относится, пожалуй, к числу важнейших: что будет со страной, если ее «тотально роботизировать»? Л. Толкунов отвечает на него так: «Вопрос любопытный, но, по существу, несерьезный. Потому что капиталистическая система не в силах осуществить и «переварить» полную автоматизацию производства, не создав уже на дальних подступах к этой цели предпосылок к серьезнейшим социальным потрясениям, к небывалому обострению классового противостояния. Думается поэтому, что мечты о «тотальной роботизации» так и останутся прожектами, реализация которых до каких-то — пока еще трудно определенных — пределов возможна, но только до этих пределов, не больше».

Японские реваншисты с помощью милитаристских сил за океаном, оказывающих на страну прямое давление, стремятся превратить Японию в «непотопляемый авианосец». Автор с тревогой задумывается, каковы же сегодня действительные цели Японии как соседа СССР, чем вызвано то, что правящие круги страны не идут навстречу предложениям, исходящим от Советского Союза и стран социалистического сотрудничества, и в то же время сами не выдвигают сколько-нибудь заметных конкретных предложений, направленных на предотвращение военной угрозы. Советский Союз, пишет Л. Толкунов, держит широко открытыми двери к советско-японскому добрососедству, уверенный, что разум должен победить и здесь.

Этой уверенностью в силу человеческого разума, в неодолимость идей мира пронизана вся публицистика Л. Толкунова. Книга его учит бдительности, зовет к борьбе и вселяет надежду.

Владимир НИКОЛАЕВ.



«ПОСВЯТИ ПЛАМЕНЬ СВОЙ ПРАВДЕ»

Петербург в русском очерке XIX века. Л. Издательство ЛГУ. 1984. 375 стр.

«Чудный город Петербург!» — так начинает А. А. Григорьев свои «Заметки петербургского зеваки». «Я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною», — пишет Ф. М. Достоевский, не однажды возвращавшийся к этой своей

мысли. В устах Достоевского такие слова кажутся привычными. Но вот что отмечает в Петербурге писатель совсем иного склада, В. А. Слепцов: «Нет, есть в нем что-то неодолимо влекущее, что-то отвратительно-прекрасное». Столь же противоречива на первый взгляд оценка А. И. Гер-

цена: «Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России». А В. М. Гаршин называет «этот болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, крамольнический, чужой город» единственным местом, способным быть для русского «настоящею духовною родиной».

В отношении русских писателей к Петербургу гораздо больше общего, чем различного. Из приведенных (и необъятного количества не приведенных) высказываний вырастает единый, цельный образ, поражающий воображение. Интересно, что все названные писатели не петербуржцы по рождению; они принадлежат к многочисленному роду людей, которые приезжали в этот город на более или менее длительный срок, обычно в молодости, и судьба которых складывалась под преобладающим влиянием Петербурга.

Вот один из вариантов такой судьбы. Молодому человеку с детства внушают, что он будет жить в столице «в золотых палатах, на самой Петербургской стороне» (Е. П. Гребенка). Когда приходит срок, он с замирающим сердцем отправляется в Петербург учиться. Можно бы отправиться и позпозже, прошения принимают до осени, «но гнить в провинции, гулять по Дворянской улице или в Архиерейской роще, купаться в какой-то мутной Волге, ездить на гулянья в бор за ягодами — фи, пошлость! — в Петербург скорее, долой из этого бабьего города с потными пуховиками и со сдобными бубликами!» (И. А. Кушечский).

Очень скоро молодой человек узнавал, что Петербургская сторона не из лучших в столице, хотя и носит ее имя, а затем, расходуя последние привезенные из дома рубли, поневоле знакомился и с другими частями города. «Вы желаете знать, что такое Галерная гавань? Галерная гавань — ...ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете, — того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воеет ветер, раздается злобещий звук пушек, днем развеваются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари» (И. И. Панаев). Вдоволь наскитавшись по нищенским приютам, растеряв друзей, приехавших, как и он, с надеждами в столицу, пройдя немало других испытаний, герой, если ему везло, получал место, водворялся в дешевой квартире с желто-грязными

обоями под самой крышей доходного дома и развлекался разве что тем, что смотрел, свесившись из окна в халате, на захожего шарманщика и на то, как падают, «звеня и прыгая, на мостовую» брошенные ему пятаки (Д. В. Григорович).

Желтовато-грязный, желтый цвет — цвет Петербурга. Григорьев называет его форменным. Достоевский самую жалкую петербургскую квартиру видит непременно «со стенами под желтой краской». Желтыми обоями оклеены, для пушего отчаяния, комнаты Раскольникова и Сони Мармеладовой, а в квартире старухи-процентщицы, где происходит преступление, даже аванжелтый и картинки в желтых рамках. Известно, что голландский художник В. Ван Гог, чтобы достигнуть «резко-желтой ноты» в своих картинах, намеренно доводил себя до крайности унижений, голода, употреблял наркотические средства. Достоевскому ничего подобного не требовалось: петербургская, российская жизнь в искусственных возбудителях не нуждалась.

Что такое гражданственность писателя? Вопрос не риторический. В последние годы вся наша литература заметно повернулась к публицистике, на нее взглянули с надеждой. Пришло время, когда очерк посерьезнел, проникся уважением к своей роли, посуровел (одно из неотъемлемых, мне кажется, его свойств). Случается, что новые книжки толстых журналов читают теперь не с начала, а с конца и середины, с очерков. Повысилась внимание и к публицистике классиков русской литературы. Издательства чутко уловили момент: вот уже несколько лет издается многотомная «Библиотека русской художественной публицистики», выходят отдельные книжки и тематические сборники, один из которых — «Петербург в русском очерке XIX века».

Многое из того, что делается в современной литературе, не просто питается классикой, но живо соприкасается, пересекается с ней, находит в ней глубинное отображение, возвращая нас к пониманию нас самих, первооснов нашей жизни, нашего самосознания. И уж если речь о классической публицистике, то одними из первых вопросов, обращенных к ней, будут: что такое правда жизни в литературе? что такое гражданственность?

За год до восстания декабристов, в начале зимы 1824 года, Пушкин писал брату о наводнении в Петербурге: «Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется». А в 1833 году появилась петербургская по-

весть «Медный всадник» — произведение исключительное по масштабу во всей русской литературе, которому в богатейшем пушкинском наследии принадлежит особое место.

...Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?..

«Река возвратилась в предписанные ей пределы; душевные силы не так скоро могут прийти в спокойное равновесие», — писал по свежим следам этого наводнения потрясенный размерами бедствий А. С. Грибоедов, в то время как

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невыхских берегов.

В свое время граф занимал видное положение в обществе и за свои сочинения даже получил награду от прусского короля. Но вот теперь мы предпочитаем правду Пушкина, правду Грибоедова, а к свидетельствам «певца деяний знатных» графа Хвостова испытываем отвращение...

Гражданственность — это, наверное, когда не просто «подозреваем» о существовании народа, но каждодневно видишь перед собой его нужду, как видел Пушкин, когда не отпускают мысли о его страданиях, как не отпускали они Пушкина, когда делишь народную судьбу и говоришь о ней. этой судьбе, в полный голос, как говорил о ней Пушкин.

Иногда проскальзывает в читательском отношении к очерку XIX века не то чтобы пренебрежение, но как бы уверенность в его малости, незрелости перед громадой русской художественной классики. Бывает, что и теперь публицистике отводят роль такой прихожей в доме большой литературы, куда робко ступают начинающие авторы. Отсюда соответствующее расхожее мнение: для рассказа не созрел, за роман приниматься рано — пробуй силы в очерке. Отсюда, может быть, и низкий уровень нынешней массовой публицистики. Вы скажу мысль на первый взгляд парадоксальной: очерк требует большей зрелости, нежели поэма и даже роман. Путь Толстого в публицистику пролегал через «Войну и мир» и «Анну Каренину». Факт этот достаточно хорошо известен, хотя вряд ли даже сегодня мы имеем полное представление об этом пути. А каждый ли заду-

мывался, что заставило Пушкина, пережившего невиданную прежде в России поэтическую славу, с головой окунуться в очеркистику в годы расцвета творческих сил и лучших, самых глубоких раздумий? Не только «История Пугачева» или «Путешествие из Москвы в Петербург», но и многие стихотворения, созданные им в 30-е годы, являют собой очерки в самом полном и, можно сказать, нормативном значении этого слова, по ним учились не только писать, но и мыслить и понимать жизнь все последующие поколения русских публицистов.

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столыцы.
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским

столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолей,
Дешевого резца нелепые затеи.
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах:
По старом рогаче вдовицы плач

амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которые также тут,
Зеваючи, жильцов к себе на утро

ждут,—
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

К этим пушкинским строкам, кажется, то и дело обращается мысленным взором Гаршин, описывая литературские мостки на Волковом кладбище: «Мы не заботимся о наших великих мертвых... Мы не заботимся о них и при жизни. Мы умели только брать от них, ничего не давая взамен». Одна сценка заканчивается совсем по-пушкински: «Однажды я попал на кладбище в «родительскую» субботу. Несмотря на строгое запрещение, поминающие все-таки ухитряются пронести водку в самоварах и чайниках. Тысячи сидят на могилах, пьют и едят. Поминание кончается пьянством и скандалом. Городовые, дворники, участок, протокол... Закрыть глаза и бежать».

Ему вторит в своем петербургском дневнике Слепцов: «Я теперь к такому заключению пришел, что порядочный человек должен плюнуть на все это и, не теряя ни одной минуты, — вон». Кладбища здесь уже нет, но одно из важных состояний выскочка пушкинского очеркизма присутствует.

А через много лет, уже в нашем веке, поэт и публицист Петрограда В. В. Маяковский напишет:

Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.

Все новые и новые вариации, однако соблюдается назначенная Пушкиным тональность.

Бывают в жизни отдельного человека и всего народа настолько неуютные времена, что художественный вымысел как бы теряет смысл, бледнеет перед угрожающей и отнимающей все жизненные силы явью. В судьбе писателя это эпоха прямого публицистического слова. Речь его становится жесткой и страстной, в ней слышен не голос автора — вопль измученного страданиями народа. Исключений из этого правила великая русская литература, к счастью, не знала. «Добрый мечтатель! — писал П. А. Вяземский В. А. Жуковскому, — полно тебе нежиться на облаках, спустись на землю и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолам. Благородное негодование — вот современное вдохновение!»

Не место в этой маленькой заметке разбирать, как сказывались политические ситуации на судьбе русской литературы XIX века, была ли она «отравлена и ограблена тенденциозностью», как утверждал популярный в свое время русский критик Ю. И. Айхенвальд, или же, наоборот, именно благодаря этому наполнялась невиданным по страстности и силе пафосом на стыке реальности и вымысла. Заметим только, что, для того чтобы вытащить на свет простой и, как всегда потом оказывалось, очевидный факт жизни, писателю порой требовалось употребить едва ли не боль-

ше таланта, сил и мужества, чем на создание собственно-художественных произведений. Конечно, художественная правда не может быть сведена к голым фактам, она богаче их. Когда Д. И. Писарев указывал на петербургские углы в романе Достоевского «Преступление и наказание», доводя их страшный смысл до общественного сознания, он не задавался целью подменить роман своей статьей. Но печатно обнародованный факт усилил правду Достоевского, открыл ей прямую дорогу к людям.

Многие произведения русской публицистики, посвященные Петербургу или вдохновленные им, не вошли, да и не могли войти в сборник — ни по принципу отбора материалов, ни по объему. Не найдем мы здесь и имени Пушкина. Книга знакомит с произведениями, которые редко переиздаются и в основном скрываются от взоров читателей на страницах последних томов собраний сочинений (есть и такие, которые публикуются в советское время впервые). Думаю, что это оправдано не только с позиции составителя, но и с читательской точки зрения, придает книге особую ценность и, я бы сказал, мыслительную продуктивность. Освежая в памяти полузабытое, узнавая новое, проводя аналогии с хрестоматийными текстами, мы получаем возможность не только воочию увидеть и глубоко понять Петербург XIX века, но взглянуть шире и дальше, далеко за пределы Петербурга.

С. ЯКОВАЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВО ИМЯ ЖИЗНИ. Зарубежные поэты о мире. М. «Правда». 1984. 528 стр.

Двести девяносто пять поэтов из ста стран мира стали авторами этого сборника. На его страницах антивоенные строки крупнейших мастеров — Байрона и Шелли, Шиллера и Гёте, Гейне и Мицкевича, Лонгфелло и Гюго. Рядом с поэтами века минувшего известнейшие поэты XX столетия — Лорка и Брехт, Арагон и Элюар, Хикмет и Неруда...

В стихах — и гневная отповедь милитаристам, и призыв к мирному братству труженников, и песнь радости по случаю окончания войны, и плач матери над убитым сыном, и скорбные раздумья на пепелищах сел и городов, у старых и новых развалин. Воплощенная в поэтической строке память о трагедиях века нынешнего — об Освенциме и Майданеке, о Хиросиме и Нагасаки, о драмах Вьетнама, Кореи, Палестины, Анголы, Никарагуа, Чили, ЮАР... И здесь же строки надежды, стихи о Москве и России, о мире, который принесла народам Советская Армия в 1945 году, о советских космонавтах — символе мирного космоса и ясного неба.

«...антивоенные стихи поэтов XX века... — справедливо отмечает в предисловии составитель, — это всегда стихи в защиту жизни человека, общества, природы от угрозы гибели в огне всемирной войны. Сила поэтического слова борется здесь против силы современного зла — империализма, против его идеологии и политики, против колониального насилия, расистского мракобесия, фашистской тирании, ядерного шантажа, милитаристского обольванивания масс, против всего, что чуждо и враждебно живым и свободным, творческим и созидательным началам людского бытия».

Хороший сборник не должен быть простой суммой отдельных произведений. И от составителя требуется не только знание и вкус, кругозор и опыт, но и способность выстроить из разных, самостоятельно значимых работ единое творение — книгу, воспринимаемую как живое и органичное целое. Эти, в общем известные, соображения снова приходят на ум, когда оцениваешь работу Михаила Курганцева — составителя и автора вступительной статьи сборника стихов «Во имя жизни» первой у нас антологии зарубежной антивоенной поэзии XIX—XX веков.

Эта антология, как она сложилась, напоминает своеобразный международный фо-

рум, где каждый поэт искренне и страстно говорит от имени своего народа то, что важно и дорого всему роду людскому — в Исландии и Индонезии, Австралии и Канаде, в Японии и на Кубе. Это многоголосие связано единым в своей основе чувством, одной мыслью — необходимо спасти человечество от угрозы гибели в огне ядерной катастрофы, сохранить достойную человека жизнь на земном шаре.

Книга названа «Во имя жизни», и это название полностью отвечает ее содержанию. Верой в право людей на мир и безопасность, глубочайшим уважением к жизни, любовью к ней проникнут весь сборник. Он убедительно доказывает, что истинная поэзия в любой стране служит взаимопониманию между людьми, несет им уверенность в собственных силах, в победе разума, совести и созидания.

Владимир Шлёнский.



МАРИАННА ЯБЛОНСКАЯ. Фокусы. Рассказы. М. «Советский писатель». 1984. 215 стр.

Самое печальное в этой книге — указание не только даты рождения ее автора, но и даты ухода, очень уж раннего...

Мне не довелось видеть Марианну Яблонскую на театральных подмостках. Знаю только, что в 1955 году она поступила на актерский факультет Ленинградского театрального института, в класс профессора Л. Ф. Макарьева, обнаружив незаурядные сценические способности. Потом работа в Театре имени Ленсовета. Через несколько лет Москва, Театр имени В. Маяковского, роль Негинной в «Талантах и поклонниках», сыгранная с подлинным драматизмом...

Тем не менее она рассталась со сценой и вступила на путь писательства.

Известно, что изначально писательская сущность проявляется не столько в складности письма, умело развернутом сюжете и прочем, сколько в способности активного и интимного общения с невидимым и незнакомым читателем. Больше того — это не просто способность, но страстная потребность. Понять человека, живущего под одним небом с тобой, до самого душевного доньшика и, поняв, поведать ему о нем самом и о близких, разделяя при этом его

надежды, радости и горести,— таково обязательное условие, первая ступень творческого призвания и становления.

Следующий этап — это когда житейские будни, драмы и праздники поднимаются писателем на уровень общечеловеческих, личностных и социальных проблем. Собственно говоря, отсюда и начинается настоящая литература. Качественный этот рубеж, увы, непреодолим для добросовестных и плодovitых беллетристов. Но истинный художник способен работать всерьез именно на этой высоте..

Лучшие из рассказов Марианны Яблонской, помещенные в сборнике, несут на себе печать самобытного авторского дарования. Оно ощущается уже в рассказе «Путешествие», открывающем книгу, несмотря на некоторые откровенные сюжетные переключки с фильмом «Ночи Кабирии». Место действия рассказа — Москва, и род занятий героини абсолютно пристоен. Но те же одиночество, незадавшаяся личная судьба и надежды на счастье, которые все больше угасают, толкают героиню на неожиданную любовную связь. Готовно и радостно берет она на себя хлопоты и траты, вложив в поездку все, что скоплено ценой нелегкой сверхурочной работы,— какие там доходы у скромной медицинской сестры! А он, в ком она видит не просто возлюбленного, но друга, в последний момент скрывается, прихватив ее деньги и вещи, купленные для поездки.

В рассказе, как и в фильме Феллини, особенно впечатляет та душевная стойкость, с которой героиня переносит обрушившийся на нее удар, приступ отчаяния, сохраняя достоинство, веру в жизнь и душевную щедрость.

Важно, что сходство этих, в общем-то, очень разных произведений не дает ни малейших оснований упрекнуть молодого прозаика в попытке заимствования у замечательного итальянского мастера. За каждым эпизодом рассказа чувствуется самостоятельность сделанного Марианной Яблонской художественного открытия, достоверность собственного понимания чувств и поступков изображаемой ею женщины, на дежно обеспеченная личным жизненным опытом. Это, кстати, примечательная особенность рассказов писательницы. Ни один из них не назовешь автобиографическим — у каждой из женщин, о которых повествует Яблонская, своя жизненная стезя, ярко выраженная индивидуальность. И все-таки в книге чувствуется незримое присутствие еще одной, лирической героини, словно бы свидетельствующей и подтверждающей с исповедальной доверительностью, что рассказанное — истина, открывающая потаенные глубины женской души.

Рассказ «Путешествие» воспринимается как своего рода увертюра ко всему сборнику и одновременно как начало своеобразного исследования женских судеб и характеров, которое продолжается в «Тополином смехе» и «Черном апреле», в «Провинциалке» и в заключающем сборник рассказе притче «Анечка и Шенечка». Здесь изложено на поучительная история обреченной уже в самых своих истоках любви. Причем крушение любовных надежд героини писательница рассматривает как счастливую развяз-

ку, ибо избранник Анечки оказывается холодным, расчетливым эгоистом.

Наивная схема человеческих отношений у нас на глазах обретает психологическую глубину и развитие, в котором уже вполне четко проявляются элементы диалектики, присущей самой жизни. Судьбы своих персонажей писательница соотносит с историей и судьбой страны, с актуальными нравственно-этическими проблемами наших дней. Преодолевая соблазны камерного письма, М. Яблонская размыкает комнатный мир, стремится со своими героями на улицы столицы, в их суету, шум, в тополиное цветенье и апрельскую капель. Сама Москва выступает здесь не только как фон или место действия, но и в качестве еще одного, вовсе не пассивного персонажа рассказов.

Вот почему происходящее здесь так часто узнается, так живо волнует нас, отзвываясь в сердце.. Вот почему так горько сознавать, что писательский путь Марианны Яблонской оборвался в самом начале.

Вс. Сурганов.



ВЯЧЕСЛАВ ЛЕВЫКИН. Вечерние тени. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 86 стр.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕВЫКИН. Воздушный поток. Стихотворения и поэма. М. «Молодая гвардия». 1984. 64 стр.

Вся земля еще в каплях росы.
Вся в свеченье и утренней дрожи
Я кладу свою жизнь на весы —
Это утро всей жизни дороже.

Так начинается книга «Вечерние тени», и в этом зачете как бы заключен некоторый парадокс: тени-то вечерние, а между тем «жизни дороже» для поэта утро. Романтическая (даже, пожалуй, псевдоромантическая) атрибутика свойственна целому ряду стихотворений Вячеслава Левыкина: гитара с бантом краснее розы, «забытый образ нежный», вагонное купе и разделяющий спутников столик с «теплым и терпким вином»... Но приходит понимание: эти нарочитые штампы возникают тогда, когда поэту хочется скрыть от чересчур любопытных глаз нечто беспокойное, ранимое...

Послушай, астры из-под снега
взглянут, просятся в тепло.
Не их как будто — нас с разбега
метелью зимней занесло.

Здесь автор уже вполне серьезен, и возникает подлинная доверительность, искренность интонации.

Даже не припомню, у кого из современных поэтов столь часто встречается слово «сад». Для В. Левыкина сад есть тот идеальный образ, тот символ живой жизни, что противопоставит разлуке, одиночеству, горечи непонимания, олицетворяя всю полноту бытия. И не случайно камерные интонации в его книгах постоянно перерастают в общезначимые, все шире география творчества (стихи о Грузии, Литве, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, где поэт не раз бывал). «В его поэзии, — как справедливо отметил в предисловии к книге «Воз-

душный поток» Владимир Фирсов, — присутствует гражданская направленность, историческое соотношение происходящего сегодня с нашим прошлым».

В книгах В. Левыкина читатель найдет проникновенные стихи о первом послевоенном десятилетии, еще столь отчетливо хранившем следы жесточайших испытаний века. Это уже та история, которую в детстве застал, ощутил сам автор. И стихи об этом времени отмечены точными бытовыми и психологическими деталями, которых, к сожалению, недостает некоторым стихотворениям В. Левыкина, посвященным более далекой от нас истории (например, стихотворение «Веймарский тайный советник»).

Чувство родины родной истории — одна из сильных сторон дарования В. Левыкина. В этом отношении безусловный интерес представляет поэма «Пушкинская школа», прослеживающая духовную схожесть судеб декабристов и Пушкина. Нельзя сказать, что вся поэма написана одинаково ровно но в отдельных строках автор достигает почти афористической точности и остроты.

Эдуард Профилов.

★

НАТАЛИЯ САЦ. Новеллы моей жизни. Книга первая, 496 стр. Книга вторая, 382 стр. М. «Искусство». 1984.

Раздается третий звонок, пустеет фойе, украшенное скульптурами, похожее на зал музея. Гаснет свет в гостиной, и меркнут самоцветные лаки панно, созданных мастерами Палеха. Ряды амфитеатра заполняются зрителями. И вот на просцениум стремительно выходит женщина. Это Наталия Ильинична Сац — основательница первого в мире и первого в стране музыкального театра для детей. Ее речь дети слушают радостно и сосредоточенно. На доверие откликаются доверием.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, народная артистка СССР Н. Сац на сей раз беседует со взрослой аудиторией. «Новеллы моей жизни» собраны в изящно оформленном двухтомнике, отредактированном известным театроведом Ольгой Дзюбинской. Повествование неспешно и динамично. Отдельные сюжеты образуют целостную, притягательную картину большой счастливой судьбы. Большой — по масштабам открытий автора в искусстве режиссуры и в искусстве воспитания. Счастливой — благодаря могучей воле и умению побеждать.

В самом деле, нет ни одного историка детского театра и ни одного биографа Наталии Ильиничны, который пренебрег бы эффектейшими обстоятельствами ее профессионального пути. Она вышла в путь... пятнадцати лет. Сразу возглавила детский отдел ТЕМУСЕКа — театрально-музыкальной секции Народного комиссариата просвещения. Сразу с благословения А. Луначарского и П. Керженцева организовала концерты и представления для детей московских окраин. Туда, к окраинам, ехали на подводах артисты драмы, оперы. Пятнадцатилетняя Наташа Сац считала подобные выступле-

ния повседневной нормой, посещения Большого театра голодными, не знакомыми с достатком детьми по бесплатным билетам — элементарной необходимостью. А вскоре у ребят появится свой собственный театр. И все это сделает «тетя Наташа». Пожалуй, только с выходом в свет автобиографической книги понимаешь, сколько обстоятельств — исторических, социальных, личных — сошлось в «чудо-карьере чудо-ребенка».

Ее первые впечатления — звуки удивительной музыки, сочиненной отцом, замечательным композитором Художественного театра Ильей Сацем. Первые детские воспоминания — визиты Станиславского, Гордона Крэга. Первое причастие к празднику игры, празднику зрелища — в летних спектаклях, затеянных на юге Вахтанговым. Первый, так юмористично воспроизведенный автором «выход на публику» — мелодекламация на гимназическом вечере, высоко оцененная подростком-сверстником, будущим мастером МХАТа Павлом Масальским... И так всю жизнь по закону взаимного притяжения талантов рядом с Наталией Ильиничной возникают незаурядные индивидуальности. На страницах «Новелл...» целая когорта интеллигенции — творческой, а иногда и научной (если вспомнить новеллу о встрече с Альбертом Эйнштейном). Ни один из персонажей не является в книге случайным. Едва ли не каждый связан с автором общим делом созидания Театра и Музыки, объединен неординарными художественными целями.

«Новеллы...» не умалчивают об испытаниях, не предлагают читателю лакированной бесконфликтной картинке вместо сурового и правдивого полотна жизни. И самое детство автора, призванное по всем литературным традициям быть золотым, таковым не было. Безденежье, бытовая неустроенность, драматичный конфликт между родителями, ранняя кончина отца, трагически нелепая гибель сестры... Недожиной волей к жизни надо обладать, чтобы выйти из таких ситуаций несомненной, чтобы провести несколько лет в изоляции от жизни, от театра, от друзей, не утратив ни веры в справедливость, ни стойкости, ни таланта. В условиях, казалось бы, прямо враждебных творческим начинаниям, она задумала поставить... «Бесприданницу». Кто спросил одного из будущих «артистов» (спросил не без издевки), где же будет театр. И услышал в ответ «А у нас, где Наталия Ильинична встала, там и театр».

Истинная правда! С тех пор прошло много лет. Н. Сац создала в годы войны первый в Казахстане детский театр, играла замечательные моноспектакли (в частности, «Кармен» по новелле Мериме) в саратовской филармонии. Вернулась в Москву, где ее не забыли, не разлюбили. И, одолев самые неодолимые препятствия, создала Детский музыкальный театр. Сначала в скромном доме близ «Славянского базара». Потом во дворце напротив Московского университета. Естественно, история возведения дворца рассказана в книге подробно и колоритно. А продолжение «Новелл...» — в сегодняшней жизни и творчестве автора.

Е. Луцкая.



ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ. Америка меняющаяся и неизменная. М. «Мысль». 1984. 238 стр.

Геннадия Васильева мы хорошо знаем как автора книг «В стране утренней свежести», «Джонни едет в Миссисипи», «Небоскреб в разрезе», «Зеленое и оранжевое». Его перу принадлежат многочисленные статьи об Америке в советской прессе. Автор умеет наблюдать жизнь людей далекого континента, искать и находить корни того, что происходит в этой жизни. Опытный журналист-международник, он не стремится навязать нам свое давящее сложившееся мнение о стране: читателю предоставлена возможность поговорить об Америке с самими американцами. Вместе с Васильевым мы можем спросить, что случилось с Америкой, у банкира и журналиста, рабочего и индейца, священника и отставного генерала, лифтера и «дракона» ку-клукс-клана... Персонажи его очерков служат на охваченном первой лихорадкой Уолл-стритом, живут на Среднем Западе, в индейских резервациях Флориды и Аризоны, в утрагившем свое былое величие центре автомобилестроения — Детройте. Круг собеседников Геннадия Васильева широк и разнообразен, каждый судит о проблемах сегодняшней Америки со своей точки зрения. Из этих разнообразных суждений постепенно складывается картина хотя и сложная, противоречивая, но цельная, показывающая, чем и как живет народ в главной стране капиталистического мира.

Книга «Америка меняющаяся и неизменная» состоит из очерков, рассказывающих о жизни США в конце 70-х — начале 80-х годов. Автор не претендует на всестороннее систематизированное освещение экономики, политики и истории Соединенных Штатов. Как говорит он сам, ему просто хотелось разобраться в характерных чертах пресловутого американского образа жизни, постараться понять суть явлений, происходящих в Америке сегодня.

Понятно желание современного автора, пишущего об Америке, возразить к событиям сравнительно недавнего прошлого США. В таком повышенном внимании наших публицистов ко дню вчерашнему просматривается уже какая-то закономерность. Наверное, в лавине информации из-за океана, которая шла к нам в те годы — бурные, трагические, памятные всему миру позорной войной во Вьетнаме, убийствами видных американских политических деятелей, резкими перепадами в настроениях и поступках администрации США, — что-то важное ускользнуло от нашего внимания, не все можно было разглядеть сразу. И попытка Геннадия Васильева оглянуться и поразмышлять полностью совпадает с нашим стремлением разобраться, что же происходит в Америкой, так сказать, изнутри.

Читая книгу, видишь, как острожно и вдумчиво пользуется автор своими знаниями, как взвешивает их, прежде чем приступить к обобщениям. Не торопясь с выводами, он старается поискать новые факты, привести самые верные доказательства. Геннадий Васильев пылив, строго придержи-

живается документальности, в его очерках видно желание быть объективным. Помогают ему в этом сами американцы. Но позиция автора, который как бы держится в тени, безусловно активна. Там, где надо, он отстаивает ее страстно и, что немаловажно, очень убедительно.

Хочется надеяться, что новая книга Геннадия Васильева будет иметь успех у читателей. Информация, которой располагает журналист-международник, собрана им по крупицам, проверена и можно сказать, выстрадана. Она получена не в туристических поездках, а накапливалась изо дня в день в процессе будничной работы среди тех, о ком пишет Васильев. Такие авторы в выводах ошибаются редко. Оттого и прислушаться к их мнению всегда полезно и интересно.

А. Курбатов.



М. БЕККЕРТ. Железо. Факты и легенды. Перевод с немецкого. М. «Металлургия». 1984. 232 стр.

История эта началась давно. Так давно, что никто сейчас не знает когда. Называют три даты: восемь тысяч, пять тысяч и три с половиной тысячи лет назад. И как ни удивительно, все три правильные. Восемь тысяч лет назад человек познакомился с металлами. Пять тысяч лет назад он впервые столкнулся с железом. А три с половиной тысячи лет назад начался железный век, который и по сей день тянется и конца которому пока что не видно.

Что такое железо и какова его роль в развитии человеческой цивилизации, говорить не приходится, это и так все знают. Но за столь долгий отрезок истории случилось всякое. Были на пути железа и тупики, и неожиданные повороты, и трагические недоразумения; были у людей и трудности поиска, и радость находок, и горечь разочарований.

Этому и посвящена книга профессора Манфреда Беккерта, известного ученого в области металлургии и не менее известного писателя-популяризатора, который показывает в своих книгах сложный и красочный мир металлов.

Целая галерея образов проходит перед читателем. Здесь и фараон Рамзес II, требующий железной дани от хеттского царя Хаттусили III; и великий Гомер, 48 раз упомянувший о железе в «Илиаде» и «Одиссее»; и Петр I, при котором российская металлургия стала, как мы теперь говорим, конкурентоспособна; и множество других, чьи имена и деяния, связанные с железом, случайно сохранились в архивах. Одно имя — Уолтер Уолкер — приобрело популярность несколько сомнительного свойства: он был первым официально зарегистрированным человеком в мире, применившим промышленный шпионаж с целью узнать технологию выплавки качественной стали. Однако не случайно кража производственных секретов началась с железа — в свое время оно ценилось дороже золота.

Но есть в книге Беккерта и другие имена — ученых, раскрывавших тайны желе-

за, поставивших его на службу человечеству. Здесь и знаменитый Реомор, впервые создавший научно обоснованную теорию термической обработки металлов; и талантливый Сведенборг, издавший первую фундаментальную учебно-справочную книгу по металлургии железа; и Дерби, завершивший более чем столетние попытки использовать в домне каменный уголь вместо древесного; и блестящие изобретатели Бессемер, Томас, Мартен, чьи имена названы металлургические агрегаты и процессы.

Заслуга Беккерта в том, что он сумел убедительно показать необычность железа, этого всем известного материала. В самом деле, ни один из металлов не способен к таким метаморфозам, как железо. Только оно одно по желанию человека изменяет свои свойства в широчайших пределах. Достаточно сказать, что уже сегодня число сплавов на его основе перевалило за 10 тысяч, а их свойства просто не счесть. Вот только два из них: железо в сплавах может быть мягким, как свинец, и твердым, как алмаз,— дистанция, что и говорить, огромного размера...

То, что железо ржавеет, знают все. Но вот недавно научный мир облетела сенсация: найденное на поверхности Луны железо не поддается коррозии. Загадка? Ко-

нечно, причем, наверное, далеко не последняя. Значит, существовали на нашем спутнике какие-то особые условия, сумевшие определенным образом сформировать структуру металла. Но ведь такое чудо есть и на Земле. Более полутора тысяч лет стоит на одной из площадей Дели железная колонна и тоже не ржавеет. Как сумели ее выплавить древние металлурги?

Конечно, в относительно небольшой по объему книге обо всем не расскажешь. За бортом повествования неизбежно остаются многие интересные факты и люди. К сожалению, среди последних оказались и русские ученые, без достижений которых современная металлургия задержалась бы в своем развитии. Имена С. И. Бадаева, П. П. Аносова, П. М. Обухова, Д. К. Чернова, В. Е. Грум-Гржимайло, М. А. Павлова и многих других прочно вошли в золотой фонд мировой металлургической науки. Несмотря на этот досадный промах, книга М. Беккерта найдет своего читателя. Она не только рассказывает о прошлом, но и нацелена в будущее. Ведь железный век продолжается. Старое, как человеческая цивилизация, железо остается вечно молодым материалом, полным неожиданных возможностей.

А. Валентинов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О морали и нравственном воспитании. 528 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Есин. Дорога в Смольный. Июль—октябрь 1917 года. Страницы великой жизни. 240 стр. Цена 55 к.

Р. Пассеван. В первых рядах. Очерки о коммунистах Франции. 207 стр. Цена 45 к.

В. Шапошников. К земле неведомой. Повесть о Михаиле Брусинове. («Пламенные революционеры») 367 стр. Цена 1 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Автомонов. Каштаны на память. Роман в 2-х кн. Авторизованный перевод с украинского. («Стрела») 447 стр. Цена 1 р. 70 к.

Поэзия моя, ты — из окопа. Сборник стихотворений. Составитель Н. Старшинов. 176 стр. Цена 85 к.

Н. Тихонов. Как песня молодой. Книга стихов. 239 стр. Цена 90 к.

Х. Шайхов. В тот необычный день. Фантастические рассказы и повесть. Перевод с узбекского. 256 стр. Цена 75 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Берггольц. Дневные звезды. Говорит Ленинград. Статьи. 256 стр. Цена 1 р. 50 к.

Вс. Иванов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Похождения факира. Роман. 647 стр. Цена 2 р. 70 к. Т. 2. Бронепоезд 14-69. Повесть. Рассказы. 366 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Крандиевская-Толстая. Дорога. Стихотворения. 287 стр. Цена 80 к.

Теренций. Комедии. Перевод с латинского. («Библиотека античной литературы») 574 стр. с илл. Цена 2 р. 20 к.

«РАДУГА»

Адаван. Мое имя Рамасещан. Роман. Перевод с тамильского. 221 стр. Цена 85 к.

Е. Бьернебу. Акулы. История одного плавания и кораблекрушения. Роман. Перевод с норвежского. 288 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ким Чжэню. Счастье. Роман. Перевод с корейского. 332 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Уильямс. Ада Даллас. Роман. Перевод с английского. 332 стр. Цена 2 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Белшевиц. Узоры старника. Стихи. Перевод с латышского. 95 стр. Цена 45 к.

В. Попов. Две поездки в Москву. Повести и рассказы. 479 стр. Цена 2 р. 10 к.

О. Чиладзе. Железный театр. Роман. Перевод с грузинского. 382 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Лазар. О Квадратно-Круглом Лесе, Микке-Мяу и других. Веселые сказки. Перевод с венгерского. 206 стр. Цена 80 к.

Д. С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. 207 стр. Цена 50 к.

А. Твардовский. Стихотворения. 191 стр. Цена 65 к.

Н. Чуковский. Водители фрегат. Книга о великих мореплавателях. 479 стр. Цена 1 р. 20 к.

«НАУКА»

Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства. Труды Отдела древнерусской литературы Т. 38. 543 стр. Цена 3 р. 50 к.

Лермонтовский сборник. 344 стр. Цена 2 р.

Е. Немировский. Иван Федоров Ок. 1510—1583. (Научно-биографическая серия) 318 стр. Цена 1 р. 40 к.

Русское стихосложение. Традиции и проблемы развития 327 стр. Цена 2 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Балтийская слава. Избранные страницы боевой краснофлотской поэзии. 1941—1942. Составители Т. Дрозд, Г. Кушнер. Ленинград. 149 стр. Цена 2 р. 50 к.

«Город чудный, город древний...». Москва в русской поэзии XVII — начала XX вв. Составление и вступительная статья В. В. Муравьева. «Московский рабочий» 556 стр. Цена 4 р.

Ю. Давыдов. Избранное «Московский рабочий» 480 стр. Цена 2 р. 30 к.

П. Шубин. «Здесь вся моя жизнь...». Стихотворения. поэма. Петрозаводск. «Карелия». 168 стр. Цена 85 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращать в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Сюзьпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 22.05.85 г. Подписано к печати 02.07.85 г. А 10442.
Формат бумаги 70х108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27.02 уч.-изд. л.

Тираж 428 000 экз. (1-й завод 1 — 200 000 экз.). Зак. 1949.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103796 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

*До конца текущего и в 1986 году
редакция журнала «Новый мир»
предполагает опубликовать:*

романы, повести, рассказы Ч. Айтматова, В. Астафьева, В. Богомолова, В. Быкова, В. Субботина, Ю. Нагибина, Г. Семенова, В. Рослякова, В. Орлова, В. Маканина, Р. Киреева, Ю. Эдлisa, И. Штемлера, А. Ткаченко, С. Капутикян, Г. Пряхина, а также роман американского писателя Д. Апдайка «Кролик разбогател»;

стихи В. Бокова, К. Ваншенкина, Л. Васильевой, А. Вергелиса, Е. Винокурова, А. Вознесенского, Ю. Воронова, Р. Гамзатова, А. Дементьева, Е. Долматовского, Н. Доризо, М. Дудина, Е. Евтушенко, Е. Исаева, М. Карима, Я. Козловского, А. Межирова, С. Михалкова, Д. Мулдагалиева, Н. Наджми, Б. Олейника, А. Преловского, Р. Рождественского, В. Савельева, С. Смирнова, В. Сорокина, О. Сулейменова;

очерки, статьи Ю. Черниченко, А. Иващенко, А. Злобина, Г. Лисичкина, В. Овчинникова, В. Цветова, А. Левикова, воспоминания Л. Фейхтвангера, письма академика П. Капицы;

литературно-критические статьи, обзоры И. Дедкова, А. Бочарова, М. Храпченко, Л. Аннинского, В. Днепров, П. Николаева, С. Чупринина, А. Марченко, О. Чайковской.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничения всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.